

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

2

НОВЫЙ МИР

2

1998

1998

НОВОСТИ МИРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 2(874)

Февраль, 1998 г.

Учредитель — редакция журнала «Новый мир»

СОДЕРЖАНИЕ

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА — Армия любовников, роман	3
ИННА ЛИСНЯНСКАЯ — The time kills me, but I kill time, стихи	65
СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН — Предисловие, рассказ	70
ГЕНРИХ САПГИР — Вот и спросят завтра нас, стихи	85
ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК — Что там на третье? Стихи	88
СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ — Три истории из жизни одного дома	92
ЕВГЕНИЙ РЕЙН — Через окуляр, стихи	104
ГЕОРГИЙ БАЛЛ — Камень и жажда, короткие рассказы	112

НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ — Из «Дневника». Перевод с польского и примечания Ю. В. Чайникова	116
---	-----

ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ — Вытеснение	147
НАДЕЖДА МОЛЧАНОВА — Прощание с Грузией	153

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ — Поверх разборок	159
-------------------------------------	-----

ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. С. Пушкин. 1799 — 1999

ИРИНА СУРАТ — Биография Пушкина как культурный вопрос	177
---	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Игорь Кузнецов. Памяти Литинститута	196
Евгения Ливантовская (Воробьева). Жизнь как анкета и как сюжет	198
Алексей Смирнов. Духовный дар	201
Александр Люсьи. К опознанию Макса	207
Глеб Шульпяков. Лазик Ройтшванец в жанре эссе	210
Рената Гальцева. Новая встреча со старым Бердяевым	213

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

- Алексей Зверев. «...не вне нас, а внутри» 219
В. Хализев. Нравственная философия Ухтомского 222
-

- Е. Тихомирова. — I. «Студия». Независимый русско-немецкий литературный журнал. II. «Зеркало загадок». Культурно-политический журнал на русском языке. III. Г. Лич-Анспах. Мои встречи с русскими 230

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

- А. В. ЯБЛОКОВ — Этот опасный мирный атом 234

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

- ТАТЬЯНА НИКОЛЕСКУ — I. Карло Риччо. Материалы для критического издания «Поэмы без героя» Анны Ахматовой. II. Мария Кьяра Пезенти. Арлекин и Гаер в русском любительском театре XVIII века 238

БИБЛИОГРАФИЯ

- Книжная полка (составитель Сергей Костырко) 240
Периодика (составитель Андрей Василевский) 242
SUMMARY 256
-

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА,
ЧЛЕНА ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ЖУРНАЛА
ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ЛИХАЧЕВА
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА ЗА 1997 ГОД!

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
АНАТОЛИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА АЗОЛЬСКОГО
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ БУКЕРА!
Роман Анатолия Азольского «Клетка», признанный лучшим
русским романом 1996 года, печатался в журнале «Новый мир»
(1996, № 5, 6).

ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШЕГО АВТОРА
ДМИТРИЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА ГАЛКОВСКОГО
С ПРИСУЖДЕНИЕМ ЕМУ
ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ «АНТИБУКЕР-97»!
Фрагменты премированной книги «Бесконечный тупик» печатались
на страницах «Нового мира» (1992, № 9, 11).

Из общего тиража каждого номера институт «Открытое общество» выкупает и безвозмездно направляет в библиотеки России и ряда стран СНГ 2350 экземпляров журнала «Новый мир».

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА



АРМИЯ ЛЮБОВНИКОВ

Роман

С некоторых пор я жду телефонного звонка. Ожидание почему-то всегда наступает меня у раковины, когда я выковыриваю из стока чайники, вероятно раздражающие мужа. Я никогда не достигну совершенства в очищении системы стоков, но именно в момент стремления к нему я остро хочу, чтоб она мне позвонила.

Хочу услышать ее голос, в котором так рядышком живут нахрапец и насмешка над ним же. Сначала она спросит, звонит ли Шурик. На этом меня легко подзавести: Шурик не звонит. Те заграничные деньги, на которые он живет далеко-далече, дороже наших. Я это понимаю, что не мешает мне обижаться.

Тут, глядя одним глазом «Санта-Барбару», я вдруг обнаружила: такого понятия, как *обидеться*, у тамошних героев как бы и нет. Они обходятся без него легко и просто, как мы без личных адвокатов. Может, острое чувство обиды и есть наша защита, когда никакой другой нет. Впрочем, я ведь не о том. Я о том, какой первый вопрос она мне задаст, если позвонит. Десять лет тому назад она спрашивала, как «проявляется» молодая невестка и правда ли, что я ее так уж люблю или придураюсь, чтоб выглядеть лучше других. У нее всегда вопросы с этой... подь...кой. Прости меня, Господи! Двадцать лет назад она спрашивала, какие у сына размеры... Первые джинсы для него привезла мне она. Венгерские, за 80 рэ, остальным — за 120.

Теперь вот канула. «Слава Богу, — говорит муж, — что у тебя с ней общего?»

В эти минуты я вижу его насквозь, потому что знаю: он говорит так, чтоб потрафить мне.

На белом свете всего три человека, которые были озабочены этим — потрафлять мне. Дедушка, считавший, что я самая умная, бабушка — что я самая красивая, и муж, который всегда доказывает мне, что люди, огорчающие меня или, не дай Бог, меня ненавидящие, принадлежат к той породе, с коей порядочные рядом не стоят. Где я — где она? В смысле — та порода.

На всю жизнь всего три безоглядных, абсолютных моих защитника. Много это или мало?

У меня долго не было квартиры. Еще дольше — денег. Бывало, не было работы, удача приходила нервно-спорадически, я теряла друзей и переставала любить близких.

— У вас очень сильная защита, — удивленно сказала мне одна экстрасенстка, волей судеб оказавшаяся у меня дома.

Она, специалист по прочности газовых котлов — в этот момент я, возможно, прохожу у нее по разряду мелких котлов, — с интересом смотрит на меня, ожидая пояснений. Ей любопытна природа моей охраны. Но как я ей скажу? Как я скажу *про слова* дедушки и бабушки, которые живут до сих пор, никуда не делись, хотя их самих уже нет более тридцати лет?

Я к тому, что понимаю логику мужа: он видит это мое напряженное ожидание звонка и по-своему пытается мне помочь.

Да, у меня с ней ничего общего, она — другая природа, у нее иначе течет кровь, иначе кудри вьются. Мы даже не подруги...

Мы больше, потому что я ее соглядатай. Подсмотрщик. Вампир-теоретик. Я прожила с ней то, чего мне не дано было по определению: бодливой короле Бог рог не дает.

В сущности, она — это я. Только рогатая.

...Чужие жизни хорошо заключаются в сферу. Перебирая пальцами шар бытия чужой жизни, ее можно наблюдать со всем возможным бесстыдством. Ведь Гомер не таскал за Ахилла его щит и Карамзин не шептал в ухо Эрасту, какая он сволочь. Сфера, она и есть сфера. Ты тут, а они там. Лев Николаевич, сладострастник, носил при себе лупу, пряча ее от Софьи Андреевны в кармашке исподней рубахи. Не было кармашков? А откуда вы знаете? Вы так же точно не знаете про это, как я знаю. Просто чувствую: вот он подносит лупу к глазу, чтоб разглядеть короткую губку маленькой княгини. Вот он плачет от умиления и страдает, что она у него скоро умрет. С этим — ввы! — уже ничего не поделаешь. Потому как блохой скачет эта глазастая девчонка Наташка, а Андрей еще женат. Жалко княгинюшку, но графинюшка — такая прелесть, но ведь красавцы и умницы, как Болконский, даже на очень большой роман бывают в единственном числе. А тут еще война... И Пьер такой замечательный. Вот и плачет Лев Николаевич, приставив лупу к глазу и любуясь в последний раз короткой губешкой. Не жить ей, не жить...

Мне тоже хочется тихонечко мизинцем тронуть вспотевшую губку умирающей княгини. «Зачем ты так сделал? — скажу я старику с лупой. — Зачем ты их погубил всех, лучших?»

Но мне уже некогда. Я уже иду внутрь собственной истории, внутрь сферы, мне предстоит счастье мять и тискать своих персонажей, и больше всего достанется тем, кто попадетс я мне «на раз».

Мне всегда жалко расставаться со случайными людьми, которые толкуются на обочинах сюжетов. Как, например, эта старушонка, что присела помочиться за огромным щитом рекламы, на котором Синди Кроуфорд смачно — из-з-з-юм! — выпячивает покрашенные губки. Ни старушка, ни Синди о существовании друг друга ничего не знали. Могла ли Синди присесть пописать в людном месте возле метро, прикрывшись самой собой? Могла ли старушка вообразить биде этой фанерной «страхолюдины»? Это ж какая у нее жизнь, думает старушка, если она на такую работу — отпячивать губки — согласна? Да она бы смолоду и за сто рублей не стала этого делать.

Я покидаю ее с сожалением. Мне хотелось бы еще поторчать тут, за щитом. Но я уже вошла в сюжет... Грубовато, скажем, но как умею... Я вошла в сюжет — вошла в метро... Мне надо догнать ту, что мне не звонит. Она едет от Киевского вокзала, и ей сейчас очень хочется подвзорвать этот чертов мир. Поэтому она стоит у сквозной двери и матерится.

«Такая х...я!» — бормочет она и оглядывается, не слышал ли кто. Слышали... Бабулька, что сидит рядом, — о ней я как раз и говорила — распахнула на нее старые, уже не отвечающие глазки, но, встретив вполне пристойный взгляд Ольги, стушеввалась и даже, видимо, решила, что неприличное слово родилось в голове у нее самой (так с ней бывало), бабулька даже виновато ерзнула и прошептала: «Господи, прости!» Ольга же никаких прощений сроду ни у кого не просила, тем более за вырвавшееся слово. Слово это — из ряда тех обиходных, которые всегда во рту и могут определять все, что угодно: еду, настроение, нового знакомого, погоду, обстановку в стране, отношение к Думе там или войне. Спятишь, пока будешь искать другое,

адекватное, а это всегда между зубами, в ложбиночке между пломбой и костью, живым и мертвым — где же еще ему обретаться?

Я знакома с Ольгой сто лет и получила ее, так сказать, со всем ее словарным запасом жизни. В нем намешано все.

А у кого не намешано? Давно заметила: отсутствие выбора, одинаковость среды рождают в душе несчастного человека *тайный* плюрализм такой гремучей смеси, что до самовозгорания шаг. В нас во всех, пуристах и ханжах, всегда достаточно б...а, а наша щедрость до дури непринужденно перерастает в такую копеечность, что для описания ее требуется особый случай.

Так и Ольга. Природное целомудрие вспороли в ней без анестезии, и она его давно «за доблесть не держит». «Знаешь, это что?» — сказала она мне, когда мы только-только стали принюхиваться друг к другу. Между прочим, в прямом смысле слова: она возила из Польши косметику, а Посполитую снабжала утюгами и кипятильниками. Судьба свела нас на духах «Быть может». До французского парфюма у страны тогда не доросли ноги, а зелененький флакончик за рубль двадцать был народу по силам. Но он был редок в продаже. Так вот, еще тогда она мне сказала: «Таких правильных девочек, какой я была, жизнь выполола в первую очередь. Теперь я баба грубая».

Ей было самое то — по нежному и красивому бутылочным стеклом. «Меня знаешь как первый раз трахнули? Зашивать пришлось. А знаешь кто? Инструктор райкома комсомола. Я тогда в президиуме сидела, херувим такой с бантиками... Кстати, ты не объяснишь, почему херувим начинается с хера? Им и кончается, между прочим... Я инструктора не выдала, но уже по другой своей дури — идеологической. Я как бы не могла опорочить святое... Улавливаешь степень идиотизма? Степень сдвига? Решили, что на меня напал маньяк. Его стали ловить, а я путалась в показаниях, кретинка такая».

Мне всегда была неприятна ее абсолютная откровенность. И я бы приняла за основу ею же брошенное слово «дура», но это была неправда. Ольга была умная баба, острая, быстро соображающая, точная в оценках. И одновременно она бывала идиоткой без конца и краю, от Парижа до Находки, что называется.

Я терпеть не могу дураков. Это на самом деле недостаток, а никакая не доблесть, жизнь сто раз подсказывала мне, что набитый дурак — не самое большое зло на земле, что самое большое зло вспухает как раз в той компании, где гнездятся, хлопая крыльями, умники. Это они заваривают кашу, они придумывают идеи, от которых по земле идет порча и корча. Дурость дураков в другом — в самозабвенном шаге навстречу умнику. Людоедство, бомба, какой-нибудь иприт-люизит еще только лежат на полке дьявола, первый умник еще почесывает бороденку, вполне, может быть, размышляя: «А не очень ли я тут замахваюсь?», но дурак уже тут как тут, он рядом и готов взять на себя черное дело умника. Так вот, я их ненавижу, этих, которые всегда и во всем готовы. Я узнаю их в лицо сразу. Я их унюхиваю. Я ощущаю их вибрации. Не дай вам Бог моего чутья! Унюхав что-то там, я прекращаю отношения, я с треском рву эту ткань связи — и что? Сама же и не досчитываюсь друзей, подруг... К чему это я? Ольга никогда — никогда! — совершая самые безумные поступки, не давала оснований думать, что она дура. Такая вот сякая, всякая-разная, часто идиотка, злобница, но не дура. Поэтому мы не дружа дружили, и мне были интересны переливы ее какой-то смешной и все-таки глупой жизни, но я уже постигла еще одну истину. Умный человек может прожить глупую жизнь. Глупому такое, наоборот, обломиться не может.

Мы стоим в том моменте Ольгиной жизни, когда она едет в метро и произносит характерное для нее слово. А рядом бабулька, которая принимает это слово как свое. О, это великое свойство моего народа — воображая, как

бы и быть. Навоображавшись за день, до дела ли? Поставить бы датчик внутрь, к нашим мысленным мостам, царствам, кровопролитиям, высоким дымящимся фаллосам и мохнатым, как звери, лонам. Ни к чему бы была другая энергия.

Старушка была моим народом. Поэтому она мысленно теснилась в узкой Ольгиной юбке и говорила неприличное слово. Одновременно кумекая, что дама слева, в кожаном пальто до пола и юбочке едва-едва, таких слов не может знать — откуда ей, образованной? Она, что ли, ломалась зимой на заводе по две смены в тонких голубых рейтузах, к которым попа примерзала отнюдь не фигурально, но молодой тогда бабульке они так нравились, шелковые эти штаны пятьдесят второго размера — какой был у нее, она не знала, сроду по номерам ей ничего не покупалось. Вот с тех рейтуз у нее, бабульки, цистит, проклятушая болезнь, когда писать хочется часто, часто, и по всей ее жизни от этого одни разочарования. Вот она и сказала: «х...я» — она, эта, в запахе счастья, таких слов не знает.

То же самое о бабульке думала и Ольга. Вот, мол, из нее, Ольги, жабы просто выпрыгивают, а эти божьи одуванчики, по многу раз видевшие Ленина в гробу, но не верящие в его смерть, доживают свой век в нищете и дикости — и тем не менее чисто. От старушки пахнет простым хозяйственным мылом и, как ни странно, чем-то еще и дорогим. Ольга, чтоб не заикливаться на этом, решила, что пахнет святостью. Бабулька же — это к запаху — просто-напросто ехала от ворот кондитерской фабрики, где дешево продавали шоколадный лом. Вот он и пах из ее сумки, как ему и положено, дорого. Перебитый жизнью шоколад. Даже у шоколада случаются разные судьбы.

Ольга думала свою мысль.

...Две недели назад она тоже ехала в метро, только к вокзалу, а не от него. И у нее тогда был новый чемодан с очень стильными металлическими углами. Она на эти углы просто запала, когда увидела в магазине. Представила, как понесет его носильщик, а она будет небрежно так на него *не смотреть*, ибо не на «трех вокзалах» это произойдет, где глаз нельзя спускать с носильщика, а лучше вообще бежать следом за ним, контролируя его постоянным касанием вещей. Она так и ехала до самой Варшавы, практически не слезая с нижней полки, где лежал чемодан, в туалет ходила ограниченное число раз и так расстроила желудок, что, не будь по дороге Варшавы, практически своего родного города, в котором поймут твои проблемы, неизвестно, чем бы это кончилось. Ванда же дала какие-то таблетки, ее немножко покрутило в кишках, и все прошло. Ванда — спец по лекарствам, отправляет их в Союз, извиняюсь, в Россию, но не через Ольгу. Другой у нее канал. Ванда в курсе всей Ольгиной жизни — от и до. Она, можно сказать, с младых ногтей знала и ее маму-инвалида, и дочку-акселератку. Идиллическое было время, просто другая эпоха! Дочка у Ольги всегда была хорошо одета, а у мамы в тумбочке лежали лекарства от всего. Частично Ванда просто дарила их Ольге.

Сейчас дочка, слава Богу, хорошо замужем, у зятя диковатый (продает спортсменов) бизнес с Испанией, мама умерла, царство ей небесное, умерла практически без проблем для окружающих, что есть высшая степень святости жизни, потому как... Тут и объяснять не нужно. По нынешним временам умирать надо мгновенно: раз — и ты готов, по типу действия СВЧ. Или что там у нас первое по скорости... Сейчас до фига замечательных вещей. Они должны помочь людям жить быстро, но и научить умирать на слове «раз». Мама-покойница откуда-то знала это сама, умница такая.

Но вернемся к чемодану. Ольга купила этот, с уголочками, потому что была идея (будь она проклята!), что от них, отпадных уголков, ее мир начнет строиться заново, по какой-то другой схеме. Как строит Москву Лужков? Дом-коробка, дом-коробка, а он (или кто у него там?) придумывает к короб-

ке зеленую крышу теремком, вставляет в нее пистон-шпиль. Пришпандоривает к дому крыльцо с козырьком под цвет крыши, опять же пистон-шпиль, и глядишь — нелепый дом как бы взыграл. Теперь человеческий пример. Всю жизнь ты ходил в коричневом немарком пальто, а потом раздухариваешься и покупаешь бежевое с воротником хомутиком и с пуговицами, которые вполне могли бы работать маленькими блюдечками. И пошли вы все! Вот и Ольга, оттолкнувшись от Лужкова и чемодана, взяла и нарисовала новую схему собственной жизни. Дочь в замуже, мама в могиле, и лет ей всего ничего, она даже еще при менструации, которая приходит как часы. Разве не время новой крыши, шпиля и прочих излишеств яркого цвета? К тому же... Это существенно...

Время это расцвечено не только шпилями там и сям, не только перетаскиванием с места на место Поклонной горы скульптуры, посвященной горе, — она как бы не в пандан идее времени, — но и другими чудными вещами. Например, желанием стать князем там или графом. Просто так, потому что хочется! Одной милой моему сердцу даме за заслуги в науке дали такой титул, напрочь обойдя факт биографии, что батя ее, царство ему небесное, был бойцом на мясокомбинате. Я, увы, не вегетарианка, я ем братьев моих меньших. И понимаю: кто-то должен обслуживать мои хищные потребности. Должны быть для этого бойцы-убийцы. Но чтобы приставили к этому делу князя! Милая моему сердцу дама тоже смеется над фактом своего княжества. «Это ведь так, — говорит она. — Понарошку». Но штуковину с гербом на стену все-таки повесила, и глядишь — через какое-то небыстрое время мои внуки будут называть ее внуков «вашеством» или кем там еще... Мне что, жалко? Что, внуки сами не разберутся? Но помните, я как бы уже намекала... Умный только придумывает пакость... Шаг вперед всегда делает дурак.

Мы с Ольгой обсмеяли все эти «из грязи в князи» давно и со вкусом. Наши отношения претерпели многое за время великих перемен. Польша перестала быть клондайком спекулянтов, мир стал куда шире и соблазнительней. К примеру, взыграла Турция. Египет перестал быть картинкой с пирамидой. Ольга уже могла себе позволить не таскать тюки, но совсем не таскать тоже было нельзя: институт, где она была вечным мэнээсом, сгорел синим пламенем, а хотелось и то, и се... Какие ее годы? Хотя выйти замуж молодой женщине — дело практически безнадежное, если ты не просто ищешь штаны в квартиру. Есть такие, что именно это и ищут: чтоб мычала, бурчала, сопела другая природа. И мы с Ольгой даже решили, что камень в наших сестер мы не бросим. «У каждого свой вкус», — говорила Ольга.

Для себя она хотела другого. Первый, трагический, случай юности отодвинул ее женский опыт лет на десять. Все обязательные правила той жизни были выполнены: институт окончен, отхлопотано бесконечно неподвижное при возможных потрясениях место в НИИ, Ольга пошла, что называется, своими ножками. Мама, тогда еще живая, все боялась, что ее лежачая болезнь станет камнем преткновения. Придет молодой человек в дом, а тут мама лежит, и низко спущенное одеяло как нельзя больше подсаживает глазу, что именно там, под одеялом, стоит этот самый прибор по имени «утка». Как на это может реагировать молодой претендующий человек? С отращиванием. Поэтому у Ольги раньше всех оказалась однокомнатная кооперативная квартира, в которой она ни дня не жила. Папа надорвался, зарабатывая на пай, и вскоре умер. Мама целиком легла на руки Ольги, а квартира дождалась своего часа. Манька, дочь, переехала в нее сразу после десятого класса.

Так вот. Дочь у Ольги не от ветра. Муж у нее был. И довольно долго, между прочим. Нормальный муж, под свисающее одеяло покойной тещи не заглядывал. Хорошо относился к маме, тайком от Ольги давал ей выпить рюмашечку-другую. Ольга была в этом смысле строга до отвращения. Хотя почему было не дать выпить лежачей матери, у которой радости было в жиз-

ни — смотреть на Валентину Леонтьеву и вспоминать, как однажды они встретились в магазине и Леонтьева будто бы спросила у матери Ольги, как она считает, пойдет ли ей салатный цвет? И будто бы мать объяснила ей, Леонтьевой, что салатный лучше не носить вообще — он бледнит, — ей, Валентине, можно носить хоть серо-буро-малиновый, хоть не разбери-пойми какой, потому что она сама — цвет! Если случайная, даже не факт, что состоявшаяся встреча наполняла жизнь матери смыслом («Я сказала ей: „Вы сами — цвет!“»), то что такое две рюмашечки? Просто святое дело!

Дальше пойдет идеология. Хорошо бы о ней написать не словами, а какими-нибудь кружочками, потому что букв жалко, но куда ж без них? Разошлась Ольга с мужем, потому что в момент каких-то важных первых выборов вспомнила себя в белом воротничке и того потного гада в лакированных ботинках. В результате пошли они с мужем на разные собрания. Правда, он ей сказал: «Ну, хочешь, я пойду с тобой, хочешь?» Но это уже не имело значения. Он ведь по сути своей инстинктивно выбрал то, откуда она также инстинктивно бежала. Сработала автоматика, которая, как известно, — бездуховная дура, но поди ж ты, действует безошибочно.

Однажды, сидя перед телевизором, Ольга потеряла сознание, не надолго, на чуть-чуть, но когда «вернулась», ощутила такую жаркую, такую лютую ненависть, что позвонила мне.

— Слушай, — сказала, — быстро расскажи анекдот. Только не думай, сразу...

— Встречаются Сталин и Зюганов...

Она бросила трубку.

Потом перезвонила и сказала:

— Извини, я хотела про чукчу. Про евреев. Что, про них анекдоты кончились?

Мы поговорили на эту тему. Какие мы дуры, что не вышли за евреев и они нас не увезли подальше от этой земли. Вялый получился разговор, без энергетики — ну, не вышли, ну, не увезли... Такие две уже неподъемные тетки, которым, как тому петуху, все одно: догонять ли курицу для... или чтоб просто согреться. И второе даже предпочтительнее, раз уже возникает в голове как возможный вариант. О! За тайностью мотивов очень и очень надо слеживать.

Но Ольга все-таки попробовала выйти замуж за границу, почему и чемодан возник. Это не было принципом: за границу, и только. Просто случай шел ей в руки. Черным по белому было написано, что некий немолодой и вдовый, как бы из маркизов, обеспеченный так, чтоб не брать в голову проблему мыла, свечей и керосина, жаждет любви славянки-блондинки без детей, не выше сорока пяти лет. «Только идиот будет придиратся к разнице», — подумала Ольга.

Ключевое слово «маркиз» попало не просто в сердце, что там сердце! Оно здоровущее, в него попасть — раз плюнуть. Слово попало в сущность невидимую, в некое средостение молекулы, выполняющей одну из самых неблагодарных задач: молекула эта отвечала в нас за все тайные притязания. Шпили, консоли, витые лестницы, специальные вилки для рыбы, шляпы с пером, выдернутым из задницы павлина. (Боже, как им не жалко птиц!) И многие другие деликатные разности, которых я могу и не знать. Я не Ольга, и хотя у меня самой притязаний вагон и маленькая тележка, в меня бы слово «маркиз» сроду не влетело, а в Ольгину молекулу — просто с первого попадания.

Вот почему мы коснулись этой дуромании: встрять в князя там или графя, откопать в прошлом беленькую косточку ноги такой из себя нежной, слабой, не раздавленной весом жизни, чтоб и во тьме она тебе светила, если больше нечему.

Я сколько угодно могу изгаляться над слабостями своего народа, если бы одновременно не работал во мне процесс удовольствия постижения его тай-

ны. И того всемирного удивления, какое мы вызываем у народов менее изысканных по составу молекул. В один и тот же день, когда нам показали побежденные до основания Самашки, — что ни говори, упоительная победа! — мы увидели и другое: французские вышивальщицы на белоснежном полотне наволочек нежной кириллицей — для нас! — иголкой выковыривали слова «Спокойной ночи!». В один и тот же день мы являли миру наше непобедимое умение спать на сырой земле и укрываться чувалом (Самашки) и жажду чего-то невообразимо красивого.

Я понимаю, что *разные* головы припадали к земле и подушке в этих двух случаях, но это были русские головы, что называется, из одной и той же школы, с одной и той же улицы.

Не однажды их постигает великое разочарование во всеобщем мироустройстве. Такое уже с народом бывало и раньше. И в этот раз замечательный с виду был строй, так радостно во все стороны дымили трубы, так справедливо делили тебе половину, а мне — вторую, но настал момент усталости человеческого металла, и котлован счастья пришлось срочно засыпать... Остается вопрос. Куда делось разочарование? Я принципиально не хочу прыгать в глубину этого трагического чувства, оно велико. И мне не вынырнуть из него. Я — про мастериц, в которых вдруг откликнулось великое пролетарское разочарование. И они стали вышивать этому народу непонятные им слова. Другие же, оборотистые, стали рисовать гербы и символы крепости рода, которые как бы выпрямляли разочарованного человека, давали ему новый ключ: ищи, голубчик Буратино, деревянная твоя башка, свою дверь в стене, ищи. Маленькую и железную. Может, и вскрыешь.

В это же время бомбили Самашки.

Я к тому, что хотя клев Ольги на что-то эдакое и показался мне идиотским, но снисхождения и понимания он у меня заслуживал. Ра-зо-ча-ро-вание. Ну все в ее жизни было, все! Маркиза — скажем! — не было.

Бабулька — ах, как она мне дорога! — то ли приехала к месту, то ли вышла по малой нужде цистита. Рядом никто не сел, и Ольга распласталась вольно, не вбирая тело в тугую кучку, не выстраивая ноги строго по линии красоты. Она их даже слегка расставила, ощущая радость освобождения. Обиженно треснула по шву узенькая юбочка для молоденькой барышни, которую Ольга побеждала как классового врага. «Выброшу к чертовой матери!» — подумала она о юбке теперь. Конечно, есть дочь, но зачем дочери знать степень поражения матери, когда дорогая фирменная вещь ей не в кайф, а ведь как радовалась, когда влезла и поняла, что три килограмма сбросить ей не стоит ничего, зато вид — уйди-вырвусь!

Дочерям информацию про себя надо выдавать дозированно. Даже не так. Выдавать надо положительную, даже с любым прибрехом. Ольга сидела возле сквозной двери. В соседнем вагоне тоже было пусто. Люди укачивались, отдаваясь движению, некоторые задремывали. Через два стекла от нее спал с открытым ртом Федор. Один из немаркизов ее жизни.

«Изо рта определено разит», — подумала она. Но что поделать с этим русским национальным чувством, — торкнулась в расслабленном теле жалость не жалость, сочувствие не сочувствие, одним словом, *нечто-нечтное*. Неопознанный летающий вирус внедрился в Ольгу и пошел делиться, как полоумный, без оглядки по сторонам. От этих простейших, не видимых простым глазом, — вся наша погибель. Если не сейчас, то потом.

ФЕДОР

...Первое воспоминание жизни — воспоминание о мальчишке, который пишет ей на ноги. Потрясение от совершенного, в отличие от ее, приспособления, делающего это дело, оглушительный гнев, что у нее не так, ор, рев, мальчишка уносят, ее уносят тоже и грубо бросают на спину, чтоб стянуть

мокрые чулочки. Потом ничего-ничего, и снова мальчик, который ездит на велосипеде туда-сюда по коридору. У нее нет велосипеда, и она снова кричит, и получается, что Федор вошел в ее жизнь чувством завистливого гнева. Но это сейчас так можно сформулировать. Взрослый ум обращается с фактами вольно, он их тасует, он от них освобождается, он их подменяет, одним словом, полагаясь на ум, ты полагаешься на вещь не безусловно точную — ум химичит будь здоров. А тогда, в детстве, ничего подобного быть не могло. Слезы непринужденно переходили в смех, зависть — в подельчивость, они прожили с Федькой долгую счастливую коридорную жизнь, сейчас вспоминаешь — одна радость. Хорошее надо держать в резервации, и колить его, и нежить. Высаживать хорошее в грунт жизни — дело глупое и бесполезное. Хорошее до ничего растворяется в жизненной массе, оно не дает чистых побегов, оно забывает себя, оно доверчиво притуливается к чему ни попадя, глядишь — у него уже и лицо не то, и походка, и пахнет оно дерьмом, а с таких начиналось фиалок!

Через много лет, встретившись после детства с Федором, Ольга с порога кинулась понимать и любить его, как тогда, раньше... И чем кончилось?

У Федора была мама, которая осталась в памяти съемным сиденьем для унитаза, зажатым под мышкой. Мама выхаживала по коридору туда-сюда, такая опрятная, подтянутая дама. «Ей бы веер из перьев в руки, а не этот деревянный круг», — думала уже впоследствии Ольга, когда прошлое стало распадаться на отдельные части, и эти части несли в себе нечто противоположное друг другу, тогда как не в распадке оно, прошлое, являло собой вполне цельное целое.

Мама Федора звала сына Тедди, сама называлась Луизой Францевной, тем, что была из немок, гордилась, а это было время, когда от войны мы отъехали совсем недалеко и народ еще люто ненавидел фрицев и не признавал за немцем права быть гордым, поэтому можно себе представить общий коммунальный настрой. Но все обходилось! Вот в чем главный результат — все обходилось без тяжелых для квартиры последствий. И гордая немка, и во всем виноватые евреи, и лишенные всяких национальных амбиций великороссы, и примкнувшие к ним со своей украинской спесью хохлы, и имеющие задний ум татары, и пылкий осетин-чечеточник — все они в некую минуту разбивали в сердцах лампочку Ильича на кухне, опрокидывали со стены велосипед, сдергивали с веревки белье ближнего врага данной минуты, а потом замирялись, сплачиваясь на объединяющей всех нелюбви к врагам дальним — американцам там или безродным космополитам. К евреям, само собой. Ольге приятно было думать, что ее коммуналка «не сдала никого». Что Михал Ваныч Тришин, исполняя в их братстве определенные обязанности, ограничивался строгими беседами в неработающей ванной, приспособленной жильцами для склада вышедших на пенсию вещей. Ваныч включал свет в уборной, и под сенью желто светящегося окошка — в бывшей ванной сроду не было лампочки — вел свой сущностный разговор, а мог ведь и не вести, но он предпочитал жечь электричество, чем «жечь человека»...

Все это давало основание Ольге уже в другие времена защищать свой народ от излишних поклепов. Не будь достаточного количества Ванычей, кричала она, интуитивно переходя к философским категориям необходимого и достаточного, народа не было бы вообще. Но он есть, следовательно... «Не каждый второй сволочь, и даже не каждый третий там или пятый... Нас в квартире было двадцать семь человек, и все выжили». Тут Ольга лукавила, ибо вела только послевоенный счет: до войны в коммуналке жило сорок два человека. Но вправе ли мы судить то, чего не видели, вернее, не так... Если мы не судим то, что не видели, наша совесть вполне может не исторгать крика. Ее там не было.

Все это к тому, что Луиза Францевна существовала в квартире защищено, хотя любима не была. А вот Тедди был обожаем, ему за красоту и детскую лукавость прощалось практически все. И самым большим горем детства Ольги было получение их семьей отдельной квартиры. Мама тогда уже начала болеть, у нее было какое-то редкое заболевание, при котором в организме постепенно умирает все. Такой была медицинская справка! Папе одному из первых на заводе дали на основании ее отдельную квартиру. Ольга цеплялась за дверной косяк и кричала благим матом, не желая покидать старую комнату, и народ смотрел на нее как на ненормальную. Поглощенные естественным чувством зависти к такому счастью, как отдельная и практически недостижимая квартира, люди были даже раздражены криком девочки, и кто-то сказал: «Ишь какая растет артистка!», имея в виду, что Ольга нарочно закатила концерт прощания, а на самом-то деле тоже внутри себя рада, но придуряется, «дает гастроль».

— Подари Олечке что-нибудь на память, — сказала Луиза Францевна сыну.

Сиденье от унитаза уютно пряталось у нее под мышкой, как ему и полагалось, и вообще все люди были, как всегда, замечательно привычными, только вот в семье Оли случилось горе отличия. Мама в летнюю пору стояла в зимнем пальто, спинки кровати были связаны рваными детскими чулочками, в выварке лежала завернутая в мамину юбку хрустальная люстра. «Единственный дорогой предмет», — так говорила мама.

Пришел лучезарный Тедди и вручил Оле безухого слона. «На всю жизнь», — сказал он ей. Она его выкинула через десять лет, после встречи на городской комсомольской конференции. Тот день пометил всю ее жизнь цветом боли и ненависти. Слон радости в ней уже не помещался.

Надо же! Это был первый год без папы. Она потом думала, случайно или нет произошло так, что уход папы, любимого, драгоценного мужчины в доме, ознаменовал окончательное отсутствие порядочных мужиков. И вообще, и в ее жизни. Папа как бы вывел за собой всю приличную рать, но тогда что за жестокость с его стороны? Или она сама, рать, — хорошие дядьки — кинулась сломя голову в возникшую с уходом папы брешь, ушла за заводилой? Но это более поздние Ольгины мысли. Тогда была просто постоянная печаль. Острота горя прошла, как ни странно, довольно быстро, а вот печаль с утра до вечера растянулась, считай, на всю жизнь.

Значит, комсомольская конференция. Это уже потом, потом... У мамы тогда был хороший период, и она сама пошла в булочную и галантерею. Галантерея была на втором этаже, и мама стеснялась медленно карабкаться по ступенькам, вцепившись в перила. Но так хотелось добрести до парфюмерии и попятиться на разные разности, вот тогда она и высмотрела в соседнем отсеке кружевце, тонюсенькое, белюсенькое и с загибом кончиков. Мама купила его для Ольгиной формы, под шейку и на рукава. И именно на конференцию эту красоту пришила. Оля понравилась себе, что-то было в ней, что-то было в кружавчиках, во всяком случае, в груди ее возник радостный холодок впервые после смерти папы.

В фойе дворца, куда они все собрались, ее дернул за рукав здоровенный парень, она отпрянула, потому что не признавала этой манеры — дергать себя чужими руками, а парень возьми и скажи:

— Если ты не Олька, то тогда извини.

Станный подход. Она — Олька, и именно она это извинить не может, но ее остановили его слова, что-то давнее и хорошее настигло и сказало: сообразила своей головой, дура. И голова сообразила.

— Тедди! — закричала она тоненько.

— Замолкни, — засмеялся Тедди, — я Федя, Феденька, Федюнчик.

Они ходили по фойе едва не в обнимку, вернее, совсем в обнимку, иначе с чего бы это вожатой ее школы зашипеть ей в ухо: «Ты думаешь, как себя ведешь?» А как она себя вела?

Но оказалось все не так просто. Потому как в обнимку с Федей ее увидел и инструктор райкома Юрий Петрович, и у него возникли, можно сказать, законные основания пригласить ее после говорящей части конференции в штаб и защелкнуть за собой дверь.

— Ходит такая цыпочка-давалочка — и мимо меня, — говорил он, закидывая ей подол на голову.

Он легко закинулся, подол, мама гордилась кроем юбки Ольгиной формы-двенадцатиклинки — уже и забыли, что это такое, а мама хранила выкройку своей мамы еще из довойны. Трухлявая такая выкройка, сто раз подклеенная, но маме очень дорогая. Знала бы ты, мамочка...

Пока она давилась собственной юбкой, стесняясь не то что крикнуть, а просто подать по-собачьи голос, Юрий Петрович царапал ей кожу плохо остриженными ногтями. Вместо того чтобы двинуть его коленкой, Ольга тупо размышляла о том, что это правда: быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. И еще ее посетили другие странные мысли — нет ли у нее дурного запаха, — в общем, ее рвали, терзали, а она кусала кружавчики и думала черт знает о чем, отчего потом и была десять лет в ступоре, так как считала: она тогда не сопротивлялась, значит, как бы дала согласие. Разрешила. Правда, медицинское обследование обнаружило совсем другое: при согласии не бывает множественных травм, вплоть до прикушенного до крови языка, к которому прилипли белые нитки кружева.

Но об этом как-нибудь потом... Мы ведь сейчас о Федоре. Его тогда вызывали в милицию, так как именно на него показала вожатая. Вечером к ним в дом влетела Луиза Францевна, а они с мамой были как замороженные. Ольга не могла сразу, как теперь говорят, врубиться в Луизу Францевну, кто она и зачем, а когда поняла, спросила: «А где ваш... этот... стульчак?» Тут уже все пошло до самых небес! И пока Луиза Францевна орала на маму — разве можно было сообразить такое, если выдвинуть из прошлого старый ее образ, — в Ольге думалось и стала расцветать «лилия подлости». Почему лилия? Но Ольге думалось так: во мне расцветает «лилия подлости». Просто в какой-то миг крика Францевны и стекленения глаз мамы Ольга решила: «А пусть это будет Тедди! Пусть будет он!» Так радостно было уничтожить кого-то, зацарапать уже своими ногтями, натянуть что-нибудь на чужую голову, пусть сволочь давится, пусть! А потом — голым на мороз...

Но тут Луиза Францевна выкричалась и опала. Из нее, опавшей, стали выходить другие слова, Ольга даже сразу не сообразила, что гордая немка, в сущности, *допускает*, что это мог быть Тедя-Федя, что она готова нести возмещение ущерба, просто им — Ольге и маме — надо помнить, что она женщина бедная. Мама совсем перестала соображать, а Ольга вдруг увидела, что у нее засохла к чертовой матери «лилия подлости», что ей уже жалко этого ни в чем не виноватого Федьку, которого эта дура без стульчака готова женить на Ольге, «раз уж так случилось»... Это третье превращение Луизы Францевны — в возможную свекровь — Ольга пропустила, потому что наблюдала за «лилией подлости», за ее усыханием, а когда увидела, как мама Федьки тянет ручонки к ее маме с криком: «Не погубите!», окончательно пришла в себя и сказала четко, что ей это все надоело до чертиков, что Федька тут ни при чем, что она не отвечает за милицию — кого та вызывает, а кого нет, — Федьке привет и идите вы своей дорогой к такой-то матери.

Луизе Францевне, сыгравшей во всем этом спектакле целых три характера, было трудно выйти из образов, и она еще какое-то время впадала то в один, то в другой. Ушла же она в полуобморочном состоянии, все-таки силы были потрачены немалые, но так как собственная Олина мама была тоже в этом же состоянии, то выбирать не приходилось: Луизу Францевну утешать и отпаивать Ольга не стала.

Милиция насильника так и не нашла, хотя долго ходила с сосредоточенной мордой. То время еще делало вид, что у него системы фурычат и насильники ловятся.

Однажды Федор встретил ее возле школы.

— Ты живая? — спросил он.

Никогда в жизни, никогда не было у нее такого острого желания кинуться на мужскую грудь и пусть даже разбиться. Но так близко была школа и так возможна была у окна страж-вожатая, что Ольга сделала все наоборот.

— А пошел ты... — процедила она сквозь зубы. И почему-то добавила: — Немецкая твоя морда...

Эту историю Ольга рассказывала довольно часто, и будь она постарше, мысль о раннем склерозе не была бы неуместной. А уж о каком-то особом свойстве памяти — тем более. Причуд ведь на свете куча мала. У меня есть приятель, у которого тоже «заедает память».

Рассказываю по случаю, потому что «немецкая морда» Ольги временами меня доставала.

Так вот приятель. Приходит, садится, бурно радуется встрече. Ждет вопросов о себе. Это, в конце концов, неизбежно: ведь он для того и пришел, чтоб рассказать о себе. Политика там, Пушкин или эмиссия денег иссякают мгновенно. Пушкин — потому, что сколько же можно. Товары, цены и русский демократизм — по причине их низкости для нашей встречи.

— Ну как твои дела? — обреченно спрашиваю я.

— Был у главного... Спрашиваю... Когда будете платить? Тот стоит, смотрит в окно. «Последняя туча рассеянной бури... — говорит. А потом: — Зарплата? Но ты же голосовал за Ельцина? За этот порядок? Иди, он подаст...»

Приятель громко смеется, и изо рта его летят крошки и брызги, я отслеживаю их полет, чтобы потом пройтись по ним тряпкой.

— ...Последняя туча рассеянной бури? Зарплата? Ты же голосовал за Ельцина?

И снова обвал изо рта, в котором дрожит мощный, в рытвинах язык. Я беру тряпку.

— ...Последняя туча рассеянной бури? — радостно кричит он в третий раз, а я знаю: будет четвертый и пятый, до бесконечности... Его надо обрубить или заткнуть ему рот этой самой тряпкой, но я такая в этот момент медленная, такая осевшая на дно... Ну, в общем, в конце концов я встряхиваюсь и начинаю вытирать стол.

— Как здоровье жены? — внедряюсь я в тучу, зарплату и Ельцина. Приятель адекватен, мы непринужденно переходим к жене, будто только что не крутились в воронке.

Я рассказываю этот случай как еще один признак нашей болезни — скрытого паралича, который давно в нас поселился и водит по кругу мыслей ли, поступков... Так и живем...

Вот и Ольга сто семнадцать раз рассказывала мне, как обозвала Федора «немецкой мордой».

На этом все и кончилось в тот период времени, когда была еще жива ее мама, когда существовали неотъемлемой частью школы пионервожатые, многие из них были причудливыми существами, сотканными из необразованности, энтузиазма и практически обязательного гормонального дисбаланса или как там назвать это их пребывание в некоем усредненном, как правило, роде.

Ольга тогда почти десять лет жила с ощущением, что умрет от одного прикосновения мужчины. «Немецкая морда» обрубила в ней женское желание «припасть» — или как это называется? — к другой природе.

В эти годы у мамы сильно обострилась болезнь. При отце Ольга не подзревала, что у всякой болезни большой спектр составных. Что аптека, лекарства, градусник и мокрое полотенце на голову — бутончики болезни, за которыми след в след идут пеленки, прокладки, судна. Что все это плохо

пахнет и еще хуже выветривается. При папе она этого не знала, теперь же этому надо было учиться. Тут надо сказать одну вещь. Живи Ольга нормальной, не изнасилованной жизнью, еще неизвестно, как бы у нее получилось с маминной болезнью. Ведь у очень многих не получается. Родных матушек скидывают в богадельни по причине аммиачных паров не с ощущением разрыва сердца, а с полным сознанием, что с парами жить нельзя, а значит, правильно скинуть родительницу.

Я иногда в транспорте разглядываю людей с этой точки зрения: способен ли он или она ухаживать за близким? Не за чужим, а именно за своим — очень близким?

Ах, как неутешительно выглядит картина, хотя и не без случаев попадания пальцем в небо.

...Еду в долгом трамвае. Вламывается пьяная тетка. Остановившись посередине, она внимательно смотрит на нас всех, и мы ей не нравимся.

— Сволочи! — говорит она нам. — Суки вы! Сели и едут... Ишь, с дитями... Рожают... бляди... Я щас вас всех проверю... На вшивость! Снимайте, гады, шляпы! Буду считать гниды...

Она примеряется к ближайшей женщине, та начинает орать, за ней — другие, и выясняется, что это — наш ор — и было целью пьяной бабы. Она просто заходится от восторга, видя наши рты и глаза. Она просто радостно приседает от зрелища нас. Все так поглощены собственным возмущением, что она почти незаметно выскакивает из трамвая, а мы еще долго толчем тему «пьяных стерв», из-за которых мы недосчитываем на ниве жизни Толстых и Чеховых, каждый из нас на ничтожности этой тетки становится выше, лучше. Не все ли равно, что подставить себе под ноги, чтоб взорлить? И тут в транспортном заторе, пока трамвай стоит, к нам по-домашнему, как из соседней комнаты, выходит водитель, тоже простая тетка, в теплом исподнем, торчащем из-под юбки на случай сквозняков из передней двери.

— Раззявили варежки! — говорит она со странной беззлобной ненавистью.

Ненависть эта изначальна. Она как числитель жизни, крупный такой числитель, не два плюс три. И делится этот числитель на некий знаменатель икс — то ли на количество народа в стране, то ли на дни в году, а может, вообще на число, которому еще не назначили имя. В результате деления и рождается, вернее, не рождается, а выпадает в сухой осадок экстракт злобы. Чистое вещество.

— Орете тут! — говорит водительница нам. — А эта пьяная из конца в конец три раза в неделю ездит к парализованной подруге убирать и убираться, потому как трезвые родственники ее бросили, а подруга осталась. Она после ее говнов обязательно напивается. Туда едет тихая, смиренная, а назад — буянит...

Отдаю себе полный отчет: я тоже не мать Тереза...

Ольга же... Ольга... В свои шестнадцать она приняла на себя и боль, и аммиачные пары, и все вытекающее, и было это у нее естественно, как и должно быть у людей хороших. Но ничего сподвижнического на ее лице сроду бы никто не прочел. Я видела ее фотографии тех лет. Сцепленные губы, холодные глаза и обхват себя руками. Странная жесткая поза. Уже потом Ольга сама нет-нет, а вспомнит какие-то знаки судьбы, которые были уже тогда. Знаки судьбы женщины — это знаки мужчин. Казалось, ничего подобного в смысле интереса умственного или там физического и близко не было, но знаки были.

— Были, — говорила она мне. — Еще какие! Однажды иду по улице, а я ходила всегда очень быстро, без этой манеры вразвалочку, откуда у меня время! И вот иду, а под ноги мне летит мяч, детский. Я его взяла рукой, не стала пинать, рядом дорога. Взяла и оглядываюсь... И вдруг понимаю, что

никого нет... Никаких детей... А я чего-то стою, жду... Проехал какой-то парень на велосипеде... Как-то снизу, под согнутый локоть, на меня посмотрел. Я подумала: «Боже мой!» И все. Положила мяч возле урны и пошла, а это «Боже мой!» душу ломит, ломит... Я его лица не видела. Он же меня переогнал, просто взгляд под локоть на дуру, что стоит с детским мячом.

Скажите: в кофоне трепыхалась женщина, нормальные дела. Конечно, нормальные, какие же еще? Но и ненормальные тоже.

За ней стал ухаживать пожилой человек...

СЕМЕН ЕВСЕИЧ

Сосед по площадке случился в результате обменов. Рядом жила колготливая женщина, стремящаяся к совершенству места жительства. Она хотела иметь «окна на церковь» и «утопать в деревьях». В конце концов она где-то «утопла», а рядом появился старый — лет около сорока — еврей с нездоровой мамой. Параллелизм обратил на себя внимание, хотя еврейская мама была еще вполне сохранная и регулярно ходила «в концерты».

Они, Семен Евсеич и Ольга, смущаясь, вешали на архитектурно объединенном балконе женские причиндалы, и он сказал, что его маме пять лет тому сделали операцию на сердце, это большой срок, и теперь «дело как бы... Вы понимаете?.. Времени чуть. У вас самой тоже тяжелый случай...». Они стряхивали с маминых рейтуз капли воды и цепляли их прищепками.

Ольгу почему-то охватил нервный озноб. «С головы до ног, — говорила она. — А косточка на мизинце почему-то встала дыбом. Это ты не поверишь... Но он, мизинец, как бы поднялся... Восстал... Когда я теперь слышу, как говорят: „Сравнил жопу с пальцем“, я не смеюсь ни на миг. Так бывает. На свете бывает все!»

Семен же Евсеич на Ольгу обратил внимание по-глубокому. Его можно было понять. Из-за большой мамы в мужья он не ходил ни разу. Он был хороший еврейский сын. Одновременно он был и математик по профессии. На работе в столе у него лежала «кривая его собственной жизни». Кривая — это грубо. Лучше сказать — «изобара». Можно даже сказать это с большой буквы. Как испанское имя. Так вот, на ней, на этой «кривой Изобаре», мамина жизнь неумолимо кончалась, но и его жизнь, жизнь Семена Евсеича, тоже переставала плавно подниматься вверх, а как бы начинала неуправляемое скольжение вниз. Еще не рывком, не обвалом, но тем не менее. Семен Евсеич знал о роли женщины в жизни мужчины и даже о роли молодой женщины в жизни мужчины с «оппадающей Изобарой».

Ольга была шансом, который трудно переоценить. Общий балкон, практическая привязанность к дому, как и у него, и великолепная перспектива ломануть стену между квартирами. «И даже пусть они живут», — великодушно решил Семен Евсеич о болящих матерях.

Ольга дома повозилась с мизинцем, пока не положила его на место. Но с этой минуты в ее сердце стало раскручиваться отвращение к Семену Евсеичу. Странная вещь! Все достоинства соседа: стирка женских трусов, аккуратное вынесение мусора, опрятность квартиры и половика перед дверью — все легло как бы поперек сознания Ольги. И чем активней шло ухаживание — «я купил вам говяжью печень, с вас рубль шестьдесят, но не берите в голову, отдадите потом», «я и на вас захватил хлопковую вату, взяли манеру делать ее из химии, а она же близко к телу и вызывает аллергию», «я починил вам почтовый ящик, вы видели, как эти негодяи подростки покривили у вас дверцы?» — и так далее до бесконечности помощь в мелких, средних и крупных домашних делах, когда надо передвинуть мебель или навесить шкафчик в кухне.

Семен Евсеич действовал способом захвата жизненного пространства вокруг Ольги. Чтоб куда она ни оглянулась, а он уже был, он уже занимал там место. Это была великая и, можно сказать, беспроегрышная стратегия. В конце концов чему-чему, а искусству захвата чужого нас учили хорошо.

А однажды мама сказала Ольге, что евреи — самые лучшие мужья на свете и это, мол, известно всем.

— Ты к чему? — спросила Ольга, потому что ей и в дурном сне не могло присниться, что говяжья печенка и выправленный почтовый ящик значат больше самих себя.

— Я была в этом смысле полная дура, — говорила Ольга. — Он мне был неприятен этой своей угодливостью, но я себя корила, что плохо отношусь к хорошему. И еще... Мне всегда было стыдно за антисемитизм наших людей. Я могла за него бить морду, поэтому, если мне не нравился отдельный еврей, я делила это свое отношение на два, на четыре, на шесть, на восемь. Делила, а не множила, понимаешь? Я потом поняла, что это тоже стыдно по отношению к тем же чукчам. Но я так медленно развивалась!

Одним словом, вязь добрососедства тянулась и тянулась, больные мамы пили общие чай, но тут стали вспухать первые случаи эмиграции. И Семен Евсеич одним из первых получил вызов откуда надо. И с ним письмо от дальних, но действительных родственников, которые обещали маме еще одну сердечную операцию и всякие другие радости медицины.

Трудно бросать завоеванное. Все-таки так много было потрачено сил и даже обстукана стена легким молоточком на предмет проверки пролегания в ней электрических проводов. Семен Евсеич надел вельветовый пиджак, редкость по тем временам, и пришел к Ольге с глобальным разговором.

— Если б ты знала, как я захотела уехать, — рассказывала она мне. — Я не слышала, что он там лопотал, я просто замерла от мысли, что можно все это послать к ебенематери и начать как бы заново родившись. Я и в мыслях не допускала, что можно уехать без мамы. Я, значит, замерла, а потом поняла суть. Маму он предлагал взять потом. Когда мы там пустим корни, а пока... Ну, дальше у него был вычерченный план по времени и месту. Маму примут за квартиру в хорошую богадельню с обслуживанием. Телевизор, холодильник у него были наиновейшие — все это ей в богадельню... плюс библиотека поэзии, плюс ковер три на четыре и прочая, прочая... Представляешь? А мне так хочется уехать! Так хочется! Ну просто спазм, и все тут! Даже ощущение, что уже лечу и что свободна, что как птица и что ни одна нитка ко мне из прошлого не прилипла. Миг сладкой мечты... А потом, крупная реализация действительности... Вельветовый пиджак там и прочая. Знаешь, какая была вежливая? Как ангел у входа в рай... Они там ведь вежливые, как считаешь? Или праведники тоже могут надоесть до чертиков? Могут! Могут! Я представила, как они недуром прут... Которые хорошие... Все такие на постном масле, с защитными гениталиями, чтоб ненароком не проявились... Но я была вежлива, это точно. Я поблагодарила и сказала, что как он никогда бы не бросил свою маму, так и я учусь у него жить... В таком духе. Он сказал, что еще не вечер — а это правда был день — и он вернется к разговору. Но он не вернулся. Никогда больше...

Много позже я сказала ей:

— Не с этого ли случая ты начала торить дорогу за границу, будто бы за парфюмом, а на самом деле...

Ольга посмотрела серьезно, а потом покачала головой:

— Нет. Ни разу в Польше никакого желания остаться там навсегда не возникало. Но это же понятно... когда торгуешь утюгами, какие могут быть мысли? Утюжки... И вообще, Польша — продолжение отечества и всего с ним связанного.

— Даже на слове «шляхтич» не западала? У меня, например, от него в душе радостный щекоток...

— Ты украинка. Какую-нибудь твою прабабку трахнул поганый лях. В тебе живет воспоминание удовольствия. А я баба русская, у меня другие манки.

ФЕДОР

То было время осенних посылов на овощные базы. В тот раз отдирали верхний гнилой капустный лист. Кочаны хряпали в руках, осклизлые, вонючие, а потом вдруг раз — делались беленькими, крепенькими, и возникало даже удовольствие, вроде ты сам рождал капусту. Правда, сплошь и рядом случалось, что чистенькие бурты, не востребованные жизнью, снова начинали чернеть, мокнуть и вонять, и тогда приходили новые люди и снова обдирали кочан, и бывало, еще что-то оставалось на кочерыжке для следующего захода. Это называлось «всемирной помощью в решении продовольственной проблемы».

А однажды по зелено-черной жиже прошел Федор — «немецкая морда». Он был в высоких резиновых сапогах под самое, самое то место, и это выглядело классно, несмотря, так сказать, на окружающую действительность. При небольшом усилии можно было вообразить, что носитель высоких сапог не инженер-оборонщик на поприще социалистического добывания продуктов, а некий рыбак-поморец, идущий к своему баркасу там или шлюпу, в котором серебряно выгибает спину красавица рыба для красавицы жены. Белое море, белая рыба и белое тело женщины. Петров-Водкин. Альбинос.

Сапоги остановились рядышком. Невозможно было не поднять голову на эту картину. То ли потому, что у нее случилась острая эмоциональная реакция на резиновые отвороты, которые существовали выше ее, сидящей на овощной таре типа ящик, но сразу вспомнилось то чувство, когда она так хотела удариться о мужскую грудь... Опять же, и теперь ноги Федора вызывали совсем не духовные желания. Что не удивительно. Ведь в сапогах шел не любимый писатель Ольги Юрий Трифонов, которого она только что переплела, вырвав из «Нового мира». Шел бы Трифонов — у нее случилось бы смятение в голове. А шел Федор — смятение было другого рода. Поэтому хамство как способ защиты от себя самой было уже за зубами и возбуждало язык, но нельзя же, в конце концов, бездарно повторять саму себя?

— Привет! — сказала она обреченно.

— Ну и слава Богу! — ответил Федор. — А то я иду и думаю: как ты меня обзовешь в этот раз?

Он вырыл из листьев еще один грязный ящик и осторожно присел на него.

— Развалится или нет? — спросил он.

— Сижу... ничего, — ответила Ольга.

Федор по-хозяйски обшупал ее глазом. Скукоженная девка в «базной одежде». Так он должен был подумать — так он и подумал, а Ольга, как она потом сказала, «проинтуичила его впечатление».

— Ох как я разозлилась! — говорила она. — Он был одет классно, а я черт-те в чем. В маминых, считай, военных обносках. А у нас бабы специально для базы купили в «Детском мире» яркие ветровочки из болоньи. Там же мужиков было навалом, и главное — из очень приличных институтов. Там были интеллигентские сливки... Но у меня даже на детский товар тогда лишних денег не было.

Федор рассказал, что два года как женат. Жена однокурсница, из Уфы.

— Можешь смеяться, — сказал он. — Она башкирская морда.

Значит, он действительно помнил тот случай. Злопамятный.

— Восточная красотка, — с нежностью добавил он, — из выточенных по кости. Отец у нее большой босс, так что у нас хорошая квартира, а моя мама живет там же, по месту нашего с тобой рождения.

— Дети есть? — спросила Ольга.

— Будут, — ответил Федор.

— В смысле — жена беременная? — уточнила Ольга.

— В смысле хотим этого, — засмеялся Федор.

— Рада за тебя, — уныло ответила Ольга и быстро добавила: — Я не замужем, не беременная, живу с мамой на старом месте.

— Почему? — печально спросил Федор.

— Почему на старом месте?

— Почему такая красotka не замужем? Куда смотрят мужики-идиоты?

Что-то у нее в душе развязалось или отомкнулось, но ей стало как-то легко и спокойно, и она посмотрела на Федора прямо и увидела его глаза, большие, серые, сочувствующие, но не оскорбилась чужой жалостью, а приняла ее как дружбу, как протянутую руку и даже немножечко как любовь.

— Я сама определила все словом «немножечко». Могла другим, но у меня тогда была до пола заниженная самооценка.

В тот год был невиданный урожай капусты. Это было очередное бедствие для страны. Капуста гнила, разлагалась, овощные базы требовали ученых и студентов, хряпали в их руках кочаны, так и не узнав, для чего кучно наливались на природе. Именно в тот год капусты в стране хватило едва до марта, подтверждая главный тезис социализма: при нем все может быть бедствием, а урожай особенно.

Их капустный роман был страстным, нежным и обреченным. Они были как спустившиеся с разных гор туземцы, которым надлежало вернуться точно ко времени к своим народам. Вопрос об «остаться» как бы и не возникал, даже на уровне идеи. Просто случилось то самое «немножко».

Был некий казус. Ольга оказалась девственницей. В тот ее трагический случай она была прилично травмирована, и щедрые врачи заштопали ее, что называется, до основания, гордясь собой, но сказать Ольге об этом забыли или не посчитали нужным, а может, сказали маме, а она постеснялась передать Ольге — поди разберись сейчас с этой старой и уже никому не интересной пришитой девственностью.

Но Федора этот деликатный момент несколько обескуражил: за что его тогда таскали по милициям? К тому же Ольге как-никак двадцать четыре года, странновато все это, чтоб не сказать больше... С другой же стороны, у Федора возникло и некоторое чувство удовлетворения деятельностью первопроходца или кого там еще...

Ольга была смущена другим. В свое время она всерьез была заморочена мыслью, что ей придется когда-то перед кем-то «объясняться». Это отравило ей всю раннюю юность, когда она думала о себе как о человеке порченом. Получается, зря морочила себе голову. Но, в общем, они потом с Федором обсмеяли эту историю, и он был и остался единственным мужчиной, которому она рассказала, как тогда все было... Из женщин была я.

ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Классный парень был, классный!

Потом она поняла, что находилась под впечатлением общественного мнения. Он был, так сказать, назначенным любимцем. Конечно, интересен первый вскрик по этому поводу, но поди вычлени его теперь из всего. Но еще до вступления в комсомол Ольга знала: в райкоме *такой* инструктор, что одна десятиклассница из-за него чуть не отравилась — выпила какую-то гадость, но, слава Богу, гадость оказалась слабее жизни. Потом, после всего, у Ольги было непреодолимое желание найти ту дуру и узнать, что с нею случилось на самом деле и отчего она пила некачественный уксус. Нашла. Дура работала в паспортном отделе, поэтому Ольга просто-напросто набрела на нее, когда пришла пора получать паспорт. Дура была покрашена так, что хотелось или отвернуться, или хотя бы прикрыть глаза, потому что возникало чувство сверхвпечатления. Это «сверх» почему-то сразу освободило Ольгу от желания что-то узнавать, выяснивать. Что бы там ни было на самом деле с этой сверхдевицей, Ольге стало безразлично, скучно, ее состояние души не могло пересекаться с состоянием души крашеной. Не могло — и все. Ольга

заполнила нужные бланки и ушла. Когда уже была в дверях, услышала: «А эта пионеруважатая еще работает?» — «Работает», — ответила Ольга. «Вот сука». Разве не повод для продолжения — или начала? — разговора! Ольга ведь теми же словами думала о вожатой! Но инерция отторжения, случившаяся с начала встречи, оказалась сильнее. Ольга потопталась у двери и ушла.

Надо начать с того, что на эту самую долбаную конференцию Ольга не должна была попасть по причине своего индифферентного отношения к общественной деятельности. Ей было не до нее, мама тогда была совсем плоха, и однажды Ольга вдруг ясно увидела, что мамы может не стать. Она тогда отодвинула локтем школьные дела и столбиком подсчитала, на что ей придется жить. Добраивалась однокомнатная кооперативная квартира «для нее». Подумалось, что надо будет от нее отказаться, вернуть сумасшедший пай — шестьсот рублей — и разделить его на полтора года, чтоб кончить школу. «Вот эти деньги столбиком, — рассказывала потом Ольга, — были моим первым экономическим образованием. Я не считала себя бедной, как церковная мышь... Отнюдь, как сказал бы теперь сын Тимура. Но ощущение собственной жалкости откуда-то взялось. Не от возможного голодания, а от самого столбика арифметики».

Она была поглощена этим возможным будущим одиночеством и еще странным открытием: трудные случаи из жизни других ей не помогают. Несчастье других в прошлом и в настоящем, вот это «посмотри на них», ее не утешает. «Я открыла в себе эгоизм волка. И сказала: я одна себе друг, товарищ и брат. Ты же помнишь, как это висело на всех стенах: „Человек человеку...“ А я, тогда еще маленькая дурочка, почувствовала: что-то тут не то... Какая-то излишность... Мы же народ с перебором...»

Так вот, она тогда была поглощена всем этим, а ее — звериную эгоистку — взяли и послали на конференцию. Было школьное собрание, чего-то там провозглашали, сидел в президиуме Юрий Петрович и щупал девчонок глазами, рядом с ним мелко суетилась вожатая. А когда все кончилось, Ольга ни с того ни с сего оказалась в списке делегатов. Почему-то этому обрадовалась мама, даже на ноги встала и купила в галантерее кружавчики.

Она хорошо помнит, как после конференции глашатаи скликали разные группы делегатов и все сбивались в цветастые кучки по интересам. Но у Ольги на этом празднике энтузиазма интереса не было. Она уже собиралась уходить, но хотела высмотреть Федора. Когда возник перед ней Юрий Петрович.

— Ну как? — сказал он. — Ищешь своего друга?

Такое мнение было ей совсем ни к чему! Она Тедди сто лет не знала, какой он ей друг?

— Да вы что? — закричала она. — Мы ж из одной квартиры!

— У! — ответил Юрий Петрович. — У! Мы все из одной квартиры! Мы все одна большая семья! — И он взял ее за локоток и повел. Они шли мимо каких-то стендов и прислоненных к стене транспарантов, обвисших без натяжения руками и ветром, в красном материале призывов и лозунгов мелькнуло лицо вожатой. Ольге показалось, что вожатая ее ненавидит. Стало почему-то еще обидней.

Юрий Петрович открыл дверь, на которой было написано «Штаб». Это была странная комната-сейф, зарешеченная и даже как бы с металлическими стенами. Замок за спиной щелкнул громко, а ключ еще какое-то время позванивал брелком. Она слушала это «дзинь-блям-дан» — или как еще передать звук брелка в полутемной комнате по имени «штаб»? — а чужая рука нырнула ей под платье.

Полное оупление, полное...

В сущности, с его стороны совсем не требовалось рвать ее зубами. Это она поймет потом и возненавидит свою полную покорность. И всегда будет вспоминать лицо вожатой, мелькнувшее в красных тряпках. Почему она, видя, с кем шла Ольга, так подло оговорила Федора?

— Знаешь, — говорила через много лет Ольга, — в какой-то момент им стало мало комсомольцев-добровольцев... Реки вспять — это оттуда же... Ломать через колено... Хоть что... Хоть природу, хоть бабу.

Странно, но я не спрашивала ее, почему она тогда не заорала. Дело в том, что я знала почему. Я и в себе ощущала это: стыдную, идущую из потрохов покорность. Никто про меня это не скажет. Я для всех «крутое яйцо». Но я-то сама знаю! Я знаю, как умирает сопротивление, как оно сходит на нет, и в покорстве своем начинаешь жаждать только одного — тайности стыдного твоего покорства! Поэтому я буду последней, кто бросит в Ольгу камень за то, что она тогда не выдала Юрия Петровича. Она не выдала себя. И маньяк очень хорошо нарисовался в такой ситуации. На кого еще так легко свалить собственную трусость?

А Юрий Петрович все-таки однажды подзалетел. В том же «штабе». Девчонка «устроила ему слезы с завыванием», на которое сбежались дружинники. Они стали молотить в дверь, Юрий Петрович вышел им навстречу и мрачно сказал, что «разбирается с тяжелым случаем». Но пленочка, так сказать, проявилась... Куда-то он потом делся, на девочку навесили психоз, родителям вручили что-то ценное по лотерее. Только во время перестройки вновь мелькнул светлый облик Юрия Петровича в сугубо патриотических колоннах, и Ольга, будучи абсолютно равнодушной ко всем и всяким политическим баталиям — «а пошли они все!», — сказала мне тогда: «Мне все равно, за кого... Но я точно знаю, против кого...» Надо же случиться такой глупости, что собственный муж оказался идейным союзником Юрия Петровича.

— Ну как тебе это нравится? — спросила она. — Мне наплевать на политику, но жить я с ним не буду. Такое внутри! Боюсь сказать — «в душе». Хочется думать, что в ней нет такой гадости. Но близко к душе — точно. Я не хочу *тех людей*, скажем, предсердием и желудочком. Пусть даже эти хуже. Вот такая я зараза.

Мы за это выпили вермут со льдом.

— Господи! — сказала Ольга. — Завоевали бы нас, что ли, приличные инопланетяне... Не дадим мы себе ладу, не дадим...

Как раз кончался утюговый бизнес. Жизнь требовала нового семени.

ФЕДОР

Однажды, когда они искали очередное «где?», Федор привел ее в старую квартиру — Луиза Францевна ездила в тот день к подруге в Одинцово. Старушки традиционно каждый год собирались на день рождения Рашида Бейбутова, которого слепо всю жизнь любила одна из них. Прошедшие Крым и Рим пожилые советские дамы именно в этот день отдавались исключительно любви, в какой уж раз разглядывая фотографии «сладкого мусульманина». Подруге однажды в жизни обломилось «счастье поцелуя», когда она, вскарабкавшись на сцену, сумела из рук в руки передать кумиру букет. Она снова — какой уж год — говорила о запахе Рашида Меджитовича, не каком-нибудь примитивно-шипровом (других тогда не знали), а волшебном, сказочном «запахе мужчины», который ей удалось унюхать, когда великий певец торкнулся носом в ее угреватую щечку. Никто из подруг не замечал, что чем дальше оставался во времени эпизод, тем круче был поцелуй и сильнее запах. Каждая, замирая, ждала окончательного конца этой единственной встречи.

Луиза Францевна уехала, набрав кучу таблеток от давления, сухой торт и баночку спрятанного на этот случай клубничного варенья.

Старая квартира оглушила Ольгу затхлой тишиной. Она тихо обошла все службы, покрашенные извечным кубовым цветом.

В комнате Луизы Францевны за шкафом висело знаменитое сиденье для унитаза, прикрытое половинкой старенькой косынки в кораблицах и облач-

ках. Другая половинка лежала под телевизором. Это была трогательная попытка дизайнера, правда слова тогда этого не было, просто рвалась косыночка на две части, чтоб в комнате «было со вкусом». Под сенью Луизы Францевны у Ольги случилось то ощущение счастья, ради которого двое сбегаются вместе...

Они лежали на спине и смотрели на выцветшие кораблики и облака. Ольге было до слез жалко Федора. Каково ему «теперь» возвращаться домой, ведь не «халам-балам» то, что у них было на двоих? Не халам-балам? Она ждала и боялась, какие у него случатся первые слова.

— Откуда мне было знать, что для него все случаи одинаковые? Он ничего не понял, и меня он не заметил как отдельную там, особенную. И что мне было делать со своим ощущением? Оно-то у меня было поделенным, разделенным, не знаю, как назвать... Одним словом, мне был нужен именно он. А я ему как бы и нет... На этом все и кончилось... Еще пару раз где-то встретились, но я вся зажалась, а у него что-то там не заладилось по работе. Расплевались... Вполне по-мирному.

Ольга тут врала. И я бы на ее месте врала тоже. Припала она к Федору прилично. Все тогда сошлось: освобождение от памяти Юрия Петровича (будь он проклят!), родственность, которая так была ей дорога, даже те старые неприятности с милицией сыграли свою положительную роль, а некоторая виноватость Ольги была очень тут кстати, и, наконец, любовь под сенью унитаза сиденьца оказалась просто небесной, так что все слова Ольги на тему «расплевались» были полуправдой, если не вообще ложью.

Однажды она даже не выдержала и пошла посмотреть на Федорову жену. Мне она об этом просто проговорила, описывая сапоги башкирской женщины. Откуда она могла о них знать? Значит, ходила. Значит, смотрела.

Судьба свела ее с Федором и еще раз. Дело в том, что когда кооператив «для нее» был в конце концов построен, ни мамы, ни папы уже не было, а дочка уже была, и естественна была мысль: квартиру сохранить для нее. А пока дочь еще девочка, решила ее сдавать, но очень боялась, чтоб никто не узнал и не отнял бы как лишнюю, как способ нетрудового дохода. Поэтому сдавали квартиру только очень, очень своим людям. Но случилось, что «свой» что-то там получили, съезжали, пришлось искать новых «своих». И вот однажды всплыл по этому делу Федор. Позвонил на работу сам, но от хорошего знакомого, разговорились...

— Слушайте, вы не Федор?

— Ольга, неужели ты?

Она сразу сказала себе «нет» на все поставленные вопросы и даже на главный — для Федора у нее квартиры нет.

Еще плелась какая-то словесная интрига...

— Знаешь, ты опоздал... У меня живет родственница из Свердловска.

— У тебя не было родственников в Свердловске!

— Извини. Но мужнины — как свои. А тебе, собственно, зачем квартира?

— Так я же, детка, одинокий мужчина. Я как перст... Маму схоронил... Давай встретимся, а? Ну прошу тебя!

Она хотела на него посмотреть. Просто посмотреть. Встретились в кафе «Адриатика», что в Староконюшенном. Он нагнулся ее поцеловать. На нее остро пахло запущенным мужчиной. Сколько сидели, столько ощущала несвежесть его рта, его рубашки, волос, она даже курила, чтоб отбить этот дух перемен, хотя вообще была некурящая. Так, иногда, для понта. В ней стало расти раздражение против него же, что она пришла и теперь сидит с ним, «таким».

— Ты дичаешь? — спросила она его.

— В каком смысле? — не понял он.

— Во всех.

— Брось! — обиделся он. — Я в порядке. Найду хату — и тип-топ.

— А что у тебя случилось с твоей шамаханской царицей?

— Это ты про кого?

Оказывается, с башкиркой он развелся еще *тогда*. Он как бы даже намекнул, что из-за нее...

— Неужели? — засмеялась Ольга. — Так вот живешь и ничего про себя не знаешь! А мне, может быть, лестно?

Он не так понял и положил руку ей на колено. Ее охватило чувство жалостливого отвращения. На какое-то время она даже не отдернула ногу, а сидела замерев, «из вежливости» — скажет она мне через время, но потом отодвинула ставшую какой-то тяжелой и чужой ногу.

— Мы это проехали, — засмеется она Федору. — Так что у тебя с твоими женами?

— Ничего, — ответил он. — С первой не было детей... Со второй... У второй был ребенок от первого мужа. Рос, рос и вырос в такого жлоба...

— Сколько ж ему лет?

— Пятнадцать... У него своя чашка. Своя ложка. Он их выделил на полочке и накрывает марлей. Мать все это блюдет, а я вечно эту марлю задеваю, сдвигаю с места. Да ерунда все это! Ты мне лучше сдай квартиру... Прогони родичей!

— Не получится, — сказала она.

Федор расплатился в кафе, но когда она достала из сумочки деньги и сказала, что платит за себя сама, деньги взял спокойно, без всяких там «да что ты!», «обижаешь!». Не обиделся, одним словом. А она — тоже идиотка — деньги вынуть вынула, а рассчитывала на его «замашет руками». Одним словом, они не совпали. Всю дорогу Ольга думала: а не отодвинь я коленку, прорезалась бы в нем мужская щедрость? Вопрос ответа не получил, и она сказала себе: с ними (мужиками) у меня только отрицательный опыт. Потом она поймет, что нельзя обстоятельствам жизни давать определение. Какими бы они ни были, но, существуя вне системы определений, существуя, так сказать, энтропически, в хаосе обстоятельств, факты еще имеют шанс видоизмениться, выстроиться во вполне благополучный клин ли, ряд, круг... Названные же, сформулированные, они как бы подчиняются команде определяющего слова, и тут уже — без вариантов.

Определяющими словами были — отрицательный опыт.

Пришла пора сказать об Ольгином муже, возникшем после Федора. Значит, была осень капусты, потом, естественно, зима, а с зимой — проблема сапог.

КУЛИБИН

— Сапоги есть у Кулибина, — сказала ей сослуживица. — Он привез из Германии, а бабам в его отделе не подошли. Девки мерили, приличные сапоги, но не ах...

— Я не знаю Кулибина, — сказала Ольга.

— Не знаешь Кулибина? Кого тогда ты знаешь? Чернявый такой, у него еще зуб на зуб налезает.

— А! — сказала Ольга и решила: раз знаю зуб, вполне могу сходить и спросить про сапоги. В лифте встретились неожиданно, Кулибин как раз нес коробку. В серой двенадцатиэтажной «свече» все друг друга знали в лицо, Кулибин улыбнулся своим выпирающим, как бы предварительным, зубом, Ольга в другой раз сделала бы вид, что читает правила эвакуации из лифта, но тут... Коробка определяла линию поведения.

Господи, думаю я иногда и об Ольге, и о себе, — как мы жили! Как нами руководили мохеровые кофточка на пуговичках и без, кожаные перчатки, джинсовые юбки с кожаным лейблом. Сроду бы мы не стали ручкаться с N, но поди ж ты... Шапка... По твоим деньгам и то, что надо, по

виду. И ты перся к N, неся на губах эту гадостную улыбку соискателя дефицита. Сколь угодно можно внушать себе, что все это ерунда и не шапкой определяется жизнь. Конечно, не шапкой... Разве я о ней? Я об улыбке... Я об униженной жалкости этих отношений...

К случаю Ольги это даже не имело отношения, разве что к самому началу встречи в лифте. Потому что потом у них как-то очень быстро все закрылось на другом уровне.

Кулибин жил с сестрой и матерью в Тарасовке, на дорогу тратил два часа в один конец, страстно мечтал переехать в Москву, и если говорить честно, не было это чем-то неразрешимым. Мужчина он был вполне приличный и по природе, и по социальному положению, у него были спорадические женщины — а почему бы им не быть? Некоторые из них хватались за него обеими руками в расчете на серьезные продолжения, но у Кулибина до сих пор что-то там не срабатывало в ответ. Если говорить старорежимными словами, которые уже сейчас практически сошли на нет, Кулибин был человек с понятиями и запросами. На них, как мы узнаем впоследствии, он и подорвался, как сапер на mine. Кулибин страстно хотел в Москву посредством женитьбы, но ему — идеалисту хренову — еще нужно было эту женщину захотеть как телом, так и душой. Такое многоканальное у него получалось желание.

Сапоги Ольга не купила, они ей оказались велики даже на шерстяной носок, но разговор завязался и как-то естественно перекинулся из торгового плана в область тонких вибраций. Тогда недавно умер Шукшин, и все говорили: «Шукшин, Шукшин», — все интеллигентные люди как бы сплотились в горе, что вообще у русских получается куда лучше, чем сплочение в радости. Ольга и Кулибин тоже сцепились на этой теме, что называется, отвели душу в жалости, и им стало хорошо.

Кулибин был приглашен домой и познакомлен с мамой. Его совершенно не смутило спущенное до полу одеяло на маминой софе по имени «Ладья», он даже скумекал тайну этого трюка по сокрытию «утки». «Скажите пожалуйста, какие устроили секреты!» — говорил потом Кулибин. Он был нормально хороший мужчина, он понимал, что такое лежачая болезнь и все проистекающие от нее обстоятельства. Он проникся сочувствием к Ольге и оценил качество ее моральных принципов. Когда у них пошли объятья-поцелуи — а дело это, как правило, вечернее, — у него пару раз случались накладки в виде опоздания на электричку, но он не использовал это в целях давления на Ольгу. Отношения развивались медленно и красиво, можно сказать, на чистой дистиллированной воде.

Так что замужество Ольги было вполне по любви и уважению. Кулибин оказался хорошей партией, а то, что он в результате переехал в Москву и перестал мерзнуть в неотапливаемых вагонах, так это уже просто приложение — добавка к весьма и весьма удачному браку. Хотя само словосочетание нелепо.

Со временем выяснилось, что Кулибин — человек хозяйственный: в доме перестало капать, дуть и искрить. Они теперь ездили на работу вместе, Ольга висла на его руке, ей было приятно, что есть на ком и не надо сжиматься в собственном одиночестве. Кулибин посверкивал своим «предварительным» зубом, вполне ощущая себя силой защиты и надежды.

Начало конца не имело ни вкуса, ни запаха, ни вида.

Когда потом, через годы, Ольга — в «чисто исследовательских целях», скажет она — будет искать причину, то так ничего и не найдет, потеряв клубочек, по которому шла.

— Грубо говоря, — засмеется она, аккуратно облизывая край рюмки с шерри, — грубо говоря, моя дорогая, я уперлась мордой в утюги и кипяильники. Кстати... Ты знаешь, как пахнет Польша?

ЗБИГНЕВ

— Она пахнет бигосом и духами «Быть может». Надо сказать, мне это сначала даже нравилось. Потом, правда, стало тошнить. Но уверяю тебя, это моя личная эндокринология — или как зовут то, что отвечает в нас за все подспудное? Вегетатика? Серьезно? Не подозревала... Я думала... татика — по грубой части... А я ведь про флюиды тонкие, паутинные. Когда в один момент нечто тебе нра...нра..., а в другой — на фиг не нужно.

Дочь, Маня, уже ходила в школу, мамы уже не было.

В душе Ольги было томливо.

Странное ощущение червя внутри. Вначале даже чисто физическое. Как будто кто-то в тебя внедрился, подсосался и тянет из тебя соки. Выяснилось: у нее нехватка железа, анемия. Надо бороться за повышение гемоглобина.

Именно тогда Ольга поперлась в электрический магазин, много чего увидела и купила соковыжималку, чтобы дрючить на ней морковку. Каждый день стакан сока, и не меньше. Одна дама из их отдела, из тех, что были прикреплены к разным питательным кормушкам, сказала Ольге:

— Для крови надо есть свежее парное мясо. С рынка. А от моркови у тебя только моча улучшится.

Хорошо отреагировал на этот пассаж Кулибин. Он сказал Ольге:

— Ты покупай на рынке себе, а нам с Маней не давай. Нам сгодится и магазинное.

— Два обеда, что ли, готовить?

— Ну, давай включай меня в процесс...

На том и кончилось. Попила лекарства, а к врачу больше не пошла. Через какое-то время услышала, как снова ворохнулся в ней старик червяк, ища жилу послабее.

Тут и случилась поездка в Польшу. Называлась: «по обмену». Ее научили, что лучше там купить, имелось в виду для себя, ничего другого в голове и близко не было. Измерила Маню вдоль и поперек, походила с сантиметром вокруг Кулибина, когда обхватывала его за задницу на предмет возможных джинсов, червь-подселенец как-то дернулся, возникла даже тошнота. Ею и запомнился этот обхват руками мужниных чресл.

Поездка проходила нормально. Польша нравилась. Все есть. Народ с лентой, совсем как мы. Но выглядят куда лучше. Пани их гонористые, к русским презрительные, но Ольга это принимала. «А чего им перед нами стелиться?»

На обратной дороге — что-то напутали с билетами — она попала в купе с поляками. Двое из них почти всю дорогу просидели в ресторане, а того, кто с нею остался, звали Збигнев.

Они были ровесники, Збигнев немного учился в Москве, поэтому вполне прилично говорил по-русски. Ольга за время поездки тоже нахваталась фразочек, одним словом, без проблем. Збигнев был рыжий, большой и смешливый.

Он ехал в Москву в командировку на фабрику «Свобода», вез образцы польского парфюма — и чтоб показать, и чтоб одарить. Ольге тут же обломилась изящная темно-синяя коробочка «Пани Валевской». Она приняла презент радостно, ни на грамм не сомневаясь в его искренности. Их дорожная любовь, практически без раздевания, вся — сплошное ухищрение, оказалась такой головокружительной, что в самый что ни на есть момент Ольга едва выдохнула: «Ну, матка боска Ченстоховска!» И они так захохотали, что Ольга чуть не подавилась смехом, и Збигнев бегал за водой, и его захотела затащить к себе проводница Женя. Он едва вырвался, а проводница весь рейс люто ненавидела за это Ольгу. Это потом, потом они станут подружками, когда дорога в Польшу и обратно будет освоена, как электричка в Тарасовку, а Ольга станет позорной спекулянткой. Разве тогда кто-то знал, что она на самом деле спасительница отечества по имени «челнок»?

Что такое был Збигнев в жизни Ольги? Знак отваги? Ишь, мол, как могу! Знак радости, которая, оказывается, гнездится где-то в тебе самой, и только при помощи радости, живущей в другом, она всхлопывает крыльями как оглашенная — и из ничего получается все! Ольга как дура захочет потом искать хлопанье крыльев с Кулибиным, но все будет мимо, а когда она будет класть на него свои ладони, то всегда будет ощущать шероховатый сантиметр, которым ей как-то пришлось опоясать его чресла. Ах, эти органы чувств! Какие подянки они нам подбрасывают!

Збигнев в жизни был один раз. Он обещал позвонить в Москве — не позвонил. Когда через год, уже с утюгами и кипятильниками, Ольга приехала в Варшаву, она торкнула пальцами цифирьки телефона. Ей ответили и тут же послали «к матери Бени». Скоропалительность адреса говорила о том, что его приходилось называть не один раз. «Ах ты сукин сын! — с нежностью подумала Ольга. — Устроил ты всем свободу на баррикадах».

Не было ни обиды, ни чувства оскорбленного достоинства, более того, где-то жило удовлетворение, что не было у них «другого раза», что все так замечательно кончилось смехом и сознанием удивительной легкости любви.

А Кулибин в джинсы, которые в конце концов привезла ему Ольга, не влез. Он стоял перед женой раскоряченный тугой материей, кончик молнии стыдливо застыл на самой что ни на есть сути, не в силах сомкнуть зубчики застежки.

— У них же не те размеры! — сокрушался Кулибин. — Мы же телом мощнее...

— Снимай, если сумеешь, — сказала Ольга. — Но не дергай больше молнию — мне их еще продавать.

Она знала, что виновата сама: не перемерила мужа с того раза. Все так и ездил с первой меркой. А он в это время ел? Ел! Толстел? Толстел! Что ни говори, они с Ольгиных поездок стали питаться лучше. Когда у нее полез вниз гемоглобин, она пошла и купила хороший кусман парной говядины. Для всей семьи.

ВИК. ВИК.

Чем отличаются тридцать шесть лет от сорока шести? Ощущением, что тридцать шесть — это почти конец, тогда как сорок шесть — самое начало. Ольга широко, с помпой отгуляла тридцать пять, потом у нее опять случилось падение гемоглобина, горстями глотала ферроплекс и засыпала на ходу. Ей посоветовали хорошего специалиста именно по этой части, назвали таксу, Ольга дернула плечом: «Хапуга!» Это было не так, такса как такса. Но у нее было время плохих ощущений. Почему-то стал страшить возраст, годы казались длинными и плоскими, в компании ей однажды дали на скидку тридцать семь, после чего она хлопнула дверью и ушла. Дома уставилась в зеркало, и оно ей не польстило. Более того, именно в тот вечер оно исхитрилось показать все завтрашние изъяны, как скоро потечет у нее подбородок, вон уже сейчас всю прокладывается русло будущего обвала. Мощно проявится и «собачья старость»: черные канавки от углов рта станут рытвинами, безнадежно глубокими оврагами, молодись не молодись, они нагло прокричат про твои годы. Ольга грубо взяла себя за щеки и оттянула кожу к ушам. В таком виде она стала похожа на маму в гробу: в маме без следа исчезла мягкость, округлость лица, а кость победно выпятилась, Ольга даже заплакала над мамой, жалея не просто утрату. Утрату лица. Что ж ты, товарищ Смерть, так выпираешь, если уже все равно победила и взяла верх? Могла бы оставить на прощание хоть толику живого, а ты уж прибралась так прибралась... С полной, можно сказать, окончательностью.

Ольга вообразила себе болезнь и от дурных мыслей совсем поплохела. Все виделось как бы на излете, было жалко себя, Маньку, дурака Кулибина. Господи! За что?

Одним словом, пришлось идти к врачу-хапуге. Он назначил ей довольно позднее время, поликлиника чернела окнами, пахло хлоркой мокрых полов. Она поднялась на второй этаж, шла по коридору, и ей было не по себе от безлюдья, закрытых дверей и погашенных лампочек.

Доктор ждал ее, разговаривая по телефону. Он кивнул на стул — садитесь, мол, не стойте, — но продолжал общаться, и ей хочешь не хочешь пришлось слушать советы, которые он давал по телефону.

Это был еще тот разговор.

Доктор почти весело предлагал выкинуть к чертовой матери все лекарства — и «начать жить!». Это он повторил много раз, каждый раз интонируя по-разному. То упор делался на то, что надо начать. «Е-мое! — говорил он. — Сколько же можно! Ведь уже тридцатник! Начинай! Начинай! Действуй!» То это выглядело как бы с другого края: «Жить надо! Жить! В совокупность этого понятия болезнь заложена как составная. Поэтому живи спокойно, болезнь сама уйдет, когда надо. Она не дурей тебя».

— Я уже все поняла, — сказала ему Ольга, когда врач положил трубку и брезгливо вытер ладонь белоснежным носовым платком. — Надо подождать, когда болезнь уйдет.

Он посмотрел на нее какими-то вымученными глазами, потом тяжело вздохнул и сказал, что называется, не по делу:

— Вы ели когда-нибудь яблоки с мороза? Чтоб зубы стыли? Я люблю. Из холодильника такие не получают. Они там вятые.

— Вялые, — поправила Ольга.

— Ну да, а я как сказал?

— Неправильно, — раздраженно ответила она. И пожалела, что пришла.

Потом все было как у людей. Расспрашивал, слушал, мерил давление, разглядывал анализы, клал на кушетку и пальпировал живот. Она отметила, что у него теплые и нежные руки. Пальцы осторожно помяли низ живота. «У гинеколога давно были?» Скажи она «давно», свалил бы все на это, но она умная, она была «недавно» — «там у меня все нормально».

— Ну и славно. — Врач пошел мыть руки, и ей показалось, что делал он это долго и брезгливо, как после телефонной трубки.

«Не знает, что сказать, — думала Ольга. — Что они вообще могут знать? Как можно заглянуть вовнутрь и видеть то, что там затаилось? Как? Сейчас навypiшет кучу таблеток, посоветует делать зарядку. Господи, зачем я, дура, пришла?»

Доктор сел, запахивая на себе куцый халатик.

— Вы инженер? — спросил он.

— В общем, да. В НИИ.

— Понятно, — устало ответил он. — Каждый день одно и то же... Одно и то же... Так?

Ольга хотела сказать, что не совсем так, что есть еще утюги и кипятильницы, и поездки в Польшу, и многообразие жизни вокруг самой поездки, отнюдь не одно и то же, отнюдь. Но ведь это его не касается, абсолютно!

— Как у всех, так и у меня, — ответила она.

Он кивнул и стал выписывать рецепты.

Она взяла бумажки, положила на стол конверт. Врач раскачивался на стуле, а Ольгу всю наполнял гнев. За что? За что? За что он берет с нее деньги? Ей говорили, что он диагност каких мало, ей говорили, что к нему не попасть... А она одна-одинешенька в пахнувшей хлоркой клинике с погашенными окнами, и не толпится в коридоре хворый люд в последней надежде именно к этому доктору. Это она, идиотка, приперлась — Дунька с мыльного завода, как говорила их соседка еще по коммуналке. Господи, сто лет ее не вспоминала, а тут просто услышала это презрительно-протяжное, с напевом, с окрасочкой: «Ду-у-унь-ка! С мы-ы-ыль-на-ва за-а-а-вода явил-а-сь не запьли-ла-а-сь»...

Это я. Сказала о себе Ольга.

— Что вы? — спросил врач.

И вот это произнесенное, как оказалось, вслух слово и то, что она не заметила собственного говорения, сотворило с ней какую-то внутреннюю гадость, которая, отвратно шипя, устремилась к горлу. Ольга едва успела сделать не то шаг, не то бросок к раковине, и из нее пошло это нечто, пенящееся, коричневое. Каким-то сторонним умом она подумала: хорошо, что это не случилось в метро. Могли бы загрести в вытрезвитель, у нас не разбираются. И еще она отвергла само существование врача, хотя он и стоял рядом, и держал за плечи, и говорил глупые слова о том, что надо успокоиться. А то она этого не знает! Она успокаивается, счастье какое — раковина, можно смывать после себя гадость и не оставлять следов. Потом она в ознобе лежала на кушетке, и он ее укрыл ее же пальто и дал ей глотнуть какую-то жидкость, которая осадилась в ней муть, и, в общем, ей сразу стало почти хорошо. Вставай и иди, чего разлеживаться, ну, сбилась от злости, от психа, тоже мне — повод распластываться. И она стала подыматься, а он прижал ее к кушетке, как непокорливое дитя. Поди разберись, из чего что... Но из легкой, нежной тяжести его рук пошла разматываться в ней такая слабость, и даже возникла ни на чем не основанная мысль, что все у нее будет хорошо, независимо от нее, а зависимо от чего-то большего, от кого-то главного. Она подумала: «Если бы был Бог...» Но мысль показалась дикой, ибо это было совсем другое время, с другой логикой, в основе которой стояла выпрямленная с палкой в руке обезьяна. Это она, размахивая этой самой палкой, сбила с дерева банан исключительно для себя и родила производительные силы и производственные отношения. «Неужели? — неожиданно подумала повергнутая Ольга. — Неужели Его нет?»

Но разговор о проникновении в сознание Бога, — не о проявлении Бога в себе — до этого нам не дойти, — мы начнем с нею много позже, когда сама эта тема вырождается вконец, потому что каждый начнет ее лапать немытыми руками, и умственный наш Бог спрячется от нас напрочь, оставив — может, даже окончательно — в позе той самой первичной обезьяны.

— Бог нас покинул, — скажет мне Ольга, когда мы вляпаемся в чеченскую войну. — Я так и знала, что Он уйдет. Мы Его не заслужили.

Я буду тогда сопротивляться исключительно из чувства самосохранения: держаться не за что, кроме как за Него?

— За палку, — скажет она, вспомнив это свое обезьянье видение на больничной кушетке. И тогда же расколется на этой своей истории с врачом.

Но это *будет еще очень и очень не скоро*.

А пока она лежит на кушетке. Ей явно полегчало, ушли тошнота и озноб, но врач продолжал сидеть рядом и все смотрел на нее, смотрел.

— Вы очень переутомлены. Чем? — спросил он.

Она неожиданно уютно подтянула колени под собственным пальто — драп с норочкой — и стала рассказывать. Нет, не про утюги и кипятильнички, этого она стеснялась, — про то, что долго болела мама, что она сроду не отдыхала как человек и прочая, прочая.

— А он-то все, оказывается, знал. Ему меня представили как спекулянтку от интеллигенции, эдакую «еж твою двадцать», а я ему рисую картину на тему передвижников — улавливаешь ситуаcьон? Баба блевала — факт, но какова брехуха своей жизни? Я же продолжаю мазюкать сентиментальное полотно... Скажи, зачем? Что заставляет нас врать, если по всему раскладу можно этого не делать? И тогда я — вря, бреша, лжа — соображаю, что как бы хочу понравиться. Как бы корчу из себя нечто... Опять же... Встать бы, оперевшись на медицинскую помощь, и уйти. Но нет! Я лежу и валю на мою несчастную покойную мамочку приступ моей блевотины.

Она даже не заметила, как далеко ушла в направлении жалобного исповедания, как заблудилась в собственных словах. Поэтому, поймав себя на повторном бормотании какой-то глупости, Ольга все-таки вскочила как ошпаренная и, оттолкнув врача, не потому, что он ее задерживал, а потому, что оказался на ее пути, натянула драп с норкой и, смеясь голосом женщины, много ездящей туда-сюда поездом, сказала:

— Вот уж раскудахталась! Не берите в голову! Приступ вегетативно-сосудистой дистонии... Это, между прочим, не болезнь. Это способ трудной адаптации к непередаваемо причудливым изгибам жизни. Я справлюсь и с жизнью, и с болезнью.

Так ее мотанул маятник, и она убежала как очумелая.

Никто ее не догонял.

— А я думала: окликнет... Вот, оказывается, что во мне было.

Однажды, ища в записной книжке нужный телефон, Ольга наткнулась на бумажку: «Вик. Вик.». И неизвестный ей номер телефона. Так бывало тысячу раз. Случайные люди, случайные номера. Давно взяла себе за правило: не трудить мозги для выяснения, кто бы это мог быть. Раз не знаю — значит, мне это не надо. И комочек бумажки летит в мусорное ведро.

Тут надо все-таки кое-что объяснить: ни одна женщина не поверит, что, если не прошло лет там пять или шесть, можно забыть помеченного телефоном мужчину до такой степени, что ни одного, ну просто ни малюсенького, сигнала в мозг ли, в сердце бумажка с номером не подала. Конечно, не подала, а с какой стати ей его подавать? Ольга вся, с ног до головы, была тогда в романе, такой обломился мужик, что когда дома напротив сидел Кулибин, ей с трудом удавалось его идентифицировать. Кто он, к которому дочь Манька имеет странную привычку присаживаться на колени и что-то верещать в ухо?

— Ты — Кулибин, — могла она произнести странным голосом.

— Так точно, гражданин начальник, — отвечивал ни в чем не повинный Кулибин, ибо до идеологически противоположных демонстраций еще предстояло жить и жить. Но если сейчас подумать, в них ли было дело, если еще задолго-зadolго Ольга сумрачно задумывалась: а кто это у меня расшатывает в кухне табуретку?

МИСТЕР ИКС

Но это так. Для изящности. Фамилия у него была замечательная. Членов. Очень гордый, между прочим, человек: на все предложения сменить фамилию или хотя бы вставить в нее лишнюю букву — Челенов, к примеру, или Чуленов — он заходилась таким историческим патриотизмом, он так давил на всех генеалогией, будь она проклята, что в результате стал за это уважаем, чтим и даже подвергнут подражанию. Его шофер Иван Срачица тоже стал гордиться своей фамилией, хотя оснований не было никаких. Он был обыкновенный прол Срачица, без родовитых доблестей, и у него буквально по определению было пятеро детей, как и полагается быть у прола обыкновенного. Но он по примеру начальника взрастил в себе фамильную гордость.

Роман начался как курортный. Ольга купила путевку в цековский санаторий, медицинскую карту выправила по всем правилам. «Я еду подлечиться, а не на блядки». У Кулибина родилось параллельное предложение: поехать дикарем, чтоб «колошматиться в море вместе», Ольга даже на секунду задумалась: а нет ли в этом здравого смысла? Какие-никакие экскурсии, терренкуры, к тому же Кулибин — человек по жизни необременительный и привычный, но все уперлось в дочь. У той как раз начались фокусы гормонального характера: вдруг ни с того ни с сего стала выходить ночью на балкон и часами там стояла, Ольга ей устроила крик, в стенку постучали соседи, Маня заявила, что имеет право стоять, ходить и лежать когда и где хо-

чет, а если кому-то это не нравится — его проблемы. Имелось в виду — Ольгины. И глаз был у Маньки наглый, недобрый, как бы даже не родственник. Куда же ее оставлять — такую? Тем более, что с отцом у них отношения проще: поорут друг на друга как ненормальные — и помиряются в момент. Не то что с матерью.

Кулибин остался сторожить развитие гормональных процессов, а Ольга, сделав легкую химию, мотнулась на юга.

В первый же день она мордой ударилась об иерархию. Ее поселили с женой какого-то дальнесибирского райкомыча. В палате, окнами смотрящей на козырек подъезда. Море было с другой стороны, горы — с третьей, у них же — козырек с птичьим говном, на который можно было ступить прямо с лоджии. Соседка Валя была женщина смиренная и тихая, знающая свое место в жизни и очень за него благодарная. Второй этаж ее не смущал — она боялась лифта. С моря могло дуть и прострелить — тоже немало, горы ей были ни к чему, а утренний шумок убегающих на пробежки отдыхающих ее не беспокоил — Валя все равно просыпалась рано-рано и из деликатности лежала чуркой, дожидаясь, когда встанет Ольга.

Первые дни ушли на раздражение. Ольгины уместность и хватка здесь были не прохонже. Это Валя перед ней становилась на цыпочки, это для Вали она была и москвичка, и модница, ну еще и для стайки токующих лжехолостяков. Но в ее карте не было номенклатурных зерен, что в этом месте выклеивалось прежде всего. «И черт с вами!» — решила Ольга, перелезая туда-сюда из контрастных чанов с водой, езда на Мацесту и крутя велотренажеры. Дней через пять она почувствовала от всего этого такую тоску, что дала Вале уговорить себя сходить на танцы.

Ну и что? Худые, пузатые, плешивые и чубатые, они терлись об нее в танго и вальсе, с неудовольствием переходя в бесконтактный танец. Но хоть бы один! Хоть бы один...

Однажды смиренная Валя пришла много позже ее и с трусиками в сумочке. Забыла провинциальная дуреха, стаскивая с себя платье, что сразу осталась ни в чем, взвизгнула по-собачьи, глядя в открытые Ольгины глаза, залопотала что-то о голом ночном купании, но Ольга милостиво отпустила ей грехи.

— Да перестань! — сказала. — Лучше скажи, стоило того? Париж стоил мессы?

Валя застопорилась в осмыслении слов, узнав в лицо только Париж по сочинению «Собор Парижской Богоматери», но вопрос сам по себе не дошел.

— А? — переспросила она.

— Ну... дядька был на уровне?

— Ой! — тихонечко взвизгнула Валя. — Да мы так... Дурачились... Нерезьно же...

— Успокойся и спи, — сказала Ольга.

Сама же спать не могла. Думалось *про это*, желание было острым и оскорбительным, как насилие. Как то насилие, что было в ее жизни, оно тогда тоже началось с острого желания, только у другого человека, и он счел себя вправе поступить так, как хотело его желание. «Какая дурь! — подумала Ольга. — При чем тут та сволочь? Как я могу сравнивать?»

— В человеке столько зверя, сколько он его в себя допустит, — сказала она, вернувшись из санатория.

Блестяще-золотистая, с облупленным кончиком носа, с горяче-молочным дыханием, она задрала юбку, чтобы продемонстрировать полоску кожи под кромошкой трусиков. Золото бедер просто слепило.

— Я допустила в себя зверя, сколько его влезло, и урчу теперь над суповой косточкой. Он — профессор Членов. Его мозги ценятся в валюте, но и остальное — тоже высший разряд. У нас не совсем совпали сроки. Он приехал на десять дней позже. Счастье, что у меня как раз кончились месячные. Скажу главное. Буду разбивать семью. Так это на языке протокола?

И она исчезла с моих глаз надолго, иногда я вспоминала ее, тянулась позвонить, но ведь то, что меня интересовало, не расскажешь с телефона — ни с домашнего, ни с рабочего.

Зато в газетах попалась фамилия профессора. Как выяснилось, главного специалиста по загниванию капитализма и, соответственно, расцвету противоположной ему формации. Интересно, подумала я, как ему Ольгин способ добывания денег — не осквернит ли он чистый источник идеи в его валютной головке?

На самом деле мне было не до них. Мы переезжали. Нам дали наконец отдельную двухкомнатную квартиру, мы врезали замки, натягивали струны, циклевали полы. Замерев на пороге остро пахнувшей лаком *своей* квартиры, я думала, что в моей стране квартира и отдельный бачок будут посильнее «материализма и эмпириокритицизма», взятых вместе с автором.

— Закройте, пожалуйста, дверь, у детей аллергия на лак, — услышала я тихий голос, а потом увидела соседку, владелицу огромной четырехкомнатной квартиры. Только в нашем подъезде были такие, и еще до вселения люди приходили смотреть хоромы, которые просто по определению никому полагаться не могли. И вот теперь я видела милую молодую женщину в заваленном узлами коридоре и с выводком детишек.

«Боже мой! — подумал мозг, траченный коммуналкой. — Многодетные!»

Представились крик, плач, стук мяча об стену и все, что полагается и что может себе представить человек при словах «многодетная семья». У меня не было умиления по поводу многодетности. Я не знала, что делать с единственным сыном, обожаемым, но растущим куда-то резко в сторону, нарушая красоту семейного древа. Но это другая история, может быть, когда-нибудь я перескочу на нее, и тогда мало не покажется, пока же я стою и оплакиваю собственное квартирное счастье, которое так недавно еще держала, обхватив его по метражу.

Поставим на этом точку. Дети соседей никогда нам не мешали жить, их скромность и тихость хорошо подпитали мой стыд, и я уже много лет замаливаю грех той своей гневливости, которая случилась в первый день встречи.

И люблю свою соседку Оксану, хорошая женщина, дай ей Бог здоровья.

Теперь же я должна сообщить главное. Это у них была фамилия Срачица. А хозяин был шофером. Ничего другого я не знала.

Клубочек начал распускаться с кофточки.

Позвонила Ольга, сказала, что есть пара-тройка стильных вещей, надо бы мне посмотреть. Мы поиздержались на процессе переезда, и я ответила, что — пас. Но Ольга настаивала, мол, есть кофточка с брачком, совсем недорогая, но «с изыском». Муж сказал, что все равно ему предстоит тратиться на мой день рождения, так что «иди и купи». «Надо еще посмотреть», — ответила я.

Так мы и встретились через полгода после курортного лета. Ольга выглядела как никогда, даже лучше, чем в золотом загаре. Она похудела, стала суше, заметней пролегли легкие морщинки у глаз, рта, на шее, но парадокс был в том, что ей это все шло. И как бы выяснилось: молодость с ее соком — не ее время, а ее время то, что уже тронута холодом, морозцем, что на пороге увядания.

Я не решилась ей это сказать. Упоминание морщин даже в самом комплиментарном контексте — дело опасное. Я ее похвалила за вид и статью и конечно же в первую очередь спросила, как у нее дела с этим... как его... Я запомнила фамилию и чуть было не ляпнула что-то еще более непристойное, чем то, что носил неизвестный мне господин с валютными мозгами. Надо же, как мне запомнилось это определение.

— Я ему дала срок, — сказала Ольга. — Но я уже знаю, что его продлю. Он этого как раз еще не знает, дергается... Плохо быть умной. И видеть завтрашний день. В него надо вступать слепо. А я понимаю, чем он рискует,

если разойдется резко, неделикатно. Сгорит, как швед... У него тесть — шишка в МИДе, мадам, между прочим, тоже не пальцем сделана — в Институте международных, сын — на выходе в дипломатические сферы. Отец сейчас дернет поплавок — и у него вся жизнь сорвется. И я, — поясняет Ольга, — получу не сильного мужика со всем, что при нем, а раненого сокола, которого надо будет всю жизнь лечить, а он меня в это время будет драть когтем.

— Большое красивое чувство требует жертв, — насмешливо сказала я. — Или оно не очень большое?

— Стала бы я печься о маленьком! — ответила Ольга. — Он мой мужик! Мой. Понимаешь, по размеру, по запаху и вкусу. Тут без сомнений. А я — его женщина. У него тоже нет сомнений. Мы как ключик и замочек. — (Это было то давнее время, когда еще не было шлягера «Зайка моя» и сопоставления типа «я твоя рвота — ты мой тазик» не казались пошлыми, так сказать, по определению. «Ключик-замочек! Ишь ты», — подумала я.)

Сейчас я думаю другое. Когда бежишь для прыжка, часто сам не знаешь, каким он будет. Прыжком ли в длину, в высоту или с крыши. Знать это не дано.

Ольга сказала, что встречаются они на явочной квартире. Есть такая для полуофициальных, частных встреч нужных людей. Иногда едут на дачу к его приятелю, если есть гарантия, что никто не возникнет.

— Много приходится делать уточнений! — смеется Ольга. — Шпионам не снились...

— А как Кулибин?

— А что Кулибин? Я волну раньше времени не гоню... Скажу, когда придет пора... Она не пришла. Я тебе сказала, что я ему продлеваю срок?

— Но он пока этого не знает, — смеюсь я. — Ты и тут шпион.

— Чтоб не сбавлял скорости, — уточняет Ольга, — а не по вредности.

Потом из пакета и выплыла кофточка. Такая вся из себя «фэ». Левая половина — синяя, правая — красная, а пуговички наоборот, и отвороты у рукавов наоборотные. Крой — само собой, классный, ткань мягкая, одним словом — два слова.

— Смотри, брак, — говорит Ольга и показывает шов: чуть перекошенный, потом резковато выпрямленный, но бок явно поддернут. Пока не видишь — ничего, а когда уже знаешь, глаз как бы только в это место и смотрит.

— Надень...

Но я не хотела. Не то что большая привереда — с чего бы это? Беру что есть. Тут же был изъян на вещи стильной, красивой, ну, в общем... осетрина второй свежести. Мерить я не стала.

А через несколько дней звонит в дверь Оксана. Просит займы пару яиц для салата, у них гости, и на ней эта кофточка. Именно эта, потому что некоторая скособоченность налицо.

— Откуда эта прелесть? — спрашиваю я.

— Правда здорово? — говорит она и вертится передо мной, а когда останавливается, я вижу на ее лице некоторое смятение. Я уже знаю свою соседку. Она не просто не умеет врать или даже что-то скрывать — а уметь это надо, — она «заболевает лицом» от необходимости что-то соврать или скрыть. Лицо ее как бы начинает дробиться, идти рябью, суетиться, оно становится растерянно-глупым, чтоб не сказать дурным. Единственное лечение для лица — тут же сказать, выпалить правду и спастись.

К примеру.

— В подъезде написал мой Миша, — говорит она. Это на мой вскрик, что опять какая-то сволочь помочилась возле лифта. И не объяснишь ей, дурехе, что пятилетний Миша, конечно, свое дело сделал, но не мог он один напрудить такую лужу, что на подмогу ему пришел мощный мочевого пузыря, не чета детскому, недобежавшему...

— Это правда, — говорит Оксана, здоровея лицом. — Я его уже выпо- рола.

Сейчас ей надо ответить, откуда у нее кофточка. Я получу чистую правду, хотя суетливость Оксаниного лица показывает, что именно ее говорить ей не следует.

— Ваня возит Членова. Знаете? А у Членова есть любовница. Это она мне продала, — скороговорит она. — Так неудобно про это говорить... Но в жизни ведь всякое бывает, правда? Такое вот горе Марье Гавриловне...

И она уносит яички, оставляя меня в презабавнейшем состоянии случайного соглядатая известного события, но как бы с другой стороны. Вид спереди. Вид сзади. Вид со стороны Марьи Гавриловны.

Об окончательной и сокрушительной победе жены мне тоже сообщила Оксана. Уже было лето. Оксана выгуливала свой выводок, а я, что называется, шла мимо. Оксана всегда выходила гулять с большой сумкой, в ней лежали цветные тряпки, из которых она споро лепила то детские игрушки, то причудливые коллажи, скорость ее творчества была удивительной — два-три переброса тряпочек, два-три стежка, вложенная внутрь шепочка, взятая с земли, вставленный в серединку лист — и полный балдеж. На тебя уже смотрит дитя в капоре с такой удивительностью выражения, что начинаешь его слушаться, а дитя, лукавая тряпочка, сочувствует тебе, но как бы и презирает тоже.

На этот раз в руках Оксаны были куски той самой кофточки.

— Пошла пятном после первой же стирки, — объясняет Оксана. — А еще импорт. Но я, знаете, даже рада... Ведь это очень важно, из чьих рук вещь. Я же вам говорила...

— Оксана! Ерунда! Все наши вещи залапаны таким количеством рук, что ничего личного...

— Один плохой человек подержит — и хоть выбрось...

Она брезгливо достала линиялые кусочки, а потом радостно сказала:

— И с ней как с кофточкой...

— С кем — с ней? — почему-то испугалась я.

— Михаил Петрович порвал с этой женщиной, — как-то гордо сказала Оксана, как будто была в этом и ее заслуга, ее толика протеста против безобразий, когда за здорово живешь ходят по земле особенные особы, а кто-то нормальный, простой страдай?!

Надо было отыскать Ольгу. На работе сказали, что она болеет, дома — что ее нету, вот и думай, где может находиться болеющая женщина. Все ли ты знаешь, Оксана?

Но Оксана знала все, потому что Ольга позвонила сама и вполне здоровым голосом сказала, что прогуливает по липовому бюллетеню и может ко мне приехать с бутылкой английского шерри.

— Годится?

— Все, кроме места встречи, — ответила я. — Знаешь, кто у меня живет под боком? Кто моя любимая соседка? Жена шофера твоего хахала.

— Ну и какие проблемы? — непонимающе спросила Ольга. — Что, я поэтому не могу к тебе прийти?

— Можешь... Но лучше не надо. Я не говорила ей, что знаю тебя.

— Ты участвовала в холопских пересудах?

— Не хами! — закричала я. — Я ни в чем не участвовала. Я слушала. А кофточка твоя слиняла за раз, кто ж такое простит?

— Ну и черт с ней! Ладно, приходи сама... Я не хотела звать, потому что слегка завшивела домом. Такой у меня бардак. А руки не поднимаются...

— Я не знаю, — сказала мне Ольга, когда мы уже выпили по маленькой, — но у меня такое чувство, что он все просчитал на машине. Она — я, я — она... Плюс — минус... И я машине проиграла. Хотя кто его знает. Ему

могли прищемить яйца в какой-нибудь инстанции. Тебе когда-нибудь щемили яйца? Говорят, это больно. У них это самое нежное место. Слаба на передок — говорят про нашу сестру... Ни хрена подобного! Это про них. А может, и совсем третье. И он с самого начала не брал меня в голову на большой срок. А я возьми и нажми посильнее... Хотя можно было играть в эту игру еще лет сто... Но я проявилась, как говорится, всеми своими желаниями. Он и спрыгнул как ошпаренный... Знаешь, что у меня внутри? Эти, как их... Геркуланум и Помпеи. Если не понимаешь древнего — тогда считай меня Ашхабадом. А если и этого не понимаешь, то мне, подруга, жить не хочется. Плохого не воображай. Я, конечно, буду жить, потому что у меня очень сильна энергия выживания. Я вся в дерьме и навозе, а энергия во мне фурычит, как электростанция... Уже показывает мне какие-то виды будущего, как бы невозможного совсем, но и возможного тоже. Так что я выживу, хотя такого мужика, если отвлечься от его предательства... у меня не было, нет и не будет. Но отвлечься никак нельзя. Такой казус. Не предал бы он меня, предал бы жену... Жизнь ставит перед человеком выбор не добра и зла, а исключительно двух зол. Это же мы придумали: из двух — меньшее... Мы все люди зла.

Должна сказать, что смотреть на нее в тот день было страшно. У нее все время дергалось веко, и она прикрывала глаз ладонью, и я видела ее ногти, неухоженные ногти... Она сама протянула мне руки и сказала:

— Видишь, какие ногти и пальцы? С этим ничего нельзя поделаться: они такие не потому, что я их не мою. Они теперь изначально такие. Тру щеткой, а через две минуты — грязь.

Я сама столкнулась с этим много-много позже. У меня тоже пачкались пальцы и чернели ногти, когда я похоронила маму.

Бедные наши говорящие руки...

ВИК. ВИК.

Она позвонила ему сама. И он узнал ее сразу. Стало приятно. Хотелось думать о неизгладимости впечатления. Конечно, идти к врачу в полной боевой раскраске глуповато. Для этого случая годится бледность, красные веки и дрожание губ. Незаменяема тут и тахикардия, слившаяся в экстазе с аритмией, и, как бантик на коробке, пучочек поникших волос, стянутых черной резинкой — ну нет у человека сил взбить себе прическу.

Ольга выбрала срединный путь: еще не конец света, но уже и не его апофеоз. Окраска волос была в легкую седину, слабые локоны чуть-чуть сбрызнуты лаком, чтоб не развалиться совсем. Что касается тахикардии, мы ею не управляем, ее явление — дело случая или настоящей болезни. Но такое Ольга в голову не брала.

Все было как тогда. Манжетка давления, холодок стетоскопа, белая раковина в углу с четвертушкой мокрого хозяйственного мыла. Не богачи мы тут, в поликлинике, говорило как бы мыло. Его руки им не пахли, запах сам по себе внедрил в нос и щекотал, щекотал воображение. Это теперь с ней сплошь и рядом. Вывеска аптеки может так ударить валокордином, а венгерская курица в целлофане, стоит ее развернуть, всюю громыхнет паленым пером. Но ведь это психиатрия, при чем тут терапевт, если у нее головка сбрендила?

Будоражила раковина. Придется ли к ней бежать или обойдется? Посторонность мыслей отвлекала от главного — зачем пришла? — и в какую-то секунду Ольга жестко сформулировала: «Если я думаю черт-те о чем, не так уж я и больна».

— По-моему, я блажу, — сказала она врачу. — И вы так думаете... Ну, подгнила слегка женщина, так ведь весна, авитаминоз... Я налягу на лимоны... И вообще, у меня анемия с детства... — Она стала перечислять все, что ела и пила при малокровии.

Потом они сидели друг против друга, и он выписывал рецепты, а она оглаживала в сумочке конверт.

«Сейчас уйду, но зачем приходила — не знаю, — думала Ольга. — Нет рецепта, чтоб *его* вернуть».

— Меня бросил любовник, и в этом все дело, — сказала она с некоторым вызовом, будто хотела унижить доктора в его бездарном незнании сути вещей. — Седуксен возвращает мужиков? Или настойка пустырника?

— Возвращает, — ответил врач. — Вы успокойтесь, сделаете прическу, избавитесь от истерического тона — сам прибежит.

— Значит, вы совсем дурак, — тихо сказала Ольга, — если думаете, что я рухнула из-за человека, которого такой дешевкой приманить можно. Извините за «дурака», не обижайтесь. С меня сейчас нечего взять.

Она рассказала ему все. Когда она с неожиданной для себя самой гордостью произнесла: «Меня победила система. Со мной соперничала она, а не женщина», — врач не то что засмеялся, но, в общем, был к нему близко, к смеху. Широкой ладонью он закрыл рот, но ведь Ольга не сумасшедшая, видела, как он спасался, «чтоб не заржать мне в лицо», скажет она мне потом. Очень не скоро, между прочим.

Но тут надо разобраться в этом жесте прикрытия. В сущности, неэтичном, с точки зрения деонтологии. Долга должного. Не имеет права смеяться доктор, какую бы чухню ни принес ему в клюве больной. Он больной, раз сидит на приеме, даже если он здоровее тебя во сто крат. Почему же этот квалифицированный и платный смеется за собственной ладошкой? Дело в том, что у Виктора Викторовича был неизлечимо больной лежащий сын, была жена, которая забросила ради него профессию, себя, мужа, чтоб та маленькая жизнь, которая досталась ее ребенку, была доверху наполнена одной ее материнской любовью, раз уж никаких других радостей у него не будет никогда. Мальчику было восемнадцать, они его уже брили, но над его кроватью висели погремущки, за которыми он внимательно следил странными, нездешними глазами с огромными, почти нечеловеческими ресницами.

Им говорили, что он не жилец и протянет от силы три-четыре года. Прошлой весной они получили на его имя повестку из военкомата. Сначала они с женой решили, что повестка ему, Виктору Викторовичу, всполошились, пошли выяснять. Оказалось — сыну. С тех пор повестки приходят почти каждый месяц. Ни справки, ни скандал с военкомом не могут найти того человека в погонах, который методично шлет им эти бумажки.

— Ваше бы упорство да в мирных целях, — сказал Виктор Викторович какому-то очередному майору.

— В каком смысле? — спросил майор. — Вы тут не выражайтесь. Мы работаем по системе.

Майор сказал правду. Повестки все идут. Просто с тех пор они выбрасывают их сразу, а Виктор Викторович, укрывая по вечерам большое, мощное тело сына, думает, что система, о которой говорил майор, не такая и дура, ей издавна велено отслеживать наличие мужской плоти, чтоб потом бездарно и жадно поглотить ее, система ждет подвоха — «укрытия мужского мяса», и не зря, между прочим: столько лет спасать от нее твое дитя — дело не просто святое, а, можно сказать, богоугодное. Система тоже не дура — бдит возле всякого лежащего тела: вдруг оно — Илья Муромец и валяется не по болезни, а по легендарной русской лени?

А тут — на тебе. Пришла еще одна «жертва системы». Обломился и валится на тебя кусок какой-то вселенской дури, успевай только уворачиваться.

Смех за ладошкой у Виктора Викторовича был нервный и злой. И он решил, что даму эту с теплым и мягким животом он больше не примет. Ему в клинике идут навстречу, разрешая иногда «задерживаться» после основного

приема, его тут жалеют, но сексуально озабоченных истеричек он принимать не будет. Это не его профиль.

Он написал на бумаге телефон и имя-отчество своего приятеля, который подрабатывал как раз на сексуальных неврозах номенклатурных баб и заведующих магазинами.

— Это хороший специалист, — сказал Вик. Вик. Ольге. — Вам нужен невропатолог.

— Брошенные бабы у вас проходят по невропатологии? — свирепо спросила Ольга. — А почему не по хирургии? Чтоб им зашивали одно зудящее место? Эх вы! Сдуру разболталась, а вы меня коленкой...

Она встала и быстро пошла к двери. Но то ли резко встала, то ли быстро пошла, но посреди комнаты Ольга грохнулась на пол.

КУЛИБИН

Надо бы к нему вернуться. Он ведь тоже человек, а не хвост собачий. Человек с выпирающим зубом и огрузневшими чреслами к тому времени весьма осыпался головкой и имел довольно противную привычку укладывать единственную подростую прядь волос поперек колена головы. А-ля Лукашенко, что из Белоруссии. Нетоварность вида Кулибина бросалась в глаза сразу, а добротными шмотками еще больше подчеркивалась. Такая была казуистика. Есть тип людей, у которых чем проще и грубее их одеяние, тем они как бы наряднее. Ну надо, надо им торчать в тряпках естественно. Ведь гармония — дама хоть и алгебраическая, но тем не менее нет-нет, а взбрыкнет совершенством в несимметричных, косоглазых, вытянутых шеями барышнях Модильяни. В них не то что нет алгебры, а даже арифметикой не пахло. Зато каковы! Женщины НИИ все равно любили Кулибина за несочетаемость какой-нибудь гавайской рубашки и русского сеченого волоса, положенного поперек. Антигармония, или что там еще, жила и царствовала в этом мужике из Тарасовки, который уже давным-давно жил в Москве, не переставая радоваться своему счастью ездить в теплом метро, любил без памяти дочь Маньку и без конца удивлялся собственной жене, которую когда-то взял без затруднения. Если бы у современного человека было личное время, в которое можно было бы войти пустым и голым и остаться так хоть на пять минут, то, может, без сброшенного хлама жизни у этого голого наступало бы озарение мыслью ли, чувством ли, или что там еще у нас по разряду тонких и невидимых материй? И тогда нагой Кулибин наверняка ошеломился бы, что давно-давно он только и делает, что удивляется своей жене, и успел дойти до того самого места, на котором гвоздями приколочено: «Меня ничем уже не удивить».

Кулибин был потрясен ее коммерческими способностями — утюги-кипятильники-парфюм-кофточки. Но это было вначале. Он дрожал за нее, боялся, что ее схватят, разоблачат и посадят в тюрьму, потому что — как же может быть иначе? Потом он удивился, когда понял, что у его жены — видимо! — есть другие мужчины. Его охватила даже не ревность, что было бы естественно, у него случилось удивленное непонимание — зачем? Она тряслась над ним, если он заболел. Она была в курсе его работы и всего, что с ней связано. Когда одна дама из разведенек два раза подряд пристроилась за ним с подносом в столовой, Ольга устроила не то что скандал, а, скажем, легкую выволочку, и Кулибин просто потек от проявления таких ее чувств. В его голове, на ее внутренней стороне, что округляет пыхкающий и фосфоресцирующий мозг, были приколочены, как во всяком деловом помещении, кроме уже упомянутого главные истины жизни. Это было правильное использование внутренней части, черепа — иначе зачем оно? Простые, им самим читанные или пришедшие сами по себе истины избавляли вещество мозга от решения глупых задач. Зачем ему биться нервными волокнами, если

давно известно: ревнует — значит, любит. Или там: не бойся того, чего боишься. Или вообще поперечное принятому: мертвые срам имут.

Последняя мысль-истина для понимания Кулибина особенно важна.

Надо сказать, что Кулибин был хорошим человеком. Ну просто хорошим, и все. Он сам придумал сложноватую для охвата мысль про мертвых. С поры, с момента микроинфаркта, который настиг его в тридцать два года, когда он за полгода похоронил родителей и потерял живую сестру. Живая сестра сказала ему, когда они шли с кладбища, что тарасовский домик принадлежит ей, и только ей, и нечего ему рот на него разевать. Кулибину даже в голову подобное не могло вспрыгнуть. Зачем ему тарасовская даль, если у него хорошие жилищные условия и до работы ровно семнадцать минут? Но сестра смотрела на него таким точечным взглядом, что у него кольнуло в подреберье, но, правда, сразу и отпустило, а вот взгляд сестры запечатался в нем раз и навсегда. Взгляд алчной ненависти. За что?! Ведь они так любили друг друга. Он подписал ей все бумаги, сестра кинулась к нему на грудь, заревела, сказала, что боялась, вдруг придется с ним судиться. И хотя правда полностью на ее стороне, его мадам наняла бы нужных адвокатов — а у нее, у сестры, откуда деньги?

Он гладил сестру по спине, но это была не его сестра и это была чужая спина. Так он время от времени оглаживает их хамку вахтершу, когда ее кто-то хорошо отметелит за грубость и беспардонность и та начинает выть от обиды на весь вестибюль. Вот тогда и посылают Кулибина, и он обнимает сволочь бабу, похлопывая по ее мощной округлой спине, и вахтерша примиряется с жестокостью жизни от неискренней кулибинской ласки.

Неверующий человек, Кулибин боялся умереть так, чтоб там ему было стыдно за бесцельно прожитые годы. Бодрая комсомольская цитата в его мозгу имела вот такой странноватый поворот. Он был уверен, что все дурное перейдет с ним туда, но способа исправить что-то там уже не будет. Никогда и ни за что. Не ада боялся Кулибин, он в него как раз не верил, он боялся срама, который с полным на то основанием — его же срам — ляжет с ним в гроб и останется с ним навсегда.

Кулибин много думал над словом «навсегда», но оно не давалось ему ни в разумении, ни в ощущении.

В семье о глубинных процессах внутреннего мира Кулибина не знали, разве что Маньке доставались сказки-присказки, имеющие педагогический смысл больше для самого отца, чем для дочери.

Кулибин всегда учивал Ольгины измены, учивал телом. Но она засыпала тем не менее все так же — в ложбиночке его плеча, перекинув на его живот согнутую в колене горячую ногу.

И он прощал. Прощал, успокоенный этой позицией как основой мироздания и семьи.

Утром он хотел поймать в Ольгиных глазах отблеск греха, но его и близко там не было. Деловая, хозяйственная, она, стоя на коленках, отрезала наметившийся обтреп его брюк, а через два дня приносила новые штаны. Это она первая заметила его микроинфаркт и устроила его в лучшую больницу и носила ему такие деликатесы, что есть их при народе было неудобно, хотя народ был, что называется, без удивления насчет икры там и другого. Кулибин же скармливал деликатесы старухе няньке, злющей бабе, которая ни разу ему даже спасибо за это не сказала, а банки-склянки хватала грубо и кидала громко в безразмерный карманище, сидящий поперек ее широкого, как просторы родины чудесной, живота. Эдакая нянька-кенгуру.

Больные с куда меньшим чувством поделывались Ольге о глупостях доброты Кулибина, но она хорошо отбривала всех. «Если ему это нравится — значит, на пользу. А раз на пользу — пусть хоть свиньям все скормит».

Вывод у контингента был один: у этой бабы деньги не считаны. Откуда они? Кулибин начал бояться такого интереса, но, слава Богу, дело пошло на

поправку. Кулибин вернулся домой и так странно этому обрадовался: стал прижиматься к дверям и стенам — ему казалось, что от них в него вливается сила. Ольга же поимела тогда очередной приступ анемии, и летом Кулибин откипятил ей с отбеливателем все ее белье для поездки на юг, чем вызвал Ольгин смех. Она не собиралась ехать в кипяченых тряпках, она накупила новые. И Кулибин подумал: «А-а-а...»

Человека по фамилии Членов он тоже унюхал. И надо сказать, первый раз в жизни он почувствовал, что дело швах. И хотя Ольга по-прежнему клала ему голову в ложбинку и перекидывала на него согнутую ногу, все было так, да не так.

И тут — одно к одному — его избрали в партком, а время началось разноцветное и интересное. Если бы не Ольга — она стала вся как струна, вся сжалась и одновременно вытянулась вверх, — Кулибин, может быть, и встрял в новую, возникающую жизнь или хотя бы рассмотрел, к чему она. Но он был весь в сугубо личных делах, он все ждал, когда натянутость в Ольге в конце концов лопнет к чертовой матери. Вот тогда он соберет их по кусочкам и сошьет в спокойном виде, потому что это он как раз умеет, у него иголочка в пальцах держится, как там родилась. Хотя по закону натянутости Ольга может вылететь из тетивы — только ее и видели. Тогда и иголочка-умелочка, и ниточка-помощница будут ему без надобности. Кулибин сидел на заседаниях парткома, на которых то одобрял рубку виноградной лозы и создание кооперативов, то поощрял индивидуально-трудовую деятельность, а то осуждал все это. При осуждении особенно много было крика — крика от страха, что все, как один, начнут, к примеру, индивидуальничать, и застынет в домне чугун, а в мартене — сталь. И все это застывшее вызывало ужас у их секретаря, глупой, но очень эмоциональной тетки, которая однажды уписалась от счастья, когда ей давали какую-то медаль. Она выхватила медаль и рванула бечь, но потом честно все рассказала, так как это было то эмоциональное счастье, в котором признаться нестыдно.

— От страха ни за что не побегу! — говорила она. — А от радости — слабею...

В общем, хорошая женщина, она старалась для людей, водила их в походы, сбивала в хоры, объясняла суть идущих перемен.

А ему, Кулибину, было тогда хоть бы что. Сидит пень пнем и думает об Ольге. Однажды его вызвали в школу, не потому, что у Маньки были плохи дела. Завезли целую машину прибабасов для физического кабинета — тогда это еще делалось по плану, — ну и позвали отцов на разгруз. Кто сможет? Кулибин смог. Натаскался от души, забыв про инфаркт. Потом отцы скинулись и дернули с устатку прямо на ящиках, закрыв дверь класса ножкой стула. И так получилось, что физичка сидела с ним на одном ящике, и он невольно ощущал ее тугой бок, даже не бок, а то, что ниже, их сближенная позиция на ящике определялась гвоздочками по краям, и надо было устремляться в серединку, чтоб ненароком не порвать штаны.

Сидели, что называется, без задней мысли, а после второй или там третьей расслабленное тело очувствовало присутствие другой, противоположно-желанной, природы. Кулибин никогда не был мастаком по этой части, глаз его не загорался, видя в метро высоко торчащие попки, к которым он вполне мог притронуться брюхом — и никто не придал бы этому значения... Толпа и не то кушает. Кулибин же всегда делал глубокий вдох, чтоб ликвидировать самую возможность прикосновений, если рядом возникало что-то эдакое. На чужое он не зарился и жен, дев, снующих вокруг него, не желал. Когда же возникали такого рода проблемы в виде жалобного письма про измену или грубой анонимки про разврат, Кулибин всегда воздерживался от осуждения; помнил и жалел женскую природу, ту, какая была у Анны Карениной, мадам Бовари, Катерины из «Грозы»: с женщинами — даже очень хорошими — случается всякое. И с мужчинами тоже, правда литературных аргументов в голове Кулибина не всплывало «Я мало читаю», — осуждал он себя.

— Ты беспринципный, — говорила ему после таких парткомов эмоционально писающая парторг.

— Ну что ж поделаешь! — отвечал Кулибин. — Какой есть.

Время насчет моральных устоев было уже весьма и весьма вегетарианским, так что можно было позволять себе вольности и откровения типа: «Я такой!»

Но вернемся к сидению на ящике. Кулибин пытался, не глядя на физичку, вспомнить ее лицо. Но не мог. Бок ее так раскошегарился, что Кулибина охватил неприличный жар, как какого-нибудь малолетку. Когда же все выпили и встали, Кулибин боковым зрением увидел такой призыв за стеклами очков физички, что сам себе отменил все запреты. «Позовет — пойду», — сказал он себе.

Он потолкался на школьном крыльце, ожидая, когда уйдут другие отцы, которые подбивали его продолжить в «стекляшке» хорошо начатое дело, но Кулибин постучал по циферблату, мол, время, братцы, время...

Он еще не знал, что придется переться на электричке до Дмитрова. Когда она вышла с тремя набитыми пакетами, его «я помогу!» было таким естественным и мужским.

В электричке Кулибин осознал глупость своего поступка, хмель потихоньку иссякал, организм обретал обычную, не романтическую, форму, вот только глаза Веры Николаевны, стоящей рядом, продолжали оставаться горячечно-зовущими, хотя Кулибину и приходила в голову мысль: не стекла ли отсвечивают таким странным образом, создавая оптическую заморочку?

Вера Николаевна жила в двухэтажном каменном бараке, обреченном крепостью кладки на долгую жизнь. Возле обитой дерматином двери стояла тумбочка, на которую они поставили пакеты, пока Вера Николаевна слепо ковырялась с ключами. Видимо, это было обычное дело, потому что из комнаты напротив Кулибин услышал, что «опять эта слепая курица не может попасть в замок», из другой, что рядом, кто-то пискнул: «Верка пришла», а третья дверь открылась, и молодая женщина с ребенком на руках радостно сообщила: «Нам дали смотровой! Сходишь с нами?» — «Как здорово! — ответила Вера Николаевна, наконец открывая дверь. — Я потом к тебе зайду, все расскажешь. Через час».

Кулибин как-то очень объемно, даже, скажем, пространственно ощутил количество времени под названием «час» и с этим вступил в комнату.

Через час и пять минут он уже шел к электричке. Было бы просто замечательно, если бы не хотелось есть. Две непривычки сделали голод почти невыносимым — непривычка выпивать среди бела дня, и не по чуть-чуть, а вполне достаточно: у Веры Николаевны оказалась початой бутылка молдавского коньяка, а из еды были одни сушки. Вторая непривычка — любовь в полпятого: ни то ни се. Ни ночь, ни день, а так — сумерки ноября. Он постеснялся сказать, что голоден. То, что между ними случилось, как-то трудно было назвать поводом попросить поесть. Ведь тогда продукт не лежал на каждом углу, его даже в магазинах не было, поэтому домой Кулибин добрал совсем злой и снова — в который раз! — оценил Ольгу, у которой всегда в холодильнике все было, и такого позора, как сушки, допустить она не могла, что называется, по определению.

Сытый Кулибин, когда стал перебирать подробности случившегося, поймал себя на желании вернуться к Вере Николаевне, чтоб разглядеть все повнимательней и попристальней. Можно сказать, что любовь к подробностям и легла в основание всего последующего.

К моменту, когда Ольга рухнула в кабинете у врача, у Кулибина географически неудобный роман с учительницей физики шел вовсю. Вера Николаевна грузила на эту тележку большие надежды, тихонечко расшатывая брачный корвет. Почему, спросите, корвет? По кочану, отвечу я. У нее на буфе-

те стоял макет кораблика, подаренный ей поклонником из далекого прошлого, на нем сбоку было написано нечто несгибаемое в смысле чувств, а где он теперь, тот поклонник? Воистину — поматросил и бросил. А кораблик остался, Вера Николаевна не выбросила его из-за страстной надписи, которая возбуждала возникающих в ее жизни мужчин, а Вера Николаевна дергала плечиком, выражая мысль, что нечеловеческая любовь к ней — дело не случайное.

Ей думалось, что в случае с Кулибиным ей повезет, что еще чуть-чуть — и однажды он останется у нее навсегда...

Вот в момент этой ее мысли и рухнула на пол Ольга, и, не ведая того, Вера Николаевна отлетела от своей мечты так далеко, что обратной дороги — казалось! — уже было не найти.

ВИК. ВИК.

«Скорая помощь» находилась с торца поликлиники. Врачи ходили друг к другу через маленькую дверь в стене уборной, которой пользовались технички. Вик. Вик. не то что не мог привести Ольгу в чувство — нет, но это был «частный случай», что называется, не дай Бог, поэтому он «гукнул» соседей. Так говорил их главврач, разбирая жалобы болящих на врачующих.

«Ну, не соображаешь мыслью, гукни соседей!» — кричал он.

Но принято это не было, именно из-за главного. Его не любили и знали ему медицинскую цену. Тем не менее знали и другое: случись у кого неприятности масштабные по линии партийной или политической, дурковатый по профессии и жизни главврач надевал все свои ордена и медали, прочищал горло настоем зверобоя и шел выручать человека. И случая не было, чтоб не выручил. Но первый день благодарности сменялся вторым, когда вместо нее энцефалитно внедрялась мысль, что ничего ему, главврачу, не стоило помочь, потому как он сам из тех, на кого кричит зверобойным горлом. Все они там шакалы.

Но это, как говорится, к делу отношения не имеет, хотя именно с его подачи подхалтуривал Вик. Вик. и с его же совета побежал к соседям, положив Ольгу на кушетку.

Ее освидетельствовали лучшим образом. Сняли кардиограмму, обстучали, обслушали, осмотрели не без интереса.

— Нерь-вы, — сказал молодой ординатор. — Но ведь обморок давно атавизм. Советские дамы не млеют. Другая природа.

Ольга все это слушала и слышала, просто не открывала глаз.

«Вот гад!» — подумала она.

— Знаете, как мужчины на вас смотрели? А вы из-за кого-то там падаете...

— Млею, — тихо сказала Ольга. — Это правда. И то, что он сволочь, — правда тоже.

Он пошел ее проводить.

— Я могла взять такси, — рассказывала потом Ольга, — но он настаивал проводить, а я не была уверена, что у него есть деньги.

— Но ты же ему заплатила!

— Видишь ли... Получалось, что мои же деньги он на меня бы истратил. Я ведь уже знала, что у него в семье. Мне как раз накануне рассказали про эти повестки из военкомата. В общем, под ручки, как шерочка с машерочкой, мы двинулись в метро. И он был так внимателен на эскалаторе, так осторожен на ступеньках, что я подумала: черт возьми, на меня же бабы зыркают с полной на то завистью. Они ж не знают ситуацию. Они видят, как можно обхаживать подругу в таком оглашенном месте. И не так, как эти тинейджеры, что у всех на виду лезут друг другу между ног, а по какой-то совсем другой формуле. И мне влетело в голову — а если бы это было по-

настоящему? Не из медицинской вежливости? А по чувству? Мне надо было вылечиться от этого гада Членова, и я поняла, что нашла противоядие.

Она все сделала, как хотела. Это она была любовником в их отношениях. Это она подгоняла такси к концу его дежурства. Очень хотелось одеть Вик. Вика, чтоб с ног до головы стал новенький, но этого было делать нельзя. Разве что накормить как следует, правда и тут случился конфуз. Вик. Вик. принес домой запах хорошей еды, и жена замерла в прихожей, прислушиваясь к шелесту молекул аромата, которые миллионно погибали в чужой среде, и вот эту их смерть унюхала жена и была ошеломлена этим прекрасным нечто, которое опадало на болоньевые плащи, на ососулившуюся искусственную шубу, на сто раз чиненную обувь...

— Какой-то дивный запах ты принес с холода... Так однажды пахла Пасха, когда она совпала с маем...

Жена ушла на кухню, и Вик. Вик. увидел ее спину с узлом клеенчатого фартука, который она никогда не снимала. Узел на нем был вечен, и жена надевала его через голову. Сквозь тонкую кофточку просвечивал лифчик, и Вик. Вик. видел перекрученную лямку. Во всем облике жены была какая-то окончательность, завершенность судьбы. Ее нельзя было вообразить в другой одежде, ее нельзя было представить идущей в другом жизненном пространстве, кроме как пространстве коридора. К тому же она очень долго проходила эти четыре шага до кухни, в этом была некая сверхзадача, чтоб в замедленный ход времени он, Вик. Вик., успел увидеть спину и лямку и они — эти две — должны ему что-то сказать. На повороте в дверь кухни жена привычным жестом поправила бюстгальтер, движение сначала ножом скользнуло по Вик. Вику, а потом он ощутил резиновый обхват вокруг собственной груди. Он дернулся, спасаясь от жесткого объятия, но понял: деваться некуда.

Вик. Вик. отказался от встречи, когда Ольга позвонила в следующий раз, и та долго сидела, замерев над аппаратом. Ей уже была в тягость эта благотворительно-любовная связь, она приносила душевное утешение, но тело ее оставалось равнодушным. Все было как с Кулибиным, хотя последнее время, с того момента, как ей поплохело в кабинете Вик. Вика, Кулибин только что на уши не становился ради нее. И тут Ольга заметила некоторые новшества в поведении мужа и с интересом подумала: «Неужели?» Но, занятая другим «бедным мужчиной», Кулибина из головы выбросила. А муж тогда старался. Очень. Ему тоже надоело ездить в Дмитров и разглядывать пыльный корвет. Он устал от его застывших парусов.

Так удачно, вовремя закружилась у Ольги голова, Кулибин был многословен, объясняя Вере Николаевне ситуацию по телефону. Та даже посочувствовала болящей. Упасть на ровном месте — дело и опасное, и нелепое. С ней был подобный случай на улице, и она успела увидеть «рожи», на которых был смех, а никакое не сострадание. Через несколько дней Вера Николаевна как бы между делом спросила у дочери Кулибина, как здоровье ее мамы. Манька вытаращила глаза и сказала: «Нормально. А что?»

Вера Николаевна страдала зло, ненавидяще и создавала в мозгу картины обстоятельств, когда побитой собакой вернется к ней Кулибин, но у нее уже будет Настоящий Человек, который возьмет его за воротник, приподнимет и... бросит. Шмяканье Кулибина о землю было для Веры Николаевны звуком небесным и божественным. Вера Николаевна была женщиной мстительной и гордилась этим.

ПОЛКОВНИК ЯРЕСЬКО

Каждый раз, когда *Они* умирали, она была в отъезде, и каждый раз ее контрагенты начинали нервничать, взвинчивать цену и вели себя так, будто она не сто лет своя в доску, а малолетка-энтузиастка, вышедшая на тропу спекуляции впервые.

Отягчающими жизнь покойниками были Брежнев, Андропов и Черненко.

— Что у вас теперь будет? — каждый раз спрашивала Ванда. — Какую еще нам ждать от вас свинью?

Ольга давно изжила чувство патриотизма, блескучесть которого многими принимается за дорогой товар. Она уже хорошо знала степень нелюбви и поляков, и венгров, и немцев к матушке своей родине и считала, что так нам всем и надо. Они за водочкой сто раз переговорили с Вандой о свойстве русских — требовать от мира не по заслугам чести. Но они же и простили им это самомнение, они додумались, что каждый немец неплох, пока его не позвал Гитлер, и каждый русский вполне подходящ, пока на него не напялили идею, и поляк тоже ничего из себя лях, только когда ему дают жить по естеству его природы.

Исторические смерти будоражили Польшу, от России ждали больших безобразий. К этому времени Ольга уже накопила денежку и держала ее грамотно, не в сберкассе там или под плинтусом, она покупала старинные подсвечники (некая близость к уютам и кипятильникам по первородной сути — огня), слегка озеленевших амуров и психей, мелкий художественный товар из восемнадцатого века, века товарного совершенства, толпился у нее в серванте и на стеллажах. Открытость и пыльность дорогих вещей делали свое дело: никто Ольгино «барахло» ценностью не считал. Потом она скажет: «Я знала. Я чувствовала. Я просыпалась утром с мыслью: надо идти на Кировскую. И шла. А там лампадочка. Вещь бесценная, но куда ее в нашу жизнь?.. Это идиоты думают, что некуда, а я думаю другое: Андропов закроет границы, к тому идет, а я проживу на этой лампадке два года, чтоб семья не заметила издержек политики».

Так вот... Когда случались державные смерти, Ольга быстро собирала манатки и возвращалась домой. И дважды ее путь пересекся с полковником Ярьсько, военным снабженцем, который замечательно устроился, объезжая владения Варшавского Договора, и тоже нервничал, когда от Колонного зала до Мавзолея плыл траурный лафет-марафет и старики политбюрошники в застывшем безмыслии совершали этот единственный пеший проход в своей жизни.

Ярьсько был очень тороплив, если не сказать — суетлив. Всякое предвзрительное разглядывание, говорение полагающихся слов, использование рук, ну, скажем, для нежности — все это в боевом арсенале полковника отсутствовало напрочь. Единственный способ любви — брезгливое опадание и слово «пardon», которое с трудом вытискивалось из горла сквозь сцепленные зубы. Когда это случилось в СВ в первый раз, Ольга была просто оскорблена. «Сволочь солдафон», — подумала она вслед выскочившему из купе Ярьсько. Но потом он пришел снова. И все повторил. «Чистой воды изнасилование, — философски думала она. — Мне есть с чем сравнивать». Она вспомнила себя ту, дурочку безмозглую, которую за здорово живешь можно было завести в уголок и сделать что хочешь. Сейчас через — через сколько же это лет? — через двадцать с лишним с ней поступали так же. И когда Ярьсько сделал это в третий раз, то они слились в одно, эти два мужчины, прошлый и настоящий, и она напряглась и с какой-то ошеломившей ее ненавистью ответила им как бы двум сразу. Она была свирепа, сильна, агрессивна, она взяла верх, она их победила к чертовой матери, потому что это было ее удовольствие, ее страсть, ее насилие.

— Я перешла с ним в новое качество, — ответила мне Ольга, когда я спросила, что ее, умную бабу, связывает с туповатым полковником.

— Знаешь, — ответила она, — всякое было... И любовью это называлось... И партнерством... И благотворительностью... И браком, между прочим, тоже... Но самый кайф — полное порабощение.

— Тебе мужа совсем уж мало?

— Порабощение, чтоб ты знала, — процесс сексуально обоюдный. У русских женщин он доведен до совершенства. Нам всякое насилие в кайф. Мы потом это любим описывать — счастье гвоздя, забитого по самую шляпку. А наши войны? Чтоб друг друга прикладом, ближний бой — это же оргазм! Ну такие мы! Такие! Мы счастливы, когда нас имеют, как хотят... И только ждем момента ответить тем же. Я это поняла, и мне стало легче. Надо знать свою природу.

Их роман с Ярьеско длился долго. Полковник не знал, что был у Ольги параллельщиком, что вопрос о его единственности никогда у нее не стоял, он этого не знал и был ей верен (жена, естественно, не в счет). Ярьеско погиб в Афганистане, хотя как хорошо все там начиналось. Дубленки, ковры, а по заказу Ольги — причудливые кальяны, тонкошеие кувшины, пахнувшие из горла сокрушительным восточным духом. Но подстрелили Ярьеско. На войне такое бывает. Ольга ходила на панихиду в клуб, постояла в сторонке, жену покойного поддерживал под локоток слегка пастозный старлей. Было в этой паре что-то внепохоронное, как бы они тут, но как бы и где-то далеко-далече. «Ты был рогат, мой друг, — грустно подумала Ольга. — Но ведь это справедливо. Не так ли?»

На Миусское кладбище она не поехала.

С какой стати решила съездить туда на девятый день, не знает сама. Скорей всего, близость кладбища к ее работе, едва проклюнувшаяся зелень листочков, которые едва-едва носиком раздвинули мать-почку и замерли от манящей неуютности мира.

— Как хорошо сейчас на кладбище! — сказала Ольге ее подруга по службе: дома ни разу друг у друга не были, а на работе — не разлей вода. У Ольги на самом краешке перекидника было написано: «9 дн.». Она подумала: может, взять подругу? В конце концов, та многое про нее знала, но вот об Ярьеске — нет. Через час, сославшись, что ей позарез надо уйти, Ольга прыгнула в трамвай и через семь минут была на кладбище. Она не знала последнее место полковника на земле. Она рассчитывала, что достаточное количество людей и венков обозначат ей это место.

На кладбище было хорошо. И пахло странно — рождением. «Как интересно!» — подумала Ольга. Хотелось как-то оформить словами мысль, даже подумалось, что будь она поэтом... Но тут же стало смешно, потому что ничего смешнее — она поэт — вообразить было невозможно. Ольга читала только романы про жизнь и любовь, а существование поэзии всегда вызывало у нее сомнение в ее необходимости. Ей хватало ума не вылезать с этим своим сомнением прилюдно, но она очень удивилась, когда ее родная дочь Манька раздобыла где-то «Поэзию вагантов» и исчеркала ее пометками.

Ольга надела очки, свои первые очки, от которых отбивалась до последней минуты. Неинтересно стало сразу, а совсем скучно через три страницы. «Или она у меня очень умная, или я у себя очень дура», — подумала Ольга. Но первое как-то никак еще в жизни не обозначилось, а со вторым было все в порядке. «Она живет в бархатном ларце: ни сквозняка, ни ветра. Вырастет балдой неприспособленной, а я возьми и помри». Так сформулировался итог попытки познать средневековье.

Почему-то вспомнилось, как она рожала Маньку, каким беспомощным оказалось в этом деле ее тело, как оно не помогало девчонке выйти в белый свет и на нее орали сразу и врач, и сестра, орали, что она кобыла бестолковая. «Я тебе говорю — ходи! Ходи по-большому!» — «То есть?» — пугалась Ольга. «Она кретинка! — радостно кричала сестра. — Она же полная кретинка. Как ей еще объяснить?»

Ольга отвернула голову, чтоб не видеть насмешки, издевательства над собой, и из окошка на нее пахнуло духом почек, живой земли, как бы будущностью всего сущего, и у нее пошла первая настоящая схватка.

Поэтому теперь на кладбище, когда моментно скользнула мысль о поэзии, что было полной для нее дичью, Ольга вспомнила тот сквознячок рождения Маньки.

Ольга шла по тропинке бодро, можно сказать, даже весело, потому что живая, благослови ее, Господи, Манька победила покойного, царство ему небесное, Ярьеску — разве могло быть иначе? Собственно, она даже искать могилу его не стала, прошла сквозь старенькое кладбище и повернула назад. Уже на выходе стало неудобно перед покойным полковником, который дал ей в жизни некое жестокое знание природы вещей, но ему самому это не очень помогло: поработал, поработал, а прилетела из-за угла пуля-дура — и где ты теперь, мудрец Ярьеско? В каких пределах?

Можно сказать, что на трамвайную остановку Ольга вышла в состоянии философской приподнятости и легко вскочила в уже отходящий полупустой трамвай. Она увидела его сразу. Вик. Викича. «Боже мой! — подумала она. — Как я ему рада!» И она пошла к нему через пустой вагон с полной готовностью послужить ему верой и правдой и даже еще чем-нибудь не столь величественным, пока он тут, на земле, в отличие от бедного Ярьески, которому она уже ничем помочь не может...

ВИК. ВИК.

Они с женой долго ждали трамвая. У нее замерзли ноги. «Ты немножко потопай, — говорил он жене, — потопай». И жена топала. Его охватывал ужас от этих нечеловеченных ее движений. Он боялся слов, которые стояли на выходе его мысли. «Как заводная». Он боялся оскорбить ее даже тайным знанием ее неприсутствия в этом мире. Она ведь так старалась присутствовать.

Двадцать минут стояния на еще холодном весеннем ветру возле Миусского кладбища могли плохо кончиться для Леры. После смерти сына — он подавился пуговицей, которую исхитрился откусить на собственной рубашке, пока жена полоскала в ванной его белье, — с ней все хуже и хуже. Освобождение от калеки сына — а это и было освобождение в самом чистом понимании слова — стало для нее укором, что она не уследила за ним. «Если бы он умер своей смертью», — повторяла она бесконечно. «Он своей, — отвечал Вик. Вик. — Его никто пальцем не тронул». Она затихала на этой формулировке, которую он придумал не с первого раза, и как бы мягчала, оживлялась, но потом, будто кто-то грубой силой оттаскивал ее от жизни, кричала: «Это я! Это я! Где были мои глаза?» Одновременно она готовила еду, стирала мужу рубашки, разговаривала с людьми, только замедленность, сомнамбулизм движений говорили, что все с ней плохо, что болезнь как некая неизменная данность, видимо, должна существовать в их доме довеку, потому что кто-то там на распределении судьбы пометил им такую карту.

Ольгу он увидел сразу, как только она выскочила из ворот кладбища и птицей полетела к трамваю.

Вот это самое... птицей... полоснуло от плеча до паха.

Но оказалось еще страшнее: птица летела к нему. Раздвинув стены вагона, аннигилировав крышу, птица на ровных крыльях планировала прямо в раздвинутое болью место. Вик. Вик. обхватил жену за плечи и силой прижал ее голову к себе. И случилось моментно-мгновенное изменение траектории полета. Дунуло только ветром от крыльев. «Слава Богу! — подумал Вик. Вик., прижимая к себе жену. — Не хватало ей еще этого...»

Связь с Ольгой была в его жизни фактом не просто странным, а, скажем, экзотическим. Его приятелю на тридцатилетие какой-то идиот подарил петуха, красивую когтистую птицу, которая не могла оценить ни собственного предназначения, ни грубого юмора людей, а потом — оказалось! — не могла вообще оценить человеческого отношения к себе. Птица гадила, больно клевалась, рвала когтями окружающую действительность, побуждая всех

к здоровой мысли сделать из нее бульон, но какой же уважающий себя интеллигент с Чеховым на полке пойдет на это? Пришлось ехать на электричке, прыгивать на деревенском просторе, а потом в ноги валяться у удивленных людей, чтоб взять петуха Христа ради. Но народ такого дара почему-то принять не хотел. Взял петуха какой-то мужик, подозрительно одиноко существовавший на улице и как бы не тяготеющий ни к одному из домов. В придачу к петуху он попросил всего ничего — святой человек! — деньги на поллитру, что и были ему положены в карман после того, как петух был всучен в руки.

— Он у меня еще помастачит, — приговаривал мужик, — он того... дело молодое... еще встрепенется...

Конечно, сравнивать Ольгу с петухом не просто неловко, а даже как-то оскорбительно для женщины, тем более что Вик. Вик. о петухе не думал, в его нынешнем состоянии петух как таковой — последнее, что могло бы прийти ему в голову. Просто волею судеб я знаю эту историю с петухом, поскольку была на дне дарения и там познакомилась с Вик. Виком и Лерой. Говорят, через семь своих знакомых можно выйти хоть на Тэтчер, хоть на Папу Римского. А теперь — через Интернет, я допускаю, можно выйти и раньше. Но я знала Вик. Вика, вернее, я больше знала Леру. Если вспомнить мою соседку Оксану Срачица, то можно подумать, не искусственно ли я натягиваю нити. Не искусственно. Я широко и просторно живу в своих человеческих связях и всего больше ценю связи простые, случайные, неделовые. На их уровне вязь людских переплетений видна лучше. Мы перезванивались с Лерой, которая об Ольге понятия не имела, и пару раз я дарила Лере духи «Цан-цан» из Ольгиного базара.

— Они тебе нравятся? — удивлялась Ольга.

— Моей знакомой нравятся, — отвечала я, а Ольга делала лицо фигой. «Цан-цан» котировку имел низкую.

Но надо вернуться в трамвай. Вик. Вик. *чувствовал* присутствие Ольги где-то в конце «червяка», а глазами видел сбитый набок серенький Лерин платочек. Изнутри толчками подымалась ненависть, гнев на жизнь, судьбу, что раскорячилась над ними. Благодаря Ольге (или не благодаря? Это спорный вопрос) он знал о другом уровне достатка, о другой женской одежде и другой еде. Поликлиника, «скорая», что за ее стеной, приятели из «ящиков», НИИ, соседи-учителя жили все одинаково. Прикреплялись к каким-то магазинам, помнили, как «Отче наш», часы отоваривания, по цепочке передавали друг другу неожиданно возникающие дефицитные вещи — кроссовки там или сапоги на «манке». С Ольгой он будто съездил в Болгарию, на Золотые пески. Но что делать? Разовые картинки счастья не подходили ему просто по определению. Где-то оставалась Лера, и он не просто помнил об этом, он ощущал ее отсутствие как временную ампутацию ноги там или руки. Сейчас, в трамвае, в присутствии двух случившихся в его жизни женщин, Вик. Вик. думал, что надо бежать из этой страны. Он ненавидит ее, ненавидит за все. За этот оскорбляющий платочек жены, которой так шли шляпки, но к старенькому деми в очередь за яичками разве наденешь что-нибудь, кроме платочка? Они сейчас в связи со смертью сына и болезнью Леры в долгах по маковку, а впереди жизнь, которая может оказаться длинной, как этот трамвай, в котором он едет, и такой же уныло-безлюдной...

В Америке у Вик. Вика жил брат, тоже врач. Брат уехал туда «на лучшем способе передвижения тех лет — жене-еврейке», через два года доказал свою квалификацию, через три — купил дом... Никакой не Нуриев там или Барышников. Обыкновенный честный отоларинголог хорошей выучки.

Он звал Вик. Вика, но Лера была русской, и, что называется, никаких оснований для их отъезда не существовало.

«Уехать! Уехать!» — кричало все в нем, и, видимо, силу энергетике его мысленного побега почувствовала и приняла на себя Ольга, отчего и прыгнула на следующей остановке и уже пешком добиралась до работы.

«Как они оказались в этом трамвае?» — думала она. Ей и в голову не пришло, что они ехали с этого же кладбища, что там у них в могиле Лериной бабушки подхоронен сын. Еще Ольга думала, что жена Вик. Вика выглядит уж совсем старухой. «До такой степени не следить за собой, — размышляла Ольга, — так и просчитаться можно. Уведет мужа какая-нибудь не такая добрая, как я».

Но тут же, как женщина справедливая, она вспомнила, как отторгла ее *его рука*, а другую женщину обняла. Не прикоснувшись к ней, ее выкинули.

«А я, дура, летела к нему как птица. Мне хотелось порадоваться, что он живой, а вот Ярьсько — нет. Я бы ему сказала: „Дорогой! Никто не знает ни своего дня, ни своего часа... Это дает нам полное право брать радость, которая всегда может оказаться последней”».

Пешая прогулка оказалась полезной. Ольга раз и навсегда поняла, что в одной могиле она похоронила двоих. Она теперь будет ездить на Миусское кладбище: у нее там двое. Не важно, что она не знает, где эта самая могила. Цветы можно оставить на любой. Это показалось заманчиво, и она мне при встрече сказала:

— Взять, например, и ходить на какую-нибудь могилу и оставлять цветы... Вот будет переполох в семье, если отследят! Никто ведь про то, что неизвестные цветы — это хорошо, не подумает... Мы все превращаем в гадость. Все.

— Но это же ты так задумала, — смеюсь я. — Ты своей головкой рождаешь гадость.

— Нет, — отвечает она. — Я рождаю цветы. А людей просто хорошо знаю.

Началось время перемен, и рухнул Дом, который построил Джек-потрошитель. То, что мы под ясным небом оказались товаром не лучшего качества, это уже другая история. Хотя чему тут удивляться? Каков был дом, таковы были и люди в нем.

Мое сугубо местное мировоззрение очень обогащала мотающаяся по Европам Ольга. Она смотрела на все как бы извне и объясняла мне, провинциалке Земли, что случившееся освобождение от нас в близлежащих городах и странах и есть главное в процессе, который пошел...

Но мне тогда было достаточно моей московской радости, хотя за поляков я радовалась тоже. Митинги были нашей Сорбонной, газеты — Кембриджем, а плакаты — греко-латинской академией. Мы отшелушивали с себя струпья бывшей ненавистной системы, как выясняется, для того, чтобы нарастить струпья новой.

Ольга же была розово-загорелая, хорошо пахла, даже хотела открыть бутик. Этим словом назывался магазинчик. Откуда мне было это знать? Нас закружило время, и я стала отставать в грамоте. Бутик. Правда, потом Ольга отказалась от этой идеи, продолжая жить старым способом: привозила товар, а потом растыкивала его по магазинам. Пяток подруг были у нее на подхвате, чтоб ей не засвечиваться всюду. Подруги все, как одна, были учительницами школы, куда на гребне превращений Ольга перешла из своего НИИ. Она учила детей странноватому предмету по имени ТРУД: девочки вдоль и поперек прострачивали нескончаемую простыню, мальчики капали в их швейные машинки масло. Школе тогда было ни до чего, а до Ольгиных уроков — тем более. Поэтому, если труд был последним в расписании, Ольга просто отправляла всех домой. Времени у нее было много, она больше не заставляла квартиру тонкошеими кувшинами и бульдожками нэцкэ — в обиход, в жизнь вошел доллар. Ольга мне его продемонстрировала. У Вашингтона лицо простой рязанской крестьянки. Это помешало мне проникнуться нужным чувством.

Однажды у нее зазвонил телефон.

СЕМЕН ЕВСЕИЧ

— Кто говорит? — кричала Ольга в шипяще-шелестящую трубку. Она не любила непонятные звонки, как неопознанные летающие объекты. Как-то ночью, проснувшись от беспокойства, она увидела в окне светящийся диск и закричала.

Пока Кулибин вставал, диск исчез. Осталось ощущение тревоги и неуверенность, было или не было.

Мы тогда зарастали коростой из свалившихся на голову полузнаний: лозоходцы, киллеры, телекинез, реинкарнация. Мы поедали это пополам с демократическими постулатами, и многих уже пучило.

Так вот, явно живая телефонная трубка, хотя голоса нет, могла обозначать, к примеру, звонок из параллельного мира или с того света...

Если Семена Евсеича — помните соседа по площадке, который высмотрел в Ольге подходящую жену, а потом быстро переиграл ее на более подходящую страну? — считать посланцем чужих миров, то да. Это был он. Между прочим, к тому времени Ольга уже дважды летала в Израиль, была разочарована качеством еврейских тряпок: все абы как, швы не заделаны, мохрят, у нее, имеющей репутацию европейского поставщика, было чувство зряшных поездок. Там, конечно, приятно, тепло, сытно, но бабы ходят кто в чем, толстые, шумные, веселые не по делу.

Когда выяснилось, что Семен Евсеич хочет встретиться, встал вопрос, говорить или не говорить, что она была в Израиле и в Хайфе была, где он живет, но мысль его разыскать ей и в голову не приходила. С какой стати?

Семен Евсеич пришел к ним домой, поквакал возле бывшей своей двери в соседнюю квартиру: ах-ах, как давно и как вчера это было...

Ольга представила ему Маньку, у которой в тот день была менструация и она была злая как черт. А Кулибин был как раз очень рад, потому что Ольга купила водку и коньяк, и он все не мог решить, к чему ему припасть, чтоб не мешать это вместе. Кулибин пил всегда одно.

— Мой бывший жених был разочарован, — рассказывала мне Ольга. — Он ведь какую меня знал? Затурканную перезревшую девицу, которая сушила на балконе много женских трусов с выжелтевшей мотней. А девица возьми и вырасти без его благословения. Он же помнит, как у меня было дома. Ну и сейчас... Стол я поставила будь здоров. И красная, и черная, евреи на икру падкие. Знаешь этот анекдот про них? «Никто так не любит икра, как я люблю икра». Я ему сказала: «Ешьте от пуза». В общем, я ему показала, что мы живем тут вполне, хотя спроси меня, зачем я выпендривалась перед плешивым козлом?

Кулибину гость понравился. Когда Семен Евсеич хмельно признался, что когда-то по молодости лет имел на Ольгу виды, Кулибин понимающе ответил, что каждый хотел бы держать в стойле такую женщину.

Ольга в кухне готовила чай и слышала «этот юмор». После той истории, когда ее размазал по стенке Членов, ей ведь пришлось снова осознавать свой брак как некое устойчивое прибежище, которое хочешь не хочешь, а охраняет тебя в этой жизни или, скажем мягче, поддерживает, когда тебе дают в морду... Но сейчас, глядя на мужа из кухни через муть дверного стекла и через всю длину коридора, видя его дважды — живым и отраженным в зеркале, — она, поражаясь этой его «обратностью», испытала к отражению Кулибина острую и какую-то деловую ненависть. «Этого мне не надо», — сказала она вслух, и это был Кулибин. (Или его зазеркалье?)

Если бы Семену Евсеичу достали билет в Большой театр, если бы этот день был субботой, если бы по дороге он встретил на улице своего бывшего сослуживца, который растворился в Москве без осадка, а он его так искал, так искал, если, наконец, Семена Евсеича не на смерть, а так, слегка толкнула машина и «скорая» отвезла его в Склиф смазать йодом — если бы все это возможное имело место и он не пришел бы в гости к Ольге, то не было бы

у нее этого взгляда через сапожок коридора и не было бы зеркального Кулибина.

С зеркалом вообще все не ясно. Что оно есть? Просто отражающая поверхность? Тогда почему там все-таки не так, как здесь? Почему тебя может ошеломить твое собственное явление в нем, ибо обязательно окажется, что *ты* — там совсем не тот, что *ты* — тут, и надо будет быстро-быстро прибрать свое неожиданное лицо, чтоб обнаружить привычную выпученность глаз и по правилам явления зеркалу отставленные губы.

Зеркальный Кулибин был более пьян и более глуп. Обхватив себя левой рукой, он скреб над лопаткой — там у него возбуждался нейродермит от спиртного. И эти его пальцы, теребящие рубашку и тело под ней, они... как бы это сказать? Они завершили круг. Ольга не заметила, как побежала по нему, кругу, снова и снова, и это было как в детстве на карусели: сначала мама с папой у оградки, потом мороженщица, будочка у входа на карусель, шпиль входа в парк, тетка с ребенком и криком: «Смотри, детка, лошадка!», солнце в глаза — и снова мама с папой, мороженщица...

«Ну... С этой карусели я слезу», — подумала Ольга, неся чашки и блюда. Евсеич смотрел на нее плотоядно-пьяно, а Кулибин был сморщен лицом в борьбе с нейродермитом.

Уходя, Семен Евсеич старательно написал адрес на иврите, вырисовывая каждую букву во всех подробностях. «Он что? Не знает, что на почте в ходу латынь?» — подумала Ольга, а потом сообразила, что Семен Евсеич таким образом демонстрировал знание неведомого языка, он не то что хвастался им, он подчеркивал свою *отдельность*, свое существование в мире другого языка. Вы, мол, все тут и тут, а я, мол, и тут и там...

— А по-китайски не умеете? — ехидно спросила Ольга.

— У них снизу вверх, — серьезно ответил Семен Евсеич. И получалось, что все дело только в направлении: слева направо, снизу вверх. Только в направлении!

«Умный дурак», — подумала Ольга.

После ухода гостя Кулибин был вполне хорош: он отстранил Ольгу от посуды, все вымыл, прошелся по полу мокрой тряпкой, отчитал Маньку за невымытую после себя ванну, но, дурачок, не знал, что все это уже не имело значения.

Даже их ночные объятия с женой. Та в этот момент думала, как сделать все наименее травматично для всех. И для сопящего Кулибина в первую очередь. Теперь, когда все было решено, она его даже жалела.

КУЛИБИН

Кулибина назначили правофланговым на демонстрации Седьмого ноября.

В профком, куда его позвали, на главном месте сидел бывший парторг, которого Кулибин всегда терпеть не мог.

— Ну что, нравится тебе это время? — спросил тот сразу, до «здрассте», пока Кулибин медленной своей мыслью постигал существование бывшего партбосса в черном кресле как в своем. Институт разрушился почти до основания, деньги тем, кто в нем еще оставался, платили едва-едва, поэтому вопрос парторга о нравится не нравится смысла как бы и не имел: что он, Кулибин, идиот, чтоб ему нравилось плохое? И пока он подгонял слова к выходу, парторг сказал раньше:

— Тебе, конечно, проще. У тебя жена бэзнэмэн. — Он так именно сказал, припадая на неправильную гласную. — Тебе проще. Ты можешь и не быть семье кормильцем. При такой-то жене и я бы, может, тут не сидел. А другие? У которых от и до?

Капкан сработал. Аполитичный Кулибин, вполне принимающий новые идеи и новые времена, взял в руки древко во имя защиты тех, кому хуже, чем ему. Чтоб дистанцироваться в глазах людей от Ольги как источника своего благополучия.

Он ушел утром тихо, хотя Ольга уже не спала и слышала выскальзывание мужа из квартиры. «Куда это он?» — подумала она.

На Октябрьской площади было красно и ухал барабан. Кулибин даже взволновался, а тут еще к нему кинулась женщина, и он узнал в ней Веру Николаевну.

— Сколько лет, сколько зим! — пропела она, и Кулибин вдруг ни с того ни с сего почувствовал смятение в теле. «Это от духовой музыки, — подумал он. — Она меня возбуждает». Трубы и тромбоны как раз пели вразнотык, железно бряцали тарелки, у женщины на отвороте алел бант, а некоторые уже завертелись в вальсе «Амурские волны».

Молодые лета стояли рядом и подмигивали Кулибину.

Он обхватил Веру Николаевну, вспоминая подробности ее географии, корвет под потолком, запах ее постели, и ощутил острое желание оказаться в ней.

Когда Ольга включила телевизор, прямо на нее с раскрытым ртом шел ее собственный муж, а на его руке висела баба, висела по-хозяйски, так виснут на мужчине, которого знают вдоль и поперек, и хотя песня была, видимо, патриотическая, а флаг в руке Кулибина — красный, подспудное, тайное в них было ярче. Это точно.

Казалось бы, замечательно! Вы этого хотели, мадам... Но откровенность открытых ртов, это шагание в ногу... Ну и сволочь же ты, Кулибин. И она вспомнила, как он на цыпочках покидал дом.

Уязвимой была и идеологическая деталь: чего ж это ты, муж, не рассказываешь жене о своих партийных пристрастиях? Ты что, не знаешь, что Ольга этих коммунист на дух не выносит?

Одним словом, хочешь засветиться — иди в правофланговые. Непременно попадешь в телевизор.

Может, это и не стало бы концом их семейной жизни, может, и отплевался бы Кулибин от телевизионной картинки, тем более что на тот момент он и виноватым еще не был, но он же сам все и испортил.

— Олюнь! — позвонил он. — Я у Васьки Свинцова. Он попросил меня помочь с гаражом. Я забыл тебе сказать вчера. К вечеру буду...

Смешно, но она не знала, что сказать. То, что она заплакала, было для нее неожиданнее всего... С какой стати? С чего бы это? Но она размазывала по лицу слезы, а тут возьми и объявись по телефону я. Я тоже видела Кулибина и была оскорблена его пребыванием в тех рядах. Женщину я просто не заметила. Слепая оказалась. Но, как выяснилось, еще и глухая. Слез в голосе Ольги не учуяла.

— Ты чего за мужем не следишь? — закричала я, имея в виду исключительно мировоззренческие вещи.

Она ответила мне, что ничего не видела. А я слышала в трубку, что у нее включено то же самое. Слава Богу, у меня хватило ума не уличать ее во лжи. В конце концов, это не мое дело. Хотя, повторяю, женщину рядом я не помнила. Та общность строя была для меня вне сексуальности, я отказывала ей даже в этом. Уродливость собственного максимализма была мне сладка, что говорит о том, что разницы между правыми и левыми нет. Одним миром мазаны... Но не обо мне речь...

Ольга потом скажет, что она солгала, потому что ей надо было «все переварить самой».

Кулибин же поехал к Вере Николаевне. Они купили по дороге бутылку водки. В электричке сидели взявшись за руки, и Кулибин восхищался собой: как он удачно использовал приятеля Василия Свинцова, который уехал

с семьей на свадьбу дочери в Рязань, и теперь, захоти Ольга перепроверить его звонок, ничего у нее не выйдет.

В коридор барака высыпали соседи Веры Николаевны.

— Мы вас видели! Видели! — кричали они. — Уже дважды вас показывали.

В голове Кулибина дробно-дробно застучали палочки барабана. Хорошо, что Вере Николаевне было не до него, она выспрашивала у народа, как она выглядела, и народ отвечал, что вполне хорошо, только очень был открыт рот.

— Мы пели! — объясняла Вера Николаевна. — Пели! Я даже охрипла.

Она не заметила, что Кулибин сидит и слушает дробь палочек в голове, она думала о том, что ее видели многие, и это замечательно, жаль, конечно, если рот на самом деле был очень открыт. Она включила телевизор ровно в два часа и сразу увидела себя и Кулибина. Всего ничего — миг, и рот у нее как рот.

Каким разным может быть течение времени...

Кулибину показалось, что он шел на экране вечно. Вечен был его правофланговый проход по истории жизни, вечно было древко в руке, вечна эта женщина, по-хозяйски просунувшая ему под локоть руку, вечны были глупость его вытаращенного лица и чернота провала рта. Вера же Николаевна в момент его смотрения себя в вечности счастливо обвисала на нем, прижимаясь к его спине расплющенной грудью, и дышала, дышала ему в ухо горячим нутряным дыханием.

Конечно, это было отвратительно — взять и уйти, когда уже разложена колбаска, и огурчик, и малиново-маринованный чесночок. Кулибин отметил отсутствие тонких чувств понимания у Веры Николаевны, которой было так хорошо, когда ему плохо, и она торопила его скорей-скорей все съесть и выпить, чтобы перейти к главному действию. В защиту Веры Николаевны надо сказать, что она не имела мужчины после Кулибина. До него к ней иногда приезжал физкультурник их школы, добрый и хороший дядька, но, как и полагается, выпивоха. Когда она осталась одна, без Кулибина, то как-то пригласила физкультурника «попить чайку». Физкультурник, как человек честный, отвел ее в сторону и сказал:

— Вер! Я приду, но если без *этих* дел. *Мой* совсем не годится, в полной отключке.

Конечно, Вера Николаевна не стала настаивать на приглашении. Он все понял правильно и спросил:

— А куда делся твой мужичок?

— Был, да сплыл, — ответила Вера Николаевна.

Сейчас, кружась вокруг стола, она каким-то ...надцатым чувством поняла, что у нее сегодня шанс как никогда: еще раз шесть покажут их по телевизору — и какое же надо иметь отсутствие гордости у жены Кулибина, чтоб стерпеть это?! Она должна его выгнать, должна!! Иначе она, Вера Николаевна, просто перестанет ее уважать. Вера Николаевна напрягала своим желанием космические силы, чтоб они повели себя грамотно и оставили ей Кулибина насовсем, как единственный вариант в ее жизни. Она ему сегодня докажет — после еды, — что и она у него тот же самый вариант. Она ему сегодня выдаст по полной эротической программе.

Кулибин же возьми и подумай о том, что если Ольга их видела, то опять придется ездить на электричке, а он так отвык от этого. И вообще, он любит свой дом, и дочь Маньку, и Ольгу любит; дураком надо быть — не любить в наше время такую жену. Кулибин привстал, чтобы рвануть, но другая женщина положила ему на плечи руки и сказала:

— Не дергайся! Часом позже, часом раньше. И вообще, у тебя сегодня получилась рулетка.

И Кулибин отдался на волю игры случая и Веры Николаевны.

МИША

Вариант Кулибина переехать в ту заныканную для Маньки квартиру (до слез не хотелось уезжать из Москвы!) Ольга отвергла на корню. По моральным соображениям.

— Мои покойные родители по копейке собирали на кооператив для меня! Понимаешь — для меня! Тебя тогда и близко не стояло, как сказали бы в Одессе... И вообще, настоящие мужчины уходят с одной зубной щеткой.

Так как виноватым считался Кулибин, то все правила игры определила Ольга.

К зубной щетке она прибавила три тысячи долларов, но чтоб уже «без разговоров». Сумма слегка ошеломила Кулибина, он ведь домашней кассы не держал и, сколько там чего есть у жены, не особенно интересовался. Поэтому уходил Кулибин даже несколько возбужденно, думая, что богат, но уже на первом ветру выяснилось, что деньгами этими ему не прикрыться.

Он боялся переезжать к Вере Николаевне, боялся ее натиска и своего слабоволия, и этот загнанный в угол мужчина, без крыши и с неустойчивой зарплатой, вдруг проявил такую прыть и такую изобретательность, что, как говорится, вам и не снилось.

Он жил пока у Свинцова, жена которого осталась в Рязани у дочери. Та вышла замуж за военного, была беременная уже на шестом месяце, и сизый ее голубок, определенно, спрыгнул бы еще до брачного марша, если бы каким-то уникальным случаем ему как будущему отцу и молодому специалисту не дали крохотульку квартирку типа «дверь-стенка». Жена Свинцова осталась, чтоб побелить кухню и вымыть «засратый нашим народом» толчок. Свинцов был рад Кулибину, они хорошо попивали, ругали баб, отдельных и скопом, а в какой-то момент поняли, что без них, зараз, «не клево», и позвали знакомых разведенок. Кулибин присматривался к двум дамам, из которых он должен был выбрать *свою*, но «присматривался» — не то слово, которое годилось в этом случае. Кулибин вел глубокое дознание и понял страшную для себя вещь: дамы, крутясь при новорусском капитализме, давно поняли, что мужчина для процесса выживания — балласт. У него нет скорости, сообразительности, оперативности, гибкости ума, и вообще он, мужчина, нужен *на раз*, не больше. Узнав все это, Кулибин на кухне сказал Свинцову, что ему все равно какая, поскольку никакая не годится.

Он стал читать разные объявления, обдумывал вариант суда с Ольгой, но от этой мысли ему делалось неловко. Он стал бывать на выставках и один раз днем ходил в зал Чайковского. Неожиданно выяснилось, что это доставляет ему радость, именно в интеллигентном месте утихает в сердце горькая мысль, что почти на старости лет он остался без кола и двора, что скоро возвращается жена Свинцова и надо искать, куда приткнуться. В картинной галерее возле какой-нибудь картины типа «Переход синего цвета в красный» ему делалось уютно и отпускало сердце. Но это еще был старый Кулибин, Кулибин-созерцатель, а не действитель, и перехода одного в другое в нем самом еще видно не было. Кулибин был беременен действием, но срок был еще мал.

Однажды он позвонил домой, и трубку взяла Манька.

— Пап! Ну, ты как? — сочувственно спросила она.

— Да ничего, дочь, — ответил он. — Честно скажу: скучаю по вам.

— Брось это дело! — сказала Манька. — У нас теперь живет Миша. Знаешь, сколько ему лет? Двадцать пять. У нас тут такой сексодром, что уши вянут.

— Я тебя заберу! — сказал Кулибин наобум Лазаря. — Вот устроюсь — и заберу.

Манька всхлипнула в трубку, и беременность Кулибина пошла в рост.

Мишу я знала раньше Ольги. Он рос у меня на глазах, потому что был пасынком моей институтской подруги. Я ее познакомила с Ольгой на предмет импортного барахлишка. Мы судачили друг о друге, но это не мешало нам уже много лет нет-нет и собраться «на троих». Подругу звали Кира, она отбила у своей знакомой мужа, тот оказался остервенелым отцом и с ходу отбил у растерявшейся и рухнувшей от свалившегося на нее предательства жены пятилетнего сына. Кира уже через месяц горько жалела обо всем содеянном, но деваться было некуда. Жена мужа попала в психушку — Мишин папа перестарался. Кира так и не смогла привязаться к мальчику, рассчитывала на его возвращение к матери, потому и не рожала сама. Но сволочь время! Оно летит так оглашенно, что, пока она туда-сюда «корректировала свою неадекватность к мужу и пасынку», лечась у разного рода сенсов, ушли, как и не были, годы. Брак был неинтересный, скучный. Отец с сыном так и не приросли к женщине, которая прожила жизнь в ожидании, что проснется — а она одна-одинешенька, и станет ей вольно-превально. Случилось другое. Умер муж. Кира осталась с глазу на глаз с Мишкой, и оба они не увидели себя в глазу другого.

В тот день Кира то ли послала зачем-то Мишу к Ольге, то ли Ольга о чем-то ее попросила, но высокий красивый молодой мужчина переступил порог женщины, которая только-только оформила развод, ощутив при этом не желанное освобождение от опостылевшего Кулибина, а тревогу и даже страх. Дело в том, что очередь из мужчин к Ольгиному сердцу не встала. Она тогда посмотрела в зеркало и увидела, что сорок один год сидит в ней всеми своими месяцами и неделями, время впечаталось в нее со вкусом, смачно, обвисло на уголочках рта, набрякло под глазами, подбородок вообще сдался времени без боя, безвольный пленник лет.

В этот ее момент и появился Миша.

— Боже! Как ты вырос!

Он называл ее «тетя Оля». И меня он называл тетей. А вот Киру он называл Кирой, и это было предметом наших рассуждений. Мы приходили к выводу, что Кира была подосознательно выведена ребенком из пределов родственности, тогда как мы почему-то, скорей всего назло, стали его тетями.

Так вот, в тот день, день прихода, Миша сразу назвал Ольгу Ольгой. Это был хороший ход, тем более что он был интуитивным, а значит, сердечным и нерасчетливым. Неумственным.

— Знаешь, — рассказывала мне Ольга, — я хотела его поправить, шутейно так, но не стала. Передо мной стоял взрослый мужчина, и он — понимаешь, он сам! — определял характер взаимоотношений с женщиной. И хоть я тогда была на себя не похожа, тетей — извини! — я ему все-таки еще не была.

— А что было дальше?

— Все, — ответила Ольга. — Все, что полагается, когда мужчина делает выбор.

У меня были на этот счет сомнения. Сомнения относительно первого шага Миши. Я предполагала Ольгину инициативу. Я ведь помнила, как Мишка сидел у меня на коленях, а я его высаживала на горшок и подтирала ему попку, мне трудно было представить, чтобы он мог взять меня сегодняшнюю на руки и отнести на кровать, ну разве что я рухну при нем в гипертоническом кризе. Я давно знаю: представлять себя в ситуации другого — дело сколь увлекательное («И тогда я встала на ее место!»), столь и бесполезное для понимания другого («Ну, встала... На чужом месте ты находишь самого себя»). Вся штука, что никаких *плодов знания* подмена «я» на «он — она» не дает. Мы ведь так упоительно индивидуально совершаем все наши немислимые глупости. Дальше — почти парадокс: случай чужой глупости кажется нам тем более невероятным, чем скорее мы к нему приближаемся по подспудно-подкожному порыву. Когда мы говорим: «Я бы ни за что!», то

скорей всего мы поступим еще хуже. Так что я сцепила зубы и не произнесла никаких заклинающих слов.

Хотя вся последующая информация подтверждала, что Ольга не врала.

— Ты бы видела меня тогда! — говорила Ольга. — На мне же лица не было!

— А остальное было? — спрашиваю я.

— Не хамя. Было. Он так нежно и долго меня раздевал.

Тут нужна и Кирина версия:

— Я с ним уже не разговаривала месяца полтора. Его мать давно жила дома, в больнице ее обучили макраме, и она делала его на продажу. По субботам стояла в Измайловском парке. Это давало ей неплохой заработок, и она не бедствовала. Я предлагала Михаилу переехать к ней. Он работал в умирающем от истощения литературном журнале и, в сущности, ел из моего холодильника. Он нахамил мне. Сказал, что, как законопослушный человек, живет по месту прописки. Я с ужасом думала, что он может со временем привести девку, жениться, родить ребенка, а меня они потом удавят моими же колготками. Ну хоть трави его первой! Но девок он не водил, это точно. Пропадал на время, и я молилась, чтоб не возвращался. Но он возвращался, загаживал мне ванну, лежа в ней после своих игрищ часа по два. Теперь я понимаю: он тоже искал выход. А выход в его случае — обеспеченная женщина. Но когда я его посылала к Ольге, ее я и в дурном сне не видела в качестве той самой нужной женщины. Разве что Маньку. Девчонка подрастала, шестнадцать лет... Самое то, чтоб трахнуть ее капитально, с прицелом.

Не знаю, что клубилось в Мишкиной голове, когда дверь ему открыла тетя Оля. Она была самой удачливой, самой приспособленной и, что там говорить, самой яркой женщиной, если нас всех поставить в ряд: маму-макрамистку, сволочь мачеху, затюканных жизнью родительниц его приятелей, коллег по работе, филологических дам, безупречных в искусстве мата внутри стилистики языка, но до чего же бездарных при более тесном, но бессловесном приближении. Я сама вполне хороша для этого списка и становлюсь в него с честной печалью.

Я представляю все так: Ольга открыла дверь, и умный глазастый Михаил увидел все и сразу: он увидел момент разрушения женщины. Она ведь только-только от зеркала. Она провела инвентаризацию собственных доспехов и поняла, что они слегка износились и торчат из нее всеми ржавыми углами и вот-вот придавят совсем.

Миша — умница такой! — увидел за секунду момент ее полного падения и понял — или знал? — как подхватить ее в этот момент.

Если я принимаю эту версию, то в чем я тогда подозреваю Ольгу, в каком таком лукавстве? Просто мне казалось, что между тем, как она, потрясенная собой, открыла дверь, и тем, как он, потрясенный ею, подставил руки, было еще нечто.

Было. Могло быть. Пустяк, он даже не стоил разговора. Однажды Ольга пригласила нас с мужем в театр — как я понимаю, остались невостребованными чьи-то билеты, — я ухватилась за них, уже забыла, как это делается — «ходить в театр», она была с Манькой, без Миши — щадила впечатлительность моего мужа, он ведь старорежимный, считал ее разрушительницей всех и всяческих основ существования, у которой понятия «хорошо» и «дурно» пребывают в хаотическом объятии, когда не поймешь, где, что и почему. Поэтому мой муж существовал отдельно от нашей дружбы, и информацию о жизни Ольги я выдавала ему дозированно, капельным методом.

Так вот, в фойе она пошла нам навстречу, красивая, элегантная... Подойдя к мужу, она позволила себе почти интимный жест — чуть оттянула узел его галстука вниз. Конечно, мой дурак тут же водрузил его на место, не дав даже паузы на то, чтобы отделить друг от друга эти два движения. А Ольга ведь так старалась подружиться с ним, она как бы освобождала его мужскую

глупую шею от застоя, от петли, она давала ей волю... Мой благоверный ее зова к свободе не принял.

Теперь вернемся к Мише. Когда она открыла ему дверь — я так себе представляю — и он переступил порог, она тоже каким-то образом дала ему волю. И классный, замечательный зеленый знак Мишей был понят и принят.

Это был период Ольгиного расцвета. Счастье исторгнуло из нее наконец память о Членове как о человеке, который «он, и только он». В этом освободившемся месте ее души вырос развесистый куст бузины, который, как говорят, хорош для чистки больших медных тазов, потерявших в наше время смысл предназначения. Боже, как отвратительно я язвлю! Как даю повод говорить о мелкой женской зависти!

Миша покинул Кирины пределы, та быстренько выписала его, подарив паспортистке шикарный набор блестящих кастрюль. Паспортистка была так счастлива, что честно спросила, не надо ли выписать еще кого. Или, наоборот, прописать. Кира сообщила об этом Мишке, тот ругнулся, Ольга же сказала: «Успокойся. Она права. Тебе надо прописаться к матери». Она и устроила это все в три дня, побывав у Мишиной матери-макромистки. Там она увидела замечательные работы, цены которым слабая умом художница не знала. Ольга скупилась у нее все оптом, надавала ей указаний, получилось, что она — благодетельница. И сына, и матери, и Киры. Кстати, Михаил с ее подачи плавно снялся с дрейфа в литературном журнале и пошел на курсы менеджмента или как это называется... За курсы тоже платила Ольга, но ей было не жалко. Ей было хорошо.

Она сходила к очень дорогой гадалке, которая «знает все», та предсказала ей восемьдесят два года жизни, тяжелую операцию в шестьдесят, после чего глубокое взаимное чувство, потерю этого человека в ее семьдесят, но все это было уже фэнтези... Ольга слушала и смеялась, чем рассердила гадалку. На вопрос о Мише гадалка была менее щедра в подробностях, из чего Ольга сделала вывод, что с ним у нее не очень надежно. Но странное дело: печали там или тем более скорби не возникло. «Никаких навсегда, — сказала она мне. — Считай, что я вышла погулять на лужок. Я сейчас разнузданная лошадь».

С захватывающим интересом наблюдала за романом матери Манька, что даже несколько обескураживало Ольгу. Такого полного приятия ситуации она не ожидала, готовилась к обороне там или душещипательному разговору, ан нет... Ничего не потребовалось. Дочь ходила с ехидной мордой, играла с Мишей в «дурака», вечерами они вместе смотрели телик — вполне глупая семейная жизнь, которая, как говорят умники, и есть самая устойчивая.

Однажды пришел Кулибин. Он не удивился Михаилу, он все знал, но когда тот полез в холодильник как в свой и прямо возле него на коленке отрезал себе кусок колбасы, а потом об штаны вытер пальцы, Кулибин перевел глаза с матери на дочь: дочь была в прыщиках, тогда как мать блестела чистой отдрессированной кожей, — вот тут Кулибин не выдержал и сказал:

— Ну, вы даете стране угля...

Ему стало жалко своего диванного места, своей кухонной табуреточки, вообще этого дома, который еще вчера был и его домом, а не домом этого молодого козла, поедающего колбасу.

Он посмотрел на Ольгу и сказал уверенно, хотя как бы и между прочим:

— Надо дать объявление на размен квартиры.

— Но мы ведь договорились, — ответила Ольга, тоже уверенно и тоже между прочим.

— Не получается, Оля, — честно сказал Кулибин. — Деньги я тебе верну. Я не много истратил. Если хочешь, я заберу с собой Маньку. Тебе ведь,

должно быть, не очень ловко жить вместе с таким жеребчиком и половозрелой девицей? Да и ей... Да и мне...

— Ищи себе однокомнатку, недорогую, скажешь, сколько просят...

— Ты это поднимешь? — удивился Кулибин.

— Не твое дело. Ищи.

Тогда у Ольги еще не было машины, хотя деньги на нее лежали.

У нее был страх перед рулем, мотором, дорогой. С этим надо было что-то делать, и была, была мысль — приспособить Мишу водилой. Она была уже совсем, совсем близка к тому, чтобы сказать ему: «Получи-ка права». Сейчас же, после ухода Кулибина, который пришел за какими-то своими бехами, она этой своей мысли дала отставку.

А ночью проснулась с тревогой в душе. Она вдруг поняла, что все у нее не то и не так и что тянуть эту связь себе дороже. За курсы его заплачено, вот окончат их, устроится на хорошее место — и пусть идет в одиночное плавание. Кулибину же надо помочь с квартирой. Когда она это сделает, будет свободна и покойна: ей ведь жить долго — до восьмидесяти двух — и можно никуда не торопиться. Но в душе что-то саднило, першило, пришлось встать и выпить таблетку седуксена. Когда вернулась и легла, Миша даже не пошевелился. Вспомнился Кулибин, который всегда просыпался на ее ночные вставания, он всегда догадывался, что она пьет таблетку, тогда он обнимал ее и бормотал ей какие-то слова не слова, а так, выдохом сочувствия и понимания. Получалось, что ей нужен такой, как Кулибин, но именно он ей не нужен, вот он приходил, сидел, что-то говорил, а она думала, что к его вперёдсмотрящему зубу так и не привыкла. Она помнила его своими губами, и это было не то воспоминание, которое хочется оставить на всю жизнь... Уснула Ольга с мыслью, что Кулибин ей не нужен, ну а если уж очень понадобится, то ведь стоит только свистнуть! В это она верила свято, как в свои восемьдесят два.

КУЛИБИН

Он честно искал квартиру. Ездил смотреть, встречался с хозяевами, входил в разного рода цепочки обменов и продаж, на работе дела не было, так что можно было поиску отдаться целиком.

Кулибин увидел огромное количество женщин продающих и не менее огромное — покупающих. Они все обменивались друг с другом телефонами, и он даже не заметил, как вошел в азарт. Это был совершенно новый мир отношений, в нем чуть иначе разговаривали, здесь спокойно, без придыхания назывались большие суммы денег, и хотя у Кулибина было две тысячи четырехста восемьдесят пять долларов и зарплата, не выданная ему уже за четыре месяца, у слышанных сумм была куда большая аура. Кулибин вдруг однажды сказал себе: «А я мог бы стать авантюристом, если б захотел», — но тут же понял, что это неправда. Даже очень бегающий по адресам, Кулибин все равно был по-советски ленив. И снова, в который раз, он с уважением подумал об Ольге. Вот она — что хотела, то и могла. И пришла злость на тот праздник и на Веру Николаевну, с которых начались его проблемы.

Вне всякой логики, даже можно сказать — вопреки ей, Кулибин купил торт «Птичье молоко» и поехал в Дмитров.

Веры Николаевны не было дома. Соседка Люся, существо гадостное, сообщила ему, что «Верка в бане, надо же сходить хоть раз в месяц. А то гремит тазом, как какая-нибудь инвалидка».

«Надо уйти», — подумал Кулибин — и ушел бы, но на него обрушились воспоминания детства: как он ходил в баню с матерью и сестрой, а одна тетка подняла визг, когда вдруг заметила его вздыбившийся кончик, а он его просто почесал, тело всегда начинало чесаться в предбаннике, видимо предвкусная горячую воду.

С тех пор мать его отправляла в мужское отделение, прося кого-нибудь из знакомых потереть ему спину. Но, как правило, мужики, раздевшись, тут же забывали о нем, и он мылся как мог, как получалось. После бани дома всегда пили чай, с медленным затягиванием жидкости в рот.

В руке у Кулибина было «Птичье молоко». Он вдруг подумал, что может устроить радость Вере Николаевне. В ее жизни может случиться такой же хороший чай. А тут и она сама появилась на дорожке к дому, белея пресловутым тазом, который всегда стоял у нее в углу, прижавшись к дивану.

Вера Николаевна прошла мимо Кулибина, как мимо стенки. Ну что угодно! Что угодно! Но такого он не ожидал.

— Вер! — сказал сразу овиноватившийся Кулибин. — Вер! Я чаю хочу с тортом.

Она повернулась к нему и сказала весь текст, выученный наизусть. Что он оказался подлецом, тогда как ему так много было доверено. Что пусть он идет к своей спекулянтке, как бы иначе их сейчас ни называли. Смысл один: есть на свете и получше его, с которыми понимание и чувство и все такое...

— Возьми торт! — перебил Кулибин. — И можешь его выбросить.

— Ладно. Зайди на минутку, — как-то вдруг враз, поменяв температуру слов, сказала Вера Николаевна.

Она раздевалась медленно, и в комнате запахло баней, и это был хороший дух, располагающий к дружбе, а не к сваре.

За чаем мокроволодая и простецкая Вера сказала, что есть человек, у которого серьезные намерения. Он овдовел, остался мальчик, играет в шахматы, серьезный, не то что нынешние. Конечно, мальчик живет у бабушки и бабушки, кто ж его отдаст, но отец есть отец. Прийти там в гости или сходить в музей. Вера Николаевна к нему переезжает в Москву, у него огромная квартира в центре. Кулибина просто затошнило от этих новостей, но не потому, что ему было противно, а от возбуждения нервной системы, которая так остро восприняла успехи в жизни бывшей пассии. Откуда было знать кулибинской нервной системе, что вторую половину своего рассказа, начиная с овдовения, Вера Николаевна просто намечтала. Тем более, что жена ее поклонника на самом деле была на грани и держалась только на уколах. Мальчик тоже существовал и правда находился у бабушки. Вадим Петрович приводил Веру Николаевну к себе пару раз после манифестаций. Однажды она у него помылась в ванне, и он дал ей огромное полотенце, в которое она завернулась, как дитя. Очень сексуальным получилось последующее ее разворачивание, и Вадим Петрович достойно оценил ее тугой нерожалый живот, втянутый в пупочную ямку. Именно разворачивание и внимательное оглядывание ее доспехов вызвало у Веры Николаевны рождение мечты. С чего бы иначе так присматриваться к самой что ни на есть сути — пупку? Но жена тем не менее была еще жива, а на последней манифестации Вадима Петровича не было, хотя Вера Николаевна и становилась на цыпочки и даже подпрыгивала на носках.

После чая Кулибин было поднялся, чтобы уйти, но Вера Николаевна тяжело вздохнула и сказала:

— Да ладно тебе... Раз сам пришел...

Этого уже Кулибин не понимал и, хотя, конечно, остался, потом даже как бы мстил этому неизвестному Вадиму Петровичу, которого не знал и знать не хотел.

Уже после всего, отдыхая, Вера Николаевна рассказала Кулибину, что ее московская тетка переписала на нее однокомнатную квартиру, а сама уехала на Украину. Конечно, не за так переписала, а пришлось продать садовый участок, но это только полцены, сейчас вот надо кому-то продать эту комнату, хотя польститься на барак дураков нет, расчет только на беженцев, вот завтра придут — из Таджикистана.

У Кулибина же в голове сидела информация о трехкомнатной квартире, где — этого он, конечно, не знал — Веру Николаевну заворачивают в большие полотенца. А оказывается, у нее есть и однокомнатная квартира! Везет же некоторым! Он прямо так и сказал:

— Ты однокомнатную продай мне! Ты же переедешь в трехкомнатную. Сколько тебе за нее надо?

Жизнь тысячу раз доказывала человечеству невыгодность вранья, и тем не менее каждый отдельный человек врет как сивый мерин и потом непременно напарывается на собственную брехню собственным же брюхом.

Заездила Вера Николаевна, занервничала, поднялась было, но Кулибин опрокинул ее на подушку и положил сверху ногу для страховки, чтоб не дергалась, а дала ответ.

В результате Кулибин остался ночевать. Это была первая ночевка с Верой Николаевной, и то, что она не возражала, давало надежду, что он ее уломает. Она же думала о другом: Вадим Петрович, конечно, разворачивал на ней полотенце, но никаких гарантий при этом не давал. Кулибин тоже не давал, но он сейчас в шахе и мате, и тут, как говорится, возможны варианты.

Утро, которое, как известно, мудренее, выдало такой проект: Кулибин добавляет нужную сумму, деньги от продажи комнаты пойдут на мебель, потому что у тетки одна рухлядь, и они поженятся. Потому что у них — чувство. Чувство родилось ночью, пока они спали, первой проснулась женщина и подумала, что ей нравится просыпаться с мужчиной, конечно, она этого никому не скажет, но у нее в первый раз дошло до такого момента. Все ее возлюбленные всегда уходили до ночи.

Кулибин же остался. Проснувшись в общем тепле, он вспомнил Ольгу, ее отдельность последнее их время в собственном одеяле, ее гнев, когда он посягал на ее территорию, подумал, что, в сущности, он человек простой и ему нужна безыскусность семейных отношений, и нечего тут мудрить. Где это он будет искать себе другую женщину, да еще с квартирой, если есть готовая, почти своя, вполне образованная женщина-физик, с корветом на шкафу и планами на мебель.

Они повернулись друг к другу и так родственно и тепло обнялись, что о чем там говорить еще. В «барачные услуги» Кулибин шел уже спокойно, как к себе домой, Вера Николаевна мимолетно вспомнила Вадима Петровича и неприятную ей привычку грызть ногти — они у него были обкусаны до крови, а он все рвал и рвал бахрому заусениц.

Будем считать, что жизнь Кулибина устроилась счастливой, чем можно было ожидать для нашего времени. Ольга добавила деньги, она была обескуражена тем, каким довольным выглядел бывший муж. Ольга даже пристала к Маньке, чтоб та ей поподробней описала «мачеху». Манька же верещала от счастья, что с физикой у нее теперь будет о'кей, одной заботой меньше, а что касается самой Веры Николаевны...

— Ну, мам... Она баржа... По определению...

— Что это значит? — спросила Ольга.

— Баржа, и все. Посмотри в словаре.

Ольга нарушила наши правила не приходите ко мне, заведенные еще в эпоху Членова, и явилась совсем уж не по правилам — без звонка.

— Слушай, — сказала я, — так не делается.

Я на ходу убирала что-то ненужное и лежащее не там, но она махнула на меня рукой:

— Брось! Я пришла, а ты мне объясни. Почему я страдаю оттого, что он женился? Где были мои карие очи? Почему они не увидели такой вариант?

Я ей сказала, где они были. Ольга с невероятным интересом выслушала перечень своих интересов на стороне, куда и были обращены ее очи.

— Какой прискорбный реестр! — сказала она насмешливо. — Фантастика! Ни один не лучше Кулибина. Членов? А что Членов... Я так капитально его забыла, что даже плохо помню его лицо... Вот странно... Именно его помню хуже всех. С чего бы это?

— Со старания забыть...

— Тогда бы помнила замечательно. Это же типичный случай «не думай про обезьяну».

— Он разошелся с женой, — сказала я. — Те связи, которые были так важны в прошлые времена, тью-тью...

— Откуда знаешь?

— От соседей. Оксана Срачица ведет репортаж. Членов твой взял за себя соплюшку, лет двадцати.

— Потянуло на молодое мясо... А вот Кулибина нет! Взял ровню. Старую деву. Называется «баржа». Я им приплачивала за покупку квартиры.

— Тебе ничего не стоило его вернуть. Выставила бы за дверь молодое мясо по имени Миша, повинилась бы — и все было бы, как было...

— Мишку я выставила еще раньше. Это была дурь. Кулибин мне тоже не нужен. Это я по душевной пакости — ни тебе, ни мне — говорю. Мне нужен солидный мужчина. Профессор какой-нибудь. Банкир. Граф, наконец. У меня ведь все есть... Я в полном порядке. Но я, к сожалению, не феминистка. Мне надо приклонять голову на широкую и уважаемую грудь. Даже секс — черт с ним! Я хочу респектабельности и целования ручки.

— Сама не знаешь, чего хочешь...

— Высшей пробы хочу. Чтоб даже в самый что ни на есть момент не возникало легкого отвращения от существования физиологии.

— А куда ты, живая, от нее денешься...

— Не знаю... Но хочу князя по этому делу.

— Их сейчас как собак... Купи себе титул и тусуйся.

— Давай лучше выпьем, — сказала Ольга. — За счастье Кулибина. В конце концов, он отец Маньки. Зачем ушел, дурак? Потерпел бы чуток... Нет, вру! Он мне не нужен... И никто на сегодня не нужен... Я объявляю пост... Буду молиться и вынашивать в сердце образ... Как Агафья Тихоновна или как ее там...

ТАМБУЛОВ

Свалился, как снег с карниза. Дальний родственник по линии отца. Ольга смутно помнила его матушку, которая приезжала с Урала, когда она была девчонкой, невероятно окала и говорила: «Ложьте, ложьте». Именно это слово она употребляла чаще других — а может, его неправильность так врезалась в память? Поэтому, когда раздался телефонный звонок и некто сказал, что он Вася Тамбулов, Ольга чуть не сказала ему: «Ложьте, ложьте», — засмеялась, смех естественным путем организовал радушие, гостеприимство, и Вася, как теперь говорят, нарисовался.

Это был большой бородатый дядька в больших мятых вещах, от него пахло хорошим одеколоном, который был использован не раз-два, а уже вошел в природу тела, в нитки вещей. Это было приятно и неожиданно. Оказалось, что он замдиректора большого института, которого нет ни в одном справочнике, что сам он уже сто лет членкор, что в Москве бывает часто, но первый раз останавливается частным образом — на гостиницу у института нет денег.

Он был необременительный гость: уходил рано, возвращался поздно, от Ольгиной стряпни отказывался по причине какого-то своего порядка еды. Вечерами они разговаривали. Его интересовало, как выкручивается в этой жизни Ольга, платят ли учительницам зарплату вовремя. Он рассматривал дорогие безделушки, что стояли в серванте, хорошие картины, которые она давным-давно купила у одного теперь успешного художника, который был в

свое время полунищим и стоймя стоял на морозе в Битце, чтобы продать хоть что-нибудь. Ольга покупала тогда интуитивно, замороженная мистическими сюжетами, явлениями фей и гномов, а больше всего солнцем, которое почему-то существовало на картинах в образе луны. Станный лунно-солнечный свет был почти вязким, но не мешал принцессам и принцам быть легкими и воздушными. В этом была некая странность и неправильность, но она-то и завораживала. Были случаи, когда ее просили протереть картину, подозревая на ней густоту пыли, хотя это была густота света.

Тамбулов разглядывал все тщательно и тоже протер по картине пальцем.

— Здесь отсутствует притяжение земли, а есть притяжение света. Но это не свет солнца...

— Луны, — сказала Ольга.

— И не луны... Видите точку слева? Свет идет оттуда... Вы чувствуете? Движение цвета?

— Я просто люблю эти картинки. Я их не анализирую. Мне с ними тепло, и все. Это выше анализа.

— Это вы скажите детям в школе, когда покажете им «Троицу» или «Сикстинскую Мадонну». Пусть они их почувствуют...

Ольга ответила, что в школе сначала учила детей строчить простыни, а сейчас занимается тем, что спасает школу от нищеты: достает мел, реактивы, контурные карты и прочую дребедень. Она сама не знает, зачем это ей, потому что давно живет не с официальной работы, что она то, что теперь называется «челнок», но даже уже и не «челнок». Им она была, когда это называлось спекуляцией. Сейчас на нее работают трое-четверо молодых и здоровых, а она все определяет по магазинам. Ее «негры» очень быстро становятся самостоятельными и уходят в одиночное плавание, но всегда кто-то начинает и кому-то надо идти в поход в первый раз.

— В своем деле я бандерша.

Ольга поймала себя на том, что зачем-то мажет себя дегтем. Или чем помечали позорников? Так вот, она рассказывает постороннему человеку то, о чем умный бы промолчал, а она — нате вам, нате!

Но дело было сделано, Тамбулов стоял и раскачивался на носках, серьезный такой. Членкор.

— Очень интересно, — сказал он. — Купеческое, торговая жилка оказались в нас ближе всего к выходу. Хотя ломали через колено именно это. Вот и вы, дама московского разлива, с высшим образованием, а стали торгашкой...

— Замолчите! — закричала Ольга.

— Да не обижайтесь! — засмеялся Тамбулов. — Мне нравится моя мысль. Она безоценочна. Я вас не только не осуждаю. Я вас приветствую и думаю, не возьмете ли вы под свой патронаж мою дочь. Сидит безработная и расчесывает себя до крови. При том, что никаких особых талантов нет. Ну, инженер. Это же так... Слово из семи букв.

— Ну знаете! — засмеялась Ольга. — Вслух меня никто так не анализировал. Слушайте, давайте выпьем. Этот разговор всухую не идет.

— Давайте, — ответил Тамбулов. — Но я человек грубый, я пью водку, и чем она хуже, тем мне лучше.

— Просто вы не пробовали хорошего.

— О женщина! Вы не знаете, чем поили раньше закрытых лауреатов. Такие коньяки, такие вина! Я отведал всего — и белого, и красного, и зеленого. И скажу вам: «сучок» выше всех марок.

— Не держу, — сказала Ольга, выставляя «Кремлевскую». — Я девушка деликатная, уж извините.

Она сама наливала, и налила сразу много. На секунду до того она притормозила, выбирая рюмки, и выбрала объемные чешские стаканчики.

«Я хочу его спить», — пришла мысль. Пришла — и осталась.

Как мгновенно он понял ее маневр. А она поняла, что он понял, и на этой сумятице взаимных разгадываний и могла начаться их игра.

Но пришла Манька, увидела возбужденную мать и повеселевшего гостя, хмыкнула, схватила со стола кусок колбасы и исчезла в комнате.

— Ее ждет квартира, — сказала Ольга как бы о главном. — Еще мои родители для меня построили кооператив. Кончит школу — и пусть переезжает. Я устала от материнства.

Тамбулов молчал. Имея дочь, он наверняка мог бы высказать свои соображения на тему усталости от родительского бремени, хотя кто его знает! Может, он и не подозревал об этой усталости. Половина нашей сильной половины понятия не имеет о родительской усталости как таковой, потому что никогда на этот счет не напрягалась. Но Тамбулов молчал все-таки совсем по другой причине. Он не хотел знать. Он не хотел, чтоб его напрягали чужими проблемами. Как хорошо плеснула ему в стакан эта дальняя родственница, как, призадумавшись, вынула из серванта именно эту тару. Он заметил ее замирание у полки. И он ее не понял бы, достань она хрустальные рюмочки. И, пожалуй, завернул бы ее назад: раз уж идет питье, то это дело обоюдное, поэтому он сказал бы: «Мне, хозяйка, баночку поширше и повыше», — и был бы прав, раз она сама предложила выпить. Так вот... Все шло путем, пока Ольга не сказала это отвратительное ему слово «устала». Сам Тамбулов усталости не знал. Он мог вырубиться, как рубильник, на двадцатом часу труднейшей работы, вырубиться, уснуть на месте, откинув назад голову и сотрясая лабораторию храпом, и его сотоварищи могли в этот момент отплясывать жигу, стрелять петардами, щекотать его в носу кисточкой бритвенного прибора — он только отфыркивался и продолжал спать ровно столько, сколько требовала природа его усталости. Это русский вариант трудолюбия, который всегда аврал и натиск и никогда система, но что тут поделаешь? Тамбулов не захотел бы поменять свое естество ни на какое другое. Ему было комфортно в своем теле, таком, каким оно было. Если он слышал от человека: «Я устал», — то отвечал мгновенно: «Отдохни». И не продолжал разговора на эту тему, считая ее исчерпанной. Усталость как свойство иррациональное и тонкое, которое есть повод общения и излияния души душе, была ему непонятна. Конечно, будучи крупным ученым-теоретиком, он мог хотя бы один раз взять в голову то, что сейчас называют синдромом хронической усталости, взять в голову и хотя бы пять минут подумать об этом предмете. Но Тамбулов очень удивился бы, предложи ему кто это. Можно с уверенностью сказать, что Тамбулов был грубо сделанным человеком, но он был именно такой. Хотя себе нравился, другим — тоже, а тех, которые его терпеть не могли, он просто в упор не видел.

Нашла к кому податься бедная Ольга с ее жадной участью. И тем не менее своей вымуштрованной жизнью интуицией она учуяла, что между тем, как вошла Манька и схватила кусок колбасы, и тем, как она закрыла за собой дверь, что-то произошло в таинстве подспудных отношений с Тамбуловым. Так хорошо, душевно, без напряжения плыли они друг к другу, а потом возьми и разминись.

Они выпили еще, и она поняла, что ей уже чересчур, а ему — как с гуся, только чуть припухли веки и голос присел на басы.

Но дальше дело не пошло. Ольга опять подумала, что, не будь Маньки, можно было бы попробовать поручить дальше, но при взрослой дочери — как? Когда жил в доме Кулибин, все было просто. Родители в маленькой комнатке, дочь — в проходной. Потом Манька захватила маленькую, а Ольга переехала на диван. Миша опять все порушил, и Манька, поскуливая, вернулась в проходную. Сейчас Тамбулов ляжет в проходной, она пойдет спать к дочери.

Ольга постелила Тамбулову и ушла к Маньке. Дочь спала, укрывшись с головой. Когда была маленькой, Ольга вставала к ней ночью и откапывала дочкин нос. Сейчас уже не откапывает. Привыкла. Но, видимо, оттого, что

выпила, взыграли старые чувства, пошла стаскивать с Манькиного лица одеяло, та фыркнула, уцепившись за его конец, защищая нору. Ольга наклонилась поцеловать дитя, на нее пахло родным духом, но Ольга материнским чувством уловила и другое: ее дитя, ее младенец был существом весьма женским. Манька уже цвела другим цветом, горячим и пряным, это не мог перебить запах жвачки, высосанной до основания и прилепившейся к рубашке. Что такое это резиновое баловство в сравнении с буйством природы, которая нагло и назло всем и вся пахла откровенным желанием.

Ольга подумала, что для одной маленькой комнаты слишком много «женского», что надо всерьез заняться той припасенной квартирой и летом, сразу после школы, пусть девица живет самостоятельно, потому что потому... Когда строили кооператив, казалось, что это у черта на рогах, сейчас там метро рядом с домом.

Почему-то уверенно думалось, что, не будь Маньки, у них бы с Тамбуловым случилось. Не могло не случиться. Она на цыпочках пошла в уборную и увидела, что Тамбулов сидит в кухне и читает какую-то книжку, смешно отодвинув ее почти на вытянутые руки, а очки у него сдвинулись на кончик носа. Еще тот видок для членкора!

— Не спишься? — спросила она.

— Забавная книжонка, — ответил он. — «Коллекционер» называется. Идея абсолютного обладания. В сущности, весьма распространенный человеческий грех. Вы не читали?

— Нет, — ответила Ольга.

— У вас будет возможность это сделать. Я взял ее у вас с полки...

Стало неловко, хотя с какой стати?

— Я так устаю, — сказала Ольга.

— Отдохните, — ответил Тамбулов в один выдох.

В ванной Ольга долго смотрела в зеркало. Никогда не красавица, она была довольна природой, которая дала ей в износ именно это тело. Она благодарила его за то, что оно не было вялым, что оно умело приспособливаться к погоде, оно было податливым к переменам стиля... Она уже давно хорошо, стильно одевалась, убедившись, что фигура ее универсальна, а недостатки — широкие плечи, слабо выраженная талия и тяжеловатые ноги — искупаются высоким ростом, длинной шеей и стремительностью походки. Кстати, стремительность родилась нуждой и необходимостью многое успеть, ведь в детстве она была такая неповоротливая квашня.

Сейчас же, всматриваясь в свое лицо и будучи вполне довольной и им, она все-таки подумала: никогда ее статей было недостаточно, чтоб сразу «на нее запасть». Даже одетая в самое что ни на есть, она обязательно должна была пускаться в оборот себя внутреннюю. Ей просто необходимо было и заговорить. Она раскрывала рот, и тогда она (другая часть человечества) начинала ее видеть. В этом была своя игра, своя интрига, она любила, помолчав и выждав, вставить словцо, засмеяться...

— И тогда, — говорила она, — мужская природа начинала меня инвентаризировать, у них уже взбухали железы и бежала слюна... Они, как собаки, идут на мой голос.

Я ее не перебивала. У нее не было чарующего голоса, голоса как зов. Не на его звук делалась стойка, а именно на разговор, речь... Движение ее ума. На то, как она вязала слова, как ловко под языком сидели у нее стебные, как говорят теперь, фразочки. С ней было интересно...

Но вот сейчас, у зеркала, Ольга подумала: «А Тамбулову со мной малоинтересно». Его она не может удивить, даже разговор о купечестве она толком не смогла поддержать, а тут еще эта чертова книга, которую она не читала, потому что вообще последнее время читала мало. Это когда-то был запой. Тогда все читали «Новый мир» и «Иностранку», и она тогда была в курсе всего и побеждала в знании Членова, а Вик. Вика — в оригинальности

оценок. Сейчас не то... Затребовалась другая доблесть. Читать ничего не хочется, как будто иссякла, кончилась та жила, что вырабатывала радость листания страниц... Но разве так бывает? Разве такое кончаемо? Но так есть... А этот, в кухне... Вытянул из себя руки на всю длину, шевелит губами... У него, значит, жила не иссякла.

Что-то в этих мыслях будоражило Ольгу, беспокоило... Конечность каких-то живых желаний? Но книга — разве желание? Желание — это то, что держит ее у зеркала, когда она морочит себе голову черт-те чем, а на самом деле ей нужен большой тяжелый Тамбулов, нужен и по низкой, плотской причине, и по высокой тоже... Конечно членкор, конечно потому... Так хорошо бы всплыть в новую жизнь с женщиной такого ранга и задним числом отомстить им всем — и этому пижону и трусу Членову, и чистоплюю Вик. Вику, мелочевку она не считает... Хотелось завершить все хорошим аккордом и успокоиться. У нее есть деньги, есть ценности, наступит лето, и она отделит Маньку, и как было бы хорошо, если бы Тамбулов был тут и по вечерам держал на вытянутых руках книжки, а у нее было бы право прийти и сесть между книгой и ним и ощутить, как умный членкор начнет перебазировать свою энергию с мозговых клеток к иным... И это будет хорошо!

«Я сейчас это сделаю! — сказала себе Ольга. — Манька ночью не встает».

И она стремительно вошла в кухню в прозрачном халатике, вся такая «горячая до любви».

— Что? — спросил Тамбулов, глядя на нее поверх очков, но тут же все понял и, как ни странно, не удивился.

— Закройте дверь! — сказал он ей.

Потом они что-то ели из холодильника, а у нее почему-то дрожали руки. Это вместо расслабленной радости?

— Знаешь, что он мне сказал? Что уже не чаял такого рода расслабухи в Москве. Это раньше, когда они прилетали на своих самолетах, «ящичные академики», и их помещали в закрытых гостиницах, девочек им подавали, можно сказать, на блюде. И он мне говорит: «Я жене вообще-то верен»... Чувствуешь, какая пакость? Он верен. Но великодержавное блядство было как бы на десерт, а значит, по большому счету несчитово. Он меня по попе погладил, мол, умница... Сама пришла. Я сдержалась и думаю: «Пусть будет так». Конечно, про верность жене он зря... Развел трах и жену на разные планеты — и как бы так и надо. А руки у меня трясутся, трясутся...

Потом Ольга лежала на раскладушке и слышала через тоненькую дверь могучий храп Тамбулова. На душе было тоскливо. Ну, хорошо... Будет еще завтра, послезавтра. Удастся ли ей развернуть к себе Тамбулова так, чтоб сообразил он своей ученой головой, что она у него не «на третье», что он с ней изменяет жене, изменяет не в общем блудливом коdle командированных, а вполне индивидуально, а значит, сознательно. Почему-то она думала, что когда он осознает это, когда он ее выделит и почувствует, то тогда и произойдет определение факта измены, а дальше надо будет закрепить это дело, освободив его от паутины угрызений (это она столько раз проходила, но теперь, кажется, знает, на какую нажать кнопку, чтоб выключить стыдливый мотор к чертовой матери).

Утром Манька собиралась быстро и в упор не увидела сдвинутости кухонной мебели. Сама Ольга аж ахнула, узрев это с утра, а Манька хоть бы что. И тогда Ольга подумала одну из своих любимых мыслей о том, как звучит жизнь. Она звучит так, что смолоду она невероятно громка, в том грохоте мыслей и чувств, которым живет молодое дурило, в упор не видно и не слышно тихой или утихающей жизни старших. Наверное, тут подошли бы толкования о вибрациях, но это слишком. Ольга думает проще: громкая жизнь молодых заглушает им жизнь, как они говорят, предков. Вот Ольга и Тамбулов сдвинули стол и табуретки и сорвали случайно шторку с двух крючков, а Манька вошла, ногой поправила табуретки, боком двинула стол,

на шторку не глянула, ах, дитя ты мое, дитя, ты еще не знаешь, как быстро приходит утихание.

К вечеру Ольга была готова на все сто. Чтоб и водочка, и закусочка, и сама. Он пришел раньше времени, она успела нарисовать один глаз. Конфузно встречать гостя, на которого поставлено все, одноглазой, пришлось голый и блеклый глаз прикрыть ладошкой. Тамбулов влетел как ветер, сказал, что его ждет машина, что Москва расстаралась и нашла им какую-то дачу и теперь они все туда едут, спасибо ей за кров и дом, и вообще, даст Бог, увидимся, бардак конечен, как и все в живой природе, но это так здорово, что они собираются своим кругом, уже года четыре — или пять? — не виделись. Две минуты — и он уже «с чемоданчиком на выход», на пороге затормозил на ней взглядом. «Глаз болит? — спросил, и даже как бы сочувственно. — Промойте крепким чаем».

И все! Даже руки не подал. Отсалютовал двумя пальцами к виску.

— Дочке кланяйтесь! — Это уже с лестницы, сквозь топот убегания.

Ольга посмотрела на себя одним накрашенным мертвым глазом, сняла ладонь и увидела другой, который моргнул, как виноватый, неоправленный, с легкой краснотой век, умученных карандашом. Глаз.

Шипело в чугунке мясо по-монастырски. Обалденная еда для радости. Водочка в морозильнике мягко лежала на пакете с клюквой.

Сначала она тщательно вымыла лицо. Когда вошла в кухню, там уже пахло подгоревшим мясом. Выключила конфорку. Потом пошла и легла на спину, без подушки. На потолке был старый след от убитого комара. След Кулибина. Их тогда налетела тьма, и они их били, били... А этот, особенно настырно жужжащий, нагло отдыхал на потолке. И Кулибин ткнул в него еще маминой палочкой, с которой та ходила. Палочка так и продолжала уже сто лет висеть в прихожей. Самое удивительное, что Кулибин попал в упоенного собственной недосыгаемостью зверя. И на потолке отпечатался резиновый кружок палки и ничтожное комариное тело. Оттирала его потом со стола кусочком ваты в пудре. Но до конца не оттерла, след остался. Сейчас со спины был почти хорошо виден круг и иероглиф мертвого тела.

Ольге было стыдно так, что хоть из окна... За вчерашнее, за сегодняшнее. Она чувствовала полный разлад в той системе, которая отвечала за координацию ее отношений с мужчинами. С ней нельзя так поступать! Но можно сколько угодно нагнетать в себе самой самоуважение, иероглиф комара пищал о другом. В отношениях с мужчинами она всегда была дурей себя самой. Всегда. Ей всегда казалось лучше, правильней брать отношения в свои руки, быть, так сказать, водилой — ну и что? В результате все ее романы кончались ничем. Они уходили у нее из рук, мужчины. И те, которых она хотела удержать, и те, кого она отпускала без сожаления. Никто не пытался что-то сделать обратное, обхватить ее руками-ногами и сказать: «Нет!!!» Даже муж Кулибин, казалось бы... Даже Миша. Она только чуть плечом повела, и он тут же: «Я понял... Меня уже тут нет...» Любил ли ее хоть один до задыхания, до того, чтоб через все... Иероглиф ответил: «Нет!»

С этим она у меня и объявилась. Без лица, без лихих одежек, такая вся в простоте и безысходности. Женщина из толпы. У меня как раз сидела Оксана Срачица. Она показывала мне панно, сделанное целиком из поношенных, что на выброс, детских колготок. Панно было скор. Причудливая тварь смотрела на меня одним большим глазом-пяткой в бахроме ниток. Некто.

Было не понять, как старый чулочно-носочный материал смог сказать о тебе самом больше, чем ты сам про себя знаешь. Перед приходом Ольги я сказала Оксане, что иметь в доме такого соглядатая, как этот чулочный зверь, просто опасно для здоровья.

— Да что вы! — ответила она. — Это же Мотя. Он хороший.

Ольга же вцепилась в панно намертво.

— Сколько оно стоит? — спросила она.

— Я не продаю, его дети любят, — ответила Оксана. В отказе ее было слишком много чувства.

— Чего хотят ваши дети? — Ольга держала Мотю за ту его часть, которая уже не была глазом, а была как бы шеей, но одновременно и деревом, на котором он пребывал. Вообще Мотя мог быть деревом с глазом, равно как и левой стороной птицы, но не в том смысле, что правой было не видно, а в том, что это была законченная «левая птица», но если настаивать на дереве, то дерево как раз было «правым». Хотя где вы видели правые деревья?

— Я могу исполнить какую-нибудь мечту ваших детей, — настаивала Ольга, но Оксана вытащила из ее рук «шею дерева» и сказала тихо: «Да что вы!» И улизнала из квартиры не то смущенная, не то оскорбленная, не то испуганная «этой женщиной».

— Деньги ей не нужны! — возмутилась Ольга. — Это же надо!

— Что с тобой? — спросила я. — Где твое лицо?

Видимо, то, что она так сильно отвлеклась на Мотю, сбило ее с толку, она даже чуть поежилась в своем теле, ища то, с чем она ко мне шла.

— Скажи, — резко спросила она, — вот ты живешь со своим почти сорок лет... Это можно назвать любовью — или это уже совсем другое?..

Так я и стану ей говорить о себе. Нет на земле такого человека, с которым я бы стала обсуждать саму себя и свои чувства к кому бы то ни было. Моя душа — это мой строго охраняемый загон. Я тут и пристрелить на кордоне могу, если что... Я и сама лишний раз не лезу туда с ревизией. Я ей верю, моей душе. Она у меня девочка умная. Когда я по человеческой подлости сотворю какую-нибудь гадость, она мне устроит такой тайфун, такое торнадо, что мало не покажется. Ну что я могу сказать? Мои отношения с мужем — они под ее юрисдикцией. Любовь не любовь, я не знаю, что это... Но это у меня неговоримо...

Ольга ждала ответа на вопрос, а я пошла включать чайник. Вернувшись, я сказала:

— Когда-то попробовав, я отвергла измену как не подходящий для меня способ жизни... Даже если он радость...

— Ну понятно, — перебила она меня. — Ты у нас поэтому хорошая. Я же ничего не отвергла... Я вполне по этому делу... И потому плохая... Я тут даже не спорю... Зачем пришла? Забыла... А! Вот это... Оскорбительно или нет признаться, что мужики у меня не держатся, или так мне и надо?

— Чего ты хочешь? — спросила я, когда она мне все рассказала. — Ты сама предлагаешь необременительность отношений. Пришла, дверь закрыла... Какого ты ждала от этого навару?

— Значит, сама виновата, — ответила она. — А сразить я по-женски уже не могу? Ну, посмотри на меня и скажи! Так, чтоб после меня уже никого не захотелось?

— Еще в древних книгах сказано, что вода сия есть одинакова на вкус из всех источников. Ну что ты как маленькая!.. К тебе грамотный пришел, книжки читает на ночь... Это же не Миша, у которого по молодости лет каждый день солнцестояние. Просчиталась ты с членкором... Тебе что, так не терпелось?

— Да, — ответила она. — Не в том смысле! Мне хочется причалить...

— У тебя еще времени уйма. Ты еще и родить можешь...

— Нет, — ответила она. — Нет. Хотя на самом деле мне нагадали длинную жизнь. Ты права. Время еще есть. Но меня так это заело... Мясо приготовила. Такое на мне было белье. Сейчас ведь можно купить что хочешь. Маньку спроводила к отцу, у того день рождения, и они с молодой купили гарнитур. На мои денежки, между прочим... Маньке нравится у них бывать. Новая новость... Я потом целый вечер лежала и смотрела в потолок... Ни одного звонка, ни одного... Даже встала проверить, работает ли телефон. И по-

няла: муж нужен именно для таких случаев. Когда ты никому, никому не нужна, он выходит из соседней комнаты. Пузыри на коленях, волосята на голове реденькие, такой никому не нужный, но свой. Так?

— Так, — ответила я. — Тут есть ключевое слово «свой».

— А-а... — протянула Ольга. — Значит, мне это не подходит. Значит, правильно, что Кулибин живет в другом месте. Я маркиза хочу. Маркиза... Чтоб у него хватило ума на элегантный уход, чтоб не стремглав... Черт знает что! Лучше б я была фригидной, как в детстве. Такая хорошая, чистая независимость. И изнутри тебя ничего не скребет.

Потом она стала просить меня уговорить Оксану Срацицу продать ей Мотю, с Оксаны переметнулась на Членова.

— Вот бы встретиться, чтоб гордо пройти мимо, — сказала Ольга. — Тут фильм смотрела. Соплячка, лет двадцати пяти, перечисляла тридцать своих любовников очередному хахалю. И про каждого нашла доброе слово. Даже такое: «язык крепкий». Во-первых, тридцать я бы не вместила. А во-вторых... Знаешь... Каждый раз... Или почти каждый... Мне хочется думать, что это навсегда... Что за идиотка?

(Окончание следует.)



ИННА ЛИСНЯНСКАЯ



THE TIME KILLS ME, BUT I KILL TIME

Ода соседу по коммуналке

В действительности грубой,
До жалости родной,
Шли вперемешку с румбой
Бетховена рондо,
Прибоя голос трубный
И вот еще одно:
Мертвецкой выдох трупный
И трупное пятно.

.....
Заведующий моргом
Вне трудового дня
Своим гостям с восторгом
Показывал меня
Раз в месяц. Вот удача,
Почти что благодать! —
Я залпом кружку чачи
Умела принимать.
В награду — ешь от пуза
Вперед на целый век
Похлебку с кукурузой,
И мясо, и чурек.
— Смотрите-ка, девчушка,
А ни в одном глазу! —
В руках соседа кружка
Сияла на весу,
И на него с укором
Жена смотрела зря;
Я общим коридором
Ему благодаря
Раз в месяц, не качаясь
От голодухи, шла
Самой себе на зависть
До своего угла
И ставила пластинки,
Какие — все равно.
Такие вот картинки,
Такое домино.

.....
И нынче на потеху
Другим живу, да вот
Никто и ради смеху

На пир не позовет, —
И вспоминаю годы
Войны, и морг, и дом,
И первой в жизни одой
Я пачкаю альбом.

* *
*

В угоду ходкой молве
Стою я на голове,
Крепка голова, что пень, —
Проверьте, кому не лень.

Под градом взглядов косых
Хожу на руках босых,
На самом деле я — псих,
И рук не ценю своих, —

Ладони тверже ступней,
А пальцы жизни длинней...

Но людям, людям видней.

Маятник

Так бывает под Москвой в апреле:
В небе фиолетовые щели,
Не горит еще на вербе свечка,
Прямо над тропой висят качели —
Две веревки и одна дощечка.
И на них то ль мой двойник, то ль сверстник,
Давних игр и замыслов наперсник,
Длинную свершает амплитуду
Между Каспием и Мертвым морем,
Где похоже небо на полуду,
Где под мельницей Монтофиоре
На оливе загорелись свечки.
Эти глюки мне одной на горе:
На качелях делает насечки
Время, но о собственной утечке
Ничего не знает. Это знаем
Только мы и маятник качаем.

...Под Москвой от прошлогодней прели
Нервный запах. Облака, что сало,
Плаваются и заливают щели.
Я сухие губы облизала:
Неподвижны над тропой качели,
Словно маятник испорченных часов.

Триптих забвения

1

Уходи. Я памяти не рада.
Жизнь висит, но не на волоске –
На шпагатике для винограда,
Возрастающего на песке.

Уходи, мой виноградоокий
С непрозрачной косточкой-зрачком,
В край, где Каспий некогда глубокий
Прятал нефть под рыбьим косяком.

Что забыл в моем московском доме?
В морозилке виноградный сок
Или жизнь мою, что невесомей,
Чем шпагат и даже — волосок.

2

Живешь у памяти во власти:
На родине Авесты
Поспешный шепот страсти,
Замедленные жесты.

О, как там изгибались снасти
От жадного улова!
Но больше мне о счастье
Не говори ни слова.

Пусть среднерусский дождь по жести
Стучит как по могиле,
Пусть занавесит вести
О том, как мы любили.

3

Рада бы в рай, да грехи не пускают,
Даже — безгрешные сны,
Где на волне мои пальцы ласкают
Рыбью чешуйку луны.

Дальнее море, ах, давнее море —
Солонопламенный рай...
Ангел с вниманьем змеиным во взоре,
Мыслям моим не внимай.

Сон мой покинь и исчезни из были
И не навевдай явь.
То, что мы на море сердцем избыли,
Всплесками крыльев не славь.

* *
*

Уходят частные предметы
Из общих слов,
Как рыбины-свободоведы
Из неводов,
Ножовкой плавников решетку
Перепилив,
Хвостами опрокинув лодку
В ночной прилив.
Я отвлеклась, соблазн метафор
Меня отвлек
От жизни, где трепещет автор
Двух первых строк.
Я поймана, но не убита.
Бьюсь на крючке
У ловкого ловца — у быта.
В его зрачке —
Я вещь в плену у ширпотреба,
Вещь на волне
Телепатического неба
В телеокне.
Что мне приливы мыльных опер?
Подобье волн?
То сердце рвется вон из ребер,
Из ребер — вон.

Первая поминальная

Стойте справа, проходите слева.

Булат Окуджава.

Там семистороннее
Лунных струн движение,
Там не раз с иронией
Вспомнишь наши бдения,

Юность поднадзорную,
Младость подцензурную,
Дружбу многоспорную
Да веселость бурную.

Вспомнишь, как на Соколе
С алкогольной тарою
Мы по лужам шлепали
За твоей гитарою,

Из обувки походя
Выливали дожди.
Где же наши, господи,
Локоны и ежики —

Жизнь полураздетая,
Правда недобитая,
Песня недопетая,
Чаша недопитая.

За картами

У времени гемоглобин
Упал. Лейкоцитоз.
Приносит юный господин
Мой выигрыш — пять роз, —

И вновь за картами сидим.
Нам честная игра
Забвенье дарит, как иным
С наркотиком игла.

Туз — на туза и масть — на масть...
А жизнь ясным-ясна:
Ворует чернь (она же — власть),
Пустым-пуста казна.

«Воруют» — русская беда
И нищеты разгул.
Об этом вон еще когда
И Карамзин взгрустнул.

Что за стихи без всяких тайн,
Без спрятанных причин?
The time kills me, but I kill time¹.
Ваш ход, мой господин!

¹ Время убивает меня, а я убиваю время (англ.). — Афоризм автора.



СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН

*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Рассказ

Какая напасть писателю Н. Н. — замысел романа «Граждане». Совершенно ни к чему!

Ну, хоть бы особый интерес, ну, хоть бы какое-то воодушевление — нет и нет, лишь чувство обязанности, а больше совершенно ничего. Когда человек рождается, да и не только человек, а любое существо, ему вместе с жизнью вручается обязанность жить. Что бы с тобой ни происходило — живи! Если ты писатель — живи писателем.

Пиши! И не вообще, какие-нибудь воспоминания, а вот такой-то и такой-то сюжет — время требует.

А какое там время? Это вовсе не время, а мышьяная возня: то воды в доме нет, то электричества, то телефон не работает, то сын Андрейка приносит из школы двойку, то не работает городской транспорт, а что касается денег — так их постоянно в доме нет.

...Жизнь!

А то, что делает президент, то, что делается в Думе, то, что печатают газеты, — тоже жизнь?! Одно название! От себя бы отдал все, что можно и чего нельзя, только бы лишиться такой жизни! И этого нельзя: обязанность!

Издательство...

Еще ни одну вещь Н. Н. не начинал с таким чувством: то ли начинать, то ли не надо. Не по силам! Да и кому нужно?

Откуда было уверенности взяться, если не знаешь, нужна или не нужна жизнь, которой ты живешь? Которую, хорошо ли, плохо ли, пишешь? Может, все это имитация? Карикатура? Иллюзия?

И все равно обязанность сильнее — садись и пиши!

Тем более Н. Н. за свою-то, за советскую, жизнь привык и к советскому обману. Казалось даже, что обман крайне необходим, что без него нельзя: все дружно, с энтузиазмом будут обманываться и обман воплотится в жизнь, станет действительностью. Не такой уж плохой придуман способ. К этому дело и нынче идет. Еще немножко подождать осталось. Столько ждали — не может быть, чтобы зря.

Конечно, были диссиденты, тем не терпелось, они отсиживали за решеткой, слонялись без работы, ссылались и бежали за границу, но и там находили немало уважения к Советскому Союзу, желания сотрудничать с ним; люди признавали в нем авторитет! И то правда: СССР шагал передовиком в атомной и космической науках, в спорте, нередко и в искусстве. Социализмом попахивало по всему свету.

Но нынче все-таки по-другому: мыслимый обман превратился в немислимый. Беспорядок же в стране — как на письменном столе и в ящиках писателя Н. Н.: бумаги, бумажонки, страницы из неизвестно каких произведений и неизвестные произведения, засохшие фломастеры и авторучки без чернил, предметы совершенно неизвестного назначения, билеты куда-то и на что-то...

Да и везде так же: в прокуратуре, в милиции, в армии и флоте, в правительстве, в Думе, в Федеральном собрании — всюду обман и сверхсамодовольные, самоуверенные физиономии и сплошные мафиози. Нет, право, жить не хочется: телевизор смотреть — одна отравка, газеты читать — набор склок и невиданных убийств. И если президент хвалится тем, что в ноябре расплатился с шахтерами за апрель, — это принимаешь за достижение, а если кассирша, обсчитывая тебя в магазине, улыбается, ты в ответ ей тоже улыбаешься. Люди врут друг другу уже без нужды, просто так, ради общепринятого порядка. Газеты и члены правительства могут говорить все, что угодно, — слова произносятся любые, но значения ни одно слово не имеет. Кто-то обещает нынешнее правительство прогнать, самому стать правителем и сделать лучше — но верить-то разве можно? По этому поводу говорят: «нынешние» наворовались до отвала, а другие придут — начнут с нуля. Что лучше?

Н. Н. чувствовал себя как бы склеенным из разных частей: одна половинка требовала, чтобы он сел и обо всем этом писал роман «Граждане», другая — плевала на все: весь белый свет летит в тартарары, мы — впереди других, ну и что? Кто-то же должен быть впереди?

Замысел «Граждан», прекрасно понимая психологию Н. Н., вел себя соответственно: пришел, уселся за письменный стол нога за ногу:

— Сыграем партию? Вы какие предпочитаете — белые или черные? Я лично — черные. Благороднее как-то: король черный-черный, а ничуть не глупее белого. Королева — то же самое. Да ведь и пешки — тоже.

В общем, Замысел неплохо знал самого себя, неплохо, с энтузиазмом себя объяснял.

Дело в том, говорил он, что человечество не очень-то понимает, что стареет оно в двух направлениях — сегодняшнем и историческом.

Оперативная старость — это как раз то, что происходит нынче в России: нигде никогда еще не было такой мешанины из диктатуры и демократии, из власти и мафиозности, из обещаний и неисполнения этих обещаний, из перспектив и полного их отсутствия, из идей и безыдейности. Одним словом, изо всего того, через что так или иначе уже успело пройти человечество, сварганив свой фирменный винегрет — текущую политику, а главное, текущую жизнь.

Старение историческое: люди уходили из мира для них реального и для них же созданного — видимого, слышимого, осязаемого и обоняемого — и погружались в мир искусственный — электрический, лазерный, компьютерный и кондиционерный. На земле они истоптали каждый крохотный ее кусочек и теперь с восторгом бросились в космос, в пустоту: дескать, в пустоте они восполнят все свои земные потери. Пушкина восполняют, Шекспира, Архимеда, Колумба, Магеллана — любую земную фигуру, любое земное открытие.

Черта с два! То, что происходит нынче в России, доказывает — черта с два!

Замысел держался корректно, понимал, что воплотить его на бумаге Н. Н. не под силу, но и отступать ни в коей мере был не намерен: дескать, ты слабенький, ты — рядовой, тебе не под силу.

Нет, по-другому: сколько у тебя есть сил, настолько и вкальвай. От меня не уйдешь. И не пытайся.

И вся тут философия, и вся тут конкретность и корректность.

О чем удалось договориться: роману должно предшествовать предисловие. Своеобразное: без ссылок на конкретных действующих лиц, без их характеристик, без аналогий и отступлений в историю, в частности в историю литературы, — все это, может быть, и найдет себе место в тексте самого романа «Граждане», в предисловии же речь может идти лишь о самых общих характеристиках тех сословий (групп), из которых автор будет черпать своих героев: эти индивидуальные характеристики должны соответствовать нынешним сословным качествам или бескачественностям — это главное.

Конечно, в России нынче столько групп, партий, обществ, фондов и проч., что всех не опишешь, но надо было, необходимо было определить те сословия, из которых автор будет черпать своих героев. А вместе с этим и самые общие черты — социальные, психологические и другие, самые общие границы этих сословий тоже определять.

Затем в предисловии придется набросать общую картинку той российской действительности (прежде всего государственной), в которой так или иначе обозначенные персонажи будут разыгрывать каждый свою роль, а все вместе создавать роман под названием «Граждане».

Трудная, труднейшая задача, но от жизни же не откажешься, так же как от собственных детей.

Прошел день-другой со времени встречи Н. Н. с собственным Замыслом, и его настигла еще одна мысль, от которой опять никак нельзя было уйти: за работу надо было браться не одному, а только вдвоем. За оперативную часть, за все нынешние склоки, убийства, за все жульничества и мошенничества, за выбор сословий, из которых придется черпать действующих лиц, возьмется он, он сам, а перспективы? Вся часть философско-экологическую он передаст М. М. — другому писателю. Его в случае необходимости можно будет назвать «Другой».

М. М. хоть и другой, но на самом-то деле, анатомически и физиологически, это все он же, Н. Н., только с другим мышлением, с другим настроением, с другим дыханием.

Н. Н. давно уже замечал в самом себе подобное раздвоение, он сам с собой спорил, бывало, так что они друг друга, две эти части, обзывали глупцами, так вот сейчас-то пусть и посотрудничают, пусть друг в друга углубятся, вероятнее всего, не без удивления. Поищут компромисс. Честно поищут. Поищут, несмотря на то что теперь это уже пошлая мода.

И они сели и поговорили за чайком.

Н. Н. не в первый раз выслушал М. М. на тот предмет, что человечеству хватит природы еще лет на пятьдесят — шестьдесят, не больше. Природа дала человечеству разум, возвысила его над собой, вот он ее и губит. И себя тоже. Заодно. С чего начинается, тем и кончается — закон.

Итак — поехали. Вдвоем.

Езда предстояла очень серьезная и сама по себе, и еще потому, что сопрождалась бесконечной возней. Мышиной.

Ни тому, ни другому не было ведь покоя от всяческих житейских нелепостей: то катастрофически не хватало денег, то жена была не в духе, вплоть до того, что потихоньку плакала в платочек (если бы она узнала о замысле «Граждан» — она разревелась бы в голос), то мальчишки из соседнего подъезда подожгли дверь, дверь надо было ремонтировать, а ведь мог случиться большой пожар.

Быт. Постсоветский...

Впрочем, и в прошлом у творческих людей случались помехи. Н. Н. где-то читал, что Бетховен, когда писал свои гениальные вещи, через каждые пятнадцать минут бегал в туалет: у него не в порядке был желудок. По этому поводу младший сынишка Андрейка давал отцу советы:

— А не попринимать ли тебе, отец, слабительное? Или хотя бы мочегонное?

Н. Н. задумчиво говорил М. М.:

— Ты у меня философ, значит, должен быть постарше меня. Заметно постарше. Лет на десять.

М. М. не заставил себя ждать и тотчас ударился в философию:

— Ладно еще, если некая нация на протяжении веков как была, так и оставалась первобытной, но беда, если она нахваталась цивилизации и теперь в своей собственной судьбе не может отличить одно от другого! Ладно, если цивилизация стабилизировала нацию, а если перемешала первобытность с космической техникой, с ядерными и водородными бомбами? С коммунизмом?

Потом уж вернулся к конкретному вопросу:

— Десять? Многовато... Дело в том, что каждое поколение не только старше предыдущего, оно еще и старше, поскольку человечество стареет в целом, а значит, десятилетний разрыв — слишком большой разрыв, при котором один из нас еще будет жить, а другой уже только выживать. И доживать. Россия? Живет или выживает? Америка? А это разные вещи — жить и выживать. На Земле или в Космосе? С собственными зубами и сердцами или с фабричными? Происходить из чрева матери или из пробирки? Все эти наши современные радости — они же признаки нашего старения.

Так М. М. смотрел и на историю, на современность, на их взаимоотношения. Эдисоны и Нильсы Боры, считал он, еще могут быть, но Архимеды и Пифагоры — уже нет. О Шекспирах и Пушкиных и говорить нечего...

— Ты как считаешь, тебе сколько лет-то? — спросил он.

— Мне? — удивился вопросу Н. Н. — Мне за пятьдесят. Женат вторым браком.

— Я тоже вторым, но выходит, мне за шестьдесят? Не много ли? Не многовато ли?

Все-таки сошлись на десяти годах. Да еще и при том условии, что в случае необходимости этот срок можно будет увеличить.

— Почему Европа стала во главе человеческой цивилизации? — рассуждал М. М. — Потому что именно по ее территории прогулялся ледниковый период. Суровая учеба, но — учеба. А история России — это политические ледниковые периоды один за другим непрерывно, это уже слишком! Бесконечные порки и дранье за уши с детства портят людей, выбивают их из колеи, смещают понятия. И ни кто-нибудь виноват во всех наших бедах, в том, что мы такие, какие есть сегодня, а мы сами виноваты. Кликни сегодня за хорошую зарплату сто, двести тысяч стукачей и палачей — завтра же будут. А все, что было историей России, — это все предисловие, итог только еще наступает, еще грядет в двадцать первом веке.

Так рассуждал и рассуждал М. М.

Н. Н. — по-другому:

— Из стольких бед Россия выходила — значит, выйдет и из нынешней!

— Что же, ты думаешь, что история России уготовила ей светлое будущее? И теперь преподносит его на чистеньком блюде: «Вот тебе, заслужила!»?

Ну а сыновья шли по стопам того и другого.

Старший, Гоша, семнадцати лет, соглашался с М. М.:

— Не представляю себе человечество без Спинозы, Канта, Гегеля, без Лосева. Кто мы без них? И еще: а как же Бог? Что значит Бог без людей? Скажи-ка, отец? — Спрашивая, Гоша имел в виду М. М.

Младший, Андрейка, тринадцати лет, тот с захватывающим интересом читал газеты и неплохо разбирался в отношениях между банками, между банками и властями (законодательными и исполнительными), а подробности по меньшей мере двадцати самых громких убийств и нападений знал назубок.

Вообще по всем без исключения вопросам братья спорили друг с другом, до того спорили, что начинала плакать мать Соня (и не просто Соня, но и Софья Андреевна):

— Господи! Да когда вы кончите, наконец? Особенно ты, Андрейка, — когда ты кончишь? Тебя хоть сегодня в Думу, так в самый раз! Я уже столько властей насмотрелась, что тошно мне, а тебе будет в самый раз.

— Правильно — тошно! — соглашался Андрейка. — Ты думаешь, власть в России — она для России? Как бы не так! Она — для собственного удовольствия и устройства. Разворовывать страну — вот ее главная задача, а потом уже все остальное! Император Николай Первый говорил своему сыну, будущему императору Александру Второму: «В России не воруют только два человека — я и ты».

И откуда только Андрейка знал такие вещи? Впрочем, он всегда знал что-нибудь такое, чего никто в семье и в школе не знал. Он без этого просто не мог.

А дело, безусловно, складывалось так, что если для предисловия к «Гражданам» надо было сделать абрисы, выписать характеристики и очертить образ жизни тех сословий, из которых должны выйти действующие лица романа, так начинать надо было именно с интеллигенции, может быть, даже с собственной семьи.

А — что? Сфантазировать, будто Андрейка и в самом деле депутат Думы, — какие после этого откроются творческие перспективы? Огромные!

Нынче примитивизация интеллигенции происходила очень быстро как за счет истории, так и за счет современности.

Интеллигенция все еще могла дать Королевых и Курчатовых, но, явившись, они сбежали бы за дальние рубежи. А Пушкиных или Толстых и ждать было нечего — не будет! Интеллигенция в целом, как сословие, молодежи ни в чем помочь не могла. Ни в чем убедить, ни в чем разубедить. В чем и как убеждать-разубеждать, если она и сама-то не знала, есть она или нет ее? Это была странная, безликая масса, пестрая, разнотравная.

Ну вот, когда возделанный участок забрасывается — на нем ничего больше не сеют, его не пашут или пашут кое-как, — какой только травой он не зарастает: и чертополох, и пырей ползучий, и культурная травка где-то проклюнется, и лебеда, и полынь с лопухом. И ни одна трава, ни один стебель даже и не поинтересуются, кто он такой, как называется.

Еще Ленин искалечил (конечно, не он один) не только интеллигенцию, но и сам интеллект; ему ничего не стоило отдать приказ о расстреле сотен, а то и больше людей. Его интеллект уперся в одну точку — и баста. И все это — ради самых высоких и благородных целей. А тогда — что же оставалось от высоты и благородства? Тогда — при чем здесь интеллект?

Эта мешанина первобытности с современностью тоже была нынче интеллигентней. Сам факт столь легкого разделения Н. Н. на Н. Н. и М. М. подтверждал, что оба они пребывают в порядочной мешанине, барахтаются в ней при полном отсутствии способности прогнозировать не только вперед, в будущее, но и назад, в прошлое. Вот только непонятно: если так, тогда почему же их все-таки соблазнил замысел «Граждан»? Казалось бы, они от него сломя голову должны были бежать.

Впрочем, иногда, проснувшись утром, они вполне синхронно думали о самих себе: «Вот болваны-то! Надо же!»

В то же время они были убеждены, что не одни они нынче такие, нынче таких много-много, они типичны нынче, а типизм — он к чему-то обязывает. К самовыражению обязывает,

Примитивизируясь, интеллигенция потеряла интерес к собственным тузовкам, но приобрела склонность к деятельности других сословий — во власть она, пожалуй, и пошла бы, но не получалось: должно быть, ленинизм заставлял задумываться, задумываясь, сомневаться, — и ближе оказывалось предпринимательство, в частности «челночество».

«Челнок» — это сословие, это человек, в конце концов, очень мирный, со всем на свете смирившийся, хотя и озлобленный — озлобленный теми, кому он вынужден давать, давать и давать взятки: таможенникам, шоферам, кондукторам, швейцарам при табличках «вход», «выход», кассирам, уборщицам туалетов, служащим самых разных учреждений.

«Челнок» чувствует себя человеком на ярмарке, где он торгует польскими и греческими шмотками, а нередко и московскими напитками, — здесь уже не он просит, здесь его просят уступить.

«Челнок» — это человек, лишенный жизненного ритма: он не знает, когда и где ему придется завтра ночевать, когда обедать, когда и где ужинать. Согнувшись под тюками закупленного товара, он бегом-бегом от одного таможенного окошечка к другому, и еще следит, как бы к нему не привязался

рэкетир, как бы его не обворовали, не ограбили. Он все время озабочен. Он знает современные нравы лучше любого мента или гаишника. Он и наяву и во сне считает: за сколько купил, за сколько продаст, что выручит, на чем проиграет, на чем выиграет. Конечно, он не прочь выпить, сыграть в карточки, затеять романчик, но все это для него риск, он все время помнит, что ему можно, а чего нельзя.

Опыт мировой торговли ему ни о чем не говорит, только опыт сегоднешний; «челнок» — явление переменное, условно-реформенное, не числящееся ни в одном учебнике по торговле, экономике или социологии, хотя его обороты — миллионы, миллиарды, триллионы рублей (считая, конечно, для всего сословия).

Для него нет академий, нет министров, нет и нормальной семьи.

Его мечта — возвыситься до владельца стационарного магазина на какой-нибудь ярмарке, чтобы в его распоряжении были один-два постоянных продавца, чтобы он покупал товар у «челноков» оптом, а сбывал в розницу.

Это желание постоянства присуще всей стране, но в «челноках» оно сидит особенно крепко (пополам с боязнью: не было бы хуже).

Их миллионы — «челноков», но сколько именно — никто не знает. И вряд ли когда-нибудь узнает.

Еще народилось новое сословие, из которого Н. Н. и М. М. хотели взять действующее лицо своего романа, — это убийцы. Сословие незнакомое, но очевидное.

Не столь уж многочисленное, но и не маленькое.

Убийцы, непосредственные исполнители, — это только самая верхушечка; а дальше следуют заказчики, обслуживающий и прочий персонал: служба разведки и информации, транспорт, хозяева конспиративных квартир — всех не перечислишь.

А если туда же отнести связь с государственными чиновниками, с правоохранительными органами? Если ни одно громкое убийство не было раскрыто, если по таким делам не было судов — сколько же к этому делу должно быть причастно служивых людей?

Да, Н. Н. и М. М. плохо знали этот мир, вроде бы совсем не знали, но почему-то представляли его ясно: два-три убийства — а потом дело становится профессией ничуть, скажем, не более, а даже менее опасной, чем служба в ОМОНе или добыча угля в глубоких, отработавших свой век шахтах.

Два, три, пять, десять убийств — и это становится мастерством, таким же, к примеру, как мастерство слесаря или токаря высшего разряда. И примерно такая же профессиональная гордость: я умелец!

Наши авторы почему-то легко представляли себе семейно-бытовые картинки из жизни этого клана.

Предположим, вечер удачного дня. Семейное чаепитие. Хороший торт, вообще стол хороший, праздничный.

Сам хозяин — смуглый, ловко сложенный, быстрый и уверенный в движениях, лет тридцати пяти — сорока. Такие мужчины нравятся женщинам.

Белокурая хозяйка чуть моложе, да еще и молодящаяся, аккуратная. Строгая мать. Такие женщины нравятся мужчинам.

Две девочки: старшая — в отца, младшая — в мать.

Одной лет пятнадцать, другой одиннадцать — двенадцать. Одеты предусмотрительно, вот сейчас встанут из-за стола, побегут на танцуйки — переодеваться не надо: джинсы американские, белые с разноцветными полосками кофточки, вполне современные прически.

Впрочем, Н. Н. и М. М. когда будут их писать, им и в одежде, и в прическах еще придется разобратся: что очень модно, что не очень, что совершенно новенькое, что не совершенно...

Знают ли девочки, чем занимается их отец?

Они знают, что папуся работает на очень ответственной государственной работе, — и этого с них вполне достаточно. Они даже горды и самоуверенны.

Знает ли жена?

Жена — догадывается. Догадывается, но не волнуется: она уверена в успехе и в умении своего мужа больше, чем он сам (вот это — любовь!).

В этом семейном вечере есть нечто безусловно страшное, но ведь и милое тоже есть? Доверчивое есть, и Н. Н. и М. М. знают: вот где им предстоит психологический поиск деталей и размышлений над общечеловеческими проблемами.

На этой картинке семейного чаепития для Н. Н. сценка кончилась, ну разве еще какую-нибудь байку на уровне Андрейки он припомнил бы, и только, а вот М. М., тот все не успокаивался и не успокаивался, для него только-только началась соответственная философия.

Вот ведь, рассуждал М. М., убийство свойственно только человеку. Животные, они не убивают — они только питаются.

Если они подрались, к примеру, из-за пастбища или охотничьих угодий, то не стремятся друг друга уничтожить, и как только слабый признал свою слабость и бессмысленность дальнейшего сопротивления, победитель отпускает его на все четыре сторонылизывать раны, приходиться в себя, искать лечебные травы.

Если же все-таки собака растерзала кошку, как мы возмущаемся собачьим хамством!

А человеку этого мало — ему надо противника убить.

Почему так? Потому, что человек — единственное живое существо, которое кроме природных потребностей сам для себя придумывает потребности все новые и новые (прогресс!). Среди этих придумок не последнее место занимает убийство — войны, террор, геноцид.

М. М. успокаивал Н. Н.: «Спи давай!» — но тот долго еще не успокаивался, долго что-то еще и еще бормотал. Н. Н. его уже не слушал, голову старался положить на подушку и одеялом накрыться так, чтобы не слышать.

В чем два автора совпадали друг с другом совершенно — так это в отношении к тому человечеству, которое — власть и просто чиновничество при власти. Они его не понимали, и каких-то картинок по их поводу у них не возникало.

Так, какой-то сумбур.

Будто огромный зеленый стадион, обнесенный глубоким рвом и громадными же трибунами, а на стадионе происходят непонятные игры.

Игроки мечутся со спортивным инвентарем в руках: в одной руке теннисная ракетка, в другой — хоккейная клюшка, в одной — гантель, в другой — баскетбольный мяч, в одной — весло, в другой — рулетка.

У многих в руках пистолеты, гранаты и «калашниковы».

Игра называется «игрой приоритетов и паритетов».

Зрителям смысл игры, тем более ее правила, тем более ее судейство, непонятны совершенно, к тому же весь стадион накрыт облаком — малопрозрачным, но обоняемым.

Несмотря на все эти странности, зрители на трибунах чему-то аплодируют, смеются, плачут и ругаются между собой. Доходит до мордобоя.

Да-да — на трибунах немало истинных поклонников этой игры, этого зрелища, тем более что игроки-то, как правило, выглядят респектабельно — все при галстуках, а зрители все «при градуссах».

В общем, трибуны почти так же удивительны, как и арена. Да ведь все пространство под трибунами тоже забито народишком. Каким-то. Тем народишком, для которого «гражданин», «гражданское сословие» — звуки пустые, ненавистные, что-то вроде волчьего воя.

Убийцы, те — граждане, а эти — нет: нет у них никаких прав, даже права жаловаться на бесправие, что-то потребовать от своего имени. Нет у них имени.

Со стадиона, из толпы игроков в «приоритеты и паритеты», нынче все чаще доносится: «Стабилизация!», «Стабилизация!», «Падение прекратилось!».

Но ведь любое падение рано или поздно прекращается, достигает дна, и дело теперь в том, что последует за этим прекращением, каковы его последствия.

Последствия назревают под трибунами: подтрибунный народишко созревает, созрел уже, чтобы разгромить, в ключья разорвать любое гражданское сословие, все равно какое — «игроков в приоритеты» или авторов будущего романа «Граждане». Подтрибунье попросту не знало, что такое «гражданское сословие».

И авторы это чувствуют, хорошо знают. А игроки, те не чувствуют и знать не желают. Они представляют свою игру как игру вечную, неиссякаемую, не ограниченную какими-то правилами.

Примерно что-то в этом роде создавалось в воображении наших соавторов, хотя только примерно.

И еще одна «прослойка» общества, очень многочисленная, — это пенсионеры. Тридцать процентов населения России.

Пройдет с десятков лет — и на каждого работающего вдобавок к уже существующим семейным иждивенцам будет по одному пенсионеру. Это какая же должна быть производительность труда? Какие все новые и новые достижения техники и технологии, какой расход всяческого сырья, какое гостиничное хозяйство, какие транспортные средства? Пенсионеры очень любят путешествовать по белу свету — они забираются туда, куда человеку работающему и в голову не придет забраться. Они ведь сначала живут в этом своем мире, а потом уже рассматривают его: где же все-таки они жили-то?

Собственно, никто не знает, что с ними делать, что делать им самим, и вот они принимаются учить людей смыслу жизни, вернее — ее бессмыслице, и делают это даже тогда, когда их мозг теряет необходимую связь с их желудком и каждый действует независимо, сам по себе.

Они-то знают, что им делать: жить, жить во что бы то ни стало! Жить — и никаких гвоздей. Классический пенсионер каждый вечер ложится спать удовлетворенным: вот и еще один день прошел, еще один день прожит!

Н. Н. и не пытался понять в пенсионерстве что-то большее и совершенно спокойно воспринимал свое (ближайшее) будущее как будущее пенсионное, но М. М. опять-таки искал в пенсионности какую-никакую, а философию:

— Мир построен на противоречиях. Поэтому небытию должно быть противопоставлено бытие, неодушевленности — одушевленность. Иначе не было бы ничего: ни камней, ни скал, ни морей, ни небес, ни планет, ни комет.

Пенсионеры своим существованием как никто другой воплощают эту истину.

Пожалуй, Н. Н. был согласен с М. М., но побаивался своего согласия: тут можно затеряться в замысле романа «Граждане», а это совершенно не входило в его планы.

Н. Н. ничего не имел против того, чтобы его роман как-то коснулся и пенсионной темы. Но только коснулся.

Пожалуй, истинная задача пенсионеров в представлении наших авторов — быть счастливыми в ожидании смерти. Ведь смерть — это идеал свободы. Конечно, иной пенсионер, умирая, доставит массу несчастий своим близким, но это уже другое дело.

Ведь, собственно говоря, жизнь человека в этом мире начинается только тогда, когда он начинает задумываться о смерти. До этого имеет место предисловие к жизни, и даже — предисловие к предисловию.

Кажется, когда бы о смерти и подумать, если не с наступлением пенсионного возраста, — ничуть не бывало: такого рода размышления пенсионерам (тем более советского происхождения), как правило, чужды.

Однако не все так мрачно: в хаос нет-нет да и возвращаются просветленные пенсионеры и рассказывают о том, что они пережили во время своей

действительно целеустремленной жизни Солженицын к нам вернулся, Любимов вернулся, Войнович вернулся. Не говоря уже о не столь отдаленных по времени возвращениях с того света — писателях Булгакове, Платонове, Цветаевой, Набокове, Мандельштаме, многих, многих других.

Эти возвращения, живые и мертвые, поставили Н. Н. и М. М. в тупик: вычертили они если уж не круг, так замысловатый какой-то многоугольник будущего романа, но что делать с пенсионерами, так и не могли решить.

А тут еще произошла одна встреча: писатели лицом к лицу встретились с невиданным до тех пор пенсионером. С уникалом.

В дачном поселке, в котором они жили, запущенном, непутевом, поселился пенсионер со странной фамилией Сосновый.

Его многие здесь знали, слышали о нем, ждали его.

— Вот придет Сосновый, тогда уж мы и заживем по-человечески!

Сосновый приехал. Огляделся и резким, все еще сильным голосом заговорил:

— Что у вас тут происходит? Вода по трубам течет в час по чайной ложке, электричество выключают два-три раза в день, телефона нет, дорог и тех нет! Дело надо менять!

Прошло два-три месяца — поселок преобразился, стало как у людей, даже лучше: телефон появился, нормальный колодец был выкопан.

И все в кредит, все по божеским ценам.

В строительном мире у Соснового было множество знакомств, каждую неделю к нему кто-нибудь да приезжал консультироваться, рабочие слушались его с первого слова, и все-то он мог показать сам: как надо строгать-рубить, бетонировать, закладывать и стыковать трубы, — мог он поставить и новый трансформатор.

Говорили, он строил везде: в пустыне, в горах, в степи, в лесах, — строил все: заводы, города, ГЭС, АЭС, железные и шоссейные дороги, — строил в самых разных качествах: и большим начальником, и десятником, и зеком.

Человек этот был совершенно седым, стройным, голоса никогда не повышал и больше всего был похож на профессора философии, М. М. он прямо-таки с ума свел, да и на Н. Н. тоже произвел впечатление, он таких еще в жизни не встречал и размышлял: вот закончатся строительные работы в поселке, и он запросто будет заходить к Сосновому домой для долгих задушевных бесед. И насчет замысла тоже будет консультироваться.

Но не тут-то было: Сосновый с женой-старушкой вели совершенно замкнутый образ жизни, ни с кем не беседовали.

— Мое дело — строить, — говорил он. — Сооружения строить, а не жизнь. Судить-рядить жизнь — это мне чужое. Совершенно постороннее. Не умею. Всю жизнь строил, а никакого уюта так и не построил! — еще признался он как бы между прочим.

Горбачев тоже единственно что хотел — перевести социализм с идеологов на таких вот строителей, но где их возьмешь, таких-то? Их раз-два — и обчелся.

А уж как хотелось нашим писателям написать по образу Соснового необычайный характер пенсионера, поднять свой роман на высоту: шутка ли — положительный герой нашего времени!

Глядя на Соснового, Н. Н. и М. М. вспомнили, как у них возник замысел «Граждан».

Лет пятнадцать, что ли, тому назад они отдыхали в Кисловодске, в большом и обустроенном санатории имени Серго Орджоникидзе. «Орджоникидзе» расположен на горе, выше всех других санаториев, в том числе — правительственных «Красных камней», охраняемых по ночам огромными и злыми собаками.

Была зима.

Н. Н. и М. М. жили в двухместной палате, их соседом оказался человек по фамилии Павлюченко, серо-рыжий, роста выше среднего, с голосом скри-

пучим и недовольным. Он интересовался: а не может ли он кому-нибудь продать свое санаторное место? Например, Н. Н. и М. М.? Тогда эти двое еще были одним, вот один бы и жил в двухместной палате.

Он мало ходил в горы, на Большое и даже Малое Седло, больше — в город, там он прикидывал, сколько стоит вот этот, этот и этот дом и на каком углу было бы выгодно открыть забегаловку, на какой площадке за деньги показывать диких животных, а на какой продавать горячие пирожки с говядиной, с курятиной и с морковкой.

Он был довольно высокопоставленным служащим какого-то промышленного министерства, но о промышленности разговора никогда не заводил, ему бы только купить-продать, нажиться, выгадать.

Странное существо. Казалось, что со своим эгоизмом он нигде и никогда не найдет себе применения.

Но теперь его имя стало довольно часто мелькать в печати в связи со всякого рода сделками и разборками. Он даже и к северному никелю имел какое-то отношение.

Так вот, благодаря ему у Н. Н. и М. М. и возникло намерение начать свой роман о гражданах эпохи перестройки, а как бы хорошо было закончить его фигурой пенсионера Соснового!

Но Сосновый был в такой степени эгоизма лишен, что он всем своим существом противился участию в каком-либо деле, которого он не знает досконально. Хотя бы и в таком безобидном, как роман «Граждане».

Да-да — Сосновый сильно смутил наших авторов: они если даже и закончат достойно своих «Граждан» — чем это будет? Словами будет. В нынешнем потоке словесности печатной и устной это никак не скажется или скажется кое-как, с грехом пополам, мизерно.

И проявился комплекс неполноценности, свойственный многим писателям, нашим авторам — в значительной степени. Так что Сосновый стал иногда снится им по ночам. И тому, и другому.

...Ничего не оставалось, как с растревоженным сердцем приступить ко второй части «Предисловия»: создать принципиальный набросок той будущей, еще небывалой России при смерти, в которой должны будут жить и действовать герои Н. Н. и М. М.

В этом смысле и с «челноками», и с убийцами дело обстояло гораздо благополучнее, чем с пенсионерами и с самими авторами.

Н. Н. еще держался, а вот М. М., тот ни днем ни ночью места себе не находил.

Будущее... Считалось уже сегодня, что численность чиновничества в России нынче в два с половиной раза больше, чем его было десять лет назад во всем Советском Союзе. А ведь тогда мы тоже диву давались — сколько чиновников! Боже мой, какое множество!

А еще и нынешняя оппозиция! Хотя и оппозиция, но к чиновничеству пристроилась на равных, откусывает от государственного пирога ничуть не меньше, иной раз побольше.

Чем чиновников было больше всяких и разных, тем лучше жилось власти: государственной, оппозиционной, назначенной, выборной, уголовной, прокурорской, банковской или кооперативной или без всякого названия.

Такого ее количества еще никогда не было ни на Руси, нигде — смешанной, друг от друга неотличимой, столько же склочной, сколько единой в стремлении к размножению, в бесконечных обещаниях.

Именно на этом фоне эпидемии власти в стране и происходило все то, что происходило. И что произойдет.

Никто, ни один человек не знает, какой капитализм или какой социализм строит Россия, каких она должна придерживаться социальных и государственных законов, каких образцов прошлого или настоящего.

Вот и ходила самая богатая в мире страна по миру с протянутой рукой, выпрашивала копеечку, выпрашивая, налево-направо разбазаривала свои бо-

гатства и, кажется, утешала всех жуликов на свете. «Жулики всех стран, соединяйтесь!»

М. М. предлагал такой облик России недалекого будущего: леса вырублены, полезные ископаемые разграблены, еще недавно заселенные местности обезлюдены и на них восстановлено кочевое скотоводство. Скот беспородный, более того, селекция будет работать не вперед, а назад: восстановит породу коров-сибирок (еще татарских времен). Малорослая, чуть побольше козла, сибирка и молока дает с козлинное, два-три литра, но это самое жирное молоко, и по маслу проигрыша никакого, зато сибирки не требуют теплых помещений и корм зимой добывают сами («копытят» снег).

Младший сын Н. Н. Андрюшка, наслушавшись отцовских разговоров и споров его с самим собой, уже готовился в ковбой (при условии: у него будет маленький вездеход и тоже маленький вертолет).

Обязательное образование в России, по М. М., будет четырехлетнее, при условии, что учителя не будут бастовать.

Будут в России и огромные города, наполовину заселенные бомжами со всего света. Другая часть населения городов — чиновничество.

Будут и отдельные племена.

Иным племенам не нужны будут ни культура, ни наука, ни искусство — только оружие. Стремление к миру там наряду с уголовными преступлениями будет караться по шариату.

Будет в городах и высокое искусство — в той мере, в какой оно необходимо для улыбок властей и мечтаний разнотравной интеллигенции. Основная же задача искусства будет состоять в том, чтобы превзойти мировую порнографию.

История как наука будет не в почете: какой власти она нужна? какой оппозиции? Коммунисты, те вообще откажутся от истории. Наука в целом будет, но в необычном порядке: сначала научные исследования будут распродаваться, а затем внедряться в жизнь. Распродаваться они будут с торгов, кто больше даст за исследование; внедряться — смотря по авансам.

Результаты не такие уж скромные. Многие ученые окажутся сотрудниками чужих академий — этот отхожий промысел станет очень распространенным, но и быстро начнет затухать: рынок заполнится вскорости.

Жизнь перед тем, как ей погаснуть на Земле, что экологически неизбежно, станет внеисторической, примерно такой же, как в доисторические времена.

Единственным национальным богатством (духовным) останется язык, но русский язык будет распродаваться государственными и частными фирмами: за внедрение иностранного слова вместо русского будут выплачиваться порядочные суммы.

Еще будет распространяться эсперанто — тоже небескорыстно.

Кино и театр будут показывать в промежутках между рекламными роликами, но они все-таки ухитрятся выжить, многие артисты будут знамениты благодаря тем же роликам и порно.

Однако все это пустяки, все — частности, потому что над всем возвышается непосредственная угроза экологической гибели.

Земной шар преобразуется в некий вариант самого себя: он ведь утяжеляется за счет размножения человечества и становится легче за счет откачки из него нефти. А что стоит искалечить земную кору, если ее толщина всего тридцать километров, а на ней — метр растительного слоя.

Нефть сжигается, прогревает атмосферу, в результате — озоновые дыры. Меняется вес земного шара и атмосферы — значит, меняется орбита их вращения вокруг Солнца. Меняется климат.

Какой смысл заниматься склоками и дележом власти старыми, подлыми, изощренными способами на совершенно другой, искалеченной и исковерканной, земной коре? Заниматься, к примеру, проблемами коммунизма? Нелепо! Дико! Дикое сочетание первобытности с современностью. Зачем я буду уча-

ствовать в этой пляске на кладбище? Не буду! — так говорил, так по ночам выкрикивал М. М.

— Действительно — блажь! — подтверждал Андрейка, когда однажды М. М. затеял за столом разговор на эту тему. — Потрясающая блажь и глупость, такой еще не было. Такая может быть только однажды! Такая может быть только в государстве власти, и ничего другого. Такая и есть. То есть конец цивилизации, конец земному шару. Да здравствует откровенный секс.

— Дурак ты, Андрейка! — вмешалась Софья Андреевна. — Уличный дурак. Молокосос, а туда же! Секс без любовной интимности — это свинство, что-то звериное. Если ты этого не усвоишь, то тоже будешь скотиной! А ведь когда ты родился, у тебя были такие умные глазки! На редкость! — при этом Сонечка внимательно посмотрела на мужа. Дескать, у тебя тоже когда-то были. Кажется, она стала отличать в нем Н. Н. от М. М. А старшего любить сразу за двоих сыновей.

Ну а умница Гоша, тот, разумеется, в принципе поддержал М. М.:

— Человечество не жалко. Оно только и сумело, что уничтожить самое себя. Спинозу жалко. Гегеля. Еще с десятков других личностей. Маму жалко нашу, Сонечку. — О Н. Н. Гоша не упомянул. — Бога жалко: что будет делать Бог без людей? В чьем сознании обитать?

Возможности переселения человека на другую планету М. М. не признавал. И Гоша не признавал.

Таков был их вариант ближайшего будущего, таковы соображения.

То, что у М. М. такого варианта не было, с этим Н. Н. как-то мирился, но вот что его не было у Гоши...

По поводу Гоши в семье вообще не иссякали, а все нарастали и нарастали тревоги. Такой способный, такой ласковый, даже сентиментальный, с женственным лицом, он вот-вот должен был пойти в армию. Под начало какого-нибудь «деда», который, ошалев от собственной злобы, будет походить бить Гошу по лицу...

Сонечка, так та просто с ума сходила.

В разработке варианта коммунистического двадцать первого века М. М. участвовать наотрез отказался, и Н. Н. был теперь один-одинешенек — истинная судьба хотя бы и не истинного, а все-таки писателя.

М. М. говорил:

— Единственный диктатор, которого может признать такое существо, как человек, — это Бог. Потому что Бог — уже не существо, а диктаторы из числа людей совсем недавно проиграли на исторических выборах.

Н. Н. действительно оказывался один-одинешенек — истинная судьба даже и не истинного писателя. Пришлось заняться прогнозом второго варианта, будучи отвергнутым не только всеми, но, кажется, и самим собой.

Сам собой Н. Н. уяснил, что коммунистического учения на практике и не было никогда, а был набор мероприятий, соответствующих моменту захвата, а затем и удержания власти: война так война, мир так мир, укрупнение так укрупнение, разукрупнение так разукрупнение, кукуруза так кукуруза.

Придя к этому выводу, Н. Н. без всякого порядка набросал все-таки возможные громко провозглашаемые для ближайшего будущего мероприятия.

Листочек с этим наброском получился такой.

Герб, флаг и прочая государственная атрибутика Советов неукоснительно восстанавливаются. Россия снова называется СССР.

Вся власть переходит Советам.

Все Советы — коммунистические. Создаются земства. Тоже коммунистические.

Перераспределение народного богатства: грабь награбленное. Во всяком случае, присваивай присвоенное.

Первые шаги новой власти:

выпуск государственного займа с обязательной подпиской каждого гражданина на сумму 1,2 годового заработка, с выплатой в течение года;

подписка о признании новой власти;

подписка обязательства сообщать соответствующим органам о всех замеченных признаках антисоветской деятельности, с чьей бы стороны эти признаки ни исходили;

обязательное обучение детей начиная с семилетнего возраста (запись в школы производится одновременно с записью в пионерские отряды);

введение некоторых льгот для партактива;

обобществление земель, переданных за последние двенадцать лет из государственного фонда в частное пользование;

всемерное укрепление обороноспособности страны, повсеместное развитие Осоавиахима;

в области международной — самое активное развитие дружбы народов под лозунгом: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» (в первую очередь это относится к странам СНГ).

Составление наброска коммероприятий было делом дискомфортным, и, наверное, поэтому Н. Н. стали сниться странные, на что-то без конца намекающие сны.

Они спали подолгу, Н. Н. и М. М., — и по восемь, и по девять часов, однако не зря спали, не просто так — просыпались с готовыми отрывками «Предисловия», а иногда и самого романа. У каждого были свои отрывки, они ими торопливо обменивались.

А один сон у Н. Н. был такой...

Вагон пригородного поезда с ободранными сиденьями, пассажиров не так много, давки нет, пассажиры странноватого вида, всё мужчины и женщины, чем-то как будто знакомы Н. Н.

А это, оказывается, представители тех групп, тех сословий, что станут действующими лицами романа «Граждане».

Разговор у них мирный, можно сказать, необычайно мирный, хотя вот она, группа профессиональных убийц, вот они, игроки в «приоритеты и паритеты», а вот «челноки», а вот интеллигенты и пенсионеры (в том числе все-таки Сосновый, вернее, его прототип). Как говорится, каждой твари по паре.

О чем разговор? Разумеется, о власти.

Ельцин обязательно выставит свою кандидатуру на выборах 2000 года, обязательно, а сейчас он уже ведет избирательную кампанию, демонстрируя, что он может найти согласие со всеми: и с коммунистами, и с убийцами, и с зарубежными руководителями — одним словом, между всеми, а тогда зачем его переизбирать? Он на любой случай может организовать четверки, семерки, восьмерки и так далее в возрастающем порядке и поделиться властью, возглавить то движение умов, которому экология — так себе, что-то вроде летнего пляжного колпака.

Куда же они, все эти пассажиры, едут? Они едут в город Заморочник на заседание «круглого стола» будущих персонажей романа «Граждане». Покуда Н. Н. и М. М. их выбирали, они сами самовыбрались. А может быть, их сорганизовал М. М., ничего не сказав при этом Н. Н.

Особенное внимание Н. Н. привлекла довольно красивая, довольно молодая и довольно беспокойная женщина, которая сидела у самых дверей вагона и причитала:

— Ох, не успеем! Ох, не успеем выйти из вагона, поезд в Заморочнике стоит всего одну минуту! Того меньше!

Что-то уж очень знакома Н. Н. эта женщина, а все потому, что это его жена Софья Андреевна. Она-то здесь при чем?

Что-то ёкнуло у Н. Н. под сердцем. Сильно ёкнуло.

Н. Н. был женат на Софье Андреевне вторым браком, хорошо женат, удачно, и эту удачу ему никак не хотелось выпускать из рук. Ну, никак! Пожалуй, это было бы подобно тому, как если бы Н. Н. выбросил на свалку

уже готовый роман «Граждане». А может быть, это значило бы еще больше? Гораздо больше?!

До сих пор Софья Андреевна была идеальной женой и только в одном пункте срывалась — уж очень нервозно, очень серьезно реагировала на выходы Андрейки.

Поезд прибыл на станцию Заморочник, все успели выскочить из вагона, все пошли по платформе в одном направлении, и тут Н. Н. проснулся. Проснувшись, понял, что ему есть над чем поразмышлять. Он никогда не представлял себе роман «Граждане» простым, без загадок, но чтобы он был таким загадочным?.. Знал бы, так, наверное, и не брался бы представлять. Что получается за «Предисловие»? Тоже не скажешь.

— Ну и как? — спросил М. М. у Н. Н., когда тот и проснулся.

— Ничего не понимаю. Это ты придумал?

— Ну уж, голубчик, не сваливай с больной головы на здоровую. Я такими глупыми мечтами не занимаюсь, — возмутился М. М.

Н. Н., подумав, и в самом деле принял сон на свой счет и спросил:

— Ну чего уж тут особенно глупого-то? Это нейтрально!

— Это — мечта! Глупая! Ты только на глупость и можешь уповать.

— Почему?

— Очень просто! Герои твоего романа уже собрались дружной компанией, уже едут на какой-то саммит обсуждать, кто и как будет исполнять свои роли в романе «Граждане», как они будут взаимодействовать. Но ведь этого же никогда не может быть. Разве что за большие-большие деньги, которых у нас нет, никогда не было и никогда не будет. Это вполне разрозненные эгоисты, они готовы каждую минуту перегрызть глотки друг другу, а нам с тобой — с особенным удовольствием, вот и все! А тут? А тут все они едут в одном вагоне, все болтают непринужденно друг с другом, у всех один пункт назначения, одни и те же рельсы, да еще и ты с ними? А это — зачем?

Н. Н. понял все невероятие сцены:

— Ну ладно — я... А зачем там с ними еще и Сонечка?

— Вот именно — зачем? Это просто-напросто непорядочно с твоей стороны! По-хамски как-то... Зачем ты ее-то втер в эту компанию?

Со стыда перед М. М. не знал Н. Н., куда и деваться. Он не только не оправдывался, а еще и еще приводил какие-то доводы против себя, в пользу М. М.

«Хорошо, что вовремя проснулся, а то ведь черт знает куда мог еще прийти! Куда и к чему? К деловому саммиту в городе, например».

А тут еще обстоятельства чисто семейного свойства. Н. Н. и в них был виноват, а М. М. ни при чем.

Если младший сын Н. Н., Андрюшка, готовился стать современным ковбоем, кочевать по заброшенным просторам Сибири или Юго-Востока России, то старший, Гоша, уже состоял в активе каких-то экологических организаций, то есть целиком следовал за М. М., не подозревая, что это лишь небольшая, во всяком случае ограниченная, часть его собственного, и притом единственного, отца.

И это еще не все.

Н. Н. стал замечать и замечать, что его жена все больше и больше склоняется в сторону М. М.

Ей было уже под сорок, но в семье ее все еще так и звали — Сонечка: она склонна была к некоторым странным увлечениям. Например, изучала породы медведей, хотя ни одного из них не видела на воле, — по фотографиям изучала.

Были у нее и еще причуды, но без причуд Н. Н. меньше любил бы ее, такую детски голубоглазую.

Так или иначе, Н. Н. собрался с духом и спросил у М. М.:

— Тебе не кажется, что «Предисловие» слишком разрослось?

— Давно кажется! Давно-давно!

— Почему бы это? Ты не знаешь?

М. М. решительно утверждал, что вся история человечества — это история человеческих ошибок по отношению к самому себе. И они, Н. Н. и М. М., не составляют никакого исключения.

Иначе и быть не могло, утверждал М. М., поскольку природа ошиблась, когда наградила человека человеческим разумом. За ошибки приходится расплачиваться, вот она и расплачивается. Настало время.

Н. Н. не был столь пессимистичен, он говорил, что нельзя полагаться только на логику, кроме нее человек заряжен еще и эмоциями и наделен интуицией.

Однако расхождения — глубоко психологические — были столь серьезны, что дальнейшее сотрудничество между Н. Н. и М. М. каждый час могло прерваться. И некрасиво прерваться-то — ссорой, нетерпимым отношением друг к другу. Драмой.

Что же оставалось в таких условиях, какие возможности?

Пока еще не поздно, не совсем поздно, надо было им, как соавторам, совершенно и до конца разойтись.

Н. Н. так и сделал.

— Спасибо, друг! — сказал он. — Большое спасибо! Дальше я один. Общее дело — «Предисловие», — кажется, сделано. Мы с тобой, Н. Н., — глупые люди: вздумали искать граждан. Где их искать, если нет гражданского общества? Хотя бы и фиктивного коммунистического и того нет и не может быть. Это уже доказано: не может! Ищи ветра в поле!

У Н. Н. что-то засвистело в ушах — ветер.

— Прежде чем мы найдем граждан, человечество сгинет. По экологическим причинам. В предчувствии этого, в правильном предчувствии, и происходит все то, что происходит. Вот я и думаю... Чем больше я думаю, тем больше убеждаюсь: мы с тобой глупцы! Тебе еще простительно, но мне... Я же на десять лет старше! Я давно собирался объяснить тебе это, объяснить, что вся окружающая нас действительность — это толпа неосмысленных предисловий, и не нам с тобой их осмыслить...

И тут Н. Н. и М. М. корректно распрощались, кивнув друг другу:

— Будьте здоровы!

— Чего и вам желаю!

— Большое спасибо. За сотрудничество.

— Спасибо большое. За сотрудничество.

Эти простые, любезные слова были сказаны тихо, почти шепотом, но очень нервно. Рыдательно.

Оставшись в комнате один, Н. Н. сидел молча и не решался о чем-нибудь подумать. Жалел, что М. М. исчез как таковой.

Но это одиночество продолжалось недолго — явился Замысел. Конечно, у него не было облика, но это был он.

Он сел за тот же письменный стол, снова нога за ногу, и еще пальцем погрозил:

— Смотри у меня!

— Смотрю...

— Не так смотри-то — веселее, веселее!

— Куда денешься, стараюсь!

— То-то!..



ГЕНРИХ САПГИР



ВОТ И СПРОСЯТ ЗАВТРА НАС

Беседа

— Где живешь?
— выше крыши этажом
высокие окна на вилле
каменные русалки
и толкуют бомж с бомжом:
— жил и на бойне
гулял и на свалке
солнца отблеск
на белом рояле
— в бассейне
спокойней
ощущая легкость
в теле
утренним холлом плыву
— жди когда воды напустят
в мягкой шляпе
садовник
подстригает
траву
— забредаю к Насте в гости
щей всегда нальют половник
а то и водкой угостят
поливает розарий
— а мне рассказали
что ночуешь на вокзале
— *на террасе за столиком*
белая ликом
моя госпожа
— по чердакам
кочую
руку на сердце
положа
— где дом почую
там и ночую
говорит:
«Алексей успокойся»

В этих стихах, как в музыкальных произведениях, зачастую две темы переплетаются между собой и рожают третью. Похоже на скрещенные руки, когда пальцы проходят между пальцев. На письме это отражено наглядно. — Автор.

— а ты брат пахнешь! —
 потянешь носом
 так и ахнешь
 — *глядим*
из глубины роллс-ройса
 — где пристроить тело?
 душа опустела

Белая дыра

1. ПИР

в автомобиле
 труп коммерсанта
 и столько крови —
 невероятно!

«заказал» банкир
 банкира
 и послал к нему
 вампира

и увидав
 такое блюдо
...плоды и вина
и эстрада —
гвоздики алые
повсюду...
 «вам пир!» —
 сказал другой вампир

2. ТЕРРОР

на шоссе — скелет
 автобуса
видели женщину и мужчину
 обгорелого
 а в нем...
видели следствие
а причину...
 но всего ужасней —
 дети...
подозрительная пара
да и солнце поутру
 водитель думал —
 колбаса в пакете
(...и про водку про икру)
 а колбаса
 полыхнула огнем —
и все влетели
в белую дыру!

3. ВОЗНЕСЕНИЕ

мерседес-600 —
белый ангел
нас несет —
в заре розовеем
дальше — меньше
белый двор
*где расстреляны
в упор
на снегу
мы — веером*

Раздумье

шум трамвая отдаленного
*разделся в котельной
до майки нательной*
там на улице Поленова
у метро
на Театральной
(врешь) на Ленинском проспекте
трупы трупы
в ночь под утро —
*глядел в топку
показывая лепку
мышц*
цифры в милицейском акте
и свет
такой нереальный
*в пламени —
вне времени*
на шоссе
лежащий там —
в куртке с голым животом
*блеск ювелирных
вещиц*
снег хруп хруп
еще труп...

*вот и спросят завтра нас:
— здесь убили
или в поле?
— где пили
там и убили*



ЛЕОНИД ЗАВАЛЬНЮК



ЧТО ТАМ НА ТРЕТЬЕ?

* *
*

Бывало, говорю себе:
— Осенний воздух густ?
Да нет, обычен. Просто холодает.
Бывало, говорю себе:
— Земля не обладает
Ни божьей памятью живой,
Ни органами чувств.
И глупо это — на краю села
Остановиться вдруг
И с грустью умиленной
Колодец, вербу окликать
Иль спрашивать у клена:
Ну как живешь, старик,
И как твои дела?
Вот так, бывало, говорю себе,
И в сердце заползает мгла
Тягучая, как смертная смола.
И так я в целом свете одинок,
Так переполнен тьмой,
Какой-то древней, не моей тоскою,
Как будто сам я этот клен,
Колодец, верба над рекою.
И вот стою, шепчу:
— Не торопись, постой, поговори со мною,
Счастливый, младший брат мой — человек живой!..

* *
*

Когда наелись гости и уснули,
Я запер дом, забрался на чердак.
И долго там сидел на колченогом стуле,
Неторопливый, вдумчивый дурак.

Я вспоминал судьбу свою большую,
Коней сапатых, серую козу.
Я вспоминал, кому свояк я
И кому я шурин.
И то смеялся, то ронял слезу

И так мне было хорошо,
 И так я был доволен,
 Так что-то пыльной памятью постиг,
 Что громко застонал
 И зубы сжал до боли,
 Чтоб не вскричать:
 — Запомни этот миг!

* *
 *

Когда я сердцем волен
 И не коплю утрат,
 Мне грустно — я доволен,
 Мне весело — я рад.
 Река колышет звезды —
 Тончайшая слюда.
 Деревья, крыши, воздух, —
 Все это навсегда!
 Ах, даль чиста, как в детстве.
 И ветер в три струи.
 И так легко одеться
 Лишь в мускулы свои.
 И я кричу на вырост
 Двум вербам на юру:
 — Вы вечны. Бог не выдаст! —
 И знаю, что не вру.
 Так знаю, словно веткой
 Пророс в судьбе иной.
 Но это очень редко
 Случается со мной...

* *
 *

Сидаймо, друже!
 На столи
 В мысках, у горщиках, на блюди
 Лежить все те, що добрым людям
 Приємно исты на земли.

Сидаймо, друже, як бувало!
 Картопля жовтый пар пуска.
 Такой ввик не коштувалы
 Ни дядько Кыв, ни Москва.

А оселедци, а свыннына!
 Так нальвай и — пьем до дна
 За нас,
 За те, що батькивщину
 Николы вже не бачыть нам!..

* *
*

Я не привержен людям
И не подвешен к звезде.
Где-то меня не любят,
А это значит — везде.

Качаюсь на собственной совести,
Как висельник на ветру.
И нету печальней повести,
Чем повесть о том, что умру.

Ах, что же там, что там на третье?..
Кончается жизни обед.
И хочется жить на свете,
Так хочется жить на свете,
Что силы на жизнь уже нет.

* *
*

Был я тихий, как эстонец.
И сказал мне Млечный Путь:
— Что, поэт, умолк и стонешь.
Пой, зови куда-нибудь. —
И ответил я:
— Коллега,
Чур, лежачего не бьют!
Там, где время околело,
Только деньги и поют. —
Был бы, скажем, я богат,
Размахнулся бы дугою —
На восход одной ногою,
А другою на закат.
Разомкнул бы все гробы:
Мчитесь, реки быстрые.
И Неглинка из трубы
Обнялась бы с Истрою.
Всех бы звал объединиться
И кричал бы вслед лучу:
— Ночи нету, рушь границы,
Бей посуду. Я плачу. —
Но вот в том и чижик-пыжик,
Что все это не всерьез.
Побрататься или выжить —
Вот как ставится вопрос.
И я слышу над собою
Каждый день и каждый час:
— Будет много мордобоя,
Очень много мордобоя,
А потом уж братство рас. —
...Тучка белая плывет,
Жучка черная бежит.
Жизнь идет, но жизни нету, —
Камнем смерть на ней лежит.

И хриплю я, как под лавой
 Захлебнувшийся в крови:
 — Вместе с домом и державой
 Раньше срока, Боже правый,
 В царство света, Боже правый,
 Грех скости и позови!

* *
 *

Чего мне не хватает?
 Малости. Конфет.
 Блеснет удача и обманет дико.
 Вот ждал письма. Пришел пустой конверт.
 Услышал зов с небес. А это пьяный диктор...

И кто-то все твердит:
 — Живи и будь скромней! —
 А я пословицу и ту, бывало, не нарушу.
 На переправах не менял коней,
 В колодцы не плевал,
 Не тряс чужую грушу.

Где же награда, где дары?
 И я кричу:
 — Не проноси Ты мимо легкую удачу.
 Не пляшет кровь без детских праздников.
 Конфет, конфет хочу!
 Пускай хоть леденцов. Но даровых. —
 И плачу.



СЕМЕН ФАЙБИСОВИЧ

*

ТРИ ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ ОДНОГО ДОМА

КАК Я МЕНЯЛСЯ

Вы бы видели эту квартиру, когда я сюда переехал: дверей нет, умывальника нет, стены где ободраны, где проломлены, перегородку между кухней и ванной он вообще снес — тесно, говорит, было. В ванной по стенам — листы сухой штукатурки, а на них похабные рисунки шариковой ручкой. Ну, похабные — это не совсем точно. Дело в том, что он — псих, а рисовать начал под впечатлением моей живописи. Он когда мою ясеневскую квартиру посмотрел, так и сказал:

— Мне все понравилось, но больше всего — картины.

Я честный человек. Я ему объясняю:

— Видите ли, если мы поменяемся, картин здесь, скорее всего, не будет.

— Это не важно, — говорит.

Ну и сам начал рисовать. А мне все время звонил, советов спрашивал, и не только художественных:

— Семен Натанович, я думаю, может, жениться?

— Олег, вы же вроде разводитесь.

— А жениться тоже хорошо — все же пища домашняя, уход.

— Ну так вы сначала разведитесь, а уж потом женитесь.

— Ну ладно, я тогда лучше собаку куплю, как вы думаете?

А на сухой штукатурке он изобразил каких-то курчавых гермафродитов и еще отдельно их гениталии в больших количествах. Наверное, для врачей-психиатров был бы ценный материал, а мне перво-наперво пришлось рубить эти листы топором и выносить на помойку — иначе сына в квартиру не приведешь. На обнажившейся стене оказались следы ободранной плитки, dranка и тараканы в несколько слоев.

Или вот еще такой разговор по телефону — это уже после обмена:

— Семен, тут тебе звонил кто-то, но я не мог дать твой телефон.

— Почему же не мог? Я ведь просил давать мой телефон всем, кто меня ищет.

— А у меня мой телефон сломался.

— Олег, когда он у тебя сломался?

— Сейчас сломался. Тут кто-то ходит и его ломает.

— Олег, ты же один живешь.

— Это, кажется, мама ходит и о провод спотыкается.

Его мама на постоянной прописке в «Белых Столбах». Мадам Валькова. У нее в паспорте подпись потрясающей каллиграфии. Я подделывал ее в документах на обмен, сидя в скверике у обменного бюро Бауманского района. Терять было нечего: в его документах сплошной бред, мама в дурдоме, да и по всему остальному этот обмен — тухлое дело, так мне говорили юристы, инспектора бюро обмена — в общем, все знающие люди.

Оказывается, психи у нас (то есть те, кто на учете в ПНД) — привилегированное сословие. Я забыл точную терминологию: что-то вроде правомоч-

ны, но не правообязаны — попросту говоря, они имеют право делать все, что угодно, но ни за что не отвечают. Хотят, как все, меняться — пожалуйста! Но все другие, нормальные, как поменялись — баста. Обратное только через суд. Это если обнаружатся какие-то скрытые дефекты да если суд сочтет — в общем, обратной дороги нет. А этим — пожалуйста: разонравилось либо передумали, плохо себя чувствуют на новом месте или еще что — и ни один адвокат не возьмется защитить нормального человека от психа: безнадежное дело. Мне рассказывали, что некоторые нормальные специально косят под психов и становятся на учет, чтобы зарабатывать обманами. Правда, в анкете обменбюро есть вопрос: не состоите ли на учете в ПНД? Да никто не пишет, а пойди всех проверь. Один менял Москву на Владивосток — шесть городов участвовало. Он со всех бабки взял, приехал во Владивосток и говорит: «Мне климат не подходит». И все обратно крутанулось. Народ с инфарктами полег, а ему кайф.

Я все же рискнул: мой псих был настоящий, неподдельный. И потом, он мне про себя много рассказывал, и я понял, что он — псих-невозвращенец. Первым делом после переезда он у всех кругом деньги занимает (на вид он не больно-то псих) и не отдает. Ну, все обижаюсь, кое-кто даже грозить начинает, а ему страшно. Потом он пускает к себе квартирантов, берет деньги и сразу их выгоняет. Они тоже ему грозят. Ему еще страшнее. Ну и так далее. В общем, когда мы поменялись, он сказал, чтоб я никому его нового телефона не давал. Его и правда искали, особенно первое время.

— Гражданин Вальков. Вы когда магнитофон вернете? У вас набегают большие пени.

Я все объясняю, обещаю разузнать. Звоню в Ясенево:

— Олег, тут из проката звонили, требовали магнитофон.

— А чего, я его продал.

— Как это — продал?

— Ну так, денег не было, вот и продал.

Многие искали с явно недобрыми намерениями. Я телефон не давал — держал слово. Бывало, звонили друзья:

— Олег?

— Нет, не Олег.

— А где Олег?

— Переехал.

— Дай-ка его новый телефончик.

— Олег просил никому не давать его новый телефон.

— Так я ж ему друг, все-все про него знаю. Вот скажи — он женат или развелся?

— Не знаю.

— А собака у него есть?

— Не знаю.

— Ну вот, видишь, я все про него знаю.

— Послушайте, а отчего вы ко мне на «ты» обращаетесь? Мы не знакомы никто нас не представлял друг другу.

— Ну, давай знакомиться: Сергей Шибанов, лейтенант КГБ, так что давай телефончик.

— Товарищ лейтенант, насколько я могу судить о вашем ведомстве, вам по вашим каналам ничего не стоит найти его телефон, тем более что вы все про него знаете.

— Ну ладно, а тебя-то как зовут?

— Семен Натанович Файбисович.

Пауза.

— Слушай, а ты русский или нет?

— Я еврей.

— Аид, значит. Слушай, а я тоже аид, у меня мама аидка. Ты когда-нибудь был в синагоге?

— Бывал в молодости.

— А я все время туда хожу — ихние проповеди слушаю. Только почему-то ничего не могу понять. Наверное, потому, что языка не знаю. Слушай, а твоим корешкам кассеты с битлами не нужны?

— Не знаю.

— Ну ладно, ты поспрошай, я тебе еще позвоню.

А какой брат был у моего партнера по обмену! Впрочем, брат — это уже история переезда, чуть попозже. Сначала подача документов.

— Дай, — говорю, — посмотреть, что ты там написал.

Мы встретились в бюро обмена. Читаю описание моей будущей квартиры:

— Олег, что такое «теплый стан»?

— Это удобство такое.

— Насколько мне известно, такого удобства нет, есть такой жилой район рядом с Ясеновом.

— Не знаю. Я в прошлый раз менялся, мне сказали: пиши «теплый стан». Вот я и пишу.

— Ну хорошо, а что это хоть за удобство?

— Ну как: Это когда горячая вода, унитаз и все такое...

Я напряг свой архитектурный интеллект:

— Слушай, может, ты имеешь в виду «теплый стояк»?

— Во, точно, давай перепишу.

Инспектора бюро обмена отказались нас принимать. Увидев Олега, они начали махать руками, кричать, что они очень заняты и не правомочны, и отослали к начальнику (видно, Олег был тут не в первый раз). Мы пошли к начальнику. Им оказался добрый старый человек, который сразу понял, что отступать некуда, и смирился с неизбежным. Сопротивлялся только для виду:

— Товарищ Вальков, у вас тут заполнено не по форме. Вы пишете «Чаплыгина, пятнадцать, корпус одиннадцать», а по Чаплыгина, пятнадцать, никаких корпусов нет.

— Подъезд у меня одиннадцатый.

— Но здесь ведь надо указывать корпус, а не подъезд.

— А где же я подъезд указывать буду?

— Вот здесь должны быть подписи членов семьи, прописанных на данной площади. На вашей площади прописаны отец и мать, а где их подписи?

— Отец... в тюрьме, а мама... отдыхает.

— Где отдыхает?

— Под Москвой.

— Ладно, пусть она распишется, и я приму документы.

Вот тогда, выйдя из конторы, я и совершил подделку подписи гражданки Вальковой. На следующий день мы сдали документы, а еще через три дня наш вопрос был решен положительно.

А началось все со звонка моей тогдашней тещи:

— Сема, вам какой-то сумасшедший по обмену звонил.

— Почему сумасшедший?

— У него прекрасная двухкомнатная квартира у Чистых прудов, а он хочет в Ясенево. Я ему говорю, что у вас шестнадцатый этаж, а он говорит, что его устраивает. Я говорю, что окна на перекресток — он говорит, что это не важно. Он мне звонил уже несколько раз и просит прийти посмотреть его квартиру, но я вам не советую.

Через час я, сопровождаемый Верой Михайловной, звонил в квартиру 138 дома номер 15 по улице Чаплыгина. Открыл нам вполне нормальный на вид молодой человек, разве что большие желтые зубы как-то странно кривились в постоянно улыбающемся рту. Улыбка была отчасти даже и застенчи-

вая, а зубы, между прочим, и у меня большие, желтые и так себе в смысле стройности. И вообще он был чем-то похож на меня в ранней молодости.

— Да, квартира хорошая, — шептала мне на кухне Вера Михайловна после осмотра, пока Олег переодевался для поездки в Ясенево, — но она в ужасающем состоянии, а он — сумасшедший. Вы посмотрите, где мебель?

— Олег, а где у вас мебель?

— А я ее продал — все равно переезжать.

— И потом, где его мать? — вела свою партию Вера Михайловна. — Откажитесь, не пускайте его к себе. Скажите, что без матери нет смысла.

— Олег, а где ваша мама?

— А что, я ответственный квартиросъемщик, мамы сейчас нет.

И мы вдвоем поехали в Ясенево.

— Да, хорошая квартирка, — сказал он, окинув мои апартаменты рассеянным взглядом, — я куплю себе собаку и машинку. Здесь так хорошо дышать и лес рядом, а в центре какой-то ужас. Везде милиционеры, светофоры. То нельзя, это нельзя. Все время мне в дверь звонят и грозятся выломать. Я хочу сюда. А у вас машинки нет?

— Какой машинки?

— Ну, небольшой, чтобы кататься.

— Нет.

— Может, у ваших друзей есть?

— Нет.

— Ну, тогда я мотоцикл куплю. Вот только куда бы его поставить?

Озирается по сторонам:

— Может быть, на балкон?

Когда мы уже спустились вниз, туда, где между тамбуром и лифтовым холлом висели ряды почтовых ящиков, он просветлел:

— Вот, я его сюда поставлю.

Переезжали мы целый день. Сначала машина с вещами из Ясенева, потом машина с вещами в Ясенево, потом машина с картинами из Ясенева.

Когда мы с вещами приехали на Чаплыгина, Олег стоял посреди большой комнаты, застенчиво улыбаясь. В кресле, единственном оставшемся предмете мебели, сидел его брат, вяло уставившись в стену. Он так и просидел все время, прижимая к себе, по-видимому, самое дорогое, что было у него в жизни, — сумку с надписью «Спартак». По квартире валялось несколько ящиков из необструганных досок с большими щелями — похоже, из-под овощей. В одном лежала пара грязных носков, серых, кажется. В других не помню что, но в этом же роде. Посреди второй комнаты стояла огромная картонная коробка с незакрывающимся верхом и проваливающимся низом. В нее как попало были запиханы телевизор, люстры, сковородки — в общем, все тяжелое, бьющееся и бьющее. Каким-то чудом нам удалось погрузить ее в машину, сгрузить в Ясенево и дотащить до лифта. Рассыпалась она на шестнадцатом этаже перед самой дверью нового Олегова жилья.

В кузове машины по пути из центра Олег, отчасти красуясь, учил своего брата жить:

— Я вот сейчас понял, что надо покупать такие вещи, чтобы они тебе всю жизнь служили: полиэтиленовые пакеты, лампочки.

Как вы поняли, после переезда наше общение не прерывалось. Он часто звонил мне и рассказывал про свою новую жизнь: купил собаку, купил машинку, но она не ездит, вот починит ее и будет ездить. Вернулся папа, но опять украл колбасу в универсаме, а он его предупреждал: не пей. Женится, но потом решил жениться еще раз. Ездил к маме, но она ест очень много колбасы, а пенсия у нее маленькая. Пошел работать, и ему очень нравилось вертеть кружочки, но его заставляли пить и воровать, и он ушел. Хочет сделать ремонт и чтоб на кухне были черные лебеди в пруду, а я чтобы их на-

рисовал, но погода испортилась, и он думает меняться. Иногда приходил и просил поесть или спрашивал, как дела. Ел и уходил. Недавно пришел похвастаться собакой — огромным водолазом. Через несколько дней появился встревоженный и сказал, что есть срочное дело. Я попросил немного подождать — говорил по телефону. Он топтался в прихожей.

— Олег, что случилось?

— Они меня преследуют. Сказали, что убьют. Я собрал все вещи и привез к вам на хранение.

— Какие вещи? Как так — привез?

— Внизу, в такси, я сейчас подниму.

— Слушай, Олег, кто тебе угрожает?

— Они вламываются и говорят, что будут здесь жить и что всё их. Или чтоб я отдал деньги. Собаку украли.

— Олег, ты живешь один?

— Да.

— У тебя замок на двери есть?

— Даже два.

— Ну так ты их не пускай. И вещи держи в квартире.

— Они на балконе не помещаются. И там холодно.

— Олег, ты видишь, как здесь тесно, и потом, кто может поручиться здесь за их целость и сохранность — в квартире маленький ребенок.

— А куда же мне их девать? Я уже привез.

— Послушай, Олег, вот пока мы тут с тобой препираемся, таксист уедет с твоими вещами — и ищи-свищи.

Его глаза округлились от ужаса, и он бросился вниз по лестнице. Мы с женой подошли к окну и безмолвно наблюдали, как пикап, высвечивая фарами то куски зданий, тесно обступающих двор, то нижние ветки деревьев, то скамейку и верхушку клумбы, осторожно и как-то затравленно пробирался к улице.

СОСЕДКА

Я в этом доме уже довольно давно и как-то пообвык. А первое время все какие-то истории случались. Это вообще-то дом Общества политкаторжан. По этому поводу специальная доска на фасаде имеется — чуть ниже и левее моего окна. Такая, знаете, в стиле двадцатых годов — с лучами.

В свое время, понятно, каторжан по новой усадили, и сейчас здесь живут те, кто на них стучал. Или вперемежку стучавшие и сидевшие. А может, есть такие, кто и постучали, и посидели. И я должен прямо сказать: наверное, вследствие этого в доме полно ненормальных вроде того психа, с которым я поменялся. У меня есть знакомый плотник Саша (меня с ним свел мой первый здешний знакомый — слесарь Алик, а этот Саша меня потом познакомил с плиточником Шуриком), так он прямо говорит:

— Тут вообще одни психи. Вот, бывалоть, приходишь на вызов. «Посмотрите, — говорят, — что это у нас там течет?» — и вниз куда-то показывают. Наклоняешься, а сам думаешь: ну, все, щас сзади по голове как шарханут — и кранты.

Ну, это я к слову и для создания атмосферы. А вот, собственно, история.

Как-то утром звонок в дверь, долгий, настойчивый, и одновременно с ним страшный стук, даже грохот. Открываю. На пороге старушка с клюкой (этой клюкой она по двери и шаршила). Маленькая, сухонькая, да еще и согнутая почти в прямой угол, только голова задрана. На голове рыжие мелкие и редкие кудряшки. Глаза ярко-голубые — навывкате, и нос крючком. Я обычно не запоминаю, кто во что одет, а тут помню: красный халат поверх ночной рубашки.

— Скажите, у вас есть телефон? — (акцент непередаваемый, Жванецкому далеко).

— Да.

— А у меня сломался телефон. А мне надо позвонить в «Скорую помощь». А я всех слышу, а меня никто не слышит, а вас слышат?

— Да, проходите, пожалуйста.

— О, вы живете один! О, вы счастливый человек! Скажите, а вы аид? — (Мы в это время движемся по коридору к телефону, стоящему в мастерской, — я впереди, она сзади.)

— Да.

— О, а я живу с соседями. Это такие сволочи, знаете — русские сволочи. Они даже не русские, они откуда-то из Индии.

— Вот, пожалуйста, садитесь, звоните.

— О, вы знаете, я такая умная, такая образованная, у меня почти законченное высшее образование, я все читаю, все вижу, я только не вижу, где у вашего телефона трубка.

Беру трубку и под ее диктовку набираю номер.

— Это ОБХСС? Позовите вашего начальника. Заведующая прачечной, которой раньше я заведовала, такая сволочь — она ворует белье и плохо его стирает. Как это у вас нет начальника? Девушка, вы меня слышите? Начальники есть у всех! Вы же девушка — у вас должен быть начальник!

— Ну вот, я же вам говорила: я их слышу, а они меня — нет. Ну ничего, я их выведу на чистую воду. Послушайте, вы такой хороший, а у меня все равно не работает телефон. Наберите мне еще один номер — я так давно не говорила с Мусей.

Я оставил ее у телефона и пошел на кухню читать. Старушка долго говорила с Мусей, а потом начала говорить со мной. До поры до времени я ее не слушал, лишь, улавливая вопросительные интонации, доносившиеся из комнаты, отвечал «угу». С какого-то момента, зацепив край уха обрывок текста, стал прислушиваться. Потом схватил диктофон и, ограничиваясь все теми же «угу», долго стоял в коридорчике, записывая ее бормотание. Запись не получилась — какое-то неразборчивое гудение. Запомнил я, к сожалению, мало.

— Вы когда-нибудь бывали в Прибалтике?

— Угу.

— А я бывала. О, это такое замечательное место. Вы знаете, там воевал Чапаев. Да, он воевал на севере, на юге, на западе и на востоке. И у него был такой помощник. Его звали Бабочкин. Они клали куда-то картошку и кричали — урра!

— Вы знаете, какой у меня замечательный сын. Он обо мне так заботится. Вот сейчас еще зима, а у меня на столе знаете что лежит? Огурец! Вот у вас на столе лежит огурец?

— Угу.

— А у меня лежит. Вот какой сын. Он такой важный, такой умный, такой образованный, такой интеллигентный — он в Москве самый главный по макулатуре!

С начала визита прошло часа два. Мне надо было уходить. Я сообщил об этом соседке.

— О, я вам так благодарна. Я хочу для вас что-нибудь сделать. Скажите, вы женаты?

— Нет.

— Вы не хотите жениться?

— Нет, спасибо, пока не хочу, я только что развелся.

— О, а у меня есть такая девушка. Вот вам сколько лет?

— Тридцать пять.

— О, и ей столько же. Такая хорошая девушка! У нее такая хорошая мама, у нее такой хороший брат, у нее такая замечательная квартира, — (мы

в это время движемся по коридору к двери — она впереди, я сзади). — Я только не знаю, девушка она или нет. Я в этом не уверена.

Долго выслушиваю у двери слова признательности и наконец закрываю ее. Через минуту настойчивый звонок и одновременно страшный стук.

— Вы знаете, я такая умная, все понимаю, все вижу, я только не вижу, где лифт. Я нажимаю кнопку, а его нет.

Эти характерные позывные раздавались с тех пор довольно часто: в следующий раз, например, прозвучали на следующее утро. Я ходил в аптеку за лекарствами, что-то вешал на веревку в ее коммуналке и что-то снимал с нее (к сожалению, русские сволочи из Индии мне на глаза ни разу не попались), выводил ее гулять и сажал на скамеечку перед подъездом. В благодарность она приносила то кусок хлеба, то какой-нибудь старый журнал, однажды принесла гречневую кашу. Все время нахваливала своего сына, кого-то ругала, кому-то грозила. Я отказался писать жалобу на ее соседей (там все было, как я понимал, неоднозначно), отказался редактировать жалобу, написанную под ее диктовку детской рукой (хотел притырить этот листочек, но не удалось). Как-то взял на хранение сто рублей — она собиралась к родственникам в Одессу, — но на следующий день она забрала их обратно. Сказала, что она мне доверяет, но сын против. Когда у меня образовалась новая семья, соседка стала появляться реже, а потом совсем перестала.

Я точно знаю, что она умерла, но когда именно это произошло, я не заметил.

В ДОЛГ

Мой папа всегда давал деньги в долг. Но никогда не брал. Такая уж у него была установка. Как и все остальные его установки, она росла не из естества жизни, а из абстрактных принципов; опиралась не на практический опыт, а на идеи. Ну да он и жил тогда, когда сама жизнь была устроена не из естества, а из идей и духа, — на демиургических и маниакальных основаниях. Стало быть, папа существовал в гармонии с окружающей жизнью. Видимо, поэтому его принципы легко воплощались в жизнь и установки успешно работали.

Разумеется, между папой и окружающей реальностью была огромная разница: папа был очень положительный — весь в плюсах, а реальность вся из обратных знаков — сплошной антимир. Но это противоречие не мешало папе быть самим собой. Что греха таить, чистый плюс и чистый минус — явления во многом подобные: и своей однозначностью, и абсолютностью, и удаленностью от всяческого тепла (как Северный и Южный полюса). Поэтому устройство жизни не казалось папе сколько-нибудь подозрительным или недостаточно убедительным. Напротив, казалось очень даже убедительным.

С одной стороны, поди разубедись при таких убедительных и умеющих убеждать органах. Ну а с другой стороны, мании, независимо от знака, всегда убедительной яви, поскольку несут в себе покой внутренней непротиворечивости и безальтернативности — того, что у христиан зовется душевной прелестью. И курицу с яйцом никто не путает, и божий дар с яичницей. Просто божий дар называется яичницей, а яичница — божьим даром. Но зато никаких проблем. Все получается.

Вот и у папы все получалось — и всю жизнь давать, и всю жизнь не брать. Хотя не брать — это, конечно, не фокус, если ты честно служишь в таком элитном учреждении, как Советская Армия, да к тому же легко и охотно ограничиваешь в чем угодно себя и свою семью. Да и давать в таком разе не фокус. Экспортировал же Сталин зерно, пока подведомственный народ от голода миллионами пух и дох. Разумеется, папа зверем не был и голодом нас не морил. Я просто привел пример той же стратегии в более развернутом, продвинутом и масштабном выражении — в форме гиперболы.

Просто хотел сказать, что если ты всегда (из любви ли к искусству или из иных, вполне благородных, побуждений вроде помощи теще, по убеждению, из предусмотрительности или из любого сочетания этих причин) готов и в состоянии где-то на чем-то сэкономить — у тебя всегда будет что дать в долг.

Но папа не только давал — ему всегда возвращали. Эта сторона описываемого процесса кажется мне наиболее загадочной. Понятно, что здесь на первых местах разборчивость и осмотрительность — в смысле кому давать, сколько, стоит ли, на какой срок; что надо все записать, а уж после и как результат правильно проделанной работы испытать законное удовлетворение от возврата. Я думаю, для моего папы это бескорыстное ростовщичество носило отчасти компенсационно-игровой характер. Ведь каждый еврей в душе немного раввин, а немного банкир, и лишь в реальном историческом бытовании одни семьи специализировались на одном, а другие — на другом.

И все же загадка остается, потому как если давать — твое дело, то возвращать — все же не твое дело. А чужая душа, как известно, — потемки. Как знать наверное, вернет или не вернет? Кому дать, а кого обидеть отказом? Хотя, в общем-то, понятно, что давать можно людям положительным, давно и хорошо знакомым, предположительно заинтересованным в продолжении знакомства, имеющим какие-никакие доходы и т. п. Но понимать мало. Есть еще путь от понимания к умению, и надо его пройти. Мне, например, не удалось не только достичь папиного абсолютного результата, но даже и приблизиться к нему. Это было тем более обидно, что данное достижение моего папы являлось едва ли не единственным, которое я пытался взять на вооружение.

Возможно, дело в том, что я сразу пренебрег первой частью папиной установки и стал брать в долг — тут может быть какая-то взаимосвязь. При чем делал это не только из-за иногда возникавших финансовых проблем: дух противоречия был изначально доминантным в отношении ко всему, что шло от родителей, от семьи, и ассоциировался у меня с духом свободы, ее глотками. Помню, наиболее непосредственным воплощением этих метафорических глотков оказались реальные глотки реальной жидкости.

Когда я после свадьбы перестал наконец отдавать родителям зарплату (изымать в семейный бюджет все заработки до копейки было одним из их железных правил), у меня впервые в жизни появились кое-какие карманные деньги. И первым делом я осуществил мечту детства — стал пить когда захочу яблочный сок без мякоти. Его разливали из больших перевернутых стеклянных конусов во многих овощных магазинах и штучных отделах продуктовых широкого профиля. Часто он один и продавался или в компании с томатным. (К последнему полагался стакан с солью на мраморном прилавке и ложка в другом стакане — с водой. Она, стало быть, мокрая, и когда опускаешь ее в соль, та дружно налипает на кончик. Размешиваешь соль в стакане с соком, а после возвращаешь ложку в стакан с водой. Вода в нем постепенно, от многих циклов, мутнеет и буреет, и качество обслуживания определялось частотой смены воды.) Еще бывал сливовый или тухловатый персиковый с мякотью и гораздо реже — всеми любимый вишневый, но яблочный был практически всегда. Стоил иногда двенадцать, а иногда четырнадцать копеек (тоже некий намек на свободу в жизни, где все цены одеты в десятилетиями непробиваемую броню ГОСТов и стянуты климатическими поясами). В общем, зашел, заплатил, смотришь, как из конуса бьет тугая струя, взбивая восхитительную легкую пенку из пузырьков, а после, не в силах себя сдерживать, быстро выпиваешь содержимое стакана большими глотками, при каждом млея от счастья. Наследственного самоограничения, как правило, хватало лишь на то, чтобы остановиться после первого стакана и таким образом сохранить до следующей встречи всю полноту чувств.

Давать в долг я тоже не отказывался, но сначала особенно нечего было: так, по мелочам, с получки, до получки, на бутылку и т. п. — в общем, в жанре, именовавшемся для берущего стрельбой. А потом, когда деньги появились, стал заметен недостаток осмотрительности, усугубленный отчасти малым жизненным опытом, отчасти еще не вполне иссякнувшей верой в Человека (возможно, это одно и то же). Был даже особый кусочек моей жизни, прошедший под знаком этих недостатка и пережитка.

Я уже рассказывал, что несколько лет жил в доме Общества политкаторжан, где кроме меня обитали в основном потомки этих и других героев советского эпоса (скажем, выше этажом — потомки Петерса, пламенного чекиста, правой руки железного Феликса; у них на двери была прибита медная табличка с фамилией предка), а также психи и стукачи — иногда все три ипостаси в одном лице. Там, например, имелась одна тетя, которая держала весь подъезд в кулаке, а любила только цветочки: высаживала их на клумбе перед входом и без конца поливала из антикварного фарфорового поильничка. Цветочки росли плохо не от излишнего радения, а оттого, что двор был темный — маленький, со всех сторон окруженный застройкой, да еще засаженный американскими кленами. Но она не хотела признавать очевидное и все искала виновников их жалкого и чужлого существования. Так, однажды хамски наорала на моего старшего сына Даньку за то, что он прошел по сугробу, под которым зимовали ее питомцы. Ну и я не остался в долгу, включая мат, — не ладили мы с ней в первые годы. Когда я еще только въезжал, она без конца шастала по лестнице, мешая заносить вещи. А когда друзья нечаянно раздавили моим шкафом лампочку над входом (возможно, из-за ее помех), накричала на них и обозвала хулиганами. В ответ Лева Рубинштейн спросил, нет ли у нее свистка, а она сказала, что это не его дело, и если надо, то будет. Я было попытался наладить отношения и вполне дружелюбно предложил ей, чем шуметь, выставить бутылку за то, что вместо психа въезжает нормальный человек, а лампочку вкрутим — о чем разговор. Но она не клюнула.

Мы настолько не ладили, что я даже написал картину, на которой она, стоя в профиль к зрителю, поливает свои цветочки из своего поильничка, и одним ее видом ужасал цивилизованный мир. Она была осанистой старухой с огромными, свисающими к поясу грудями и крошечной, много меньше грудей, головкой, на которой редкие, плохо выкрашенные басмой волосы туго стягивались заколкой выше затылка, с тем чтобы образовать игривый, как у старшеклассниц, конский хвостик. Мобилизация материала для этого хвостика проводилась с таким жестоковыйным усердием, что к затылку были устремлены не только волосы, но и пергаментная, в старческих пятнах, кожа с залысин, от ушей, с покатога лба и щек. И если в спокойном состоянии ее лицо производило впечатление страшноватой маски, то скудная, только и доступная ей при таком натяге мимика напоминала судорожные гримасы.

Однако позже, когда во двор зачастили крытые грузовики для перевозки моих работ на разные выставки, а также по тем временам еще диковинные иномарки, она начала смягчаться. Потом вовсе стала приветливой и пригласила к себе домой, где познакомила с другим художником — ее знакомым. Потом, по мере развития гласности, открыла музей политкаторжан за зарешеченными окнами в первом этаже левого крыла (если стоять лицом к нашему центральному подъезду и ее клумбе) и при каждой встрече во дворе побуждала что-нибудь нарисовать для музея или подарить ему. От стремительного движения в ногу с ускорением и перестройкой одна за другой слетали завесы тайны с ее происхождения. Первоначально она была просто Кузнецовой. Потом выяснилось, что она дочь знаменитого разведчика Кузнецова. Потом стало известно, что она внучка фарфорозаводчика Кузнецова (ага,

вот откуда любимый поильничек), а уже когда закончилась борьба с алкоголизмом и перестройка совсем раскочегарилась, смотрю — она сидит в телевизоре в качестве прямого потомка и законной наследницы Смирнова и клеймит американцев: мол, Smirnoff у них нечестно и незаконно марку отобрал. Вот какая икебана.

Но я опять отвлекся. Для подхватывания сюжетной линии мне надо было вспомнить не Кузнецову, а своих добрых знакомых — плотника Сашу, слесаря Алика и плиточника Шурика. Саша был русским, средних лет, кряжистым русым человеком. Основательным, неторопливым и серьезным, но пьющим и потому без нескольких — как и положено плотникам при таком стечении обстоятельств — суставов и одного пальца. Алик — тоже коротеньким, но брюнетом и татаринком с необычной для московских татар чернявостью. Из-за нее Аликово лицо производило впечатление постоянной небритости, а глаза были одновременно по-еврейски печальны и по-тюркски маслянисты. Он появился у меня первым — я вызвал слесаря сразу после переезда, чтобы поставить раковину и ванну: из всех сантехнических устройств после психа остались только старинная мойка с побитым эмалевым покрытием и розовый унитаз с не менее старинным, крашенным серебрянкой, чугунным бачком верхнего слива. Алик пришел, осмотрелся и стал на меня кричать с акцентом за то, что сантехника доведена до такого состояния (не только отсутствовали приборы, но и разводка каким-то образом была изнасилвана). Но, узнав, что виновник не я, выпил полстакана водки (больше не стал) и за два дня все достал, принес, установил и наладил. Потом привел плотника Сашу, который заказал и поставил все двери (при въезде не имелось ни одной, кроме сортирной и наружной, у которой через бесчисленные проломы от врезанных, а после с мясом вырванных замков можно было при достаточной ловкости перебрасываться теннисным мячиком). Потом, правда, все Сашины двери, включая наружную, повело, но разве он виноват? Еще Саша по моему проекту эстетически оформил стругаными досками устроенный психом тотальный пролом в стене, отделявшей кухню от ванной. В результате образовалось висячее окно над столом, и я им очень гордился. Правда, гости, оказавшиеся за столом под этим окном, часто при попытке встать бились темечком об его испод. Но, во-первых, окно было подшито снизу прогибающимся и пружинящим оргалитом, во-вторых, я старался сажать туда народ помельче, а в-третьих, честно предупреждал об опасности, так что в конце концов друзья стали привыкать к ударам, да и биться реже. А удобства от совмещения ванной и кухни были несомненные. Получилось достаточное помещение, чтобы поставить стол и при необходимости (почти каждый вечер) раздвигать его. И даже край ванны использовался для сидения во втором ряду, если приходило больше восьми человек. А если такой нужды не возникало, собственно ванна задергивалась занавеской, и все выглядело вполне пристойно. В принципе, было возможно мыться параллельно с застольем, не нарушая правил приличия. Кажется, кто-то пару раз даже и занимался этим.

Саша, сделав свое плотницкое дело, привел плиточника Шурика, чтобы тот довершил реконструкцию-реанимацию интерьера. По всему было видно, что Шурик — красивый, молодой и высокий, с цыганской внешностью и пластичными движениями — не на всю жизнь плиточник (он что-то рассказывал о своих ближайших более возвышенных производственных планах, но я уже не помню, что и о каких именно). Он очень ловко и быстро решил казавшуюся мне невыполнимой задачу: покрыл ровным слоем плитки раскожуженную и отдолбленную чуть не насквозь стену с торчащими из нее наружу многочисленными, все сикось-накось, ржавыми трубами и вентилями.

Когда Шурик как-то, заканчивая дневной урок, попросил в долг трешку, я дал не задумываясь. Саша тоже один раз брал — вполне откровенно — на бутылку и вернул в обещанное время. Назавтра Шурик, как и обещал, вер-

нул трешку, но попросил десятку. Я и ее дал с легким сердцем. Он и ее вернул, хотя и чуть позже оговоренного срока. Ни в эскалации притязаний, ни в легком сбое со сроком возвращения я не усмотрел тенденцию, а зря: очень скоро процесс, толчок которому дал Шурик, принял лавинообразный характер и накрыл меня с головой.

Буквально со следующего дня у меня начали просить в долг сотрудники всех служб РЭУ и все алкаши, ошивающиеся вокруг деревянного двухэтажного дома, в котором размещалась контора. Возможно, в связи с распротравившимися обо мне слухами они и начали там ошиваться, а отличить их от сотрудников было во многих случаях весьма затруднительно, да многие из них и были бывшими сотрудниками, только достигшими в своей карьере того алкоголического рубежа, который обозначает ее обрыв. Все знали моих Александров и представлялись их дружбанами и коллегами — поди отличи. А мне все время приходилось наведываться в этот дом как раз в поисках моих приятелей-спасителей.

Не буду врать, что давал всем подряд. Но пребывал в странной эйфории от неожиданно бурного и успешного, первого в своей жизни, романа с простым трудовым людом и ссуживал многим. Никто мне ничего не вернул, но почти все удовлетворялись трешкой и больше не возникали, и только один алкаш стал меня преследовать. Морщинистый, неопределимого возраста дядька, прикрывавший также неопределимого цвета и никудышного качества растительность на голове солдатской ушанкой с одним оттопыренным ухом. Уверял, что из бывших слесарей и бывший Аликов бригадир, утверждал, что и сейчас его отправляют с кем-нибудь на вызовы, когда больше некого, — в общем, есть с чего отдавать. Я выдал ему по инерции и следующую трешку, но когда он вместо того, чтобы ее вернуть, нахальным тоном попросил пятерку, я заартачился и предложил сначала рассчитаться с долгами. В ответ он неожиданно проворно пустил слезу из белесого глаза и сообщил, что из армии на побывку приезжает сын. И чтоб я не дал ему с женой ударить в грязь лицом. Мол, мальчонка славный и ни в чем не виноват, а ему там несладко, пусть хоть дома будет сладко — как у людей. В армии по первому году сам понимаешь, как живет: что ж, он и в доме без родительского тепла побывает? Такой добрый паренек — вот он меня познакомит, и сам узнаю.

Изнывая от неловкости и дурных предчувствий, я выслушал этот фальшак, достал пятерку и сказал, что это последняя и чтобы больше я не видел его иначе как возвращающим долг. Через пару дней они пришли ко мне домой всей семьей — с женой-алкашихой (тут нечего описывать: все дамы такого рода на одно лицо и один возраст) и сыном на побывке. Сынишка был при всем параде: в браво подпоясанной шинели, левую грудь которой украшали значки всевозможных отличий, и новенькой фуражке, которую он не снял (похоже, наследственная черта), — мелкий, стриженный под ноль и отчего-то слегка трогательный лопоухий субъект. Возможно, оттого, что ярко-розовый цвет его щек и особенно ушей считывался как знак неловкости за родителей. Мама с папой как по команде начали в два голоса выщигивать четвертной. Каким-то образом к этому моменту они находились уже не у порога, как положено ходокам и просителям, а посреди комнаты, где, переступая с ноги на ногу, плодили грязные следы (зимы в те раннеперестроечные годы состояли из сплошных оттепелей) — видно, от неожиданности и их беспримерного нахальства я некоторое время отступал в глубь своей территории. Они стояли и молили православным Христом-богом, клялись здоровьем сына. Сказали и ему, чтобы просил на коленях. Все это продолжалось довольно долго, с разнообразным звуковым, мимическим и прочим сопровождением — со слезами, причитаниями, биениями в груди, ломанием снятой наконец ушанки, размазыванием слез по морщинам и складкам немых лиц и т. п. Я до поры держался — то ли из гордого и безнадежного упорства воина, не желающего признать очевидное поражение и сдать крепость во-

рвавшимся в нее превосходящим силам противника, то ли от недостаточной загнипнотизированности этой неумелой, хотя старательной и отчасти вдохновенной ворожкой. Но когда запахло коленопреклонением, сходил за четвертым и, подчиняясь театральному алгоритму происходящего, отвел юного воина в сторону — то есть отделил его от негодных родителей и противопоставил им. Сказал, что даю не им, а ему, и предложил ему не быть таким, как они. Мол, пусть эти деньги будут тому залогом. Получив свое, они моментально вышли из ролей и быстро и молча ушли, оставив после себя на полу грязную лужу. Больше никого из них я ни разу не видел.

Мне казалось, что эпопея с одалживаниями на этом закончилась. Не в том смысле, что больше никто не сунется, а в том, что я закалился, то есть стал тверд, и меня больше ничем не проймешь. К этому времени в моей квартире закончились все слесарно-плотнично-отделочные работы и наступил черед электричества — такая уж странная случилась очередность. На боковом торце моего любимого всячего окна, прямо над столом, я придумал повесить литое бра сталинских времен с крашенным под золото растительным орнаментом. Я нашел его при отъезде из нашей лихоборской коммуналки (я выезжал последним и из квартиры, и из всего дома) в одном из разоренных сараев во дворе и лет семь возил за собой, пока не пробил его звездный час.

Появился электрик, приятель моих приятелей. Казалось вполне естественным, что его звали Александр — уменьшительно-ласкательные версии в кульминации слились и обрели полноту. Высокий, статный Александр пришел с помощниками и вел себя как истинный маэстро — мгновенно оценил ситуацию, предложил логичное решение, а дальше лишь давал лаконичные указания тихим голосом. Дело подходило к концу, и я уже приготовил к оплате заранее оговоренную довольно крупную сумму (по тем временам, по проделанной работе и по сравнению с запросами его предшественников), как вдруг Александр попросил взаймы пятьдесят рублей. Я остолбенел, потому что: а) никак не ожидал атаки с этой стороны, от такого вальяжного мэтра; б) зарекся впредь давать в долг этим людям; в) вот она — лежит в кармане изрядная плата за не бог весть какой труд. Потом все же собрался с духом (сказывался приобретенный опыт) и сообщил ему, что за последнее время его коллеги заняли у меня в общей сложности довольно крупную сумму. Обратное я денег не получил и уже не надеюсь, так что пусть он не обижается, лично против него я ничего не имею. Кроме того, через несколько минут я заплачу ему за работу столько, сколько он попросил. Александр сказал, что ему срочно нужно больше, а потом стал выпрашивать, кто именно мне должен. Получив ответ, он презрительно скривил лицо: «Ну и зря вы им давали. Конечно, они не вернут. Они же русские. А я татарин — татарин всегда свое слово держит».

Мне ничего не оставалось, как присовокупить к оплате труда полтинник до зарплаты. После этого гордый мусульманин растворился с моими деньгами в пространстве и во времени точно так же, как до него православные алкаши.

И, возможно, уверившись, что теперь меня действительно больше ничем не пронять, судьба прекратила тренировку моей души на щедрость. Я, правда, продолжаю одалживать деньги, когда они есть. Ничего не запоминаю (память плохая) и не записываю, потому что убежден: возврат — проблема и забота берущих, а не дающих. Просто с тех пор я даю только друзьям и добрым знакомым, то есть, наученный горьким опытом, в этом аспекте проблемы следую отцовской логике. Таких людей, слава богу, много. Ну а если среди них попадаются другие — кто берет, а после без объяснений исчезает, такое тоже бывало, — туда им и дорога.



ЕВГЕНИЙ РЕЙН

*

ЧЕРЕЗ ОКУЛЯР

Н.

Я в полвосьмого выходил из дома
и шел Фонтанкой к школе двести шесть
в гиперборейском месиве туманном.
И видел я блокадные зиянья
на берегах Фонтанки, и на мне
был драповый пудовый полушубок,
калоши «Треугольник» и шапка
из солдатского сукна с эмалевой звездой...
Я так боялся опоздать к уроку,
спешил и задыхался.
Затягивал я воздух в бронхи и никак
не мог его добыть.
И был портфель мне не под силу.
И на мосту, прикованном цепями,
я проклинал рождение свое
и кислород, отпущенный так скудно
мне одному, а между тем
вокруг была такая бездна кислорода.
Любой котенок, птица, мотылек
могли дышать, а я не мог. За что?
Не знаю, как я успевал к звонку,
но как-то раз я все же опоздал,
и дверь была закрыта на засов —
так чудил директор наш
со странной кличкой Боцман.
И это значило, что завтра должен я
грузить кирпич, искать металлолом
и чистить школьный двор от снежной грязи.
И я смирился. Значит, это мне
назначено. И не было обиды
на Боцмана и на пудовый драп,
на дальнюю дорогу от самого Обухова моста.
Мне было десять лет, и я смирился.
Но где мне скоротать
вот этот школьный день?
Домой вернуться было невозможно,
я двинулся куда глаза глядят,
и вышел я на Лиговку
и вдоль путей трамвайных,
складов, скверов, фабрик
пошел пешком к Обводному каналу.
Стоял декабрь, и рассветало в десять.

И долго было мне еще бродить.
 И я бродил, и я проголодался.
 Я вышел на проспект Международный,
 и астма вдруг покинула меня,
 и я вздохнул свободно и заплакал.
 Так, значит, я прощен и я могу
 дышать со всеми наравне.
 И пить мне захотелось и поесть.
 И я нашел пивной ларек.
 И там мне за одиннадцать копеек
 налили «маленькую». Сорок пятый год.
 Никто не смел мне в этом отказать.
 Я расстегнул портфель, достал свой завтрак —
 два бутерброда с чайной колбасой,
 и стал глотать, и тут перед собою
 увидел человека я — со мною вровень
 инвалид безногий на доске и шарикоподшипниках,
 в руках держал он банку и ему
 туда сливали пиво доброхоты.
 Он был уже изрядно пьян, и, глядя
 на меня, он коротко сказал мне: «Поделись».
 Я поделился ровно пополам и дальше двинулся,
 но он сказал: «Постой. Ты думаешь,
 я хуже остальных, ты думаешь, я пьян?
 Пускай я пьян. Я так живу.
 Ты тоже так живешь.
 Сынок, — он мне сказал, — ты не ропщи.
 Живи, и все. Ведь наше дело жить.
 Не жить нельзя». И он запел «Варяга»...
 Прошло семь лет.

На даче в Териоках,
 на голубой облупленной веранде,
 мы собирались — десять человек.
 Был поздний август, был конец сезона.
 Я только что зачислен в Техноложку,
 и я влюблен, без памяти влюблен.
 И потому почти что каждый вечер
 я провожу на этой вот веранде
 под патефон и старые пластинки,
 под танго и фокстроты и чарльстон.
 Я не сказал еще ей ни полслова,
 я просто прихожу сюда и рад
 глядеть на сосны, слушать патефон,
 пить чай с вареньем, плохо танцевать,
 тем более она — из балерин
 училища Вагановой.
 И мне до краски стыдно
 за все свои промашки, неуклюжесть.
 Не пригласить ее я не могу.
 Чужая воля диктует мне,
 я повинуюсь ей.
 И так прошло три месяца, и это —
 последний вечер. И «Цветущий май»
 она заводит, идет ко мне навстречу.
 Я должен ей сказать. А что сказать?
 Мне нечего сказать,
 поскольку ей никак не до меня.

Тогда зачем шумит прибой за дамбой,
 прожектора пересекают небо,
 осенний ветер сосны шевелит?
 Зачем она под пестрым сарафаном
 лопатки сводит и зачем она
 глядит в глаза мне?
 Все это напрасно. Еще минута —
 кончится пластинка. И я уйду.
 Я лучше промолчу. И вдруг я слышу:
 «Разве в этом дело?
 Не говори ни слова. Я сама
 все знаю. Ты и без меня
 прожить сумеешь. Только вспоминай
 вот этот вечер и мои слова.
 Сейчас еще не время. Ты и я
 увидимся когда-нибудь, и будет
 все так легко: ни боли, ни обиды.
 И вот тогда я все тебе скажу
 о нашей неудаче. Потому что
 я неудачница, и мне не до тебя.
 Никто не виноват. Не обижайся.
 Ты — зритель зрелищ.
 Я — танцорка танца.
 Но занавес опустится, и мы
 увидимся еще на этом свете.
 Я обещаю это. А теперь
 поставь-ка чайник на электроплитку.
 Я принесу ватрушки и варенье,
 и все утешатся, потом пойдем гулять». —
 «Нет, что ты говоришь, не надо чая.
 Еще так рано». — «Нет, как раз пора,
 ведь все хотят ватрушек и варенья.
 Я это знаю лучше, чем себя.
 И ты доверься мне. Запомни только
 наш уговор: когда-нибудь, когда...»
 ...В ста двадцати верстах к юго-востоку
 в лесной деревне дом его стоял —
 модернизированный пятистенки.
 Он жил там круглый год, лишь по делам
 столицу навещая. Вместе с ним —
 ньюфаундленд Фома и кошка Гейша.
 Он вел свое нехитрое хозяйство,
 поскольку все умел и всем владел:
 пером, рубанком, тульской двустволкой,
 смычком и кистью, гаечным ключом;
 он добывал зимой и летом рыбу,
 он воевал и десять лет сидел.
 Когда-то он писал стихи, но бросил
 и зарабатывал толмаческим искусством,
 взваливши титаническую глыбу
 одной из богоборческих поэм.
 И я под Рождество к нему приехал,
 в его деревню, с водкой и ружьем.
 Рождественские холода стояли,
 сугробы намело до самых окон,
 но печь топилась, и хозяин сам
 сварил грибной тяжелый суп и кашу

со шкварками гусиными — он толк
 в кулинарии понимал.
 Крепчал мороз, но две бутылки водки
 нам обещали праздничную ночь,
 приемник «Сателлит» гремел в избе —
 из Ватикана раздавалась месса.
 Бог Сына посылал в земной простор.
 Мы выпивали. Я сказал ему:
 «Вам семьдесят. Вы все прошли на свете:
 богатство, бедность, жен и сыновей, —
 вы видели, как крейсера Антанты
 покинули Одессу, как Москва
 глотала дым костров январской ночью
 над гробом Ленина, как выбивали прикладами
 иконы из окладов в русских храмах,
 как пировали нэпманы в «Арагви»,
 как ели трупы Волга и Кубань.
 Вы видели Магнитогорск, «Челюскин»,
 Багрицкого, Ягоду, Мандельштама,
 вы с Бабелем ходили на бега.
 Прекрасный дар стиха и мощной кисти
 вам был пожалован, но нету ваших книг,
 нет выставок, вы в ссоре с сыновьями,
 лишь кошка да собака, да изба...
 А мне как быть? Чего мне ждать? Что делать?
 Бессмысленные обивать пороги,
 халтурить, пить, переводить «Манас»?
 Вы видели Степлаг, но разве вам
 Флоренция не снилась и Равенна?
 Зачем забились вы в такую глушь,
 в избу вот эту? Ведь коллеги ваши
 объездили полмира — там конгресс,
 симпозиум... И деньги есть у вас». —
 «Что знаешь ты о жизни, недоумок,
 я был таким, как ты, мне вспомнить тошно
 бывшее молодечество свое.
 Я знаю об Уффици больше,
 чем свора интуристов, я могу
 все перечислить замки на Луаре,
 я здесь, в своей избе, себе хозяин,
 владыка континентов и времен.
 Вот книги, снасти, пес, моя работа,
 кому я нужен, те ко мне придут,
 зайдет сосед Иван поговорить,
 бывалый человек и старовер,
 он знает то, что вам в Москве не снилось,
 я презираю вашу суету,
 все ваши иерархии, все сплетни,
 я независим, и настанет срок —
 ты вспомнишь это Рождество в сугробах».
 Мы выпили еще, он закурил
 и повернул настройку «Сателлита».
 Гудел орган Вестминстера, взмывала
 латынь под римским куполом, Москва
 передавала метеопрогноз — неутешительный:
 морозы и метели.

Но здесь в избе нас это не касалось:
дрова и книги, водка и собака.
Родился Бог. Недалеко погост.
...У «Флориана» в самой дальней зале
ему прислуга оставляла столик,
и он сидел там долгими часами,
глядел на площадь, на аркаду Проскураций,
курил и слушал оперетту.
Здесь Оффенбаха, Кальмана, Легара
играли чаще прочих. Иногда
к нему подсаживались местные софисты,
и он им что-то толковал. Поскольку
успел подумать он решительно о всем,
что занимает людскую любознательность,
и знал ответы.

Я к нему приехал
и после утомительного дня душ принимал
и брел на встречу.
В двенадцать закрывался «Флориан»,
мы шли гулять. Сначала по Пьяццетте,
потом по набережной и до Гарибальди.
Обычно подходили к Арсеналу,
и он всегда читал терцины Данте
про это место — знал их наизусть.
А дальше вдоль каналов в темноте,
по мостикам, каким-то переходам,
мне неизвестным, выведившим на
обуженные площади, где церкви
барочные, романские, лепнина,
и купола, и статуи святых.
За час мы добирались до Риальто.
Он жил в палаццо, я — в отеле «Панда».
Что вспоминали мы за этот час?
Иные берега, иные годы,
просторный светлый север, мертвый Крым,
регату на заливе, Комарово,
дом у Пяти Углов, дом на Литейном,
смешные переулочки Москвы.
Все миновавшее — трофейное кино,
стихи имажинистов, бредни, сплетни,
каких-то девушек, «Восточный» ресторан
и поплавок Елагинский у стрелки.
Мы вспоминали наших стариков,
нам приказавших долго жить на свете,
мы вспоминали русские стихи
от Сумарокова до Пастернака.
«Ты почему никак не едешь к нам?» —
его я спрашивал. «Когда-нибудь приеду, —
он отвечал. — Пройдет вся суета,
я доберусь до Хельсинки, оттуда
на корабле меня доставят в Гавань,
и я пешком по Шкиперской пройду
до Среднего, а там по Невке мимо
Таможни и Ростральных, а потом
через Дворцовый вырлую на Невский,
а там уже домой недалеко.

Когда-нибудь...» — «Но погоди,
 зачем откладывать?» — «Неужто непонятно?
 Торопятся на место преступления,
 туда, где ты любил, — не торопись.
 Но я исполню все это. Ты помни».

В последний раз мы вышли на канал,
 на Гран-канале, где он жил в палаццо
 у друга своего, и он сказал: «Зайдем.
 Зайдем и выпьем. Завтра улетаю».

И я прошел по лестнице известной
 в просторный зал в портретах и коврах.
 Мы вышли на балкон, и он принес
 бутылку, два стакана... Поздний вапоретто
 спешил к Сан-Марко, пестрые огни
 в канале разбегались, где-то пели
 под фортепьяно. «Ну, теперь пора, —
 сказал он мне, — увидимся в Нью-Йорке».

И мы увиделись уже на Бликер-стрит,
 где похоронный подиум стоял...

Июньским утром резвый вапоретто
 доставил нас на Сан-Микеле,
 по выложенным гравием дорожкам
 прошли мы в кипарисовой тени.
 Могильщики на новенькой коляске
 вкатили гроб, и двести человек
 могилу окружили. Протестантка
 прочла молитву. Землю я привез
 из Ленинграда в малом узелке —
 простите мне мою сентиментальность.

Вдова стояла с дочкой, взрослый сын
 глядел куда-то вдаль, корреспонденты
 стреляли камерами, Лосев и Каплан
 томились в черных шерстяных костюмах
 и галстуках. Барышников сказал,
 что будет месса здесь же на Микеле.

Я задержался на минуту —
 и вдруг увидел странную подробность,
 быть может, мнимую — не тороплюсь судить:
 у могилы лежала выщербленная плита
 от старого надгробья, но сквозь патину
 еще виднелись буквы на латыни,
 и я их прочитал и ужаснулся.

Написано там было «Чемпион».

...Замкнулась бухта мысом и вулканом,
 потухшим, может быть, при неолите,
 а впрочем, я не знаю точных дат.
 Всем хорошо известно это место,
 тем, кто бывал, и тем, кто пренебрег.
 Случайно я забрел сюда студентом,
 и жизнь прошла у этих самых скал.
 Тут столько всякого со мной случилось,
 в увядшем парке, в летнем ресторане,
 на набережной, в комнатах убогих
 советского Литфонда,
 в садах окрестных дач и на балконах,
 заваленных посудой и тряпьем.

Известно всем, чье имя здесь священно,
кто дом здесь выстроил, чьи кости на горе.
Я десять лет дружил с директором музея,
и все это прошло, прошло, прошло.
Но я любил японские гравюры
и габриаки, брикобрак парижский,
сюда свезенный, голову царицы
и посиделки в первом этаже,
где девочки музейные курили
и пили кофе. Но более всего
любил я башню, ибо далеко
оттуда было видно, а ночами
над ней стояли звезды Черноморья,
бриз пролетал и слышался прибой.
Был черный год. Чернее не бывает.
Жизнь отступила, выбросив меня
на этот берег. Были тошнотворны
мне сплетни и проделки нашей касты,
остывшие борщи и макароны,
измазанные пляжные тела,
базарный виноград, плохой портвейн,
вечерние остроты на балконах.
Я даже и в столовой не бывал,
питался сыром и сухим вином,
и в номере читал Агату Кристи,
да иногда играл на бильярде
вдвоем с женой. Так проходили дни.
И был уже билет добыт обратный.
Но как бы тошно ни было мне здесь,
я возвращаться не хотел в столицу,
в помойку и в халтуру, в ЦДЛ.
А что еще мне делать оставалось?
Зачем все это нужно? Пятьдесят
ты прожил лет и все уже прошел.
Достаточно. Не уезжай отсюда
и здесь не оставайся. Заберись
на эту башню и бросайся оземь.
Не так уж высоко, но метров хватает.
И я решился. Даже написал
письмо жене и матери записку
и спрятал в том «Английский детектив».
Число назначил, и оно настало.
Был час послеобеденный. Жара
сморила Коктебель. Исчезли люди
на набережной, я взошел на башню
и оглядел в последний раз все это.
Ну, что же? Вот и все. Теперь давай.
Томилось море тошнотворным штилем,
и не было ни лодки, ни шаланды
до горизонта. Да, моря было жалко.
Я спустился в кабинет,
где мой приятель прятал раритеты,
взял цейсовский бинокль
и снова поднялся и глянул в окуляры.
И вдруг вдали увидел я пловца.
Так далеко, почти на горизонте.
И я узнал его. Вернее, догадался.

Моя жена — пловчиха из пловчих.
Бессильны были линзы, просто
знал я наизусть: курносое лицо,
надбровья выпуклые, светлую копну
и молодые замкнутые губы.
И этот брасс ее, широкий, вольный брасс.
Она плыла ко мне и через час
взойдет на берег. А меня не будет.
Что я скажу ей там, когда она
потребуется ответа у меня.
Что плохо мне, что скучно, что досадно,
что нету больше силы и надежды —
пустая речь. Ты не затем рожден,
чтоб веселиться, пить и кейфовать.
Неси свой крест, люби свою жену,
еще дыши воздушным перегаром
вина и солнца, ночи и судьбы.
Вернись в Москву и там на Лобном месте
скажи Кремлю: «Я не боюсь тебя!
Ни пятипалых знаков, ни зубчатки,
татарских луковиц над головой
и коридоров с плотными дверями,
ни саркофага с мумией бесполой,
ни часовых у входа в подземелье,
ни черных телефонов под землей».
И ровно час прошел, пока жена
плыла и вышла на прибрежную щебенку,
а я спустился с башни, и она
сказала мне: «Пойдем-ка на базар».



ГЕОРГИЙ БАЛЛ



КАМЕНЬ И ЖАЖДА

Короткие рассказы

НЕТ

Крюков смотрел собеседнику в глаза. Глаза цвета скошенной задыхающейся травы, истоптанной копытами коров.

И говорил так же, как жующая корова, лениво:

— Вот вы глядите, что-то видите... Ну хотя бы деревья, дома, небо, кладбище, смерть. Это все не то. Не само действие. Вам нужна трагедия? Но ее нет. Трагедии нет. Так что вот.

И еще раз повторил:

— Нет. Трагедии нет.

ДЫРЯВЫЙ КАРМАН

Наблюдательность разрослась с годами у Хомякова. Его глаз выхватывал все необычное — даже зазубрины в крюке, насмерть вбитом в торцовую стену дома напротив контейнера с мусором.

Однажды ему рассказали анекдот, как человек потерял сон в дырявом кармане.

Хомяков увидел этот карман. Огромный. Ног, куртки — ничего как бы не было, только карман.

— Ну, — услышал Хомяков.

— Сейчас, только побреюсь.

— Ну, — опять услышал Хомяков.

И тогда, цепляясь за какие-то выступы, полез вверх. При этом он думал: «Нелепая жизнь. Бесследно пропасть в чужом дырявом кармане».

ЧАСЫ

На стене висела тень от часов. Сами часы — в Лешиной душе. Еще бабушкины, а может быть, прабабушкины. В боковом кармане куртки Леша держал ключ. Небольшой. Подкручивал внутри пружину до отказа. Прислушивался. Тик-так. Тик-так. Ничего. Идут.

В душу себе Леша не часто заглядывал. Он смотрел на стенку, на тень от часов. К нему приходило одно-единственное существо. Соня.

— Ты что, еврейка? — спрашивал Леша. — Ну ладно, это я так. У вас, у евреев, тоже ведь вера есть. Но мы этого не будем касаться.

Леша лежал на кровати.

— Сонь, ты не видела? Ключик у меня из кармана выпал. Ладно, пригребай в постель. Я сам поищу. Может, под кровать закатился? Маленький...

Оглянулся на тень от часов на стене. Не видно. Встал, зажег свет.

— Я сейчас, Сонь, ты лежи. Я вот только...

Ничего, ничего, успокаивал себя Леша. Часы старинные. В них заводу на века. Пружина не такая, как теперь, и не электронные. А сам шарил под кроватью. Эх, фонариком бы осветить.

— Я ведь, Сонь, за жизнь нигде не был. Есть, которые в Испанию или в кризисы вокруг Европы...

Прислушался. Тик-так. Тик-так. Часы шли с перебоем. Потом быстро-быстро. Тик-так, тик-так, тик-так.

— Соня, вызови врача. Стрелки быстро крутятся.

Услышал неровный, чуждый стук внутри себя. Что-то звякнуло. Ключ!.. Леша взглянул на стенку. Тень от часов сжималась.

ТРИ ДНЯ

Косматый, как одна неделя жизни, Лучин подсчитал, что ему до смерти, то есть когда он скovyрнется в яму, не зная, что такое холод или жара, осталось еще две полные недели и три дня.

Значит, так, думал Лучин. Сегодня какое число? Двадцать третье или двадцать шестое?

Но не стал спрашивать ни у сестры, которая работала на почте, ни, понятное дело, у матери. Его мать давно уже потеряла счет времени и годам. Когда ею изредка интересовались, она внятно сообщала:

— Я родилась при Николае.

И если хотели уточнить, она немного сердилась.

— При каком?

— Да при Николае Угоднике. Это Георгий есть Мученик и Победоносец.

Ей возражали:

— Николая тоже два. Зимний и летний.

На это мать не могла ответить. Закрывала глаза, как бы захлопывала дверь.

Ее сын Василий Лучин в прошлом имел две специальности. Взрывник и электрик. Ныне пенсионер.

Василий лохматил голову без единой сединки. И планировал. Две недели и три дня. Многовато. Если две недели ничего не есть, а три дня обжираться, тогда и в гроб не влезешь. Может, лучше так: одну неделю уйти в мусульманство, а одну стать евреем. А три дня куда? Опять русским? Опять чтоб как раньше? Глупо. Может, на две недели уйти в лес, в самую чащобу? А на три дня вернуться... Зачем? Куда эти три дня деть?

Да, думал Лучин, тут не только ему, а самому Господу не разобраться. Мешают эти три дня. Не утопить их, не взорвать — ничего с ними не поделаешь. Только терпеть.

Василий взглянул на мать. Ей хорошо — баба, мыслить не может. Только лежит. Не поймешь, спит или так, время изничтожает.

Василий вышел. Он не замечал, скрипит ли снег под ногами или песок. Две недели как-то устроить можно, а вот три дня... Не то что Бог, профессор не решит, куда девать эти три дня, зачем они?..

КАМЕНЬ И ЖАЖДА

Боря Ветрюхин-Головня слабо пропечатался в жизни. С детства — камушек на дороге. Каждый мог его ногой пхнуть. Пхнуть — и даже не заметить. Так и катился год за годом, год за годом. К сорока отяжелел. Округлился. Валун доисторический из ледникового периода.

Посередке ему уже не светило. Откатился на край дороги. Оброс мхом.

По весне из глубин мха поднимались на тонких ножках маленькие коробочки. Походили на башмачки гномов.

Теперь Борю не толкали. Кто просто обходил, а кто и присядет. Отдохнуть. Встанут — и дальше.

Боря терпел. Превозмогал серую душевную тяжесть. И утешал себя: жизнь — миг, а за поворотом — бесконечность. И там, где-то там, надо будет оглядеться. Он теперь на это ученый: не станет спешить перевоплощаться. Если уж выходить на свет, так чтоб с победностью. А так зачем?

Однажды привычный ход его мысли прервал какой-то толстый зад. Опасаясь получить ишиас, тот, кто наметил присесть, достал газету. Хотел подстелить. Глянул. И сквозь зелено-голубоватый мох узнал:

— Боря! Ты?

Ветрюхин-Головня затаился в молчании.

— Харькин я, Витька. Забыл? В седьмом и восьмом классе на одной парте...

Ветрюхин-Головня вздохнул:

— Примелькались все...

— Какая у меня память, а! Тебя не просто разглядеть, а я-то — сразу! Хотел газетку подстелить, наклонился, гляжу: Борька? У меня вот дело теперь перспективное. — И Харькин еще больше воодушевился: — Занимаюсь малым бизнесом. Перепродаю установки для уничтожения пищевых отходов. Я — директор.

Ветрюхин-Головня не перебивал. Ему было трудно слушать. Отвык от внимания.

— Может, кого из наших ребят встречал?

— Не знаю, — с трудом сквозь мох отвечал Ветрюхин-Головня. И, подумав, без юмора добавил: — Я только одни задницы вижу.

— Да, — не унимался Харькин, — сколько лет-зим, как говорится. Время! Лицом ты сильно закустился. Лесовик, борода... Ты что? По лесной части? Не хочешь — не рассказывай. Ах, Борька, Борька, в отличники, конечно, ты не лез, а Серегина Марина о тебе спрашивала. Недавно ее видел. У нее теперь кафе «Жажда». Совместное немецко-русское предприятие «Durst».

От волнения ножки гномов закачались.

— Марина... Серегина... обо мне... — бормотал Боря.

— Не веришь? Помнишь, перед нами, на третьей парте во втором ряду?

— Как это обо мне? Прошло-то сколько... — Ветрюхин-Головня понял: вот сейчас он треснет. Треснет — и на кусочки.

Харькину это передалось.

— Борька, едем в «Durst»!

— Когда?

— Да хоть сейчас. Возьмем левака — и в «Durst». Представляешь, как Маринка ахнет... Ты ведь ей нравился. Ей-бо...

Ветрюхин-Головня тяжело дышал.

А Витька тряс толстым животом, предвкушая:

— У меня жажда, Боря, а у тебя?

— Durst, дурость, — бормотал Ветрюхин-Головня. — Не может этого...

— Как не может? Как не может?!

— Чтоб столько лет... — и вспомнил: Харькина в школе звали Хорек, был он носат, вертлявый и худой.

И каменно заключил: смеется Хорек. Durst, дурость, детство. Закружились обрывки немецкого Es ist... Ich habe... А я — Stein, камень... Она — Durst, жажда... Stein und Durst... Und so weiter... И так далее, так далее, до поворота.

Ветрюхин-Головня не заметил, как толстый живот Харькина исчез. Расплылся в белесом небе.

Близился вечер. Маленькие башмачки долго-долго еще раскачивались.

ГОЛОС

Кутерявкин слегка нажал на землю затылком. Земля, не отогревшаяся с зимы, ничего, поддалась. Ноги Кутерявкина, обутые в серые кеды, лежали на поваленном в лесу дереве.

Кутерявкин еще раз затылком уперся в землю. Вспомнил: «Все мы прах: из земли вышли — в землю уйдем».

Над ним летали с легким звуком птицы. Смысл их полета Кутерявкин сразу не мог охватить.

Кутерявкин кое-как встал. Помогал себе руками. Земля сопротивлялась. А он встал. Подошел к стволу недалеко стоящего дерева. И вдруг понял: со-сна.

«Ага, значит, я живой», — подумал и начал облегчаться. Облегчился.

Услышал грозный голос:

— Кутерявкин, ты живой.

— Я согласен, — тихо ответил Кутерявкин.

Он вообще не любил спорить. А тут не поспоришь, да и ни к чему.

Кутерявкин застегнул брюки. Глубоко втянул в себя холодноватый воздух. Понял: весна... листья... трава... некоторые белые и не белые цветы — и все из земли.

Громко повторил:

— Я согласен жить.

И те, что из земли, и те, что выше, в пространстве неба, услышали. Одобрили.

Проход ему был открыт. Кутерявкин выбрал направление и пошел.

Он оскальзывался в мокрой траве. Но шел все увереннее. А тайно все-таки мечтал: «Пусть грозный голос подтвердит: „Кутерявкин, ты живой“».

По дороге ему встретился пустой целлофановый пакет. Даже хотел ногой подбить. Подумал: «Пакет. Тьфу. А земля его не осилит, даже какой-нибудь самый распобедный червь не возьмет целлофан. Так и будет валяться. Может, ветром потом снесет. Но только земле не осилить».

Поглядел на небо.

«А я живой. Иду, как трава, деревья, небо... Но интересно получается: Сам, — Кутерявкин даже про себя побоялся назвать, — Сам не осилит какой-то хреновый пакет».

Но одернул себя:

— Философ фуев. Не оглядывайся.

И еще презрительнее:

— Дурак. Ему — весна. Ему — трава. А он — нет, вокруг пустого пакета себе мозги засирает.

И требовательно сказал себе:

— Давай, Кутерявкин, шагай и шагай. Иди, коли идешь.



Н О В Ы Е П Е Р Е В О Д Ы

ВИТОЛЬД ГОМБРОВИЧ

*

ИЗ «ДНЕВНИКА»

Вторник

Бедуин¹ и я на остановке 208 автобуса. Ждем. Я говорю ему: «Знаешь что, старик, давай схохмим, чтоб не умереть со скуки, пока будем ехать! Пустим пыль в глаза! Ты говори со мной так, как будто я дирижер оркестра, а ты как будто музыкант, спрашивай меня о Тосканини».

Бедуину только того и надо. Садимся. Он, в некотором отдалении от меня, начинает громко: «Я бы лично усилил контрабасы, обратите внимание, маэстро, также на фугато...»

Пассажиры — все во внимании. Я говорю: «Хм, хм...»

Он: «И на медь в переходе с *фа* на *ре*... Когда у вас концерт? У меня четырнадцатого... Да, кстати, когда вы покажете мне письмо от Тосканини?»

Я (громко): «Молодой человек, я удивлен... Тосканини я не имел чести знать, к тому же я никакой не дирижер и, ей-богу, не понимаю, зачем вам понадобилось пускать людям пыль в глаза, изображая из себя музыканта. Фи, какая безвкусица — рядиться в чужие перья! Очень некрасиво!»

Все осуждающе смотрят на зардевшегося Бедуина, который топит во мне убийственный взгляд.

Суббота

Тук-тук-тук... У вас все дома? А у служанки Хелены не все! Гоп-гоп-гоп и цып-цып-цып! Кукарекууу!

Это оркестровка... а теперь голая схема.

Сразу по приезде я сообразил — что-то с ней не то. Старательная, обходительная, но когда, например, суп подает, создается впечатление, что она в эту же самую минуту может сделать что-то другое, запеть например. Она как канатоходец, сохраняющий равновесие над бездной «чего-то другого» и «чего угодно».

А теперь Алиция² мне втолковывает, что у нее в башке паранойя!

Диагноз не подлежит сомнению — его поставил психиатр, к которому ее водили на обследование. «Временами у нее случаются припадки, — говорит Алиция, — и тогда она мне устраивает сцены, но скоро это проходит. Хуже, как говорил медик, что она опасна — ни с того ни с сего может зайтись в припадке и схватить нож...»

— И не боитесь оставаться с ней? Ведь Чио (Джиангранде) столько времени вне дома, а вы одна...

— А что делать? Дать ей отставку? Кто возьмет на работу сумасшедшую? А ее дочка? Что будет с ребенком? Сдать ее в больницу? Но она не до такой степени псих, чтобы закрыть ее в сумасшедшем доме... К тому же дома эти переполнены, суший ад...

Биографическая заметка о Витольде Гомбровиче (1904 — 1969) была помещена в предыдущей публикации фрагментов «Дневника» («Новый мир», 1996, № 11).

Публикуемые тексты, написанные в конце 50-х — начале 60-х годов, посвящены последнему периоду аргентинской жизни писателя и его возвращению в Европу.

Тук-тук-тук... У вас все дома? Я вышел на дорогу, с которой в известном направлении уже было видно надвигающееся потемнение неба... Я вернулся в дом, находившийся под охраной деревьев, зарослей, ограды, зелени, оконных решеток, статуй, картин, но уже отравленный... в дом, где параноя крутилась у плиты, над кастрюлями... Было тихо, Алиция спала, из кухни доносились звуки, собаки спали, я был поражен, потрясен, чувствовал, что должен решиться сделать что-то, но что — не знал... Главное, что мне был неизвестен мой вес. Тяжелым я был? Или легким?..

Воскресенье

Демокрит... Сколько? Пишем: Демокрит, 400 000.

Св. Франциск Ассизский, 50 000 000.

Костюшко, 500 000 000.

Брамс, 1 000 000 000.

Гомбрович, 2 500 000 000.

Цифрами обозначен «человеческий горизонт» данного человека, т. е. как он в общих чертах представлял себе количество своих современников, как он ощущал себя; понятно, что как «одного из многих» — а из скольких многих? Цифирь я проставил, что называется, с потолка... но смею утверждать, что было бы весьма полезно все имена снабжать такой цифирью, чтобы знать не только имя, но и «размещение его в людях».

Это — «число» отдельного человека, его «количество». Понятно? Утверждаю, что до сих пор человек никогда не поднимал проблемы своего количества. Количество пока еще не пропитало его в достаточной степени. Я человек. Да, человек, но один из многих. Из скольких? Быть одним из двух миллиардов не то же самое, что быть одним из двухсот тысяч.

В нас живет одинокое самоощущение Адама. Наша философия — это философия адамов. Искусство — искусство адамов. Две вещи поражают меня, когда я задумываюсь над тем, как человек до сих пор выражался в искусстве; во-первых — что эта исповедь не распалась у него на две фазы, которые были бы фазами его жизни, — на восходящую (молодость) и нисходящую, и второе — что она оказалась недостаточно насыщенной количеством.

Вы можете возразить: во стольких романах, фильмах, поэмах, даже в симфониях и картинах появляются человеческая стихия, масса. Эпика! Да, такое бывает и в искусстве, известно это и психологии, и социологии, но все это суть описания взгляда со стороны на человеческое стадо как на любое другое стадо или стаю. Мне мало того, что Гомер или Золя будут воспевать или описывать массу, что Маркс анализирует ее, я хотел бы, чтобы в самом его голосе появилось нечто дающее понять, что один был одним из тысячи, а второй — одним из миллионов. Я хотел бы видеть их пронизанными количеством до самой сердцевины.

Пишу все это в связи со служанкой Хеленой. Темнеет, я зажег лампу на моем письменном столике, вдыхаю влажный воздух, идущий из сада (все утро шел дождь). Что подельывает Хелена? Где она, в кухне? Да, в кухне. А то, там на горизонте? Да, точно, вон оно... вон, светит... А домики на паршивой лужайке? Есть. А как насчет картин и статуй? Все в порядке — на стенах, в саду... Смотрите, сколько в вашем распоряжении элементов, так и просятся, чтобы их собрали в художественную композицию. Что же я все никак не могу собрать себя, собраться? Я поник — импотент за письменным столом, я обвис — испорченная труба, сломанная флейта, не могу выдавить из себя ни звука. Не вижу направления, не знаю, в какую сторону двигаться; нет направления, которое опережало бы голос.

Еще раз уясни для себя: сильнее чужого горя тебя угнетает то, что ты не знаешь, что делать с собой перед лицом горя других людей. Параноя в ее беспорядочной башке, в ее затуманенной башке — я, может быть, и выдержал бы это, если бы знал, имею ли я право употреблять слово «башка».

Кто она такая? И откуда мне знать, кто я такой, если не знаю, кто она? Одной бабой больше в океане баб на земном шаре, одной коровой больше. О, Ева, о, единственная! Здесь, за письменным столом, я, Адам, напрягаю всю мою любовь и все — как бы это сказать — мое достоинство, чтобы ты стала для меня Евой, но что-то все время смешивает мои карты... миллиард чертей! миллиард коров! миллиард баб!.. и когда я осознаю количество, то попадаю в массу странных ситуаций, среди которых состояния отвращения и омерзения — не самое главное. А как быть с олимпийским безразличием, проистекающим из возможности заменить одну бабу на другую, одну паранюю на другую? И ко всему вдобавок — скука...

Я громко повторил: «Мне наскучили мученья в таких количествах», — и я вслушался в содержание этих слов, в странное, неслыханное даже, но такое близкое мне (такое человеческое).

Можете верить, можете не верить, но мне смешна моя душа, этот дух, один из многих. Если я не пожалею служанку Хелену, кто тогда пожалеет служанку Хелену? Милосердие, сострадание тоже не в меру расплодилось: в одном только Буэнос-Айресе тысяч сто духов — что называется, одухотворенных. Смешно...

Повторяю громко: «Меня смешит милосердие в таких количествах» — и вслушиваюсь в содержание сказанного, необычайно человеческое содержание.

Встаю. Выхожу. С дороги видна встающая на горизонте в наступающей ночи белесая электрическая туманность, какая-то неуловимая, но такая мучительная, закрученная, как будто из небытия... страшный факт, подавляющий меня... растаптывающий...

Вторник, Буэнос-Айрес

Из Хурлингэм я возвращался ночью на машине; поездка все никак не хотела кончаться, обгоняющие и слепящие фары, массы их, летящие и выстреливающие, выскакивающие с боков, подплывающие от сбившихся в кучки домов, от отдельно стоящих уличных фонарей; радиовышки и величие одиноких строений, грохочущие поезда — мы были накрыты сетью отчаянного, исступленного движения. Я тихонько сидел в удобной яме автомобиля. Неожиданно мы замедляем ход, сворачиваем на обочину, останавливаемся: в чем дело? — наш водитель, инженер Орлов, чуть слышно говорит, что должен минутку передохнуть... и только успел он извиниться, как тут же заснул над баранкой. Замешательство.

Несколько минут спустя он очнулся, и мы снова в пути, но едем медленнее. «Пожалуйста, не беспокойтесь... Все нормально... Я должен выпить кофе». Мы заехали в угловой бар, представлявший собою квинтэссенцию сна: дремал «моссос», дремало несколько посетителей над кофе и грапой, спали пустые столики, стулья, окна, стены, само пространство, сморенное сном, клевало носом — а снаружи одна за другой пролетали машины — и эта мешанина загнанности и заспанности... что это: сонная гонка или разогнавшийся в стремительном беге сон?..

Дома

Моя квартира тоже была наполнена сном: по пути к моей комнате я должен был миновать пять дверей, за которыми гнездилися сон... прежде всего сон Роберта (аргентинец, студент) и герра Ключа (торговец), потом — Евгения (русский, работает в порту), Базиля (румын) и Араны (аргентинец, служащий). Спят или не спят? Надо передвигаться осторожно среди этого нагромождения и с уважением отнестись к тому, что мне неизвестно, к отдыху... Я здесь ничто и никого не знаю, мои разговоры с ними — это только «*que tal?*» да «*tiempo loco*»; старичок, что еще недавно жил в комнате Араны,

* Как дела? Паршиво (*исп.*).

как-то раз спросил меня, не куплю ли я его медную кровать, а неделю спустя — он помер.

Наша деликатность безупречна, нет и речи о том, чтобы кто-то кому-то стал выплакиваться, чтобы кто-то на кого-то рявкнул или заорал; лишь иногда ночью призрак чье-то стоны и кружит над ровным дыханием остальных. Каждый потребляет свою жизнь, как бифштекс, — с отдельной тарелки, за отдельным столиком. Разве разумно не запереться ночью на ключ — кто поручится, что из этого переплетения судеб не выползет кровавое преступление? Нет. Гаденькая деликатность пошла от ощущения, что для другого преступление противно, огорчительно и скучно; эта призывающая избегать сближения скромность защищает меня лучше любых английских замков. Я могу спать спокойно. Не убьют. У них не хватит смелости приблизиться ко мне.

На следующий день

Боже мой, что за бесконечность ты предлагаешь нам? Я бы определил ее как «внутреннюю», сокрытую в нас самих.

Честное слово, странно, что мы не можем исчерпать наш вид, что я никогда не смогу познакомиться со всеми (как же далек я от этого!), что не смогу сказать: вот и все, все я уже повидал, больше никого не осталось.

Постоянно сталкиваться с новым вариантом человека, с новой, отличной в каждом новом человеческом экземпляре, человечностью и знать, что этим вариантам несть числа, что мы заряжены бесконечностью других возможных комбинаций и что нет такого человека, который не был бы возможен в ближайшей или более отдаленной перспективе... Опрокинутая вовнутрь бездна! Она снимает узду с фантазии! Ниспровергает все нормы — психологические, моральные и прочие. Создается впечатление, что нас наполняет не дух, а заговор сплетающихся тел, создающих новый вариант.

Возвращение домой

Квартира была погружена в сон, когда за полночь, с головой, идущей кругом от танцующего на водах Ла-Платы парохода, с чемоданом в руке, я пробирался в свою комнату. Спали Роберто, герр Клюг, дон Эухенио, Базилио, Арана — призраки вздохов и стонов возносились над ровным дыханием спящих. Что такое количество во сне? Спящее количество? Ты спишь, количество? Или же ты, количество, никогда не спишь?

Нет, наше количество никогда с нами не засыпает, куда там сну сморить тварь, рожденную от суммы... оно все кружит и кружит без устали... Сидя на кровати в своей комнате, я все же спрашивал себя: беспокоить нас или успокаивать должен тот факт, что спящих было много (пятеро)? Сон одного, опаснее ли он сна нескольких человек, нескольких десятков или даже нескольких сотен? Звучит, может, и претенциозно, но не без тайного смысла. Количество по отношению к человеку, позволяете заметить, ведет себя поразительно, поскольку и умножает и делит одновременно. Разве будет кто сомневаться, что действия пятерых, тянущих канат, в пять раз производительнее действий одного человека. Но вот что касается смерти, то здесь все наоборот. Попробуйте-ка убить сразу тысячу — и вы убедитесь, что смерть каждого из них станет в тысячу раз меньше смерти умирающего в одиночку.

Вот почему меня успокаивало сознание, что они спят и видят сны впятером: ведь тогда и я мог спокойно положить голову свою на подушку и подключиться в качестве шестого номера к их тяжелому, чуткому, блуждающему дыханию. Чем могли мне угрожать ночь и сон, если целительное Количество чутко охраняло меня, растворяя меня в себе. Точно добрая фея! Точно ангел-хранитель! Спокойной ночи! Спокойной ночи! Пора, пора кончать эти излияния души... может, и не во всем ясные. Может, путанные. Немного, может, развязные, раздерганные, рассеянные, распутные... раз... разжиженные, растворенные. В чем, собственно, дело, друзья?! Если бы и было здесь какое-

нибудь интеллектуальное распутство, Количество растворит его в себе, как Оно растворяет грехи и добродетели наши. Аминь.

Четверг

Если я и касаюсь кризиса в искусстве, то не потому, что, будучи художником, требую художественных переоценок, а потому, что в нем выражен кризис человеческой формы вообще...

Жорж Жиррефере-Пре прилетел из Парижа. Вчера был с ним во «Фрегате»... Кофе. Коньяк.

Он рассказывал то, что где-то от кого-то слышал... отголоски просроченных слухов и сплетен послевоенного периода... проверить трудно; одному Богу известно, как там было все на самом деле... и тем не менее сноп какого-то странного света выхватил историю сартровской мысли...

И вот что интересно: происшедшее с Сартром очень сильно напоминает случившееся со мной и со Скровачевским³... Дело в том, что Сартр, тогда еще молодой, имел обыкновение прохаживаться по авеню Де л'Опера в седьмом часу вечера, в пору самого оживленного движения. Было это (как потом он признавался друзьям) исключительно противно — воспринимаешь человека на коротком расстоянии как чуть ли не физическую опасность, однако вместе с тем, дегуманизированный толпой, он представляет собой лишь тысячный экземпляр, копию, повторение человека, почти что обезьяну; в одно и то же время из-за количества он становится для нас безмерно близким и ужасно далеким. Оказавшись в этом сдавлении-давлении людей-нелюдей, молодой тогда автор «Бытия и Ничто» со всей силой, на какую была способна его душа, призывал к себе одиночество. О! Выделиться! Отделиться! Отрваться! Убежать! Но ему уже наступали на пятки...

Однако, продолжал Жиффере, ему удалось убежать в себя! В уникальность своего сознания и конкретность собственного существования. Это было своеобразной двойной системой, которой он идеально отгородился от остальных, захлопнув за собой дверь своего «я»! (Из того, что рассказал Пре, выходило, что двупутное одиночество сартровского экзистенциализма родилось в толпе!)

Но это еще не все. Кажется (и это тоже версия Жиффле-Пре), радикальной идее одиночества, пребывавшей в его «я», мало пришлось оставаться в одиночестве. Произошло нечто такое, о чем Сартр вспоминал неохотно, а именно: как только в нем поселилась идея одиночества, он как бы краешком глаза, но сразу заметил, что она наверняка найдет отклик в тысячах душ, над которыми висит угроза количества; казалось, что количество все еще продолжало существовать в идее из него выходящей и с ним антиномически связанной. Ощущение того, что люди могут принять его мысль об одиночестве, подсказало ему посвятить этой мысли больше внимания. Тщетно защищался он от смешения философии с количеством, пытаясь доказать самому себе, что ни Сознание, ни Конкретность не имеют права расти на таких дрожжах. А они несмотря ни на что росли и росли, пока наконец он не приступил к разработке собственной системы, которая на этом, на первоначальном, этапе гласила, что я — это я, а не Петр, не Павел, что я являюсь исключительно собой, окончательно и непроницаемо для остальных, как банка шпрот. А впрочем, никаких остальных-то и нет!

Но и это еще не все. Неожиданно Сартра пугает вот такая мысль: в чем дело? Я — один?! Я обнаружил, что ни у кого нет доступа ко мне! Я отбросил классическую философию потому, что в своей абстрактной логике она была слишком коммуникативной, слишком способствовала общению, я закрылся в себе, я — непроницаемо-непостижимый, единственный в своем сознании! Я уничтожил Другого! Я упразднил всех остальных людей!

А ведь и правда, одобренная количеством, мысль об одиночестве может испугать — такое чудовище пешком не ходит. Но что хуже всего (все еще версия Жиффеле-Претэ), что и этот страх тоже не был одинок. Он тут же ока-

зался перемножен на количество всех тех, кому мог навязать себя, — горящее деревце приобрело в нашем философе вид пожара, охватившего весь лес. Напрасно убегает Сартр в самовнушение типа: «Будучи Единственным, я не могу быть Одним из Многих!..» Напрасно. Ничего не выйдет. Будучи не в силах справиться с этой мыслью, он решает дать ей отбой, отменить все сделанное им. «Я уничтожил Другого? Значит, теперь я должен снова открыть его, учредить, признать, вернуть мою связь с ним!»

И тут он приступает к разработке системы. Он начинает извлекать Другого... «ба, да я уже не один, я уже ощутил на себе его взгляд, победа! Победа?» Куда там! Дело осложняется. И становится совсем неприятным.

— А что случилось? — спросил я Преве, на что тот мне ответил:

— Дело, видите ли, в том, что этот Другой, учрежденный и выделенный, уже не имел ничего общего с конкретным человеком. Это ни Петр, ни Павел, это Другой как таковой. Это Объект, за которым я признаю характер Субъекта, с чьей свободой я считаюсь. Вы скажете, ничего страшного? Но Вы учтите, что теперь наш философ оказался перед лицом абсолютного количества — всех возможных людей — человека вообще. Он, испугавшийся парижской толпы, теперь оказался перед лицом всех толп, всех индивидов, всегда и везде.

— Вот в это самое время я с ним и познакомился, — продолжал Жиффелере, потягивая ликер. — Это было после выхода «Бытия и Ничто». Его подавлял масштаб конфронтации: с одной стороны он — с другой стороны все. Однако, хоть такая картина и пугала, он не сдавался и неколебимо последовательно провозглашал свои лозунги: «ответственность за всех», «связь со всеми». И, возможно, он и выстоял бы, хоть и взвалил себе на плечи человечество... если бы не то, что к этому охватывающему всех совершенству снова примешалось количество, до неприличия переполнявшее совершенство... количество экземпляров его произведений... количество изданий... количество читателей... количество комментариев... количество мыслей, выведенных из его мыслей, и количество мыслей, вытекающих, в свою очередь, из этих мыслей... и количество самых разных вариантов этих вариантов... Количество в данном случае непереносимо, оно переполняет, оно выходит за рамки штатного расписания. Это были Все плюс Количество.

Тогда я увидел (это все еще слова Пре), как он подошел к покрытому испариной стеклу и как вывел пальцем:

NEC HERCULES CONTRA PLURES*

Он был близок к самоубийству. А иначе как выйти из этого положения, как убежать, когда миллионы читают и в свет выходят все новые и новые издания? Выходит, что не Все его страшили, а то, что этих Всех так много! Значит, смерть? Он начинает готовиться к самоубийству. Ей-богу, а ведь не так и страшно. Что правда, то правда: банкротство его ужасно и катастрофа его страшна. Но катастрофа растворяется в миллионах. Спровоцированная количеством, она сходит на нет в силу того же количества, в суматохе и свалке, где никто ничего не знает, никто ничего не понимает, все ля-ля да ля-ля, а о чем — непонятно, один — про Фому, другой — про Ерему, и все как-то ни к чему...

NEC HERCULES CONTRA PLURES

Пириаполис

Мои записки о съезде членов пен-клуба... слишком много шутки, слишком мало бунта, не скажу, что я остался доволен; может, я заразился их импотенцией и поэтому не смог найти свою тему?

* Против всех и Геркулес ничто (лат.).

Там не слишком выпукло была показана декаденция литературы — то, что литература год от года опускается все ниже и ниже, если не в плане произведений, то уж в отношении своих представителей. В самом деле... если настоящих композиторов на одно поколение можно насчитать пять или шесть на весь мир, то трудно ожидать, чтобы настоящих писателей было много больше. А что же остальные, то есть, скажем так, те несколько десятков господ первого разряда, хотя духовно не поднявшихся до высот задачи, но известных, признанных, даже знаменитых и с перспективой на памятник после смерти, на название площади, улицы?.. Это уже не первосортная литература. Заметьте, какой ужас бьет из этого утверждения. С маслом искусства дело обстоит так: если оно не экстра, не абсолютно высшего качества, то от него несет маргарином.

Элита мировой литературы с каждым годом становится все многочисленнее и все сомнительнее. Так происходит потому, что техника подделки возвышенного, как и всякая другая техника, прогрессирует. Незаурядность и даже величие в определенном смысле — дело техники, и сегодня интеллигентный писатель второго разряда совсем неплохо ориентируется, что и как переделать в себе для того, чтобы перейти в первый разряд. Скажем так: мне бы лучше быть не слишком духовным, а чувственно-духовным, и еще — надо бы задействовать антиномии, полезен будет и туман неопределенности, хорошо бы подошла грубая непосредственность Рембо, не стоит также пренебрегать некоторыми приемами современных америкашек, а еще не следует выпускать из поля зрения отдельные рецепты «объективного» величия, успешно реализованные в последнее время во Франции. Совсем уж сбрасывать со счетов эти технические процедуры было бы неумно... Действительно, почему бы тому, кто не лишен искры Божьей, сознательно не сформировать себя, используя опыт других? Разве не начинает, почти всегда, настоящий гений с подражания гениальности? И бывает, что такой поддельный гений входит в кровь, становится телом.

Я ничего не имею против метода как такового, однако именно из-за него европейская элита год от году все слабее и слабее держится на ногах. Это все в основном люди возвышенные, чрезмерно «сотворившие» себя, известность которых, лишенная спонтанности, является сочинением на заданную тему. Девяносто процентов (а только ли девяносто?) сегодняшней французской литературы — это лица, усвоившие некий стиль, некий жанр, некий уровень, являющийся коллективным достоянием, растворенным в интеллектуальной артистической атмосфере Франции. Их личная заслуга слишком часто сводится к тому, что они умеют носить купленный в магазине костюм, якобы сшитый на заказ... но между Францией Паскаля и Францией Мориака такая же разница, как между Махой обнаженной и Махой одетой. Сравните неповторимость людей эпохи Верлена с сегодняшней средой, где практически каждого можно заменить. То же самое происходит и в других литературах. Было время в жизни Европы, когда можно было пригласить на завтрак Ницше, Рембо, Достоевского, Толстого, Ибсена — людей столь непохожих друг на друга, что как будто все они с разных планет, — и какой завтрак не взорвался бы от такой компании? А сегодня спокойно можно устраивать гала-банкет для всей европейской элиты, и прошел бы он без трения, без искры.

На таком опущенном фундаменте все больше вырастает и виднее становится унижительная роль импресарио... Литература, выбитая из индивидуального духа, попадает в руки внедуховных деятелей, общественников. Премии. Конкурсы. Торжества. Профсоюзы. Издатели. Пресса. Политика. Культура. Посольства. Съезды. А ведь надо все организовать и заставить функционировать — так функция и организация превратились в пивок, высасывающих и без того анемичную кровь. По-моему, падение было бы не таким обвальным, если бы давление шло исключительно извне; человек искусства знает, что он не от общества, и инстинктивно защищается от происков со стороны профанов. Известно: общество всегда будет требовать от нас

того, чего мы дать не можем. Но, как уже говорилось, еще хуже, что литература становится все менее живой и в результате теряет сопротивляемость и способность вырабатывать противоядие, поэтому может показаться, что в ней происходит какой-то носящий самоубийственный характер отбор наоборот. Не только потому, что худший начинает руководить и погонять лучших в рамках этой бюрократии (чем лучше художник, тем меньше у него времени «функционерствовать»), но и потому, что в лучших нечистый элемент берет верх над гордой неуступчивостью души. Не хватает смелости. Отказывается решительность. Начинает пропадать склонность к принятию дерзких, ясных решений, которые очищают мир до самого спасительного предела, и мир становится смутным.

Покорность! Речи нет о том, чтобы приглашаемые, награждаемые, чествуемые, угощаемые, оглуляемые, осмеиваемые духи взбунтовались и заартачились, изыскали бы достаточно взрывчатого вещества, чтобы взорвать эту свою ситуацию. Признаем факт: гений, талант все меньше и меньше является динамитом, так мало осталось в нем от святой невинности лесных цветов, горных цветов. В силу того, что в обществе все функционально, социальному заказу на дух соответствует определенное производство возвышенного и возникает новая порода функционеров — духовный функционер.

*

Достанет ли мне сил и ума? Ведь я из числа тех, что освоили технику делания себя в стиле высокого искусства; признаюсь, что постиг в этой материи даже такие тонкие моменты, которые дают определенный результат и которые соседствуют с истинным величием. Достанет ли мне здоровья, если я так же, как и они, болен, а может, даже еще больше?

Моя истина и моя сила заключены в постоянной порче своей игры. Я порчу ее и себе, и другим. Я не искореняю в себе фальшь, ограничиваясь всего лишь ее обличением каждый раз, как только она во мне появляется: я мешаю свои карты, я заставляю себя прибегнуть к другим тактикам, изменяю свою ситуацию. Того же самого я требую и от моих уважаемых коллег: постоянно смешивать свои карты, разрушать свое положение, срывать паутину до тех пор, пока самые интимные энергии не выйдут на свободу.

Однако... как жалко... разрушать свое положение...

Сартр, в котором сконцентрировалась патология эпохи, также являет собой яркий пример этого кризиса — кризиса величия, или суверенности, или, скорее, достоинства выдающихся людей в функциональной литературе. Удивительны и досадны его внезапные скатывания с вершин на плоскую равнину; дело выглядит так, как будто у него два голоса: один из духа, категоричный, а другой — не поймешь откуда — голос ментора и моралиста. У него не получается соединить домен принципиальной истины с областью повседневных забот, с практической жизнью, и тогда внутри его раздается какой-то противный примитивизирующий писк. К какому результату приводит его гордый экстремизм, утверждающий, что литература — это свобода? Неужели к тому, чтобы он точь-в-точь как классный наставник объяснял взрослому писателю, в чем состоит его, писателя, социальная функция: твое место здесь, а не там, ты должен шагать левой против тех, кто шагает правой! Глава в «Situations»⁴, в которой после сокрушающей критики он приступает к позитивным указаниям и поучениям касательно роли писателя в обществе, дышит всеми слабостями проповедей, все равно чьих — поповских или марксистских... и становится ясно, как его одиночество стыдится и мучается.

Вот я и спрашиваю: кто из прежних философов смог бы вынести в себе сартровскую какофонию уровней, тонов, подходов? Менее «сделанные», более естественные, они не испытывали той жажды разрушения и самокомпрометации, какую испытывает современный интеллектуал, который от недоверия себе скатывается на грубый тон низших сфер. Героиня одного из романов Томаса Манна, легши в постель с гостиничным лифтером, восклицает в

блаженном экстазе: «Я, мадам такая-то и такая-то, поэтесса, женщина из общества, — в койке с голым лифтером!» По мне, так этот анекдотец подошел бы и Сартру, но не столько в силу заключенной в нем диалектики «базиса» и «надстройки», сколько из-за лифта. Ибо в нашу эпоху, бывает, встретится такой педант, который, в панике от того, что вверх идет не собственное его содержание, а только механизм, нажимает кнопку этой самой машины, чтобы как можно скорее съехать вниз.

Понедельник

Был у М. в больнице: уже месяц умирает, и, как говорят врачи, умирать ему еще пару недель. Он лежал без движения, голова на подушке, по кусочкам пожираемый смертью, день ото дня все мертвее. Мучается ли и сильно ли?

В палате было несколько живых, с позволения сказать, свидетелей: они наблюдали все это с озабоченным выражением лица, не зная, что предпринять, отделенные от нашего мученика пониманием, что ничего не поделаешь и что остается только ждать, пока тот копыта отбросит. «Человек живет в одиночку, в одиночку и умирает», — мысль Паскаля. Не совсем так. Живет-то человек в коллективе, где один другому помогает, а вот как смерть поступится, тогда только человек и замечает, что он один... один на один со смертью... как тот подыхающий зверь, от которого стая уходит в зимнюю ночь. Почему человеческая смерть до сих пор так похожа на смерть зверя? Почему наши агонии так одиноки и так примитивны? Почему мы не сумели цивилизовать смерть?

Подумать только, что сей наводящий ужас предмет, агония, все рыщет среди нас, такая же дикая, какой она была в первые дни творения. Ничего не удалось сделать с ней за тысячелетия, никто не посмел коснуться этого дикого табу! Мы смотрим телевизоры и кутаемся в одеяла с электроподогревом, а умираем все так же дико. Бывает, правда, робким уколом повышенной дозы морфина врач уменьшит муки, но эта сама себя стыдящаяся процедура слишком мелка по сравнению с неохватной громадой умирания. Я все хлопочу о том, чтобы были устроены Дома Смерти, где каждый имел бы в своем распоряжении современные средства легкого ухода из жизни. Где можно было бы тихо и спокойно умереть, не бросаясь под поезд и не вешаясь на дверной ручке. Где человек, изнуренный жизнью, уничтоженный, окончательный, мог бы отдать себя в дружеские руки специалиста, дающего гарантию ухода из жизни без пытки и унижения.

Почему нет — спрашиваю я, — почему нет? Кто вам запрещает цивилизовать смерть? Религия? Ох уж эта религия... сегодня запрещающая самоубийство, вчера еще не менее громогласно запрещающая анестетики... а позавчера благословлявшая работорговлю, клеймившая Коперника и Галилея... Сначала Костел мечет громы и молнии обвинений, а потом тихонечко, деликатненько так отступает... Где же гарантия, что через пару десятков лет сегодняшнее осуждение самоубийцы не смягчится и не сойдет незаметно на нет? А пока что мы вынуждены умирать, как собаки, — в судорогах и криках — нам остается терпеливо ждать, прокладывая этот долгий путь миллионами жутких смертей, о которых потом пишут в некрологах («после долгой и продолжительной болезни...»). Ну уж нет, счет за эти «интерпретации» священных текстов стал так высок и так кровав, что лучше Костелу отказать от схоластики, слишком своевольно вторгающейся в жизнь. В конце концов, если верующие католики хотят умирать тяжело — это их дело. Но почему вы, атеисты, или те, кто слабо связан с Костелом, не решаются на такое простое мероприятие, как организация своей смерти? Вам-то что мешает? Вы сделали все для того, чтобы без труда передвигаться с одного места на другое, когда вы меняете место жительства, но когда речь идет об уходе в мир иной, вы хотите, чтобы все это происходило по-старому, вековечным методом подыхания.

Как же сумрачна эта ваша немощь! Подумать только, ведь каждый из вас прекрасно знает: никто из его родных и близких не избежит умирания, разве что встретит небывалое счастье скоропостижной и неожиданной смерти; каждый постепенно сойдет на нет, причем так, что облик его порой будет неузнаваем, — и, зная это, зная, что участи сей не избежать, вы пальцем не шевельнете, чтобы уменьшить свои страдания. Чего вы боитесь? Что слишком много людей убежит, если чуток приоткрыть форточку? Позвольте тем, кто выбрал смерть, умереть. Никого не принуждайте к жизни неудобством умирания — это слишком подло.

Шантаж, содержащийся в искусственном затруднении ухода из жизни, — свинство, нарушающее самую ценную из человеческих свобод. Ибо самая большая из моих свобод состоит в том, что в любой момент я могу задать себе гамлетовский вопрос «Быть или не быть?» и свободно ответить на него. Эта жизнь, к которой я был приговорен, может растоптать меня и унижить с жестокостью дикой бестии, но мне по природе присуща одна прекрасная возможность: самому лишиться себя жизни. Если захочу, то могу и не жить. Я не просился в этот мир. По крайней мере, у меня остается право уйти... и это — основа моей свободы и достоинства (ибо жить достойно — это жить добровольно). Фундаментальное человеческое право, право на смерть, — из числа тех прав, которые должны быть закреплены в конституции, — подверглось незаметной и постепенной конфискации: на всякий случай вы сделали так, чтобы стало как можно трудней... и как можно страшней... чтобы было труднее и страшнее, чем должно быть при современном уровне технического развития. Это выражает не столько ваше слепое, доведенное до животных масштабов одобрение жизни, сколько демонстрирует вашу чудовищную толстокожесть, когда речь идет о боли, которой вам *пока еще* не довелось испытать, об агонии, которая *пока еще* не стала вашей, вашу легкомысленную глупость, с которой вы относитесь к умиранию, *пока* оно не стало вашим, к чужому умиранию. Все эти соображения и соображеньица — догматические, националистические, житейские, — вся эта теория, вся практика распускаются павлиньим хвостом... вдали от смерти. В такой дали, что дальше некуда.

Среда

Каждый адвокат бесконечно уверен в своей «общей культуре» (а как же иначе, ведь «юриспруденция образует»), а любой инженер по канализации считает себя самым что ни на есть ученым, не меньше Гейзенберга⁵. Легко догадаться, что в обыденной жизни они демонстрируют исключительно слабое воображение.

Вчера. Какая досада! Два часа я был вынужден сносить умничанье обоих этих типов дипломированного полуинтеллигента. Непроходимая глупость. Адвокат с полным набором выходок юриста — с мировоззрением, стилем, формой, от которых несет пресловутым университетом, как нафталином от костюма... Инженеришка, тот все проповедовал превосходство точной науки, ибо, господа мои хорошие, всякое там философствование или душещипательные романы не для дисциплинированной работы ума, а «может, господа что-нибудь слышали о квантах?». Уровень страшный. И каждого дополняла его половина, заходившаяся в экстазе от обожания интеллекта своего самца. Прискорбно, что из года в год университеты плодят тысячи ослов, каждый из которых раньше или позже найдет свою безотказную ослицу

Как сделать так, чтобы высшие учебные заведения не фабриковали такой пошлости, не портили так жутко воздух цивилизованного мира? Вокруг меня все больше молодых кретинов университетского разлива, прошедших полную очистку от естественной интеллигентности. Вульгарная пошлость этих работников умственного труда, специалистов в области медицины, юриспруденции, техники и т. д., даже здесь, в Аргентине, начинает досаждать. Невос-

приимчивые к искусству, не знающие жизни, сформированные абстракцией, они слишком полны самомнения и слишком тяжеловесны. Я люблю приводить в ярость этих толстокожих дурачков или топить их в хаосе придуманных на скорую руку фамилий и теорий — ох, как бы они меня не побили! Радует, что эти посредственные натуры обречены исключительно на науку — все остальное, все, что находится вне науки, вся духовная жизнь человеческого племени, представляется им шарлатанством, вот почему они постоянно умирают со страху, боясь быть обманутыми.

Я же вожаденно дразню их крестьянскую недоверчивость к «литературе», к этому обманщику *par excellence*^{*}, и время от времени то строю мину, то бросаю словечко, сомнительное, если не сказать клоуновское. Их простецкое уважение к серьезности столь велико, что совершенно оглушает их. Или вот еще: кошу их аристократией и генеалогией — безотказный прием, если речь идет об оболванивании болванов.

И все-таки аристократия... И все-таки аристократия... О, аристократия, оказывается, что ты нечто большее, чем злая шутка. Идол плебса — польза, идол аристократии — удовольствие. Быть полезным и неприятным — вот цель любого робота и спеца. Быть настолько полезным, чтобы иметь возможность быть неприятным, — вот их мечта. Тогда как мечта аристократов совсем иная: быть настолько приятным, чтобы можно было быть бесполезным. Что же касается меня, то я утверждаю и записываю как один из канонов моего знания о людях: тот, кто хочет нравиться людям, быстрее приближится к человечности, нежели тот, кто хочет быть только полезным слугой.

Пятница

Моим ученикам я говорю: помните, что я — не из числа ваших уважаемых, патентованных и снабженных гарантией профессоров. Со мной никогда ничего заранее неизвестно. В любой момент я могу ляпнуть глупость или соврать, а то и вообще оставить вас в дураках. Со мной у вас нет никакой гарантии. Я — негодяй, люблю развлечься и плюю-поплеываю — плюю — плюю... на вас и на свое преподавание.

Пятница

Нас ждет вырождение, и к этому уже сегодня следовало бы приспособливаться. Не спорю, возможно, когда-нибудь наука приведет нас в рай. Однако пока что нам грозит серия операций, процедур почти что хирургических, деформирующих (как это случается с пациентами, которым намереваются улучшить лицо и сделали пока что только первые три из двенадцати запланированных операций).

Преобразование с помощью техники условий жизни, а еще — нашей психофизической структуры выбьет нас из колеи, спутает наши карты.

Пятница

Сможет ли сайентизм вытеснить искусство? О нет, я нисколько не боюсь потерять почитателей!

Меня не пугает, что «будущее поколение не будет читать романов» и т. д. Видимо, это самое большое недоразумение — воспринимать серьезное искусство в категориях производства, рынка, читателей, спроса и предложения, — какое это имеет отношение к делу? Искусство — это не производство чтива, а духовное общение, нечто столь напряженное и отличное от науки и даже противоречащее ей, что в нем не остается места для конкуренции друг с другом. Если вдруг завтра родится кто-нибудь замечательный, высший, достойный, плодотворный, блестящий (так надо говорить об артистах, художниках,

* По преимуществу (франц.).

это именно тот язык, которого требует искусство), если родится кто-то единственный и неповторимый, Бах, Рембрандт, то он обязательно *привлечет к себе*, пусть немногих — но *привлечет, очарует и соблазнит их...*

До тех пор, пока среди людей будут высшие и низшие, высший, выражающий себя в искусстве, будет привлекателен... и ничто не ослабит его существования. Вы толкуете о безразличии к искусству у инженеров, техников и прочих функционеров? А когда был возможен диалог между художником и винтиком в машине? Зато каждый день мне приходится быть свидетелем, как влечет блеск артистизма того, кто, будучи затянут в шестеренки, сумел сохранить в себе достаточно человечности, чтобы почувствовать, как они ломают его кости.

Когда к моему столику в кафе подсаживается изучающий точные науки студент, чтобы с сочувствием посмотреть на меня (как я «переливаю из пустого в порожнее»), чтобы дать выход своему высокомерию (потому что все это «обман публики»), чтобы зевать (потому что «этого нельзя проверить опытным путем»), я по крайней мере не стараюсь переубедить его. Я жду, пока на него не накатит волна усталости и пресыщения. Ибо это правда, что в науке гораздо меньше обмана, бахвальства и нет той «личной грязи», которой воняет от искусства, нет тех амбиций, пускания пыли в глаза, позы, претенциозности, фразы; но верно также и то, что эти гарантии наука дает только потому, что действует на ограниченной территории, — и эта лабораторная «уверенность» в один прекрасный момент становится ненавистой и унижительной для природы не совсем ординарной.

Посредственная интеллигенция любит конские шоры на глазах, облегчающие ровную рысь, но интеллигенция более резвая и живая возжелает неуверенности, риска, игры сил более неверных и неуловимых, все то, где живет... где может сохраниться полет, гордость, шутка, исповедь, восхищенье, игра, борьба.

Приходит момент, когда теория становится личным врагом: они жаждут человека, жаждут его, каким бы он ни был — смятенным, лживым, непредсказуемым... лишь бы увидеть перед собой человечество, снова прикоснуться к нему.

Суббота

Шел я тропинкой через большую поляну в лесочке Сантьяго; территория, похоже, предназначенная для застройки, поросшая редкой травой, с белесыми песчаными пролысынами, неинтересная, — двигался не спеша, задумчиво смотрел под ноги; солнце зашло, я шел мимо развалин, куч кирпича, обломков машин и ящиков, тропинка у меня под ногами слегка взлетела вверх, совсем немного, из-за легкого подъема грунта, и тут же упала. Этого оказалось достаточно. Я почувствовал, что земля волной ударила в меня снизу, я ощутил ее колыхания, ее неожиданную, потаенную упругость. Стой! Что это?! Неужели тропинка ожила? Неужели ожила земля? Стой, стой, ради Бога, разве возможно, чтобы вещи оживали... но в таком случае *ты сам неизбежно должен был бы превратиться в мертвый предмет!* Как? Как? Три камешка на тропинке, один возле другого, приковали мой взгляд... разве невозможна такая интерпретация космоса, при которой их мертвенность обратилась бы в жизнь, а моя жизнь — в смерть? Нет, долой такой оборот — он слишком натянут, слишком фантастичен... Послушай только: вот если бы, кроме мира живого и мира мертвого, существовал какой-нибудь третий мир — третий принцип, о котором сегодня мы даже не можем подумать, такой принцип, который активизировал бы предмет, объект, превращая его в субъект. Воспринять эти три камешка как нечто *активное*... Тогда стала бы возможной активная инертность, апатия. Стоп! Стоп! Что за глупости!..

Все это потому, что ты смысленный мальчуган. И нет такого идиотизма, который оказался бы для тебя несъедобным... интеллигентность и фантазия предают тебя в руки глупости, поскольку ничто для тебя больше не фанта-

зия... и вот стоишь ты на тропинке, неожиданно обольщенный глупостью, которая через тысячу лет — через тысячу лет, о, сын тысячелетий, — готова стать чем-то сродни истине.

Четверг

Вспоминая многочисленные мои страхи, я прихожу к выводу, что моя слабая сопротивляемость, моя, прямо скажем, трусость, которая мешает мне, например, войти в лифт и проявляется, когда я сажусь в трамвай, трусость, отравляющая мне жизнь, берет начало в той особенности моего воображения, что я вижу муку в совершенно рядовых, мелких аспектах жизни. Для меня «задыхаюсь» — это не тогда, когда лопаются легкие, а когда только начинает не хватать воздуха, но начинает по-настоящему. Перелом ноги я готов прочувствовать как боль в спине, когда нельзя сменить позу, пошевелиться, а войну — как вкус позавчерашнего чая, ссадину на пальце и темноту. Такое восприятие подтачивает смелость подобно тому, как червь точит дерево.

Что общего у страха с невинностью? И все же самый большой испуг для меня что-то такое же чистое, как и... самая невинная невинность.

в 10 часов (в кафе «Кверанди»)

Пил кофе, ел рогалики. И еще что-то. Когда официант подошел спросить, что буду заказывать, повисла его рука, тихая, поджатая, таинственная и не занятая работой, но, не зная, о чем думать, я подумал об одном кусте, который когда-то видел из окна поезда на какой-то станции. Эта рука напала на меня в тишине, вставшей между нами... Точка. Конеч. Вот вошли и шумно сели за соседний столик двое мужчин, попросили кости.

Я вынул из кармана письма.

«Sandauer⁶ est arrivé ici il y a une dizaine de jours...»^{*}

«Проезжая Кельцы, я застал пани Реню⁷...»

«Рихтер⁸ прислал мне копии своих писем, в которых он растолковывает все проблемы и чудачества этой прозы...»

в 10.45 (дома)

Рука официанта исчезла и больше не появлялась. До тех пор, пока одна мысль Ницше не впрыснула в нее дозу существования — величественного.

Неске, немецкий издатель Хайдеггера, недавно прислал мне его «Essais et conférences»⁹, изданную Галлимаром. Книга лежала рядом с *long play*^{em} квартета и попала на глаза. Так вот, в лекции о Заратустре Хайдеггер приводит высказывание, которое Ницше называл «самой бездонной» из своих мыслей, — о вечном возвращении; «высвобождающая из духа мести», преодолевающая время — как уходящее, так и наступающее — мысль, придающая становлению характер бытия. «*Imprimer au devenir le caractere de l'être... telle est la plus haute volonte' de puissance*»^{***}.

Я им не позволю водить меня за нос — мне знакомо это детство, заигрывающее с Бесконечностью, мне слишком хорошо известно, сколько нужно легкомыслия и безответственности, чтобы гордо вступить на территорию мыслей, которые невозможно помыслить, и строгости, которую невозможно выдержать, знаю я эту гениальность! А этот Хайдеггер на своей ницшеанской лекции, парящий над разными там пропастями, — клоун! Презирать бездну и не мусолить излишних мыслей — вот что я давно решил. Мне смешна метафизика...

...которая пожирает меня.

^{*} Сандауэр вот уж дней десять как приехал сюда... (франц.)

^{**} Долгоиграющей пластинкой (англ.).

^{***} Придать становлению характер бытия... вот самая высокая воля к власти (франц.).

Интересно, что без малейшего стеснения я могу одновременно быть человеком и Человеком. Раздумывая над тем, отдать ли белье в прачечную, я в то же время являюсь подобием моста оттуда, от первоначал до самых что ни на есть конечных проявлений реальности, находящихся передо мной. Не теряя ни на минуту линии бытовых событий, я являюсь Загадкой бытия, и его гордостью, и его болезнью, и его мукой. Обида человечества. Безумие человечества. Освобождение человечества от пут. Тишина человечества. Тихая рука официанта там, в «Кверанди», — тихая и поджатая. Что она делает там, когда я здесь?

в 11.30

Если бы я не вернулся к руке официанта, она легко растворилась бы в небытии... Но теперь она будет возвращаться ко мне, ведь я к ней вернулся.

в 18 (дома)

Снова я в открытом море!

Она все болтала и болтала, беспрестанно. Дошло до того, что подружки взмолились: «Укороти свой язык!» И это вдруг ее больно задело.

Схватила она ножницы, чик-чик, смотрите, злые подружки: язык на земле, а на устах — кровь.

В угловом баре. Семнадцатилетний рабочий разговаривает по телефону с невестой...

...Больница. Правая нога раздроблена, левая — раздавлена и под угрозой гангрены...??? Случайность! Стечение обстоятельств... потому что именно тогда, когда он звонил, перонист Мойя, боевик и террорист, проходил с бомбой под мышкой мимо бара. Неожиданно заработал механизм бомбы. Испуганный Мойя кинул бомбу куда попало, а попало в бар и...

Ног нет. Языка нет. Об этом я прочел в газете.

Сижу один, на диване с газетой, передо мной посреди комнаты два столика, заваленные бумагами, спинка стула, чехол от машинки, дальше — шкаф. Я был в открытом, открытом, открытом море. Что здесь можно сделать? Сострадание? Я *здесь* буду сострадать, а они — *там*... Любовь? Я *здесь* буду любить, а они — *там*... Если бы мы так не разминулись... Сильный ветер, темные массы воды в необузданном кипении бросаются и перекатываются, тонут друг в друге; перепаханная ширь, пространство неумного движения, ни кусочка земли, ни огонька, и только там, там, там, в «Кверанди», та, избранная, рука... к чему она?

Я очень боюсь черта. Странное признание из уст маловера. От мысли о черте я не в состоянии избавиться... Это блуждание жути в непосредственной близости от меня... Что толку в полиции, в наличии прав, в страховках и мерах предосторожности, если Чудище свободно ходит среди нас и ничто не в состоянии защитить нас от него; ничего, ничего, никакой преграды между ним и нами. Его рука меж нас имеет полную свободу, она свободнее всех остальных рук! Что разделяет блаженство праздного гуляки и подземелья, вопиющие голосом мучеников — что? — абсолютно ничего, пустое пространство... Та земля, по которой мы ступаем, до такой степени покрыта болью, что мы бродим по колено в боли, и это — боль сегодняшняя, вчерашняя, позавчерашняя, боль тысячелетней давности, и не стоит питать иллюзии: боль не растворяется во времени и детский крик тридцать веков назад ничуть не меньше того крика, что раздался позавчера. Это боль всех поколений и всех существ, а не только человека. И наконец... кто вам сказал, что, освобождая от мира сего, смерть может принести вам хоть какое-то умиротворение? «А если там сплошь пауки?» А если там такая боль, которая далеко превосходит все, что мы только можем представить? Мы не очень дрожим перед той минутой, а все потому, что предаемся иллюзорной уверенности, что за той стеной нас не встретит нечто, что окажется совершенно нечеловеческим, — от-

куда эта уверенность? Что дает нам право так думать? Разве в лоне этого, нашего, света не содержится некий недоступный человеку адский принцип, который невозможно ни разумом постичь, ни чувством человеческим? Где же гарантия, что тот свет будет более человеческим? А может, он является воплощением не-человечности, абсолютным отрицанием нашей природы? Но мы в нашем сознании не можем принять это, поскольку человек — и это точно — по природе своей не в состоянии понять зло.

Точка. Хотелось бы верить, что там, в «Кверанди», нет ничего такого, что выходило бы за рамки самой обычной обыденности, а впрочем, у меня и оснований никаких нет для этого предположения... но наличие зла делает мое существование чем-то столь рискованным... столь тревожным... столь подверженным дьявольским козням... что мне трудно было бы хоть в чем-нибудь увериться, тем более что отсутствие данных в этом случае имеет ровно то же самое значение, что и их обилие.

в 20 (на углу Лас-Эрас)

Зашел к J., но не застал его.

Встал на каменном островке посреди улицы. Вечер и почти что спустившаяся ночь, рождающиеся и мигающие огни — и растущий гвалт, пулями летят автомобили, едва успев оглянуться, как тут же с ревом разворачиваются два троллейбуса, приближается вереница трезвонящих трамваев, грузовик из-за спины делает рывок; пронизанный свистом мчащихся такси, я оборачиваюсь — что за безумие? — еще больше, быстрее, и высокий душераздирающий звук вырастает из рева, звона, скрежета, шума, набитый бесчисленным количеством колющих глаза блесток.

Гонка, уходящая вдаль, — случались моменты такого разгона, что все выло, а я на моем островке шатался как подкопанный... Не люблю и люблю Баха. Я «глубокий невежда» в области живописи. Говорил глупости... Который час? Ужасно, что я потерял письмо из Франции относительно перевода, когда я велел М. отойти от столика... хорошо получилось... но жаль, что... Как пронесся!.. Не везет мне с... Тот счет... Боже, избавь меня от реки, текущей вовне, и еще худшей реки — несущейся через меня, — от внутреннего вихря — от раздробления меня на тысячу кусочков! От мглы моей! От тумана моего! От сумятицы, коей я емь. Зато рука моя в кармане — спокойна.

А руки этих людей, несущихся в автомобилях, трамваях и т. д.? Спокойны. Лежат... на коленях. А та рука, из «Кверанди»? Что-то она поделывает? А что бы стало, если бы перед ней так — так вдруг встать на колени? Упасть на колени перед рукой? На этом островке... здесь... Ну, допустим. А зачем? Нет, не сделаю этого. Разумеется, нет. С самого начала знал, что нет.

в 20.15 (в трамвае)

Я назвал бы это блужданием по окраинам в поисках... Постоянная работа на пограничье, чтобы что-то... Попытка построить... Попытка (как всегда неудачная, как и все остальные попытки) поставить там, дальше, все равно где, какой-нибудь алтарь, из чего-нибудь. Ах, так цепляться за что попало! За руку официанта из «Кверанди»!

в 20.30 (в ресторане «Сорренто»)

Подходит официант, заказываю моллюски *à la marinera** и графинчик белого вина, а рука его левая без дела — совершенно как та из «Кверанди», но какое мне дело до его руки — важно лишь, что она не та... Размышляю над этим, чтобы отвлечься... и меня занимало, что та, другая, так сильно меня ухватила... и еще — что после такой игры она еще сильнее держит меня.

* Букв.: по-матросски (исп.).

Справа и слева — буржуазия. Женщины втискивают в межгубное отверстие трупное мясо и приводят в движение глотку — оно поступает в пищевод и в желудочно-кишечный тракт — такое выражение лица, как будто они совершают жертвоприношение, жертвуя собой, — и снова открывают ротовую полость, чтобы втиснуть... Мужчины орудуют ножом и вилкой — ноги, между прочим, в брючинах, тоже питаются, присоседившись к работе органов пищеварения... и воистину странно было бы воспринимать работу собравшихся здесь особ как питание ног!..?.. Но механизм их движений в мельчайших деталях отработан, эта операция от века предопределена — взять лимон, выдавить, намазать кусочек хлеба, говорить во время глотания, наливать или подливать и одновременно вести беседу с соседом, косо улыбаться — согласованность движений почти как в Бранденбургских концертах, — и здесь видно человечество, безостановочно повторяющее себя. Зал заполнен жрачкой, проявляющейся в бесконечном количестве вариантов, как фигура вальса, повторяемая танцорами, — а лицо этого зала, сосредоточенное на своей вековой функции, было лицом мыслителя.

Да, но — о Боже — здесь «Сорренто»!

Здесь не «Кверанди»!

в 20.40 (в ресторане «Сорренто»)

Зачем я имитирую возмущение?

Какая мне разница, что это не «Кверанди»?

И зачем цепляюсь я за ту руку, как утопающий за соломинку, — ведь я не тону?

Скажу так: рука та для меня совершенно безразлична. Официанта того я лично не знаю. Рука как рука, как и многие другие...

в 21 (на улице Коррьентес)

Обожаю ту вещь, которую я сам для себя возвысил. Преклоняю колени перед вещью, которая не имеет права требовать, чтобы я перед ней вставал на колени, а потому — коленопреклонение мое только от меня исходит.

Буйство мое — буйство моря, бесконечного пространства, ничем не скованного движения, но загадка моя в том, что у меня двойное размещение в действительности. Иду я по улице Коррьентес в Буэнос-Айресе после ужина в ресторане «Сорренто». И в то же самое время я там, в самом что ни на есть открытом и бурливом море! Мятащийся в мятежных пространствах... Я на Коррьентес и одновременно — в самых черных межзвездных безднах — один в пространстве! Я — после неплохого ужина — брошен и лечу в бесконечность, как крик...

Да! Я выбрал руку в «Кверанди» просто для того, чтобы было за что ухватиться. Почувствовать себя относительно хотя бы чего-нибудь... Как точку отсчета... И выбрал ее по той самой причине, что мне все равно... все направления, все места и все предметы одинаково годятся в моем безграничье, где нет ничего, кроме движения в становлении. Из миллиарда окружающих меня вещей я выбрал ее, а мог бы выбрать и что-то другое... Только сейчас я бы не хотел, чтобы она со мной что-нибудь сделала! Сделать со мной — или сделать меня... Разве я больше не сам? Не один на один с рукой официанта, которую сам себе выбрал... не вдвоем ли мы теперь?

в 21.10 (улица Коррьентес)

Я это только так, чтобы показать, как хищно может схватить (походя) такая рука (походя упомянутая). Потехи ради...

в 21.15 (Коррьентес)

Гомбрович полагал, что имеет право на метафизическую бурю, на космическую катастрофу и трансцендентальный ливень. При условии: не предавать при этом повседневности, не отходить от нее.

Он полагал, что имеет право идти под парусом в открытом море при условии, что его нога ни на минуту не сойдет с твердой почвы — той, что здесь, в Буэнос-Айресе.

в 21.30 (в баре на углу Лаваль и Сан-Мартин)

Спор с Гомесом относительно Раскольников (кто-то из них — то ли Гома, то ли Асно¹⁰ — как раз читает «Бесов»).

Я считаю, что в «Преступлении и наказании» нет драмы совести в классическом, индивидуалистическом, значении этого слова. Это я им и объяснил.

— В начале романа, — говорил Гомес, — Раскольников совершает преступление. В конце романа — добровольно приходит в участок и признается в содеянном. Что же это такое, если не совесть?

Я: — Все не так просто, niños! Присмотритесь получше... повнимательнее...

Раскольников не терзают угрызения совести. В последней главе четко сказано, что он пенял себе в том смысле, что у него «не получилось», — вот что он считал единственным своим прегрешением, и в чувстве именно этой, а не какой-нибудь другой вины склонил он голову перед «абсурдом» вынесенного ему приговора.

Какая же тогда сила, если не совесть, овладела им и заставила его отдаться в руки полиции? Какая? Система. Система отражений, почти что зеркальных.

Раскольников не один — он находится в некоей группе лиц, Соня... следовательно... сестра и мать... друг и другие... таков его мирок. Его собственная совесть молчит, но Раскольникову кажется, что совесть других не станет молчать и что если бы эти другие узнали обо всем, то осудили бы его как преступника. Он для себя самого — туманность, а туману все позволено. Но он знает, что другие видят его детальнее, четче, хотя и поверхностно, и для них суд над ним стал бы возможен. И поэтому он для них стал бы чем-то вроде убийцы. От этого подозрения чувство вины начинает созревать в нем, он постепенно начинает видеть себя глазами других и видит себя отчасти как убийцу. Этот свой образ он вторично мысленно передает другим, а от них к нему возвращается еще более страшное лицо убийцы и осуждение. Но эта совесть — не его, и он чувствует это. Это какая-то особая совесть, возникающая между людьми и усиливающаяся между ними, в этой системе отражений — когда один человек присматривается к себе в другом. Постепенно, по мере нарастания после убийства плохого самочувствия, Раскольников все больше и больше делает их своими судьями, и все ярче и круче вырисовывается перед ним его вина. Но, повторяю, это суд не его совести, это суд отражения, зеркальный суд.

Что касается меня, то я склонен считать, что совесть Раскольникова проявляется только в одном — когда она подчиняется этой искусственной межчеловеческой зеркальной совести, как если бы она была его собственной совестью. В этом вся мораль: тот, кто убил человека, теперь выполняет приказ, отданный человеческим собранием. И не спрашивает, справедлив тот приказ или нет.

в 0.10 (по пути домой)

Мог им сказать. О руке. Не сказал.

в 0.30

Как в нем росла совесть! (Раскольников.)

* Ребята (исп.)

Как во мне эта рука растет!

Подобная паразиту. Теперь вот жирует на том, что я о Достоевском сказал, — не отвяжется, пока не высосет из моих слов... все, что ей надо...

Зачем?

Полип! Высасывает, паразитирует, чтобы строить, строить там, за моей границей... Неустанная!

Я должен кончить эти записки и прямо завтра выслать их, чтобы успели в Париж к шестому.

Шестое — шестое — его еще нет, оно еще только будет, а вот оно — уже здесь... Как и она!

Опять!

в 0.50 (дома)

Где она может сейчас быть? Еще в «Кверанди»? Может, уже отдыхает в какой-нибудь квартире, на какой-нибудь подушке, и спит?

Напрасные надежды. Речи нет о том, чтобы я, пользуясь ее сном, покончил с ней... Чем больше она спит, тем острее чувствует. Чем ее меньше, тем ее больше.

Отметим: когда я впервые увидел ее, в «Кверанди», она казалась такой спокойной... но она становится все агрессивнее... и уж сам не знаю, что смогло бы сдержать ее там, на границах... где заканчиваюсь я.

18.V.63. Берлин

Пишу эти слова в Берлине. Как это получилось? На январь и февраль, самые жаркие месяцы аргентинского лета, я поехал в Уругвай, чтобы затеряться в лесах у океана с моим «Космосом»¹¹, хоть и близким к завершению, но все же раздражающим, потому что финал все никак не хотел вытанцовываться: мне казалось, что его надо толкнуть в какое-то другое измерение — но в какое? Те решения, которые подвергались мне под руку, меня не устраивали. Лес, монотонность песка и волн, выкупанная и улыбчивая уругвайская легкость в этом году были ко мне, к моей работе милостивы, я возвращался с побережья, дрожа от нетерпенья, чтобы дальше упиваться текстом, уверенный, что нарастающая форма сама справится с трудностями. Настал день возвращения в Буэнос-Айрес. За полчаса до отъезда — почтальон. Письмо из Парижа... в котором меня конфиденциально спрашивали, согласен ли я принять приглашение Фонда Форда на годичное пребывание в Берлине.

Не раз случалось мне переживать такие состояния, когда мою голову окутывал слепящий туман, и происходило такое в самые важные моменты жизни. Рождение предпочитает ночь, а если глубинные движения судьбы, предвещающие Большие Перемены, не могут происходить ночью, то вокруг них как будто нарочно создается какой-то хаос, все спутывающий, рассеивающий. Это приглашение в Берлин решало давнюю с привкусом горечи проблему мою — проблему разрыва с Аргентиной, возвращения в Европу, — и я сразу понял, что вопрос снят. Однако тут же возникла смешивающая карты первая трудность: письмо было помечено датой более чем месячной давности (пропадало где-то в недрах почты) и содержало просьбу немедленно ответить (такое приглашение — удача, на которую многие точат зубы). Почему письмо задержалось? Почему они не послали еще одно письмо? Неужели — Боже милостивый! — ничего не получится и я не смогу уехать из этой Аргентины?

На следующий день я прибываю в Буэнос-Айрес и нахожу на столе телеграмму, молящую об ответе. Но и телеграмма — двухнедельной давности; из-за странной путаницы и страшной невезухи одну лишь эту телеграмму из всей моей корреспонденции мне и не доставили. Будучи в полной уверенности, что все зря и что я — о Боже! — останусь в Аргентине, я тем не менее телеграфировал, что приглашение принимаю.

Однако что-то вроде зашевелилось, задвигалось вокруг меня... В эти дни подвешенного состояния вдруг неожиданно проснулись отдельные моменты моего бытия в Аргентине; все выглядело так, как будто окружавшая меня действительность в предчувствии скорой кончины стала ускоряться и напрыглась всем своим естеством... и это ярче всего обозначилось на «молодежном» сегменте, наверное лучше остальных характеризующем мою ситуацию... В эти самые дни они как будто поняли, что такое явление, как я, случается в жизни не каждый день: уже «осуществившийся» писатель с уже известным именем и не завязывающий отношений с лицами старше 28 лет, художник с какой-то специфической эстетикой, с особой гордостью, с презрением и скупой отвергавший всех тех, кто уже сделал свое имя в культуре, и все для того, чтобы лнуть к молодежи, к этим *à l'heure de promesse*^{*}, к приготишкам, к толпящимся в литературной прихожей... Воистину случай, не знающий прецедентов! Я как будто специально нашел их, чтобы как тараном ударить этим старо-молодым в литературный бомонд Аргентины, вышибить двери, разбить в прах иерархии, заварить бучу — а они, эти *blousons noirs*^{**} искусства, эти *iracundos*^{***} (одна из этих групп носила название «Муфадос», другая — «Элефантос»^{****}), полные молодого запала, прилепились ко мне, и мы начали думать, как проникнуть в центральные газеты. Мигель Гринберг, руководитель «Муфадос», спешно подготовил посвященный мне номер своего боевого «журнала» — мобильность, движение, электричество! На все это я смотрел с удивлением... потому что, честное слово, все выглядело так, как будто они точно знали о моем скором отъезде... а ведь они пока еще ничего не знали... С удивлением, но не без удовольствия смотрел я на все это — ибо тем самым я тешил врожденное свое упрямство: несмотря на весь этот Гранд Гиньоль¹², лишивший меня какой бы то ни было весомости в глазах уважающих себя литераторов, я все же — ку-ку! — человек серьезный, представляющий собой некую ценность. А настоящий Гранд Гиньоль моей ситуации рос в те последние дни совершенно немислимим образом: то и дело возникала какая-то эксцентрика, в прессе все чаще появлялись сообщения, что, мол, я — признанный гений, успевший покорить Европу, а Здислав Бау, редактировавший светскую хронику в «*Clarín*»¹³, делал мне рекламу, помещая чудаковатые заметки о том, что «Гомбро» ухлестывает за танцовщицами на модных курортах. Долетела ли эта хохма до европейских салонов мадам Окампо¹⁴ и что об этом могли подумать уважаемые *escritores*^{*****} (если вообще хоть что-нибудь долетало до высот их олимпа)? Может быть, они испытали чувства Макбета, видевшего со стен замка, как к нему приближается зеленый лес... в молодой зелени которого таились фарс, дикость, анархия, насмешка, но все какие-то недоваренные, недожаренные, ниже уровня, можно сказать, из подвала. Я позабыл о Берлине. Все обещало неплохое развлечение, как раз такое, какое мне нравится, — сбивающее с панталыку, вышибающее из седла, нечто несуразное, ни рыба ни мясо.

Вот тогда и получил я письмо из Фонда Форда, официальное письмо о том, что меня приглашают.

На аргентинскую землю я ступил 22 августа 1939 года и с тех пор часто спрашивал себя: сколько еще лет мне здесь осталось, долго ли? — вплоть до 19 марта 1963 года, когда показалась приближающаяся черта. Сраженный кинжалом этого сообщения, я тут же умер — вся кровь вытекла из меня за минуту. Нет меня больше. Все. Конец. Уже готов отправиться в путь. Как будто оборвалось что-то таинственное, соединявшее меня с этим местом.

Этот конец просил понять его, осмыслить, но меня уже захватил и захружил смешивающий все и разбрасывающий по сторонам вихрь: документы,

* Здесь: на пороге жизни (франц.).

** Хулиганы (франц.).

*** Неистовые (исп.).

**** «Mufados», «Elephantos» — «Насмешники», «Слоны» (исп.).

***** Писатели (исп.).

деньги, чемоданы, покупки, завершение дел, — и на все про все у меня было две недели. С раннего утра до поздней ночи гонки на такси и улаживание и довершение дел. Я приканчивал друзей с помощью более не существующей нежности, я рассыпал сантименты, сожаления — лишь бы побыстрее, — завтрак с X, ужин с Y, еще быстрее — не успеваю получить посылки... И вот в это время расставаний начали распускаться нечаянные цветы и созревать неожиданные плоды, расцветали те дружбы, что в течение долгих лет находились в полусонном состоянии, я увидел слезы... но уже не было времени, и все выглядело так, как будто эти чувства не торопились реализовать себя до той самой минуты, с которой я перестал быть реальным. Все на последнюю минуту и все как раз *ex post**. Расскажу один забавный случай: выхожу я в восемь утра, чтобы успеть сделать одиннадцать срочных дел, а тут на ступенях девушка, восемнадцатилетняя красотка, невеста одного из моих студентов, которую он называл «Чемодашкой», потому что с ней, говорил он, я хожу везде, как с чемоданом. «Чемодашка» рыдает, слезы рекой, признается мне в любви. «Не только я, — говорит она, — все мои подружки тоже в тебя влюблены или были влюблены, Витольдо. Ни одна не избежала этой участи!» Вот так за неделю до отъезда я узнаю о стольких завоеванных девичьих сердцах. Забавно, да не слишком: этот нелепый прощальный триумф прошел меня холодным ознобом — выходит, что эти девушки были готовы разделить со мной мою драму? Сколько же раз поражала и пугала меня безумно резкая реакция молодости на мои муки, связанные с ней; это нечто такое, что я ощущаю как болезненную и беспомощную щедрость, воспринимаю как дружески протянутую руку, которая все никак не может дотянуться...

Но не только этими цветами и плодами одарили меня минуты расставания в саду, взлелеянном моей многолетней дремотой; такое скорое, такое неожиданное созревание, а я — аскет, бегаю и утрясаю какие-то мелкие делишки. Все пришло в движение, немислимый темп ускоряющегося времени перед моим отъездом был таким, каким он бывает за пять минут до наступления Нового года: движение, напор, ни за что не ухватишься, все выскальзывает из рук и исчезает, мелькая, как в окне поезда. Никогда я не был в большей степени самим собой и таким рассеянным.

Несмотря ни на что, я судорожно пытался придать хоть какую-нибудь форму моему исходу. Создается своего рода аналогия между этими последними днями и первыми днями тогда, в 1939 году; аналогия лишь формальная, но я ухватился за нее в моем хаосе и нашел немного времени на паломничество к тем местам, которые когда-то были моими. Так, я зашел в большой дом 1258 по улице Корриентес, известный под названием «*El Palomar*»**, где гнездилась разная беднота, где я, больной, без гроша в кармане, пережил, наверное, самый тяжелый период тогда, в конце 1940 года. Я забрался на пятый этаж и увидел дверь моей комнатухи, знакомую плесень, выбоины на стене; сначала рука моя коснулась дверной ручки, потом лестничных перил, в ушах зазвучала прилипчивая мелодия, из прежних лет, из дансинга внизу, нос ощутил давно знакомый запах... Уставившись во что-то невидимое, я на мгновение застыл в ожидании: мне казалось, что мое путешествие в прошлое сможет придать форму и смысл настоящему времени... Нет. Никак. Пустота. Вакуум. Зашел я еще в один дом, 242 по Такуари, где жил в декабре 1939 года, но это посещение оказалось неудачным. Вхожу в подъезд, сажусь в лифт, чтобы ехать на четвертый этаж, к своему прошлому, как влетает портье:

— Вы к кому?

— Я?.. К сеньору Лопесу. Сеньор Лопес здесь живет?

— Никакой Лопес здесь не живет. А почему вы садитесь в лифт вместо того, чтобы спросить у портье?

— Я думал, что... на четвертом этаже...

* Здесь: задним числом (лат.).

** «Голубок» (исп.).

— А откуда вы знаете, что на четвертом этаже, если вы вообще не уверены, что он здесь живет? Вам, собственно, что тут нужно? Вы к кому шли? Кто вам дал этот адрес?

Я сник.

Восьмое апреля. Порт. Портовое кафе. Совсем близко белая громада, которая должна увезти меня; столик перед входом в кафе, друзья, знакомые, приветствия, объятия; ну, держись, не забывай нас, передавай привет... из всего этого лишь одно не было мертвым — мой взгляд, который не знаю почему, но навсегда запечатлел картинку. Я тогда случайно взглянул на воду порта, потом — на камни набережной, увидел фонарь на тротуаре, рядом — столб с дощечкой, чуть дальше — колышущиеся на воде лодки, зелень поросшего травой берега... Вот так и закончилась моя Аргентина — одним мимолетным случайным взглядом в случайном направлении; фонарь, дощечка, вода — все это навсегда осталось во мне.

Я на корабле. Корабль отходит. Берег удаляется, и возникает город, высотные дома медленно заходят друг за друга, скрещиваются перспективы, путаются, хаос простирается на географию — иероглифы, загадки, ошибки. Еще явится предо мною не оттуда, откуда ей положено, «английская башня», что на Ретиро, здание почты. Однако панорама из-за сложности своей сделалась таинственной и сонной, какой-то неприязненной или запретной, обманчивой, город, казалось, злорадно закрывался от меня, так мало знавшего... Лезу в карман. Что такое? Куда подевались 250 долларов, которые я взял на дорогу? Ощупываю себя, лечу в каюту, ищу. Может, в пальто, в паспорте? Нет, нету, черт бы побрал!.. Значит, придется плыть через океан с горсткой оставшихся медяков, которых в сумме наберется доллара на три! Но там, за кормой, целый город уплывает — соберись, не дай никому украсть у тебя эту прощальную картину; несусь назад, на палубу: где-то там, сбоку, на краю водной плоскости, проступали какие-то неопределенные завихрения материи, четко определить которые невозможно, некая туманность, из которой то там, то сям проступали контуры, которые глаз мой больше не воспринимал, как-кая-то плазма с внутренне присущей ей геометрией, но слишком уж сложной... И эту вот сложность, беспрестанно растущую и гнетущую, сопровождал шум воды, разрываемой носом корабля. А вместе с тем 250 долларов владывались в 24 года моей жизни в Аргентине; мгновение раскололось на две части — 24 и 250. О, математика, сама помешанная и смешивающая все карты! Дважды обворованный, пошел я по кораблю осмотреться чуток.

Ужин и ночь как награда за мою большую усталость. Наутро следующего дня вышел я на палубу: шум, волнение, синь неба, глубоко перепаханный океан, бурное цветение пены в пространстве, терзаемом постоянно повторяющимся кошмаром рывков; нацеленный в небо нос «*Federico*» клюет пучину, фонтаны соленых брызг, кажется, он не перестанет клевать, пока за что-нибудь не зацепится... Налево, там, в каких-нибудь пятнадцати километрах, берега Уругвая и горы, не те ли самые, знакомые, что окружают Пириаполис?.. Точно, они. А вот показались белые кубики многоэтажных отелей в Пунтадель-Эсте, и, клянусь, оттуда долетел ко мне какой-то яркий отблеск, из тех, которые посылают стекла автомобиля на повороте. Таким было последнее человеческое слово, сказанное мне моей знакомой Америкой, крик, преодолевший громаду водного хаоса, под громадой небес, которые как заколдованные повышали напряжение всего. Прощай, Америка!

Какая Америка? Та буря, которой нас встретил океан, была не из числа обычных, что называется, не так себе (потом стюард сказал мне, что такой бури он давно не видел): океан поглощал все, ветер не давал дышать, и я знал, что за горизонтом этой безумной пустыни уже прорастает предопределенная нашим курсом Европа; да-да, она уже приближалась, а я все еще не осознал, *что* оставляю у себя за спиной. Какую Америку? Какую Аргентину? Чем же, собственно, стали эти двадцать четыре года, с чем я плыву в Европу? Из всех ожидавших меня встреч одна оказалась самой трудной... я

должен был встретиться с белым кораблем... вышедшим из польской Гдыни в рейс на Буэнос... и с ним я должен был неизбежно встретиться через какую-нибудь неделю в открытом океане... Это был «Храбрый». «Храбрый» из 1939 года, из августа, а на нем — я и Страшевич и Рембелинский, сенатор, и министр Мазуркевич¹⁵, веселая компания... Да, я знал, что мне предстоит встретиться с тем самым Гомбровичем, что плыл в Америку, — я, Гомбрович, отплывающий сегодня из Америки. Меня тогда пожирало ужасное любопытство относительно всего, что касается моей судьбы. В своей судьбе я ощущал себя как в темной комнате, где понятия не имеешь, обо что ты разбил нос. О, сколько бы я дал даже за самый слабый лучик, скользкий по штрихам будущего; и вот сегодня я подплываю к Гомбровичу тех лет, того времени как решение и объяснение, я — ответ. Окажусь ли я-ответ на высоте требований? Смогу ли я хоть что-нибудь сказать тому Гомбровичу, когда «Federico» со своей здоровенной желтой трубой выйдет перед ним на туманные водные пространства, не придется ли мне *прикусить язык?*.

Будет жалко, если на его вопросы «с чем идешь в обратный путь? кто ты теперь?» мне придется отвечать суетливым жестом пустых рук, пожиманием плеч... а то и подобием зевка — «ааах, не знаю, отвяжись!». Качка, ветер, шум, нагромождение волн, сливающихся на горизонте с неподвижным небом, неподвижностью своей усиливавшим текучесть вод, а вдали, слева по борту, приглашением к воспоминаниям маячит американский берег... хватит ли меня на другой ответ? Аргентина! Аргентина! Какая Аргентина? Что это было — Аргентина? А я... то, что есть сейчас, это я?

Пьяный от палубы, все время и сразу во все стороны убегающей из-под ног, одуревший от ветра, я, чтобы не улететь в бездну, вцепился в поручень — а вокруг все зеленые лица, мутные взоры, сутулые фигуры... Отрываюсь от борта и иду, выказывая при этом чудеса эквилибристики... вдруг вижу — что-то лежит на палубе, маленькое такое. Человеческий глаз. Вокруг никого, только на сходнях, ведущих на верхнюю палубу, матрос жевал резинку. Я спросил его:

— Чей это глаз?

Он пожал плечами:

— Не знаю, сэр.

— У кого-нибудь выпал или вытащили, что ли?

— Я не видел, сэр. Он здесь с самого утра лежит. Я бы, может, и поднял его и убрал в коробочку, только не имею права от сходней отойти.

Только я собрался продолжить прерванный путь к каюте, как на сходнях показался офицер.

— Здесь на палубе лежит человеческий глаз.

Сообщение живо заинтересовало его:

— Тысяча чертей. Где?

— Как вы полагаете, он сам выпал или его вытащили?

Ветер уносил слова, и приходилось кричать, но крик срывался с уст и отлетал вдали, безнадежная ситуация, слишком раскачанная; мой поход был прерван гонгом, сзывавшим на завтрак. В обеденном салоне пустоты: всеобщий блев освободил столики от людей, нас всего шестеро смельчаков, наблюдавших танец палубы и немыслимую акробатику официантов. Мои немцы (а меня, к сожалению, посадили вместе с немецкой парой, так же говорившей по-испански, как я по-немецки) не появились. Заказываю бутылку кьянти, и мои 250 снова гвоздем вонзаются в мозг: чем платить по счету, под которым я ставлю подпись? После завтрака посылаю радиogramму друзьям в Париж, чтобы перевели мне на корабль 200 долларов. Путешествую комфортно, у меня отдельная каюта, кухня, как и в свое время на «Храбром», превосходная, живи — не умирай... Не умирать? А что же тогда эта наша поездка, как не поездка к смерти?.. люди в определенном возрасте вообще не должны перемещаться, пространство слишком тесно связано со временем, а возбуждение пространства становится вызовом времени, его провокацией, весь этот океан, он в

большей степени соткан из времени, чем из безграничности дали, это — бесконечное пространство по имени смерть. Все равно.

Размышляя над 24 годами моей жизни в Аргентине, я без труда уловил довольно четкую архитектуру, симметрии, достойные внимания. Так, например, эти годы раскладываются на три периода, по восемь лет каждый; первый период — нужда, богема, беспечность, праздность, второй — семь с половиной лет в банке, жизнь клерка, третий период — скромное, но независимое существование, рост литературного престижа. Прошрое я мог бы поделить и по таким категориям, как здоровье, финансы, литература... или упорядочить его в каком-то ином разрезе, например с точки зрения изменявшегося во времени содержания проблем моего существования. Но как зачерпнуть суп жизни дырявой ложкой этой статистики, этих графиков? Да что там говорить: в одном из моих чемоданов была папка, а в папке той кипа пожухлых листков с хронологией месяц за месяцем моей жизни... Заглянем, например, в апрель 1953-го, десять лет тому назад, и посмотрим, что там было. «Последние дни в Салсипуэде. Пишу Сенкевича¹⁶. Окампо и прогулка до Рио-Себалос, возвращение ночью. Читаю „Поработенное сознание”¹⁷ и Достоевского. 12-го возвращение в Буэнос-Айрес поездом. Банк, скука, Завадская¹⁸, жуть, письмо Гедройца¹⁹, что книга не идет, но он хочет еще что-то издать. У Грохольских и Гродзицких²⁰. „Банкет” в „Ведомостях”²¹...» и т. д., и т. д. Ну, помог я моей памяти прогуляться туда-сюда по прошлому — и что с того? Что делать, спрашиваю я, с этой литанией перечислений, как переварить эти факты, если каждый из них распадается на муравейники мельчайших событий, которые, в свою очередь, в итоге превращаются в состоящую из миллиардов и миллиардов капель дымку испарения, растворенную в непрерывности, что-то скорее похожее на звук... как тут вообще можно говорить о фактах? И тем не менее именно теперь, когда по завершении всего я плыл в Европу, меня тиранила мысль, что я обязан сохранить прошлое, успеть схватить его здесь, в шуме и смятении моря, в беспокоестве вод, в безбрежном и глухо тающем их разливе, — я, наедине с моим переходом через Атлантику — не остаюсь же мне, на самом деле, всего лишь бессмысленным клокотаньем хаоса, подобному этим волнам? Мне стало совершенно ясно, что это не вопрос интеллекта и даже не вопрос сознания, а всего лишь вопрос страсти.

Быть страстным, быть поэтом по отношению к ней, к Аргентине... Она привлекла меня к себе до такой степени, что (теперь-то я в этом уверен) я был в нее глубоко и навсегда влюблен (а в моем возрасте такие слова не бросают на океанский ветер), и вот еще что: хоть убей, не смогу сказать, что меня обольстило в этой скучной пампе, в привычно мещанских городах. Ее молодость? Ее «низкое» (ох, сколько же раз в Аргентине меня посещала мысль, одна из моих главных и будоражащих, мысль, что «прекрасное — это низкое»)? Но хоть эти и им подобные явления, поддержанные дружески-невинным взглядом, лучезарной улыбкой и некоторой киношностью, полной цвета, жары и испарений, сыграли, как известно, немалую роль в том, что я подпал под очарование Аргентины, страна была стократ богаче. Старая? Да. Треугольная? И это тоже. А еще квадратная, синяя и кислая в спирали, горьковатая, разумеется, но также и внутренняя и немного как блеск на ботинке, тупая, как столб или ворота, также вроде черепахи, утомленная, исковерканная, полая, как дупло или русло, шимпанзистая, сожранная, извращенная, софистическая, обезьянья, скорешенная с сэндвичем, похожая на пломбу в зубе... ох и пишу — все, что под перо подвернется: что ни скажи — все подойдет к Аргентине. *Nec Hercules*... Двадцать миллионов жизней во всевозможных комбинациях — это много, слишком много для одной отдельной жизни. Мог ли я знать, что конкретно из всей этой массы переплетенных жизней так меня зацепило? Может, то, что я оказался без денег? Что потерял имевшиеся у меня в Польше привилегии? Что эта американская латинскость каким-то образом дополнила мою польскость? А может, это южное солнце,

леность формы или тамошняя брутальность, грязь, низость... не знаю... Более того, не соответствовало истине утверждение, что я якобы был влюблен в Аргентину. Я вовсе не был влюблен в нее. Точнее говоря, я только *хотел* быть влюбленным в Аргентину.

Te quiero. Вместо того чтобы сказать «я тебя люблю», аргентинец говорит «я тебя хочу». Вот я и медитировал (все еще в океане, колышимый кораблем, болтавшимся по волнам), что любовь является волевым усилием, огнем, который мы разжигаем в себе, потому что мы так хотим, потому что хочется быть влюбленным, потому что нельзя вынести того, что ты не влюблен (кошмар моего словесного нагромождения отражает известное неудобство, заключенное в самой ситуации)... Нет, не то чтобы я любил ее, я лишь хотел быть влюбленным в нее, и, очевидно, мне было крайне необходимо не приближаться к Европе иначе как в состоянии страстного опьянения Аргентиной, Америкой. Наверное, я не хотел на старости лет появляться в Европе без той красоты, которую дает нам любовь, и, возможно, боялся, что отрыв от того места, которое я напитал собой, переселение в места чужие, мною не разогретые, обеднит меня, охладит и убьет, — вот почему я жаждал быть страстным в Европе, охваченным страстью к Аргентине, и дрожал перед той единственной предстоявшей мне встречей (в открытом океане, в сумерках, а может, на утренней заре в затянутом туманом проселенном пространстве) и ни за что не хотел прибыть на это рандеву с пустыми руками. Судно упрямо шло вперед. Вода то поднимала, то опускала его. Дул ветер. Я чувствовал себя не в своей тарелке, не знал, что делать: я хотел любить Аргентину и проведенные в ней мои двадцать четыре года, но не знал, как...

Любовь — это достоинство. С высоты моих лет мне казалось, что чем больше биологическая катастрофа, тем больше нужен всепожирающий огонь страсти: лучше сгореть заживо, чем отдаться постепенному трупному окоченению; страстность (теперь я знал это) больше нужна старости, чем молодости. Опускается ночь. Опустилась. Кромешная. Слева по борту где-то вдали едва различимые огни маяков бразильского берега, а здесь, на палубе, — я, устремленный вперед, беспрепятственно несущийся через водную пустыню в каком-то непонятном броске... Бесконечность клокочущей, грохочущей, взрывающейся брызгами пустоты, которую невозможно ни вычленишь, ни ухватить, пустоты, сотканной из вихрей и водоворотов, монотонной на всем видимом пространстве: и здесь, и там, и подальше, и совсем далеко. Напрасно до боли напрягаю я взор — ничего не видно, за стеной ночи безостановочное перетекание одного в другое, все тонет и тает; я знал, что там, внизу, за темнотой, — только бесформенность и движение, передо мной — всего лишь несущественное пространство, вверху — усыпанное роем бесчисленных звезд небо, ни вычленишь, ни ухватить... И все-таки я пытался напрячь зрение. Напрасно. А впрочем, имел ли я право видеть, я — такой же водоворот в этом всеобщем водовороте, всеми давно забытый, затерянный, замученный страстями, болями, которых я прежде не знал; как же можно после двадцати с гаком лет быть всего лишь переливающейся водой, пустым пространством, темной ночью, необъятным небом... быть слепой стихией, быть не в состоянии прийти хоть к чему-нибудь в себе самом. О, Аргентина! Какая Аргентина? Никакая. Провал. Даже хотеть я не могу: любая возможность хотения исключалась чрезмерностью всепарализующей текучести, любовь перетекала в нелюбовь, все сливалось друг с другом, пора идти спать, уже поздно, человеческий глаз, откуда взялся он на палубе?.. А может, мне это показалось? Как знать, в конце концов, все равно, был глаз или не было его, да и зачем, скажи, играть в формальности, стоит ли у явления спрашивать паспорт, что за буквоедство... а если у тебя не получается видеть, лучше засни.

*

Когда взрослый человек отходит от молодости, ничто не в состоянии сдержать в нем растущей искусственности.

У взрослых людей общение — все равно с кем — происходит с помощью набора условных знаков, оно подобно телефонной связи, исключая непосредственный контакт. Условный рефлекс — вот и весь секрет! Чтобы у павловской собаки текла слюна, ей не обязательно показывать мясо, достаточно дать звонок. Если вы хотите, чтобы они выказали восхищение, прочтите им стихотворение Кокто или покажите Сезанна — тотчас же восхитятся, у них это вызовет ассоциацию с прекрасным, у них потечет слюна, если точнее — их руки начнут выделять аплодисменты.

В этом магическом мире, полном знаков, символов, лозунгов, ритуалов, церемоний, формул, жестов, со мной бывали поистине странные случаи.

О том, что в Париже трудно с говореньем, я прекрасно знал еще до приезда туда, это было видно по их книгам, все более и более лишавшимся языка... но я не полагал, что до такой степени трудно! На второй или третий день после завтрака с Брезой²² я оказался на ужине с парой писателей... полный предвкушения — ведь то были звезды первой величины! Связанные с вступительной фазой, условные рефлексы проявились без задержки: приветствия, знаки вежливости, комплименты — пока разговор находился в рамках этого рефлекса, все шло как по маслу; на рассказанный анекдот смеялся я, смеялись и они. Но в конце концов, утомленными подопытными собаками, уже давась ими, буквально взявшими меня за горло и пытавшимися перегрызть мне гортань, вывшими в беспрестанных муках своего *qui pro quo*^{*}, я захотел что-нибудь сказать... Боже милостивый, неужели грех мой так велик; я ведь просто сформулировал, с позволения сказать, мысль... о жизни или об искусстве... как это не раз случалось со мной в кафе «Фрегат», в Буэнос-Айресе. Воцарилась тишина. Они предались исключительно еде и молчали; молчание и еда заняли все оставшееся время нашего симпозиума. Я обалдел: в чем, думаю, дело, не обиделись ли... но на следующий день я был на ужине у Владимира Вейдле²³ и рассказал ему все, на что он мне: а в Париже не разговаривают... в Париже говорят лишь затем, чтобы ничего не сказать... и привел в качестве примера ежегодный банкет жюри Гонкуровской премии в одном весьма недурном ресторанчике, где говорили исключительно о блюдах, чтобы, не дай Бог, чего не сказать об искусстве...

Дело ясное, если мужчина загубит в себе юношу, где ему взять тогда хоть немного легкости, ту силу, которая смогла бы удержать его от постоянного прибавления в весе? То же самое и с ними: в их речь влезла какая-то безумная трудность — они, может, и хотели бы сказать что-нибудь, да не могут, слишком трудно, слишком глубоко, слишком высоко, слишком тонко... вот каждый молчанием и отделяется от трудности своей. На приеме у графини встречаю Бютора²⁴, говорю ему, что, мол, рад, что вместе будем в Берлине, что тогда всласть наговоримся-наспоримся, да вот хоть бы на тему *nouveau roman français*²⁵. На что вместо ответа вождь авангарда зычно рассмеялся. И был тот смех хоть и вежливым, но отстраненным, совершенно герметичным, смех банки сардин в пустыне Сахара... Боже милосердный!

Гений Парижа постоянно пребывает в лихорадочной деятельности, произведения и идеи рождаются в лоне самого смелого из городов, несущегося впереди всех сегодня, как и много веков назад; тем не менее я сказал бы, что между городом и его жителями развилось какое-то болезненное, неправильное отношение, у них гений каким-то образом превращается в антигения, их собственная смелость как бы лишает их смелости, отвага — тревожит их, бунтарство — делает покорными, незаурядность вторгается в посредственность... и вот так ходят вокруг своего Духа, как парубки вокруг коровы, хозяйничают, доят и молоко продают. Оно конечно, Париж, дворец, но они произвели на меня впечатленье дворцовых слуг...

...дворцовых слуг. В Париже, в этом городе собак, которым стоит только услышать звон колокольчика, как у них начинается слюноотделение, судьба

* Здесь: неразбериха, сумбур (лат.).

одарила меня извращенными превратностями. Возвращаюсь я, значит, как-то раз ночью из одного гурманского бистро, с добрым вином в голове, и вижу открытые ворота дворца, увитого пречудесным барокко, и думаю... войти, что ли... ну и вошел... а там — залы, лепнина, плафоны, гербы, позолота. Тут вдруг входит человек мелкого сложения, одет прилично, но так скромно, что я подумал — наверняка мажордом или камердинер. Попросил я его тогда, чтобы он меня по залам поводит, а он жену зовет, сыновей, сначала один выходит, потом и второй сын вышел, потом и третий, вежливо все мне показывают, где пыль какая — вытирают, сдувают, пальцем скульптур касаются, картин, обмахивают, стряхивают... и только когда я у выхода в карман полез за чаевыми, говорит он мне: о нет, я — князь, а то — жена моя, княгиня, а вот и сын мой — маркграф, этот — граф, а этот — виконт. Прощались мы в молчании, которое стояло как вода в бочке.

Вышел я на улицу, долго по разным улицам ходил, пока наконец среди каких-то статуй не оказался, там, где сад Тюильри. В ночном свете меня окружила их нагота — мягкая и изгибистая, гнущаяся и гибкая, искусная, стройная, тонкая... разве что каменная, совершенно хладно-застывшая; парадокс, признаться, ибо — недвижимое движение, мертвая жизнь, твердая мягкость, холодное тепло — и все это мертвое живет в переливах полуночного света... Думаю, что за притча, что за парадокс... и вдруг этот парадокс как начал расти да пухнуть, что сам себя перерастает... я тогда подумал, что лучше мне на нем долго не задерживаться здесь, среди статуй, отойду-ка я лучше... Ну и пошел я оттуда, сперва тихо пошел, потом побыстрее, да только статуй больно много, каменный лес... петляю, кружу... и вдруг как вкопанный останавливаюсь. Собаки передо мною! Смотрю, а то был мраморный Актеон, который только что увидел нагую Диану, а теперь убегает... а собаки — за ним, ощерились, клыки кажут, того и гляди — догонят, загрызут!..

Вот жуть! Смертный грех смельчака, псами затравленного, убегающего, оставался абсолютно неподвижным... И все продолжался, продолжался, бесконечно уходя в вечность, как скованный льдом ручей. И вот тогда перед лицом окаменевшего греха завыл Павлов... завыл глухо в недвижности ночи, донося свой вой до парижских предместий. А я пошел домой.

Пятница

«Он не представляет, сколь растлевающей оказалась тяжесть растущего „я“, все больше и больше примешивающегося к его отношению к миру! Кроме физического недомогания, о котором он вспоминает, когда хочет найти оправдание, почему он так мало написал, существует и другого рода немощ, возможно более серьезная: он, в сущности, не знает, что делать с тем Гомбровичем, который с определенного времени начал появляться в иностранных газетах, — международный, европейский, уже (почти) мировой. Немощ тем более унижительная, что проблема здесь типично гомбровичевская: *что* как тема и проблема в большей степени его, чем это разрастание личности на дрожжах славы? Именно оно усугубляет его беспомощность, т. к. обязывает, и негоже ему со столь личной, так глубоко пережитой проблемой вступать на кем-то уже утопанные тропинки, именно здесь он должен найти и дать абсолютно оригинальный ответ на вопрос „как быть великим?“. Ну конечно! Не будет же он прибегать к уже известным и даже избитым „решениям“ величия; не для него, например, аффектированное мастерство Анатоля Франса, не годится для него и по-мужицки простодушное, хитрое и страстное величие Достоевского... а впрочем, оно ему совершенно чуждо. А Олимп Гёте? А Эразм, а Леонардо? Толстой из Ясной Поляны? „Метафизический дендизм“ Джерри и Лотреамона? Тициан или По? Кьеркегор или Клодель? Ничего... ни одна из этих масок, ни один из этих пурпурных плащей... нужно разжиться чем-то своим... вот только в чем загвоздка: славой, этой старой б... — одной из самых безотказно действующих приманок искусства, — пользовались уже тысячу раз, причем самыми разными способами. Она бывала и патетической и

смиренной, шутовской и циничной, страстной и грубой, христианской, языческой, и лиричной, и сухой, и математической... И каждая из этих старых одалисок танцевала свой танец на свой манер».

«Изо всех типов славы, величия, предложенных столькими мастерами, ему ближе всего, возможно, был тот, который за всю свою многолетнюю карьеру выработал Томас Манн. Манну удалось, в соответствии с духом своей эпохи, теснее, чем кому бы то ни было, связать величие с болезнью, гений с упадком, возвышенное с унижением, почет со стыдом, он подошел к безумному сопряжению противоречия с вызывающей доверие искренностью... и вместе с тем отнесся к этому постыдному противоречию не как к заслуживающему отвращения и осуждения, а как к чему-то страстному и опьяняющему и даже в такой степени достойному любви, что отвратительный и смешной, великий художник в манновской трактовке одновременно и прекрасный, и привлекательный... как возлюбленный. Эта манновская „справедливость“ в разложении света и тени, эта глубокая интеллигентность в понимании проблемы, несказанно понравилась Гомбровичу, имеющему привычку в разговорах часто ссылаться на этого автора и на его прекрасный по рисунку рассказ „Тонию Крюгер“, из которого он, Гомбрович, заранее узнал свою судьбу и свое призвание. Однако с течением лет ему становилось все яснее, что эта искренность, честность, ясность Манна были всего лишь кокетством и еще одним культурно-историческим протаскиванием — под видом искренности и даже смирения — оснований для похвалы себе самому. Действительно, этот смелый разрушитель мифа „здорового“ и „естественного“ величия, этот обличитель грязи и нужды разрушал и обличал, как позже оказалось, только ради того, чтобы обеспечить себя более солидным фундаментом под памятник, в еще большей степени строящимся на реальности и на сознании. И вот, по мере нарастания манновского труда, рядом со срывающим маски революционным разрушением, все явственнее проступала тяжеловесная риторика с преувеличенным достоинством, кокетничающая мастерством, величественная, пурпурная, как кардинал. Ах ты Манн, старая шлюха, — ну и кокетка из тебя!»

«Что было делать Гомбровичу? Можно ли было, опираясь на Манна, преодолеть его, стать новым Манном, Манном на шаг дальше? На целое поколение современнее? Короче говоря, должен ли был Гомбрович по отношению к Манну сыграть ту же самую роль, какую Манн сыграл по отношению к своим предшественникам? Диалектически разрушить его величие с тем, чтобы построить свое, новое, на более высоком этаже сознания? Наш кандидат в мастера с этой точки зрения не был лишен козырей, суливших блестящий успех: у него была новая искренность и даже новое бесстыдство, шедшие от его лозунгов, провозглашавших всеобщий разлад между человеком и его формой и в результате дававших возможность подойти к этим проклятым вопросам с невиданной до сих пор свободой. Он мог бы в этом дневнике, допустим, описать, как оперяется, как входит в историю, как превращается из серого авторишки в личность, так описать, как будто речь идет не о нем, как будто этот триумф был всего лишь навязыванием новой и не слишком удобной „формы“ — „сделанной для него“ и даже „портящей его“. Становиться великим? Как это? Какое чувство при этом испытывает человек? Как он может так раздваиваться и какое из его лиц является более истинным? Он мог бы доказать (топя Манна), что величие всегда неаутентично, то есть что человек не в состоянии осуществить себя в этом высшем измерении, даже если его способности в высшей степени достойны славы и восхищения. Исповедуясь во всех мелочах своего величия с совершенно неслыханным бесстыдством, наводя скуку, мучая, дразня своим разрастанием, мог свои излияния превратить в первоклассный литературный скандал, а себя — в уникального шута, разыгрывающего величие. Что в итоге полностью совпало бы с его философией формы и, видимо, обеспечило бы ему довольно оригинальное место в истории культуры XX века».

«Наверняка интересная и благодарная задача! Потому что она вовсе не означала, что он должен аскетически пренебрегать величием — совсем напротив, у него появлялась возможность со всем сладострастием предаться величю, тешить себя им, упиваться, кичиться — ибо с того момента, как только он перестанет отождествляться со своим величием и станет трактовать его как нечто случайное, величие потеряет свой интимный и застенчивый характер. Самореклама тоже становилась допустимой, ибо как избежать ее, когда поднимаешь такие темы, и это, в конце концов, было не просто приятным, но и благоприятным. Гомбрович не был настолько наивным, чтобы не понимать исключительных артистических плюсов свободного публичного сожительства с величием, — читатель ведь любит блеск, он предпочитает роман о королях, князьях или великих артистах, сапожники или мелкие чиновники мало интересуют его, он в своих мечтах аристократ; и, как мы уже сказали, величие, эта старая б...лудница, — весьма действенная и сексапильная приманка для господ в возрасте, с лавровым венком на висках».

«...Гомбрович мог реально улучшить манновскую проблематику — с одной стороны, еще больше компрометируя величие, а с другой — отдаваясь ему с несравненно большим бесстыдством и без той „верхней ноты маэстро“, которая стала слабостью Манна. И все же что-то продолжало мешать... что? Прежде всего на практике (т. е. когда наш автор принялся в „Дневнике“ осуществлять эту программу, помещая поначалу мелкие и сдержанные упоминания о своей славе) оказывалось, что этикет, запрещающий пишущему *бахвалиться* и утверждавший, что такого рода информация *наводит скуку*, исключительно трудно переломить, значительно труднее, чем если бы речь шла об обычных гомбровичевских рассуждениях о своей персоне (что, впрочем, также вызывало массу протестов). Почему люди реагировали так отрицательно? Ведь все должно было быть наоборот. Успех, слава, везение, растущий престиж — то же лакомство, рядовой читатель обожает такой блеск в придуманных от „а“ до „я“ романах, так почему же не в настоящем дневнике, описывающем реальную судьбу, являющемся автобиографией? И ведь как явственно ощущались злоба, неприязнь, скука, даже неподдельная застенчивость... так ощущались, что как будто читатель на самом деле *не хотел об этом слышать*».

«Еще более странно, что читательская неприязнь находила отклик во внутренней неприязни самого автора — неприязни, которую невозможно было обосновать, ибо откуда взял Гомбрович столько духовной свободы? Однако это было сопротивление... своего рода недовольство собой, иногда походившее на угрызения совести, а иногда — на раскаяние... обиду, скуку, досаду и боль, и все они советовали: „Не берись ты за это, оставь, не лезь, пусть уж будет как есть“... Что же произошло? Откуда эта трудность? Протест шел не от интеллектуальной критики, он был реакцией гораздо более спонтанной... это было так, как будто Гомбрович, уничтожая свое величие, уничтожал свой сон о себе времен молодости и как будто окончательно ликвидировал любимый юношеский „проект“, касавшийся своего собственного будущего. Поэтому здесь препятствием становилось что-то очень личное, лирическое, исповедальное, что-то связанное (внимание!) с молодостью и что-то очень застенчивое, как любовь. Дело принимало крутой и болезненный оборот... Это была отнюдь не интеллектуальная проблема, здесь было что-то из области, может быть, религии, а может быть, и любви... Любовь? Молодость? Возможно ли было, чтобы от Манна, столь упоенного идеями Фрейда и более близкого к Фрейду, чем к Шопенгауэру, ускользнула истинная интерпретация того комплекса стариков, который зовется величием? А если это так... то что здесь осталось недосказанным?»

«Хорошо, — думал Гомбрович, — хорошо... Манновский мастер привлекателен для ученика. Ученик „любит“ мастера. Если на ранней фазе развития привлекает, восхищает обыденное, то необычное, выдающееся привлекает на более поздней стадии... Но если это так, если исключительность при-

влекательна, то почему она проявляется под видом силы, а не слабости? Ведь — и это истина, о которой не следует забывать, — только слабость и несовершенство чаруют, и никогда сила и совершенство. А Фрейд и Манн действительно сумели обнаружить всю сопутствующую величю биологическую нищету, извращения, болезни великого мужа, но то, что определяет величие, что мы называем гением, талантом, олимпийской искрой, пламенем Синая, это в них прозвучало мощно, сверкая блеском Совершенства и Зрелости...»

«А это не соответствует истине (продолжал он думать). Несовершенство не является чем-то таким, что сопутствует величю, возвышенности, оно — всего лишь их *quid*, вещество. Величие — скажем наконец — это несовершенство!»

«Безумец! Безумец! Он снова вскочил на своего конька! Его склоненное над бумагой лицо приобрело драматически-напряженное выражение, он искал что-то такое, что, возможно, было слишком трудноуловимым... а может, истина его заключалась в погоне, а не в добыче... Ах, как же прозрачно и ладно все выходило по его теории: чем таким был так называемый великий человек, если не продуктом неустанного думания, искусственного выпячивания зрелости, тщательного сокрытия своих недостатков, старательного приспособления к другим выдающимся, которые творили те же самые фальсификаты, и разве величие, как и все остальные проявления культуры, не было „межчеловеческой” производной? Но в таком случае тот, кто возвеличивался в сфере общественной жизни, в *личном плане* должен был всегда быть ниже... и именно здесь величие, исключительность, достоинство, мастерство становились несовершенными, незрелыми... тайно породненными со всем молодым... Стало быть, мастерство всегда было небрежностью! Всегда было слабостью и очарованьем! Да! Да! Но почему тогда он, Гомбрович, не мог найти для этой теории практического эквивалента, почему эта мысль становилась невыносимой, когда он пытался вдохнуть в нее жизнь на страницах „Дневника”?»

«Все четче и четче вырисовывалось перед нашим кандидатом в мастера, что его формулы не исчерпывают жизненного смысла этих вопросов... „пустого” смысла, может, „извращенного”, а может, и „противоречащего самому себе”... Великий Боже, кто сможет найти нужное слово для мысли ускользающей, убегающей!.. Становилось все очевиднее, что нельзя слишком раскрывать секреты кулис того представления, в котором ты сам участвуешь, — здесь игра была слишком захватывающей, а кокетство слишком существенным, важным... основательным... поглощающим...»

«Он искал. Все выискивал какое-то „решение”. Тем временем в „Дневнике” он отказался от лобовой атаки на трудные вопросы, а еще — от поисков нового, собственного жанра величия. Решил подождать... Присмотреться, как в конце концов будет с этим его величием и какой вид оно в итоге примет: то ли трудное и непонятное для толпы аристократическое величие, обреченное на узкий круг посвященных, то ли более приземленное... Единственное, на что его пока хватило, это на включение в „Дневник” „второго голоса” — голоса комментатора и биографа, — что позволяло ему говорить о себе как бы чужими устами: „Гомбрович”. Он считал это важным открытием, безгранично усиливавшим холодную искусственность его излияний и к тому же — открывавшим путь большой искренности и страсти. И это было чем-то новым, чего он пока не видел ни в одном из ранее читанных им дневников».

«Действительно, интересное новаторство. И может быть, более важное, чем это могло бы показаться на первый взгляд. Гомбрович давно уже заметил, что великий стиль не только велик, но и постоянно тычет пальцем под ребро, нашептывая при этом: смотри не прозевай, я ведь великий. Великий стиль имеет своего собственного церемониймейстера, а еще — лектора и комментатора. К тому же деление на голоса шло от структуры стиля и имело глубокие корни в действительности. А к тому же какая прекрасная возможность говорить о себе в первом и в третьем лице одновременно! Ибо тот, кто

говорит о себе „я”, обречен слишком много недосказать, слишком сильно все извратить, а тот, кто о себе говорит „он” и пытается подойти к себе в описании со стороны, тоже оперировал бы только частью правды. А стало быть, переход от „я” к „Гомбрович” может (постепенно, по мере „совершенствования” и углубления этой практики) привести к любопытным результатам».

«И даст возможность хвалить и разоблачать себя одновременно».

Вторник

Сегодня я проснулся в блаженном состоянии оттого, что не знаю, что такое литературная премия, что мне неведомы официальные почести, пиетет публики и критики, что я не «наш», что я вошел в литературу силой — дерзкий и насмешливый. Я — *self made man** литературы! Многие стонут, как трудно им приходилось вначале. А я дебютировал три раза (раз перед войной, в Польше, раз в Аргентине²⁶, раз — по-польски — в эмиграции), и ни один из этих дебютов не пожалел для меня унижений. Благодарю Всевышнего, что вынул меня из Польши, когда моя литературная ситуация начинала улучшаться, и забросил меня на Американский континент, в чужой язык, в одиночество, в свежесть анонимности, в страну, изобилующую коровами, а не искусством. Лед равнодушия — как хорошо он консервирует гордость!

Благодарю Тебя, Всевышний, также и за «Дневник». Одним из наиболее драматичных моментов моей истории оказался момент десятилетней давности, когда появились первые страницы «Дневника». О, как я тогда трепетал! Тогда я расстался с гротескным языком моих произведений, точно панцирь снял — таким безоружным ощущал я себя в дневнике, такой страх меня охватывал, что в простом слове я покажу себя тускло. А не было ли это четвертым, самым опасным из моих дебютов? Зато потом! Какую же уверенность я ощутил, когда оказалось, что могу комментировать себя — ведь мне только и нужно было превратиться в своего собственного критика, толкователя, судью, режиссера, отнять у иных мозгов право выносить приговоры... именно тогда и реализовалась моя независимость!

Многим я обязан нескольким поддерживавшим меня писателям, начиная с известного сегодня Бруно Шульца²⁷. Но стоило мне расписаться в «Дневнике», как я почувствовал, что перо — у меня в руке; это чудесное ощущение, которого не дал мне ни «Фердыдурке»²⁸, ни другие художественные произведения, писавшиеся сами из себя... как будто вне меня... С этого момента перо начало мне служить... Это было так, как будто я шел вместе с моим искусством даже там, где оно погружалось в иные существа, становясь враждебным мне.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Бедуин — прозвище одного из аргентинских знакомых Гомбровича.

² Джиангранде Алиция — полька, жена итальянца Сильвио Джиангранде, принимавшая Гомбровича в своем поместье Хурлингем под Буэнос-Айресом.

³ Скровачевский Станислав (род. в 1923) — польский дирижер, композитор.

⁴ «Situations» («Ситуации» — *франц.*) — общее название девяти выходивших в разные годы (1947 — 1972) книг избранной публицистики Ж.-П. Сартра.

⁵ Гейзенберг Вернер (1901 — 1976) — немецкий физик-теоретик, один из создателей квантовой механики, лауреат Нобелевской премии за 1932 год.

⁶ Sandauer — Сандауэр Артур (1913 — 1989), польский историк и теоретик литературы, критик и публицист.

⁷ Пани Реня — очевидно, сестра Гомбровича Ирена.

* Букв.: человек, сам себя сделавший (*англ.*).

⁸ Рихтер Рудольф — переводчик произведений Гомбровича на немецкий язык.

⁹ «Essais et conférences» — очевидно, название французского издания сборника эссе и интервью Мартина Хайдеггера.

¹⁰ Гома — Хуан Карлос Гомес, Асно — Хорхе ди Паола, аргентинские знакомые Гомбровича, молодые люди.

¹¹ «Космос» — роман Гомбровича (1963).

¹² Гранд Гиньоль — пьесы, спектакли, сценические приемы, в основе которых изображение злодейств, избиений, пыток и т. д. Термин произведен от Гиньоля, персонажа французского театра кукол наподобие русского Петрушки.

¹³ Бау Здислав — поляк, журналист, писавший в «Clarín» под псевдонимом Пат Леруа; «Clarín» («Горн» или «Горнист» — *исп.*) — аргентинское периодическое издание.

¹⁴ Окампо Сильвия — аргентинская меценатка, на деньги которой был издан испанский перевод пьесы Гомбровича «Венчание».

¹⁵ Страшевич Чеслав, поэт, Рембелинский Ян, Мазуркевич Владислав — попутчики Гомбровича во время плавания в Аргентину на лайнере «Хробрый» в 1939 году. Фигурируют под своими именами в романе Гомбровича «Трансатлантик».

¹⁶ «Сенкевич» — эссе Гомбровича, опубликованное в 1953 году в издаваемом в Париже на польском языке ежемесячнике «Культура».

¹⁷ «Порабощенное сознание» — книга польского писателя, лауреата Нобелевской премии за 1980 год Чеслава Милоша.

¹⁸ Завадзкая-Рыттель Хелена — сотрудница Польского банка в Буэнос-Айресе, где Гомбрович работал в 1947 — 1955 годах.

¹⁹ Гедройц Ежи (род. в 1906) — литератор, деятель польской эмиграции, главный редактор ежемесячника «Культура». Проживает в Париже.

²⁰ Грохольские, Гродзицкие — семьи польских эмигрантов, знакомые Гомбровича по Буэнос-Айресу.

²¹ «Банкет» — рассказ Гомбровича, вошел в сборник «Бакакай», впервые опубликован в 1953 году в издаваемой в Лондоне на польском языке газете «Литературные ведомости».

²² Бреза Тадеуш (1905 — 1970) — польский писатель, критик, журналист.

²³ Вейдле Владимир Васильевич (1895 — 1979) — русский критик, историк искусства, публицист, поэт.

²⁴ Бютор Мишель (род. в 1926) — французский писатель, литературный критик, эссеист.

²⁵ Nouveau roman français (новый французский роман — *франц.*) — литературное направление 50 — 60-х годов, представители которого: Н. Сарротт, А. Роб-Грие, М. Бютор, К. Симон, К. Мориак и другие — при общем несходстве личных творческих установок объединялись на почве убеждения в исчерпанности традиционного романтического повествования и интенций к преобразованию структуры прозы.

²⁶ Имеются в виду переводы произведений Гомбровича на испанский язык, вышедшие в Аргентине.

²⁷ Шульц Бруно (1892 — 1942) — польский писатель.

²⁸ «Фердыдурке» — первый роман Гомбровича (1938).

Перевод с польского и примечания Ю. В. Чайникова.



ПУБЛИЦИСТИКА

ИГОРЬ МИХАЙЛОВ

*

ВЫТЕСНЕНИЕ

Информация превращает народы в человечество — эта емкая и точная формула приобретает особую актуальность для стран и народов в постсоветском пространстве. Жившие в едином государстве народы говорили помимо своих родных языков и на едином общем русском языке, имели единое информационное пространство. Оно было необходимо не только тоталитаризму для пропаганды, но и многонациональному государству для повседневного функционирования.

С образованием Содружества Независимых Государств предполагалось, что сотрудничество уже на новых началах будет развиваться, а границы останутся прозрачными. Россия, во всяком случае, предполагала, очевидно, именно это. Но в результате парада суверенитетов возникли и границы, и таможни, а тесные интеграционные связи стали рваться. Сегодня у России отношения складываются порой более конструктивно с «дальним зарубежьем», чем с некоторыми бывшими республиками СССР. Чтобы поехать на Кипр, к примеру, въездная виза не требуется, а чтобы навестить родных в Литве или Эстонии, она совершенно необходима, да еще в некоторых случаях в ней отказывают без всякой мотивировки. И это в наши дни, когда многие страны отменяют пограничный паспортный контроль.

В последние годы резко ослабли культурные и информационные связи бывших союзных республик с Россией. И причина тому — не только материальное оскудение, но и сознательная политика власть имущих, прямо скажем, дискриминационная по отношению к русским источникам информации и русскому населению своих стран.

Около тридцати миллионов русских оказались за пределами современной России. Их положение с каждым годом труднее. Лишенные помощи родины, они не в состоянии поддерживать прежний уровень образования и культуры. Закрываются русскоязычные школы, театры, газеты, журналы, прекращаются трансляции теле- и радиопередач на русском языке. Часто без вины виноватые, в странах «ближнего зарубежья» они постоянно на подозрении и воспринимаются как бывшие «оккупанты».

Больше всего наших соотечественников живет на Украине, народ которой мы, естественно, считаем братским, славянским. Но в последние годы политические реалии в этой стране характеризуются удивительными метаморфозами и зачастую открыто недружественными в отношении России заявлениями и действиями; хмель суверенитета и независимости не прошел еще у многих украинских политиков. Киев все откровеннее ориентируется на Запад, демонстративно игнорируя реальную близость наших культур и интересов.

Стали привычными сообщения о закрытии на Украине русских школ, все труднее русскому купить там российские газету или журнал. Два года назад состоялся всеукраинский форум, организованный творческими союзами писателей, обществом «Просвита» и РУХом, под названием «Информационное пространство и безопасность Украины». Его участники заявляли о наличии «информационной опасности для страны». Было отмечено, что первой-

шей задачей украинских СМИ является более четкая и частая демонстрация образа России как «империи зла». Бывший президент США Р. Рейган вряд ли мог предполагать, что его риторика 80-х годов, направленная на мобилизацию сил против советской тоталитарной империи, будет использоваться сегодня нашими украинскими братьями против России. Участники форума создали специальный общественный Совет защиты информационного пространства, одним из следствий чего стало прекращение трансляций программ радиостанции «Маяк», к которой — за десятилетия — так привыкли и русские, и украинцы.

Через год председатель Украинского телевизионного союза В. Цендровский заявил на пресс-конференции в Москве (август 1996 года) «о полном исчезновении российского телевидения на Украине через год-полтора». Он также отметил, что прежние позиции российского ТВ будут заняты украинскими и западными конкурентами. Сказано — сделано. И вот уже 20 октября 1996 года на Украине была прекращена трансляция российского телеканала ОРТ — вместо него начала работу Украинская независимая телекорпорация (УНТК). На телеканале УТ-2, где раньше смотрели российское телевидение, сегодня активно работают американские и ирландские телевизионщики, на телеканале УТ-1 — германские.

Что же касается периодических изданий из России, то, по данным пресс-службы украинского президента, с 1992 года количество подписчиков на Украине уменьшилось с 41 до 5 процентов. Одна из главных причин — резкое повышение цен (при этом стоимость подписки украинских журналов и газет почти не изменилась).

Президент Украины Леонид Кучма принял решение начать разработку программы по внедрению украинского языка во все сферы жизни. В 1997 году все телерадиокомпании обязали перейти на украиноязычный режим вещания, это касалось и независимых коммерческих станций. В Киеве не раз заявляли, что в случае необходимости, если коммерческие ТВ-радиостанции будут продолжать использовать в передачах русский язык, на них «можно и надавить».

Украинские власти готовят новые решения о резком повышении в ближайшее время цен на распространение периодических изданий из России и повышении налога на их ввоз в страну. Делопроизводство — даже в Крыму и Севастополе — требуется вести по-украински. И это при том, что русских на Украине 20 процентов, а в некоторых регионах они доминируют. Нынешняя политика идет вразрез с самой украинской Конституцией, гарантирующей «свободное развитие, использование и защиту русского и других языков национальных меньшинств Украины».

В феврале 1997 года в украинской столице прошло заседание «круглого стола» «Государственный язык — в информационное пространство Украины», собравшего руководителей Министерства информации, Национального совета по телевидению и радиовещанию, представителей ведущих средств массовой информации страны. Итогом обсуждения стали «Рекомендации», оценившие языковую ситуацию как «ненормальную», как «тяжелое наследие прошлого». Исправить положение может «утверждение полноценного функционирования государственного языка и целенаправленное уничтожение негосударственного (то есть русского. — *И. М.*) языка». В националистическом угаре авторы «Рекомендаций» предостерегают власти, что использование русского языка в изданиях или на телевидении своими негативными последствиями представляет не меньшую угрозу национальной безопасности Украины, чем... пропаганда насилия, проституции.

Использование русского языка разработчики документа фактически приравняли к одной из форм антиукраинской пропаганды и рекомендовали правительству снизить тарифы на распространение печатных изданий на украинском языке в 100 раз, а выходящих на русском, негосударственном, языке увеличить в 100 раз. Вот такая нехитрая арифметика на исходе XX века! Ав-

торам подобных рекомендаций надо напомнить, что одним из пяти основных, рабочих языков ООН является русский и в мире (за пределами России) — тысячи университетов и колледжей, где учат русский язык.

Еще одним примером нынешней культурной политики украинских властей явилось принятие 2 апреля 1997 года закона «О государственной поддержке СМИ и социальной защите журналистов»: отныне приоритетами и льготами будет пользоваться производство и распространение информации и периодической печати только на украинском языке — особенно это касается регионов, где проживает в основном русскоязычное население. Издания, выходящие на русском языке, в случае, если они не понравятся властям, могут ожидать неприятности. Так, газету Черноморского флота «Флаг Родины» украинская служба безопасности обвинила в призывах к изменению конституционного строя и посягательстве на территориальную целостность — за... публикацию читательских писем, где высказывались мнения о статусе Севастополя.

В каких только грехах порой не обвиняют местные политики Россию! Вводится даже специальная терминология для характеристики российских средств массовой информации. Так, недавно распространение русскоязычных изданий на территории Украины было названо группой депутатов Рады «информационной оккупацией». Как верно заметил журналист Игорь Островский: «Уже дважды в президентской гонке побеждал тот из претендентов, который обещал дружбу и сотрудничество с Россией, двуязычие и свободу распространения российских средств массовой информации...» («Труд», 1997, № 131). Но, как показала практика, подобные обещания часто делаются для достижения заветного президентского или депутатского кресла. Затем они забываются до следующих выборов.

А сфера образования, взаимоотношения религиозных конфессий? В украинских школьных учебниках — уже с начальных классов — Россия и русские преподносятся как главные враги украинцев. Учебники же для русских школ часто не пропускаются через украинскую таможню и рассматриваются как подрывная литература. Нередки случаи, когда преподаватели русских школ подвергались преследованиям: так был избит и изгнан из Ивано-Франковска директор так и не открывшейся русской гимназии, а против руководителя ассоциации «Русская школа» А. Поздняковой во Львове было открыто уголовное дело.

Объектом дискриминации и гонений стала и Русская Православная Церковь: у нее силой отбирались храмы, избивались и изгонялись из приходов священники, особенно в Западной Украине. И хотя в Киеве было принято решение о прекращении использования силовых методов во взаимоотношениях между конфессиями — это случилось, когда у РПЦ осталось всего несколько десятков приходов.

Как не вспомнить тут слова Н. Бердяева, кажется, написанные сегодня: «В великий час освобождения России все вдруг пожелали от нее отделиться, никто не хочет оставаться с ней в единении свободной любви. Точно стая голодных волков набрасывается в трудную минуту на несчастную Россию и рвет ее в клочья. Ни у кого не оказалось благородного уважения к первым дням освобождения страны и народа от долгого рабства. Русскому народу приходится тяжело расплачиваться за грехи старой власти, за все преступления старого режима, сделавшего все, чтобы внушить нелюбовь к великой России. Если неблагородная вражда к нам и желание отделаться от нас идет от чужих нам по крови и по духу иноплемеников и инородцев, то это еще не так печалит и не так возмущает, как подобное отношение со стороны братьев по крови...»

Не многим легче положение русскоязычных средств массовой информации и в Казахстане. Внешне — когда встречаются российский и казахский лидеры — создается иллюзия, что все основные проблемы между двумя странами благополучно решены. И хотя Н. Назарбаев награбил Б. Ельцина выс-

шим орденом Казахстана, подчеркивая тем самым важность русско-казахской дружбы, это не изменило к лучшему положение русскоязычного населения. Например, вместо транслирующих российские программы спутников «Горизонт» руководство страны с 1997 года перешло на вещание через американскую спутниковую связь «Интелсат». Трансляции передач ОРТ резко сокращены. Вместо него ведет вещание телекомпания «Хабар» («Новости»), которой руководит дочь президента Дарига Нурсултановна. Для многих журналистов обстановка стала невыносимой, Казахстан начали покидать целые редакции: из Петропавловска-Казахстанского коллектив тележурналистов переехал в Калининград, из Караганды — в Муром.

По статистике, шесть лет назад численность русского населения равнялась численности казахского — около 40 процентов из общего населения страны в 17 миллионов человек. На сегодня казахи составляют 46 процентов, а количество русских упало до 34 процентов. Сократилась и численность других групп населения, например немцев, составлявших в начале 90-х годов 6 процентов, — в настоящее время их осталось в два раза меньше.

Порой нежелание властей транслировать телепередачи из России вызывает в обществе резко негативную реакцию. Дабы успокоить разъяренных телезрителей, потерявших возможность смотреть популярный американский телесериал «Санта-Барбара», официальная газета страны «Казахстанская правда» вынуждена была ежедневно печатать содержание очередных серий...

Не так давно в Казахстане по приглашению Назарбаева побывала делегация представителей российских СМИ во главе с пресс-секретарем Б. Н. Ельцина Сергеем Ястржембским. На встрече в Алма-Ате казахстанский президент выразил пожелание, чтобы российские СМИ проявляли «большую активность и целеустремленность в создании атмосферы взаимовыгодного казахстанско-российского сотрудничества». Мол, журналисты России призваны «сломить сопротивление определенных сил в российских властных и предпринимательских структурах... не заинтересованных в переводе отношений между двумя странами на качественно новый уровень». Казахстанский президент посетовал, что Россия слишком долго председательствует в ведущих органах СНГ, а также нелестно отозвался о тогдашнем российском министре по делам СНГ Амане Тулееве. Трудно найти другие примеры, чтобы глава одного суверенного государства давал руководителям СМИ другого суверенного государства подобные указания и навязывал свои оценки его государственным деятелям.

Конечно, право любого суверенного государства выбирать те или иные приоритеты, в том числе и в культурной политике. Но делать это необходимо не пренебрегая правами немалой части населения страны. Весьма показательное распоряжение Министерства образования Узбекистана об «упорядочивании» изучения русского языка и литературы. В частности, из школьных библиотек изымаются сочинения Тургенева, Гоголя, Маяковского, Горького, других русских и советских писателей.

Удивительная ситуация сложилась здесь и с российскими периодическими изданиями. Решением узбекского руководства практически запрещены «Комсомольская правда», «Независимая газета», «Известия», «Правда». Несколько месяцев тому назад, когда шла подготовка визита российской правительственной делегации в Узбекистан, к Москве обращались с просьбой не включать в число сопровождающих делегацию нескольких представителей наших центральных газет.

Не так давно узбекскими властями была прекращена трансляция российских радиостанций; дневное вещание российских программ ОРТ и ВГТРК отсутствует. Хотя основные российские телеканалы все же можно принимать в Ташкенте, но — по местной системе спутникового телевидения «Камалак» (узбекско-американское совместное предприятие). Плата достаточно высока, слишком многим не по карману. В свою очередь сегменты эфира, освобож-

денные от российских программ, активно заполняются турецкими передачами, их телетрансляция достигла уже шести часов в сутки.

Как не вспомнить последние годы существования СССР. Одной из заслуг «перестройки» считалась гласность. И хотя это была не свобода слова, но дышать и говорить по всей стране стало легче, свободней. Например, за суверенитет и независимость Балтийских республик выступило и проголосовало большинство живущих там русских. Кстати, российское руководство, широкие круги интеллигенции в 1989 — 1991 годах активно поддерживали народы Литвы, Латвии и Эстонии, а потом и других республик в их стремлении к суверенитету и независимости.

Сегодня в Балтийских государствах эту поддержку вспоминать не любят. За минувшие годы там целенаправленно принимались законы, ущемляющие права и свободы русскоязычного населения. Как отмечают эксперты по правам человека, в бывших Прибалтийских республиках созданы все условия для «мягкого» вытеснения русскоязычного населения в Россию. Что касается российских СМИ, то их положение и распространение в странах Балтии вполне соответствует отношению властей к русскоязычному населению. В Латвии, например, с августа 1996 года полностью прекращена ретрансляция программ Общественного российского телевидения. И это при том, что более 40 процентов населения страны регулярно смотрели передачи этого телеканала. В Эстонии демонстрация программ ОРТ была прекращена еще раньше.

В Литве состоялась распродажа телеканалов западным компаниям. Один из самых популярных в стране, «Независимый канал» был куплен американской «Сентрал Еуропа медиа энтерпрайзиз», владеющей сетью телестанций в Чехии, Германии, Словении, Словакии... Шведы купили другую литовскую телекомпанию — «Теле-3». Вряд ли новые хозяева будут с уважением относиться к интересам русскоязычного населения, проживающего в Литве.

Симптоматично, что ни одного общего для СНГ органа печати за столько лет так и не появилось.

Правда, решили еще четыре с лишним года назад создать межгосударственную телерадиокомпанию «Мир». Казалось, что именно она сможет стать консолидирующей основой в информационном пространстве Содружества.

За годы существования компания смогла заявить о себе спокойной, взвешенной тональностью передач, завоевала уважение и аудиторию. Кроме того, эта телерадиокомпания вела свои передачи на хорошо понятном всем народам СНГ русском языке. Для России, чья политика направлена на интеграцию и консолидацию стран Содружества — что не раз декларировалось с высоких трибун, — деятельность телерадиокомпании «Мир» была значительной поддержкой. Но сравнительно недавно трансляция телепередач по каналу ОРТ вдруг прекратилась. Такой вердикт вынесло руководство этого российского канала. С юридической стороны — нарушены договорные обязательства, недавний арбитражный суд в Москве вынес решение в пользу «Мира». Что касается политической стороны, то данный случай напоминает хрестоматийную историю с унтер-офицерской вдовой, которая сама себя высекла. Но высекли мы не только себя, но и наших единоплеменников за рубежом, и без того нами покинутых.

Смирившись с решением руководства ОРТ, российское правительство (имея контрольный пакет акций ОРТ), казалось, наиболее заинтересованное в развитии телерадиовещательной сети «Мира», фактически парализовало деятельность компании. Ничего объединяющего, солидаризирующего от России в области СМИ более не исходит. И хотя премьер-министр Черномырдин не раз заверял, что вопрос межгосударственной телерадиокомпании «будет в ближайшее время решен» и передачи вскоре появятся в эфире, все эти обещания так и повисли в воздухе. Почти год телекомпания СНГ была отлучена от эфира. И это несмотря на то, что в адрес Кремля неоднократно обращались лидеры государств и правительств стран — членов Содружества с

просьбой восстановить «Мир» на первом, или на российском общегосударственном, канале. Телекомпания возобновила свою работу в ноябре 1997 года. В эфир она выходит теперь под названием «Вместе», в дневные часы, не самые удобные для большинства телезрителей.

При столь резкой сужаемости внешнего информационного поля и росте русофобской пропаганды в странах ближнего зарубежья для России сильно возрастает роль радио.

В Москве, например, успешно работает радиослужба «Голос России», вещающая на десятках языков на весь мир. Казалось бы, трудно переоценить ее роль в новейших условиях. Увы, она зажата в тиски безденежья и буквально дышит на ладан. Долг «Голоса России» только за использование ретрансляторов превысил уже 130 миллиардов рублей. Все чаще прерывается передача радиосигналов. А это приводит к тому, что целые регионы мира перестают получать информацию из Москвы в том объеме, в котором она поступала многие годы. Но если учесть, что эти радиопередающие центры находятся зачастую в странах СНГ, то проблему можно было бы решить достаточно конструктивно — за счет долгов государств Содружества России. Там, где это возможно, долг «Голоса России» мог бы погашаться путем взаимозачетов. Такая практика в мире существует. Если исходить из государственных интересов, нельзя допускать, чтобы возможности Москвы в иновещании все более сокращались. А свято место, как известно, пусто не бывает. Последнее время значительно усилилась активность таких радиостанций, как «Свобода», «Голос Америки».

Недавно конгресс США выделил для их вещания на страны СНГ сотни миллионов долларов, тем самым включая новые государства в сферу своего идеологического влияния. «Голос Америки», например, предлагает радиостанциям в СНГ широкий выбор программ для передачи через спутник или в записи: «Программы на русском, украинском, азербайджанском, армянском, грузинском и английском языках предлагаются станциям, входящим в систему спутников „Ютелсат“ и „Горизонт“». Прямые ретрансляции передач „Голоса Америки“ осуществляются в Архангельске, Акмоле, Бишкеке, Владивостоке, Одессе, Москве, Хабаровске... (перечисляется еще около 20 городов. — *И. М.*). Если в вашем городе еще нет прямых ретрансляций передач „Голоса Америки“, попросите местную радиостанцию войти с нами в контакт. Мы будем рады наладить сотрудничество и помочь в осуществлении прямой связи».

У американцев, как видим, с информационным обеспечением вовне все в порядке. А что же мы? Миллионы людей оставляем без русского слова, десятки миллионов бывших, по СССР, сограждан — без объяснения российской политики, рассказа о том, что происходит в нашей стране. Тем легче националистам пугать своих соплеменников «русским империализмом», лгать о нас как о мертвых...¹

Не секрет, что лицо сегодняшней России не очень-то привлекательно. Но даже горькая правда намного лучше информационного вакуума.

¹ Стоит ли после этого удивляться, что, к примеру, живущий в Таллине русский инженер Вл. Федоров рассуждает сегодня так: «В первую очередь надо дать русским гражданство. ...Сейчас каждый месяц усугубляет ситуацию, многие машут рукой и принимают российское гражданство. Это получается накопление сил России здесь. Пятая колонна. Это же на руку России. А там у власти экстремисты» («Радуга». Литературно-художественный и публицистический альманах Союза писателей Эстонии. 1997, № 2, стр. 141). Даже если это говорится по малодушию, из желания подыграть среде — все равно жутко. (*Примеч. отдела публицистики.*)

НАДЕЖДА МОЛЧАНОВА



ПРОЩАНИЕ С ГРУЗИЕЙ

— **З**ачем вы, русские, уезжаете?
— Почему вы уехали из Грузии?

Эти вопросы я слышала неоднократно (первый — в Грузии, второй — в России) и отвечала на них по-разному — то шутливо, то всерьез. Но можно ли в двух-трех фразах рассказать, отчего вдруг люди, часто немолодые, скоропалительно срываются с места с мыслью «хуже не будет».

...Вспоминая прошлое, я хочу яснее понять причины, побудившие покинуть Грузию — страну, где я родилась и прожила более сорока лет.

Обычаи, нравы Грузии — общеизвестны и вызывают к себе глубокое почтение. В грузинских семьях связь поколений неразрывна, и беспомощного старика никогда не отдадут в дом престарелых, за ним будут ухаживать хотя бы дальние родственники. Я знаю женщину, которую оставил муж. У нее было трое детей и больная свекровь, которая не вставала с постели. Невестка ухаживала за старушкой несколько лет, до ее смерти.

Здесь рождаются семьями. Приглашение на свадьбу выглядит примерно так: «Уважаемый ...! Приглашаем вас на свадьбу наших детей», — то есть приглашают не жених и невеста, а родители новобрачных. И, конечно, к семье избранника или избранницы присматриваются. Помню, как расстроилась свадьба из-за того, что у невесты (русской) пила мать. Такую родственницу родители жениха иметь не захотели.

Семейные традиции воспитывают лучше всяких школьных уроков. Там, где почитают отца и мать, где семейные раздоры не выносятся на общее обсуждение, крайне редки разводы. Моя соседка-грузинка, пожилая женщина, много претерпевшая от мужа, к концу жизни вдруг стала на него жаловаться каждому встречному и поперечному. Надо было видеть, с каким изумлением смотрели на нее люди, женщина скомпрометировала себя.

В России, и не только в России, принято приносить цветы так: нечетное количество — по приятному поводу, четное — в случае печали. В Грузии — наоборот, и тому есть объяснение. Лучшее пожелание человеку — чтобы он не был одинок, значит, в радости цветы дарят парами. А когда человек уходит в мир иной, не надо, чтобы он забирал с собой пару, поэтому цветов должно быть нечетное количество.

Постигая суть обычая, начинаешь относиться к нему без иронии чужака. Скажем, в некоторых областях Грузии принято не подшивать подол траурного платья, что означает отрешенность женщины от земных забот, постоянную память об утрате.

Отзывчивость и взаимовыручка в Грузии особенно проявляются во время похорон. Помню, умерла в Батуми одинокая русская старушка. Родственникам дали телеграмму в Россию. Добирались они трое суток и всё сокрушались по поводу предстоящих хлопот: никого в Батуми не знали, куда обращаться — неизвестно. Приехали и видят: почти все готово. Оказывается, соседи собрали деньги, заказали гроб, позаботились о месте на кладбище, о поминках. Родственники усопшей были настолько потрясены этой заботой

незнакомых людей, что прислали в редакцию газеты «Аджария», где я тогда работала, письмо полное удивления и благодарности.

В Грузии вас примут в доме в любое время суток; но и к вам тоже могут пожаловать в любое время. Любой намек на необходимость предупреждения о визите воспримут как обиду.

И все же, как ни удивительно, такая простота отношений обманчива. Грузины ценят искренность и непосредственность, но уважают и соблюдение церемониала.

У грузин почтительное отношение к хлебу. Прежде чем отправить хлеб в печь, хозяйка ребром ладони обозначает на поверхности крест, благословляя свое изделие. Как мне рассказывала одна грузинка, она приучает своего маленького сына бережно относиться к хлебу: если кусочек упал, надо его поднять и поцеловать, чтобы хлеб «не обиделся».

Грузины вообще не любят никого обижать. Грузин, как правило, не откажет в просьбе, даже если она заведомо невыполнима. Ему не нравится огорчать людей, портить им настроение. Он наобещает золотые горы.

И — весьма вероятно — не выполнит. Найдет с десятков уважительных причин и отговорок. Эту особенность грузинского менталитета хорошо знают российские предприниматели, потому и требуют предоплату при торговле с грузинами, на что последние обижаются. К сожалению, необязательность переносится и на более серьезные вещи.

Грузин, случается, упрекают в любви к показухе. Я не считаю это недостатком: желание выглядеть лучше, чем на самом деле, не так уж предосудительно. Как и раскованность грузин, легкое отношение к жизни, этакий кураж, которого порой не хватает русским.

Живя в Грузии, я с интересом наблюдала, как внутренние законы языка во многом отражают мысли и действия его носителей. Как известно, в русском языке слог строится по принципу восходящей звучности: органы речи как бы начинают разбег, накапливают силы, а в конце произносят полнозвучный гласный, и тогда все предыдущие согласные воспринимаются как составляющие компоненты, как необходимая подготовка.

В грузинском языке тоже есть любопытная особенность, тесно увязанная с национальным характером, — музыкальное ударение. Слоги в слове произносятся почти с одинаковой силой. Проведя эту лингвистику на жизнь, можно сказать, что грузин настроен на постоянную радость, тогда как у русского ее приливы спорадичны.

Русские в Грузии образуют несколько неоднородных социальных групп.

Одна из них — офицеры и их семьи. Долгие годы жившие на жалкую офицерскую зарплату и снимавшие скромное жилье у местных жителей, они не могли претендовать на полноценную адаптацию. Впрочем, военные всегда жили несколько обособленно, часто меняли места службы; в состав местного населения они вливались только выйдя на пенсию.

Другая группа — специалисты, квалифицированные рабочие, большинство из них первыми осознали необходимость уезжать из Грузии.

Есть, наконец, — и их немало — русские, не обремененные образованием и профессиональной квалификацией, они охотно шли на работу, которой уважающий себя грузин сторонится: становились уборщиками, няньками, санитарками, сантехниками и т. п. Эта прослойка общества скромно, но настойчиво лепила свой облик русского человека — безответного, старательного работника.

Я, конечно, не ставлю перед собой цели охватить все социальные прослойки негрузин, да это, наверное, и невозможно.

Русских не любят прежде всего за пьянство. В Грузии знают, что если пьяный валяется на улице, то это наверняка русский, потому что грузины своего сотрапезника обязательно доведут до дома.

Русские дисциплинированнее: соблюдают очередь, требуют сдачу и т. д. Грузины стоять в очереди не любят, а о том, как они стремятся обойти закон, написано столько, что нет смысла повторяться.

...Сложные и во многом противоречивые процессы в Грузии начала 90-х годов захватили, конечно, и нас — негрузин. Признаюсь, попервоначально я была в некоторой эйфории: может, и правда будет лучше, если грузины обретут независимость от Москвы?

У нас в Батуми жизнь сначала шла своим чередом.

Но вот перестал ходить знаменитый здесь 47-й поезд Москва — Батуми, его встречи и проводы для батумцев были привычны: с проводниками посылали посылки, в буфете закупали московские сласти.

Все меньше стало курортников. Бывало, батумцы еще ходили в пальто и зимней обуви, недоверчиво поглядывая на апрельское солнце, а приезжие, то есть не батумцы, уже щеголяли в легких платьях, специально сшитых для летнего отдыха. Глядя на них, постепенно освобождались от зимней одежды и батумцы. В эти дни начинались разговоры о нарядах, фасонах, прическах и босоножках. Проходила неделя-другая — и в яркой, веселой, ждущей чего-то необыкновенного толпе уже не различишь, где батумцы, где отдыхающие.

Утром и днем спешили на пляж. Купались, делали гимнастику, бегали по аллеям. Часов в семь-восемь вечера, когда спадала жара, а воздух напоминал парное молоко, шли гулять на бульвар. На центральной аллее гас свет, и пространство вокруг бассейна освещалось нижними разноцветными лампами, менявшими силу света в такт музыке. От мириад мельчайших капель вокруг фонтанов стояло радужное облачко. И эта густая ночь с розовой полосой заката над морем была тем самым долгожданным финалом дня, после которого снятся легкие, невесомые сны.

В 90-е годы, когда уже не стало ни музыки, ни фонтанов, когда почти обезлюдел пляж, ходить на бульвар по вечерам стало небезопасно. Вместе с исчезновением российских курортников исчез праздник жизни. Провозглашение Грузией независимости, война в Абхазии перечеркнули прежний уклад. Оживлялся бульвар лишь в дни концертов заезжих звезд.

Радио, телевидение, пресса в былые времена доносили до нас биение пульса большой России. Вошло в привычку ложиться спать после программы «Время». Газеты и толстые журналы, подписные издания, русские кинофильмы — казалось, это будет всегда, как воздух. Как поразились мы, когда узнали, что за передачи Останкинского телевидения теперь надо платить и что Грузии это не по карману. Тоскливо было внезапно ощутить себя гражданами чужой и бедной страны!

Не было в те дни застолия, где ни поднимались бы многочисленные тосты за Грузию, ее свободу и независимость, в ресторанах некоторые борцы за свободу даже влезали на столы и стулья, чтобы в патриотическом экстазе произнести многословный тост. Борцам за свободу требовался враг, потому что ничто так не сплачивает, как общая ненависть. Объектом ненависти избрали империю: «СССР — тюрьма народов!» Неприязнь ко всему «имперскому» (читай — русскому) с особой силой проявилась по отношению к армии. *Оккупанты* — другого названия для советских военных теперь не было, сразу забыли, например, их помощь гражданскому населению во время наводнения в Сванетии.

Грузины все чаще стали именовать себя страной с многотысячелетней культурой, нацией, живущей на Богом избранной земле, причем делали это с апломбом, особенно в присутствии русских: «Пока русские в лесах бродили, мы, грузины, Евангелие переводили». Меня, воспитанную на традициях русской классической литературы, всегда поражала безапелляционность подобных заявлений.

После кровавого 9 апреля разговор грузина с негрузином начинался с вопроса: «Как ты относишься к событиям 9 апреля?» Как будто нормальный

человек мог одобрить убийство! Но грузины стали воспринимать русских как носителей некой имперской идеи, кровавым выражением которой и явились тбилисские события апреля 1989 года.

После 9 апреля национально-освободительное движение в Грузии перешло в новую фазу. Когда Звиад Гамсахурдиа объявил самоблокаду Грузии от России, поток товаров заметно оскудел, а цены возросли. Потом — 1 апреля 1993 года — ввели купоны. Увы, это не было первоапрельской шуткой. Очень скоро ничего нельзя стало купить на новые грузинские «деньги».

Газета «Свободная Грузия», в свое время метавшая громы и молнии по адресу *деревянных* рублей, высмеивавшая советскую «валюту» по поводу и без, должна была бы разразиться гомерическим смехом в связи с обвальным падением купона. Но она испытывала только печаль: ну, не идут купоны в торговле — и всё.

Государственные магазины опустели, а в коммерческих и на рынке признавали только российские рубли и доллары. Жизнь в Грузии быстро превращалась в *выживание*, в существование на уровне животных инстинктов. Правда, по мере роста цен росли зарплата и пенсия: пенсия, допустим, семь тысяч, а коробок спичек — сто тысяч купонов.

Процессы инфляции стали неуправляемы, а правительство — бессильно что-либо изменить. В апреле 1993 года купон соотносился с рублем один к одному, а в декабре за рубль давали сто купонов, через полгода — тысячу. «Наполнить» купон было нечем, он стоил дешевле, чем бумага, на которой его печатали. Летом 1994 года доллар США стоил миллион купонов. На купоны нельзя стало купить конверт, заплатить за международный телефонный разговор, за зубную пасту и мыло — за все требовали рубли. Оставалось буквально несколько видов товаров, которые можно было приобрести за купоны, черный хлеб например, за белый — уже требовали рубли. Любая мелочь стала проблемой: хочешь починить обувь — гони рубли. Килограмм соли в магазине стоил 90 тысяч купонов, риса — 400 тысяч (а моя зарплата составляла триста тысяч).

И все чаще появлялась мысль: неужели это и есть свобода, за которую надо было бороться? Что дает человеку такая вот независимость — от кого? Многие грузины, не захотевшие стать «челноками», искали возможность попасть в российскую армию. В Батумском военном госпитале появились очереди: прежде чем попасть в армию, надо было пройти медкомиссию и испытания по физподготовке.

Эта двойственность общественного сознания поражала. С трибуны парламента депутат Нодар Натадзе требовал вывода войск из Грузии, а рядовые граждане почитали за большую удачу, если им удавалось попасть в российскую армию, там было тепло и сытно.

Общее впечатление уныния, угасания усугублялось тем, что у нас исчезли праздники. Я терпеть не могла ходить на демонстрации, и отмена 1 Мая и 7 Ноября для меня, разумеется, мало что значила. Но и другие праздники постепенно сошли на нет. Отмечать Новый год и дни рождения стало трудно из-за отсутствия продуктов. 8 Марта тоже отменили. Мы шутили: только очень смелые мужчины могут порадовать в этот день дам своего сердца — вопреки государственному решению. Пекли что-то на Пасху и Рождество... Что касается крашеных яиц, то этим в Абхазии занимаются даже некоторые мусульмане: красивый обычай, располагающий к проявлению фантазии.

Когда Гамсахурдиа сделал христианские праздники государственными, возникла неловкая ситуация: получалось, что и иудеи, и мусульмане, и люди других вероисповеданий должны отмечать Пасху, Рождество, Успение Пресвятой Богородицы и т. д. В то же время о праздниках других конфессий в указе не было ни слова. С особой болью восприняли ветераны в Грузии отмену Звиадом Гамсахурдиа Дня Победы. «Это была не наша война, — говорили молодые политики, — Советский Союз нам не родина!» При Шевард-

надзе праздник вернули, но он уже не тот, что прежде, по указке такие вещи не делаются...

Сейчас большинство считает Гамсахурдиа виновником многих бед. Но я вспоминаю толпы восторженных женщин в черных колготках, истеричных его поклонниц; помню статьи в «Свободной Грузии», пышно славословившие первого президента.

Мне, простой русской учительнице, было ясно, что происходит подмена: естественное желание избавиться от советчины, от тоталитарной несвободы оборачивается неприязнью, а то и ненавистью к России и русским, никак не меньше пострадавшим от коммунизма. Мало того, на них, на русскую культуру и традиционный уклад и пришелся первый удар еще в 20-е годы... Разве Грузия была в дореволюционной России «колонией»? Разве не процветала, не жила самобытной и яркой жизнью? Изображать Россию как исконного исторического врага, видеть в ней все свои беды — какая-то массовая аберрация сознания...

В Грузии стало душно. С тяжестью, болью в сердце пришлось мне ее покинуть.

Прошло два года, и вот я вновь брожу по улицам Батуми. Но знакомых почти уже не встречаю. Наверное, все уехали.

Товаров стало больше — результат введения лари; но вот что поражает — *изменение национального характера*, привычек грузин. Не зря говорят: «Грузин — это образ жизни». Образ жизни резко пришлось сменить. Люди стали заметны на улице, строже, редко услышишь сегодня на улице беспечный, свободный смех, которому даже и советская власть, кажется, не мешала. Сумрачные взгляды, поникшие спины. Раньше в Грузии пили, и пили весело, теперь стали именно *выпивать*. Постоянная нехватка электричества делает жизнь еще угрюмее.

Беспомощные глаза мужчин, толпящихся на улице Пушкина в Батуми в утренние часы в надежде найти работу. Люди выносят на продажу последнее: подушки, одеяла, катушки ниток, булавки — лишь бы утолить чувство голода.

Курс обмена летом 1996 года был примерно 4300 рублей за лари. Размер пенсий примерно 8 — 12 лари, зарплата — 5 — 15 лари. Лишь немногие из моих знакомых могли похвастать, что получают 30 или даже 40 лари.

А как же цены? Хлеб стоит 50 тетри (сотая часть лари), так что пенсионер может купить примерно 20 буханок в месяц. Фрукты летом стоили от одного до трех лари за килограмм, мясо — около трех лари.

Стала платной медицинская помощь. Вызов «скорой» стоит шесть лари, а если надо сделать укол или что-нибудь еще — сумма увеличивается. «А как же одинокие пенсионеры?» — недоумевала я. «Соседи складываются, кто сколько может». Впрочем, люди обращаются к медикам все реже — предпочитают лечиться сами. Или... умирать.

В горсобе я встретила женщину, ветерана войны первой группы — чуть не плачет: надо оформлять новое удостоверение с фотографией, на это требуется четыре лари, а пенсия — всего одиннадцать!

Доллары и лари легко меняют в обменных пунктах. Но валютная поддержка лари обещана всего на три года, и, как я успела заметить, доллары покупают охотно и не спешат тратить. Стараются вложить деньги в недвижимость (покупают целые этажи), а не инвестировать в производство — верный признак экономической нестабильности.

Впрочем, на облик Батуми положительно сказалась работа нового мэра. Исчезли кучи мусора, ведутся работы по озеленению. По городу ходят маршрутки и автобусы. В фирменном поезде «Аджария» приятно ездить: чисто, есть освещение, ходит без опозданий. А было время — в поезд входили со свечой. Аджария ныне — наиболее благополучный район Грузии.

Попасть из России в Грузию стало легче: летают коммерческие самолеты; из Батуми в Сочи и Новороссийск ходят катера (правда, нерегулярно). Дозвониться из Грузии в Россию, правда, трудновато: линия почти всегда занята. Но это говорит об интенсивности общения.

И — боюсь сглазить — кажется, в Грузии усиливается тяга к России. В ней больше не ищут «козла отпущения», виновника всех бед. Демагоги, это утверждающие, уже не пользуются поддержкой.

...Летом 1996 года батумцев больше всего беспокоила предстоящая зима, ведь прошлой зимой свет давали только ночью, да и то на полтора-два часа! Дров взять негде, в поисках топлива батумцы давно очистили пляж, сожгли старые деревянные вещи. В семье моих знакомых начали разбирать паркет, постепенно сожгли его в печке-буржуйке, чтобы согреться. Но до Аджарии уже дотянулась линия природного газа, и это многих обнадеживает.

Батумцы живут надеждами. Надеются, что возрастут зарплата и пенсии, что через Батуми пройдет нефтепровод, а с ним появятся новые рабочие места, что Аджария станет свободной экономической зоной. Надеются, что из России будет поступать электричество, а ветеранам войны будут платить пенсии в российских рублях.

Надежды на будущее связывают с Асланом Абашидзе, возглавляющим Верховный Совет автономной республики.

Он как мог смягчал суровую обстановку. Сумел найти общий язык с «этносомами» Батуми. В то время, когда в Грузии все разрушалось, в Аджарии возводились мосты. В Грузии хозяйничали вооруженные банды, но в Аджарию они не вошли, и русские солдаты помогли поставить им надежный заслон.

Горькое похмелье свободы...

Сейчас из Грузии бегут многие, даже те, кто так ратовал за ее — во что бы то ни стало — отделение от России. Но, естественно, эти беглецы — ничтожная часть живущего в Грузии населения. И только от него зависит, какой будет в будущем этот ни с чем не сравнимый край.

Я говорю: прощай, Грузия. И в горле комок. Ты мне мать. Ты же и ма- чеха...

Нижний Новгород.



ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ



ПОВЕРХ РАЗБОРОК

1

Было дело, в коммуналке на две семьи на кухне ужинали мои соседи. Пэтэушник Коля жаловался мамаше, что их согнали с утра пораньше чистить перед заведением мостовую: должен был проехать мимо из аэропорта Косыгин. А тот, наверное, промчался и не заметил.

— Так то на улице, — подхватила она. — А уж, поди, как в дом-то войдет, так ковровую дорожку перед ним катют и розы, розы под ноги бросают. Помолчали.

— Вот, Коля, учиться бы на кого. Или хотя бы в помощники к нему.

Так в те времена представлял себе народ номенклатурную жизнь. И был, разумеется, недалеко от истины.

...Возможно, теми же днями (7 января 1974 года — то есть аккурат в Рождество) либерал Косыгин (и внешне пародийно напоминавший Керенского) на заседании Политбюро предложил: «Несколько лет Солженицын пытается хозяйничать в умах нашего народа. Мы его как-то боимся трогать, а между тем все наши действия в отношении Солженицына народ приветствовал бы. ...Нечего бояться применить к Солженицыну суровые меры советского правосудия. Возьмите вы Англию. Там уничтожают сотни людей. Или Чили — то же самое. Нужно провести суд над Солженицыным и рассказать о нем, а отбывать наказание его можно сослать в Верхоянск, туда никто не поедет из зарубежных корреспондентов: там очень холодно».

Через месяц с небольшим — по согласованию с Брандтом — Солженицына депортировали в Германию.

Однако сопричастие его с соотечественниками, его влияние сделались от этого только лишь энергичнее. Лавиной стали приходиться с Запада книги: «Ленин в Цюрихе», «Бодался телёнок с дубом», два новых тома «ГУЛАГа», темпераментные антикоммунистические статьи. Под влиянием всего этого, читаемого и перечитываемого, в силовом поле солженицынских эманаций, осенью 1975-го решила я написать и пустить в самиздат обращение «К всем нам» — к двухлетию высылки Солженицына...

Скоро два года, как лишен гражданства и выслан за пределы страны Александр Исаевич Солженицын, выдающийся русский писатель, мыслитель и публицист.

И верно, нет в наше время ничего, к чему сразу нельзя привыкнуть. Утром весть обжигает, тревожит днем, а вечером принимается как извечная данность.

Всего четыре года назад вынудили уехать замечательного поэта Иосифа Бродского, а кажется, что давно и необратимо. И если мы все же на-

Часть третья. См. «Мертвым не больно?» («Новый мир», 1996, № 1), «Пастырь добрый» («Новый мир», 1997, № 3).

деемся на его возвращение, то вопреки безнадежности его собственных последних стихотворений.

Но Солженицын верит, что вернется в Россию: хочется думать, верит и в то, что нам это безразлично.

Действительно, многие тревожились и возмущались при травле, у многих упало сердце после ареста, многие ощутили потерю, узнав о неожиданной высылке, но прошло два года, и вот — успокоились и привыкли.

Читаем «Архипелаг ГУЛАГ», статьи, еще новую книгу; одни на нее сердятся, другие в восторге, про «Образованщину» говорим: «больно, но верно», — а ничего не меняется, не происходит, все, как прежде, покрыто безжизненной коркой лжи.

И все же — читавшим Солженицына уже невозможно нелицемерно вернуться к тому, что было до этого: к упованиям 60-х годов нет возврата, и независимый эгоцентризм ничего, кроме ущерба творчеству, принести не может. Смешно и низко продолжать делать вид, что «ничего не случилось», странно думать, что созданные вокруг себя культурные оболочки уберегут от сопричастности или когтей государства. При «первом удобном случае» оно развеет их, словно мыльные пузыри. Внутреннее духовное раскрепощение не может не предполагать и независимости вовне.

Да и что это за культура, которая «вырабатывается» в нас?

Одни истончаются в начетническом накоплении знаний, другие — спешат с выводами, статьями, а то и книгами по краугольным предметам — искусству, истории, философии; и все это — не имея и не стремясь иметь ни мирозерцания, ни убеждений, ни Веры. Веками люди алкали, страдали, клали «животы своя» на то, чего для многих из нас теперь, кажется, вовсе не существует. (Отсюда и в художественном творчестве нашем — ложная пустая самовлюбленность, а для «красного словца» — безнравственность, кощунство, употребление всуе Божьего Имени.)

Далее, в технических областях за якобы «бескорыстным служением науке» — марионеточное прислуживание режиму, смертоносной цивилизации, материалистическому прогрессу. Порочно заниматься научными изысканиями вне устремления к Истине.

А в итоге — то же, что было в первооснове: *трусость* как доминирующее качество нашего безверного человеческого подполья.

С ослепительной четкостью ставит эти вопросы в своих недавних статьях А. И. Солженицын.

Сам он принадлежит к редкому и потому особенно драгоценному в русской истории типу православного делателя.

Существуй такой человек в начале столетия, много бы потрудился во спасенье России, увлекая других, талантливых, порой гениальных, чье молчание ввиду наступающей революции звучит в наши дни особенно оглушительно. И ныне в таких, как он, чувствуется надежда.

Да, надо признать, что ничего более ясного, твердого и реального, чем говоримое Солженицыным, от наших современников мы уже не услышим. Где найдется человек, совмещающий в себе такой опыт, талант и независимость от доминирующей тенденции века?

И если мы не отзовемся на это, то не отзовемся более ни на что.

Но может быть, все только кажется неподвижным?

Может быть, где-нибудь в глубине, «под глыбами», истина и чувство свободы завоевывают все новые души и бесполезны призывы писателя, целителя, снявшего с наших глаз последние бельма?

И тогда, во вторую годовщину его высылки, давайте попытаемся, впервые без боязни откликнемся, что не притерпелись к злодеянию государства, а помним и думаем, как вернуть Солженицына из изгнания, равно трагичного для него, его семьи и для нас.

...Я не то чтоб надеялся, конечно, что кремлевские ископаемые отступят, но думал хоть кого-то раскошегарить, ибо круги от солженицынского «Жить не по лжи» разошлись и руки чесались запустить новый камень. Отстучу утром на машинке две-три закладки по несколько экземпляров и в течение дня раздаю знакомцам. Сначала — с энтузиазмом, потом — все больше стесняясь, ибо «все мы» принимали от меня текст, скажем помягче, кисло. Один рафинированный переводчик с редкого языка, хмурясь, пробежал бумагу глазами и только спросил:

— Скольким?

— ?

— Скольким вы уже успели раздать?

— Человекам пяти — семи, — смалодушничал я, раза в три преуменьшив количество охваченных «адресатов».

— Я дам вам сейчас на такси, поезжайте, может, еще не поздно, соберите у них обратно, тут нечего стесняться, и уничтожьте. Верю в вашу искренность, но не хочу верить в глупость.

— Вам что, текст не понравился? — совсем стушевался я.

...Но вот теперь, через двадцать два года, разыскал, перечитал этот «текст» — и мне за него (несмотря на толику приторного неопитского пафоса) не стыдно. И не только потому, что в разгар застоя достало характера гласно («письмо» мое передавали «голоса» и распечатали антикоммунистические русские газеты на Западе), солидаризироваться с великим современником¹.

За этим «письмом» — памятное настроение, мировоззрение, «идеология» именно середины 70-х, «нового веховства» из объемного самиздатовского сборника «Из-под глыб», организованного, а отчасти и написанного А. И. Солженицыным незадолго до высылки. Параллель с прежними «Вехами» не только в идейном пафосе, но и в общественно-мировоззренческой ситуации в целом, в идеологическом родстве интеллигенции диссидентской — с дореволюционной. И «Вехи», и «Из-под глыб» написаны в освободительно-прогрессистском климате и — в пику этому климату.

Главное тут — возвращение на новом витке от секулярной к христианской морали. Как известно, согласно первой, корнями уходящей в гуманистическую традицию, — человек по природе добр, следовательно, неукоснительное соблюдение его прав автоматически обеспечивает то процветание и счастье, какие в эмпирическом бытии вообще возможны. Согласно второй — это отнюдь не единственный и даже не главный залог оптимального бытия. Не ниже прав человеческие обязанности, нравственное самоограничение, духовная и культурная красота. «Из-под глыб» звали к формированию православной общественности, строились на наработках русских религиозных философов и публицистов, возрождение России видели на почвенно-национальных путях. Советскому патриотизму противопоставлялось не его отсутствие, но — патриотизм принципиально нового качества, свободный как от имперско-шовинистических замашек, так и от идеологической демагогии.

Увы, ни тому, ни новому «веховству» не суждено было состояться, точнее, приобрести значение, способное углубить и облагородить общественное сознание. И в том, и в другом случае победили инерционные представления, тогда приведшие к революции, в наши дни — к олигархии.

И напрасно — pendant своей статье в «Из-под глыб» со ставшим нарицательным заголовком «Образованщина» — уже в 1982 году, практически накануне начавшихся исторических подвижек, предупреждал Солженицын: «Так тем опаснее станет для нас Февраль в будущем, если его не вспоминать в

¹ В недавнем анонсе об учреждении новой литературной премии за стихотворное творчество говорится: «Никакие заслуги в общественном движении не учитываются». Не терпится поскорей замазать моральную *разницу* писательских биографий — на этот раз якобы ради «чистой поэзии».

прошлом. И тем легче будет забросать Россию в её новый роковой час — пустословием. Вам — не надо вспоминать? А нам — надо! — ибо мы не хотим повторения в России этого бушующего кабака, за 8 месяцев развалившего страну. Мы предпочитаем ответственность перед её судьбой, человеческому существованию — не расхлябанную тряску, а устойчивость. ...В Союзе все пока вынуждены лишь в кармане показывать фигу начальственной политучёбе, но вдруг отвалились завтра партийная бюрократия — эти культурные силы тоже выйдут на поверхность — и не о народных нуждах, не о земле, не о вымирании мы услышим их тысячекратный рёв, не об ответственности и обязанностях каждого, а о правах, правах, правах, — и разгрохают наши останки в ещё одном Феврале, ещё одном развале».

Как в воду смотрел: так оно и вышло — если разуместь под «Февралем» массовую деморализацию и ослабление по всем направлениям. Впрочем, наши новые февраллисты сильно отличились от прежних: *те*, пустопорожние болтуны, уступали плембу и социалистам-экстремистам во всем, боясь быть обвиненными хоть в малейшем насилии; *эти* проявили достаточно воли и жестокосердия для защиты своих завоеваний — и победили. К тому же не без отрицательной помощи «патриотической оппозиции», насмерть, как выяснилось, спаявшей себя с «совком». (Советскость, увы, оказалась даже не тактическим приемом, как хотелось думать вначале, а имманентной составной «патриотического» сознания².)

Прежде я недоумевал, почему после Августа декоммунизация так скоро начала пробуксовку: то ли по политическому разгильдяйству, то ли по малодушию власти. Но через годы это выглядит как искусный тактический прием: оставив коммунистов, она и тогда, и потом, и ныне заставила выбирать между собой и ними, иметь такую оппозицию оказалось выгодно, ибо это не тот магнит, что притянет здорового человека. И этот же фактор надолго закопал возможность кристаллизации «третьей силы», расфокусировал солидарность тех, кто не хочет ни *олигархов*, ни, конечно, *советских*. Оппозиция? Пожалуйста: национал-большевизм. Словно, как говорится, и в заводе нет нормальных русских людей, не желающих ни того, ни другого, здравомыслящих и моральных, — демократов *по сути*, которым нынешняя олигархия мерзит так же, как коммунистическая номенклатура. Они есть: провинциальная, например, интеллигенция именно — в значительной своей части — такова, но, задавленная нуждой и зомбирующим коммерческим агитпропом, «ходит по стеночке» и не способна ни организовать, ни возвысить за Россию свой голос, так чтобы его услышали; какие-то туземцы, вымирающее коренное население, словно не способное за себя постоять. На их фоне *качки*, «новые русские», кажутся и впрямь новым антропологическим видом.

Президентская рать заставила с собой отождествлять демократию, так же как коммунисты в прежние времена не без успеха пытались заставить отождествлять Родину — с ними.

...Недавно в электричке купил залежалые, видно, записки горбачевского помощника по международным делам А. С. Черняева³. Купил не столько из-за поразительной дешевизны, сколько назло предлагаемой обычно бульварщине.

Коммунисты, как известно, исподволь делились на интернационалистов (ленинцы) и великодержавных шовинистов (сталинисты). По утверждению,

² «Россия, — рассуждает Бондаренко в газете „Завтра“, — должна была исчезнуть. Верховная власть легко была разрушена в семнадцатом году, и вся внешняя петербургская аномалия вылетела в Париж и Лондон, в Прагу и Харбин, отказавшись от имперского величия. А подземная Русь собрала новую, еще более красивую и величественную русскую империю». Со столь дикарскими представлениями о Совдепии патриоты конкурировать с февралистами на общественной сцене, разумеется, не могли, какой-никакой здравый смысл в нашем народе еще не совсем затмился.

³ Черняев А. С. Шесть лет с Горбачевым. М., «Прогресс», «Культура», 1993.

например, А. Н. Яковлева в послехрущевское время руководство страной активно переходило на национал-шовинистические рельсы⁴. (Правда, я, например, как рядовой гражданин ничего такого не замечал. Наши «националисты» — питерская группа ВСХСОН, Л. Бородин, Вл. Осипов и другие — сидели в лагерях так же глухо, как, скажем, националисты украинские, татарские и прочая диссидентура.)

Так что вначале перестройка выразилась как бы в дворцовом перевороте ленинцев против сталинистов. Первым «общечеловеческие ценности» оказались ближе «патриотических» (а отсюда коротка стала дорожка к «рenegатству», «оппортунизму» и проч.). Великодержавный шовинизм заградил, оканчивается, светлый путь в цивилизованное сообщество⁵.

Горбачев же — судя по записям Черняева — сначала метался: сам тяготел к «общечеловеческому», Раиса Максимовна тянула к «почвенничеству». Под ее влиянием генсек возмущался, что у Глазунова «нет даже паршивенького орденишки, не говоря уже о премиях». «Михаил Сергеевич приветил Глазунова... стал продвигать его. Это вызвало сначала ворчание, потом протесты со стороны перестроечной интеллигенции. Мы с Яковлевым не раз обращали его внимание на это. Я, не стеснясь в выражениях, говорил о Глазунове все, что думаю». В другой раз на Горбачева «явно произвело впечатление выступление Анатолия Иванова, откровенного черносотенца и „динозавра“, почвенника».

Летом 1987 года, рассказывает Черняев, «Яковлев чуть ли не со слезами говорил, как ему тяжело: „...я — русский мужик, ярославский крестьянин. Но мне биологически отвратителен антисемитизм. Меня тошнит от всякого национализма. Не говоря уж о государственном интересе. Возбудить сейчас русский шовинизм — это значит вызвать такую волну с окраин, такой национализм, что вся наша империя затрещит».

«Замечания пророческие, хотя и наполовину, — рассуждает дальше Черняев, — затрещала она все-таки не из-за русского шовинизма, который к этому времени уже переродился в русофильский изоляционизм по принципу: „А пошли они, все эти...“».

Куда ни кинь, всюду клин: «русофильский изоляционизм» оказался для советской империи вредоноснее «русского шовинизма»!

Общечеловеки и шовинисты с двух сторон толкают Михаила Сергеевича, а он не сдается, держится средней линии: «Я не стою на такой точке зрения, что надо запретить, зажать, хотя сволочь вроде „Памяти“, которая паразитирует на перестройке, надо уметь изолировать, но изолировать работой».

«В ходе этой дискуссии по гласности, — записывает Черняев, — Лигачев пожаловался, что он уже четыре раза беседовал с С. П. Залыгиным, и признался, что „хочется уже голос повысить, терпения не хватает, и выразиться какими словами, чтобы уже не было необходимости встречаться в пятый раз“».

Горбачев откомментировал: «Терпение нужно, такое у нас время. Помните, как у китайцев: 391-е серьезное предупреждение!..» Но добавил: «Определенные люди подбрасывают нам ценности, подсовывают идеи, которые ставят под вопрос наш социалистический выбор. И тут нельзя занимать аморфные позиции. И вот Сергей Павлович, я его очень уважаю. Но что получается: один за другим вылезают в его журнале то Попкова со своим „господством рынка“, то другой, предлагающий нам безработицу⁶. Если Сергей

⁴ «Источник», 1997, № 1.

⁵ Жупел «великодержавного шовинизма» (угасавшего в коммунистическом лепрозории народа) третья эмигрантская волна принесла с собою на Запад как наиболее пользовавшийся там спросом. В эмиграции обычно бывало так: мельтешит человек, мелькает, рвет на себе рубашку — обличает Россию в деспотизме, Солженицына в изоляционизме и т. п., исходит весь, не знает покоя — вдруг затих. Значит, оценен, получил наконец место с хорошим окладом и решил отдышаться; а уж дальше — по обстоятельствам.

⁶ Попкова Л. Где пышнее пироги? — «Новый мир», 1987, № 5 (псевдоним известного экономиста Ларисы Пияшевой); Шмелев Н. Авансы и долги. — «Новый мир», 1987, № 6.

Павлович против социализма, то нам не нужен такой редактор. Критерий тут может быть только один: все, что укрепляет социализм, ко всему этому мы будем прислушиваться и будем считаться. Но когда нам пытаются подсунуть вместо социализма капитализм, буржуазную идеологию — это совсем другое. Так дело не пойдет. Но я против замены редакторов. Товарищи здесь предложили такую меру. Подобным решением мы дали бы ложный сигнал».

Шатается, шатается Горбачев: вдруг надумал взять с собою в Польшу Бондарева. Еле отговорили. «Мощный аргумент был тот, что „поляки этого не поймут“: это же отъявленный великорусский шовинист».

Черняев вообще силен по части различения духов: «антисемитский душок», «антисемитский подтекст» чувствует за версту и сразу сигнализирует. А вот по части традиционной (великодержавной?) культуры силен не очень: Архангельский собор в Кремле назвал Александровским. Кто они, кремлевские небожители, какого роду-племени? Горбачев «не раз мне говорил, что „русские ему не простят развала империи“ (выражался именно так), „великодержавные силы урчат все сильнее“... Я возражал, считал, что в русском народе уже берет не „единая и неделимая“, а национализм как таковой».

Какое натуральное дистанцирование правителей от аборигенов!

Не сразу понял Черняев, в чем «тайна снисхождения М. С. к Белову, Распутину, Алексееву, Проскурину, даже к Бондареву, ко всей этой почвеннически-черносотенной группке писателей. Они „за“ русского мужика болеют, ужаснулись разорению, которому подвергся русский народ, отсюда и поиски ими „еврейских корней“ у коллективизации, Гражданской войны, массового террора, вообще у Октябрьской революции, которая унизила „русское“ в России и загубила ее как таковую», — отсюда если и неизвинимое, то хотя бы объяснимое «снисхождение» к ним генсека.

...В конце 80-х годов в Мюнхене я набрасывался на все советское — уже не вполне советское — с жадностью закисающего в эмиграции патриота. Ночами смотрел записи — да не по разу — фильмов и телепередач: невиданная чернуха или вот Кшиштоф Занусси с удовольствием читает в Кремле Кюстина. В «Ассе» избивают на танцульках военного — необычно. Или вот «Холодное лето пятьдесят третьего» — отличный фильм! И потом пересматривал раза два — большая удача. (Уже вернувшись в Москву, посмотрел того же режиссера «Увидеть Париж и умереть»: переломала Прошкина новая конъюнктура, сломался Прошкин!)

Или — на центральный вокзал за советской прессой (выбор невелик: «Правда», «Литературка» и «Огонек»), накупишь — и на Изар; и там, у прозрачных альпийских вод с играющей в их толще форелью, как говорится, «с лупой» читаешь каждый абзац. Ну вот, например, «Колонку редактора» «прораба перестройки» Коротича:

«Сосредоточенная до зашоренности борьба за национальный рассудок все больше смахивает на упрямое отстаивание национальных предрассудков, провоцирование очередных взрывов погромного черносотенного грязевого вулкана, от брызг которого не раз уже приходилось отполаскивать и людей, и хоругови.

Многих, особенно в национальных республиках, встревожило выступление на Съезде депутата В. Г. Распутина. Не могу не согласиться с только что опубликованным мнением депутата Верховного Совета СССР киевлянина Ю. Н. Щербака, увидевшего в речи известного русского прозаика слегка подгримированные слова Петра Аркадьевича Столыпина, этого, по выражению Ленина, „обер-вешателя, черносотенца и погромщика“. Обращаясь к революционерам, в том числе и к большевикам, Столыпин сказал: „Вам, господа, нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия“. Эти слова премьер-министра царской России были высечены на памятнике, стоявшем в Киеве и уничтоженном украинским народом после революции. Осторожнее

нам надо быть со словами. Я не хочу идти в будущее с девизом махрового реакционера, не признававшего права народов на самоопределение»⁷.

В «Правде» — небезынтересные статьи Егора Гайдара (уж не потомок ли писателя, горячо любимого мной в отрочестве, но — как вот узнал из эмигрантских книжечек — большевистского молодого садиста?). С одной стороны, гулять сквознячки свободы, а с другой — польская «шоковая терапия» сравнивается с пловцом, что прыгнул с вышки, не зная, есть ли вода в бассейне. Не подумаешь, что через пару лет этот автор отважится на то, на что он отважился?⁸

Так что не без ностальгического любопытства открываю нынче гайдаровские мемуары — хотя бы сравнить стилистику. Они вышли в примечательной серии издательства «Вагриус» наряду с рассказами о жизни Эльдара Рязанова, Михаила Козакова, Брижит Бардо и других замечательных людей второй половины XX века — с выразительными портретами на обложках. Так что на книжном развале — по контрасту со славной, но легковесной мордашкой ББ — знакомое ныне каждому школьнику лицо Егора Тимуровича выглядело особенно авантажно⁹.

Не хочу судить о реформе: Гайдар замирающую жизнь в растяннувшейся на годы агонии взбодрил и вывел из коллапса мерами, которые и по сей день оцениваются полярно. Жизнь закипела — не производство, не культура, не наука, тут умирание продолжается, — закипела на уровне ларька, прилавка, шоу-бизнеса, гигантского гешефта и распродажи. Все это имеет свою, быть может, по-своему железную логику. Но вот что прежде всего хотелось мне уяснить из книги Гайдара: *как, почему и чем объясняет он столь решительный и скорый отказ от государственной монополии на спиртное?* Ведь ребенку ясно, что при ослаблении всех социальных, контрольных, дисциплинарных механизмов отдать спиртное в частные руки — значит наводнить страну ядом, замаскированным техническим спиртом, отравить, превратить в инвалидов и покойников сотни тысяч людей. И действительно, резкое сокращение продолжительности жизни мужчин до 57 — 58 лет, скачком возросшая смертность — в значительной степени страшный результат разгосударствления спиртного. Ладно, можно думать: пусть умрет советское производство, туда ему и дорога (хотя и тут действовать чохом — абсурдно), — но отказ от винной монополии производил и «естественный отбор» советского человека: пьешь — сам виноват: помирай. Не станем, конечно, идеализировать спиртное времен застоя: помним и «Солнцедар», и «плодовое-выгодное», и водяру с нефтяным спектром. И все же — то был «мышьяк», а тут в ход пошел «цианистый калий».

Чем же сегодня мотивирует Егор Тимурович такой «либеральный» шаг своего правительства, на совести которого неисчислимые жертвы? Заинтригованный, начал я внимательно листать книгу...

И скоро понял, что это «исповедь» из тех, где *не* говорится больше, чем говорится. Например, узнаём, что во второй половине 80-х герою «было в высшей степени наплевать на возможность сохранения... дальнейшей партий-

⁷ «Огонек», 1989, № 27. Ну кто тогда мог представить, что, как только это священное «право народов на самоопределение» будет признано, Коротич «уйдет в будущее» — за океан?

⁸ Не детским ли воспоминанием реформатора продиктован этот запомнившийся мне образ пловца? «Вообще в нашей семье трусость, даже намек на нее считались самым страшным пороком, — рассказывает в политической автобиографии Егор Тимурович. — Отец прыгает с вышки бассейна, предлагает и мне сделать то же самое. Это приглашение не доставляет мне ни малейшего удовольствия. Однако прыгаю, больно шлепаюсь животом о воду, но делаю вид, что получаю немислимое наслаждение».

⁹ Гайдар Егор. Дни поражений и побед. М., «Вагриус», 1997. В издательской аннотации говорится: «Самый молодой глава правительства России, бесстрашно взявший на себя бремя принятия судьбоносных решений в тяжелейший период, уже увековечил свое имя в истории. ...внук знаменитых Аркадия Гайдара и Павла Бажова. Бесстрашная порывистость командира времен гражданской войны соединилась в нем с неторопливой рассудительностью уральского сказителя. Сочетание нестандартное».

ной карьеры», но каким образом он, по его же утверждению прозревший еще в 68-м, очутился в партии — ведь это же интересно, — о том ни слова.

У Гайдара — его *реформа* суть экстренная мера, позволившая «предотвратить реальную угрозу катастрофы зимой — весной 1992 года». С этим мне трудно спорить. Но почему все последующее, в частности дикую приватизацию, надо было проводить в жизнь столь лихорадочно и для страны непродуктивно, а для многих людей гибельно — непонятно.

У черта на куличках, в далеком якутском селе Черепча, вспоминает Гайдар, «кто-то из собравшихся спрашивает меня о моем вероисповедании. Я откровенно отвечаю: агностик. „Это что, секта такая?“ — слышится из зала. Объясняю, что это философское учение. Зал изумлен...» (М. Задорнов со сцены рассказывает другой вариант: «Если это секта, то чем вы там занимаетесь?»)

С захватывающим интересом читаются несколько страничек о Беловежском соглашении («отпираться не буду — оно от начала до конца написано моей рукой»): за несколько ночных часов ликвидируется де-юре социалистическая империя.

В другой раз, «когда поздно вечером в Архангельском я сказал ему (Чубайсу. — Ю. К.), что хочу... чтобы он взял на себя ответственность за разработку и реализацию программы приватизации, обычно невозмутимый Толя тяжело вздохнул и спросил меня, понимаю ли я, что он станет человеком, которого будут всю жизнь обвинять в распродаже России». Так делается история. А потом поэт (Сергей Стратановский) сетует: «И кто-то ваучер вложил в мою протянутую руку»...

«Для себя ввел специальную условную единицу устойчивости человеческих отношений под названием „один чуб“, развернуто „один Чубайс“. Как бы ни менялись наши с Чубайсом соотносительные социальные статусы, это никогда и никак не сказывалось на характере наших взаимоотношений. К сожалению, куда чаще эту устойчивость приходится измерять в „сантичубах“, „милличубах“ и даже „микрочубах“».

Можно позабавить автору: какая искренняя натуральная убежденность, что демократия — это я, Чубайс, Юшенков, Ковалев, а оппозиция — «коалиция коммунистов, националистов и просто проходимцев». Легко быть энергичным, несомневающимся политиком при таком элементарном раскладе. А когда, например, в оппозиции — и жесткой — оказываются Буковский, Солженицын, Максимов, реформатор вздыхает: «Мне грустно...» И баста.

Когда в Буденновске басаевские — по определению Ковалева — «робингуды» захватили заложников, Гайдару в Москве тотчас же стало ясно: «Никакая „хирургическая операция“, разумеется, не получится, заложников освободить не удастся», и потом в Первомайске «предложение боевиков надо принимать вне зависимости от того, что они собираются делать дальше». Но: «Президент перед телекамерами рассказывает о прекрасно спланированной операции с участием 38 снайперов... Он выглядит полностью оторванным от реальности. Смотреть невыносимо, мучительно стыдно».

Но не те же ли «38 снайперов» и у вас, Егор Тимурович, и нам «мучительно стыдно» читать, например, такое — не понаслышке зная состояние современной России, тяготы русского человека: «Да, конечно, это хорошо, когда не надо больше стоять в очередях... когда имеешь возможность создать собственное дело или выбирать место, где тебе удобно жить. Но ведь одновременно возникают и серьезные трудности: не хватает денег на покупку товаров... да и работать надо куда напряженнее, чем раньше. Думать самому о будущем своей семьи».

Теперь, убежден Гайдар, «начнет наращивать мускулы, осознавать свои подлинные интересы тот средний класс, который и служит потенциальной опорой либеральных идей».

Как воскликнул Константин Леонтьев по поводу реформ Александра Третьего: «*И это всё?*»

Ну, тогда жить можно¹⁰.

...Беда — по остроумному мнению Гайдара — в том, что на Западе не нашлось для проигравшей «холодную войну» посттоталитарной «социалистической империи» своего Маршалла, который бы нами занялся: лидеры цивилизованного сообщества решали свои проблемы, спихнув нас на Международный Валютный Фонд, который «к решению крупномасштабных политических задач совершенно не готов».

И впрямь трудно определить искренние «задачи» Фонда, когда, например, летом 1996 года он отстегнул нам кредит в 10,2 миллиарда долларов взамен... отмены экспортных пошлин на нефть, которые превышают его! В какой надо быть зависимости, чтоб согласиться на это? Правда, попробовал рпнуться Шохин, робко указав на невыгодные условия.

И вот корреспондент «Труда» чуть ли не в извинительных интонациях спрашивает об этой коллизии у главы московского представительства Фонда Томаса Вулфа («Труд», 1996, 13 августа). «Я не хотел бы говорить подробно по этим вопросам, — отвечает тот. — В целом можно сказать, что Россия выполняет обязательства, взятые на себя в связи с предоставлением кредита. Кроме того, я не хотел бы делать официальные комментарии по поводу высказываний российского политика, с которым мы вместе довольно тесно работаем».

Бесподобно. Ох, нет на них Федора Михайловича и его «Дневника писателя»! Уж он бы «откомментировал».

Ну а что же сказано у Гайдара об отказе от спиртной монополии? Ровным счетом ничего, словно о пустяке. Горбачевская антиалкогольная кампания названа «опаснейшей»: госбюджет получил от нее «мощную пробоину». А потом от полной демонополизации — разве не получил? За что боролись? Да еще в другом месте скороговоркой: «Отменяем государственное регулирование цен на спиртное», — будто сообщение с фронта. Зачем? В чей карман прибыль? Кому на руку спешка в столь экстраординарном вопросе?!

...На следующий день (после подписания «Указа о свободе торговли»), рассказывает Гайдар, проезжая через Лубянскую площадь, «увидел что-то вроде длинной очереди, вытянувшейся вдоль магазина „Детский мир“. ...Какое же было мое изумление, когда узнал, что это вовсе не покупатели! Зажав в руках несколько пачек сигарет или пару банок консервов... бутылку водки или детскую кофточку... люди предлагали всяческий мелкий товар... Если у меня и были сомнения — выжил ли после семидесяти лет коммунизма дух предпринимательства в российском народе, — то с этого дня они исчезли».

Взгляд ребенка из благополучной семьи. Или завсегдатая столичной тусовки. Но никак не ответственного отечественного политика.

Не забыто и мной *то* утро. И — не из окна лимузина. И когда у представительницы «российского народа» — трясущейся старухи — покупал потом бутылку, смутно тревожась, что уже завтра будет торговать она отравой,

¹⁰ Для равновесия приведем противоположные мнения:

«...жесткая монетарная и финансовая политика Гайдара... жесточайшим образом подавила всякую частную инициативу... Такой „бизнес“ не способствовал наращиванию капитала, не вовлекался в конкуренцию, не создавал новых рабочих мест или новой продукции; он даже не вносил ощутимой доли в сбор налогов. Однако при этом он возбудил инфляцию, преступность и ненависть общества к „поганому капитализму“» (Вл. Буковский).

«Из ловких представителей все тех же бывших верхнего и среднего эшелонов коммунистической власти и из молниеносно обогатившихся мошенническими путями скоробогагов создалась устойчивая и замкнутая олигархия из 150 — 200 человек, управляющая судьбами страны... Это — не выросшее из корней государственное дерево, а насильственно воткнутая сухая палка или, теперь уже, железный стержень. Членов этой олигархии объединяет жажда власти и корыстные расчёты — никаких высоких целей служения Отечеству и народу они не проявляют... Весь процесс выглядит так, как если бы был включён гигантский насос, непоправимо отсасывающий из России её природные богатства, капиталы и мозги» (А. Солженицын).

подделкой, сомнения именно в «духе предпринимательства в российском народе», прямо скажу, были у меня сильные — не как у премьер-министра.

...Недавно, случайно забредя на одно из московских кладбищ, я не верил своим глазам, читая на памятниках даты жизни: покойные сплошь пятидесятих, шестидесятых, семидесятых годов рождения! Сам я — с сорок седьмого — казался тут себе какой-то забытой тенью, давно пережившей свое время.

Сколько же среди них жертв «алкогольной кампании» Егора Гайдара?

...Понадобилось шесть лет убойного беспредела в алкогольном бизнесе, чтобы в середине 1997 года стали наконец принимать слабые, неадекватные серьезности ситуации меры и президент 12 сентября по радио сообщил: «Мы твердо решили перекрыть кран спиртовой контрабанде. ...Хватит нам употреблять напитки, неизвестно где и неизвестно как сделанные».

2

Как это ни удивительно, да даже и символично, сразу в трех известных мне провинциальных городах держащие там «мазу» уголовные авторитеты, выросшие, как правило, из недр советского спорта, попарно однофамильные: Кабановы и Комаровы. Соответственно *Кабан* и *Комар*. И сценарий всюду один и тот же: в результате долгого противостояния и разборки люди Кабана убирают Комара и Кабан становится в городе полезным и уважаемым господином. Так, под городом Т* у Кабана — дачный дом в самом номенклатурном загородном поселке рядом с начальством (крепость с щелями «дотов» вместо окон). Другой Кабан построил в центре Р* рынок по последнему слову цивилизации, собирается реставрировать центр города, доведенный до крайнего аварийного состояния. Третий Кабан (ниже по Волге) открыл ресторан с превосходной кухней, да еще — в отличие от европейских, не уступая им по качеству — работающий круглые сутки. Всего на несколько столиков — как раз на всех, кто в этом агонизирующем, с разбитыми фонарями и взбухшим асфальтом городе может себе позволить тут покутить, поужинать.

«Потенциальная опора либеральных идей» — опора и Кабана: «средний класс» отстегивает ему калым и подчиняет ему весь свой пигмейский промысел. «Создать свое собственное дело» (то есть открыть ларек или лавку) — значит стать данником, а по существу, служащим Кабана. Никакое положительное дельное производство ни начать с чистого листа, ни продолжить в принципе невозможно.

...Халтуры, липы при тоталитаризме было навалом, ассортимент товаров в брежневщину катастрофично сужался, качество на глазах ухудшалось. Миф о процветающей социалистической евразийской империи оставим Проханову с Бондаренко. Но не все ж была липа. Были далеко не случайные, хорошие, необходимые населению производства. И именно их-то сплющили и прихлопнули в первую очередь с каким-то особенным сладострастием.

В начале навигации 1997 года пролетали мы на «Метеоре» по Волге — к Кинешме. Страшно смотреть было на прибрежные пустыи, обесстекленные фабричные корпуса хорошей, еще дореволюционной постройки. Вот фарфоровый завод в Песочном под Рыбинском. Кому он мешал? Дешевая, благородных традиционных силуэтов посуда — как раз для «среднего класса». (Или в самом Рыбинске — превосходная кондитерская фабрика, чьи изделия еще и до революции котировались в Верхневолжье, а при Сталине делали там конфеты, каких сегодня не сыщешь. Теперь и она стоит, а зарплату неуволенным раз в два месяца выдают макаронами — желтыми, из мешков — по четыре кило на брата.) И если «монетаристы» мне скажут, что для развития рынка и демократии закрытие этих предприятий фатально необходимо, — я пошлю их со всей их экономической наукой к черту. Ибо это уже не наука — а идеология, здравому смыслу предпочитающая свои приемы и «пасы». Нас, невежд в экономике, иногда сравнивают с дикарями, присут-

ствующими при операции: тем кажется, что человека режут изверги, на деле же его исцеляют эскулапы. Так, мол, и мы хлопаем глазами на «шоковую терапию», ваучеры и проч. Сравнение, думается, не вполне корректное. Операция операцией, но когда ведущий врач начнет, простите, кишки на локоть наматывать, то тут уж и дикарю ясно, что это не операция, а убийство.

Ближе к Кинешме у курящего рядом под хмельком мужика спрашиваю, что за предприятие проезжаем (тоже красные кирпичные корпуса постройки начала века — люблю я ту настоящую, крепкую архитектуру), брошенное словно под неприятелем.

— Да у нас же Ивановская область. У нас на всех фабриках одно всегда и изготовляли: *текстильное вещество*.

Я даже вздрогнул: ба, да это ж прямо для Андрея Платонова! В восхищение привело меня это *текстильное вещество* — каждый день теперь его вспоминаю. И думаю: да, при коммунистах выпускали много всяких тупорылых «железок» и прочего глубоко — по мировым стандартам — провинциального и нелепого хлама. Но, отказавшись от продуманной и максимальной поддержки отечественного производителя, уничтожили не только производство этих «железок», но и... «текстильного вещества»: полезного и придававшего нашему бытию лица необщее выражение, вот хотя б здешние ивановские сатины и ситцы.

...Никакие экономические манипуляции «агностиков» не дадут чаемого культурно-социального процветания, а только усугубят распад — без отстройки положительного гражданского сознания в посттоталитарной России. И основываться оно должно отнюдь не на одних «общечеловеческих ценностях», тем более приходящих к нам в упаковке американской масскультуры — при безудержной пропаганде потребления. И не на одних «правах человека» — обернувшихся правом главенства циников и бандитов.

Но и — отнюдь не в последнюю очередь — *на традиционных духовных ценностях* (религиозных, культурных и моральных), что — своим чередом — требует их ненавязчивой, но неукоснительной пропаганды. Люди на это есть, но по своей порядочности и застенчивости они просто не имеют возможности подступиться к формуемому гешефтниками агитпропу нынешнего режима. Именно эти ценности стали с первых лет перестройки затаптываться еще оголтелее, чем при коммунистах, ее «прорабы», повторяю, видели в них опасность для цивилизации, которую отождествляли с собою.

Русскому самосознанию вообще-то приходилось оправдываться еще задолго до революции, в собственной стране оно было на подозрении и носило оборонный характер. Оно чувствовало себя угрожаемым — и не напрасно: в 1917-м началась растянувшаяся на десятилетия его ликвидация. Подонки нации, худшая ее часть, вкупе с инородцами всех мастей под водительством большевистской каморры принялись истреблять лучшую — сначала неистово, потом планомерно. Велось и прямое уничтожение, и косвенное: люди обрекались на вымирание. Уж столько мы об этом знаем свидетельств, а каждый раз не устаем поражаться.

...Вот только что изданные письма Ивана Ивановича Бриллиантова — до революции помощника инспектора Петербургской Духовной академии — к брату, богослову Александру Ивановичу. После закрытия академии, чтобы как-то кормиться, он возвращается в их родовое гнездо Цыпино, около Ферапонтова, — места, освященные русской святостью и гением Дионисия, и вот — пишет оставшемуся в Питере брату (1918 — 1929 годы)¹¹. Чуть не в каждом письме — сообщение о смерти кого-то из земляков. И так из года в год, из месяца в месяц.

¹¹ «Ферапонтовский сборник». IV. Составители и авторы комментариев М. Н. Шаромазов и М. А. Алексеева. Под общей редакцией Г. И. Вздорнова. Москва — Ферапонтово, 1997.

«Скончался протоиерей Ф. А. Леонов, в Кириллове недавно умерла Либрова от голода». «Сегодня только я узнал... о смерти И. М. Волкова... он умер раньше А. П. Соколова». «Около 7/20 ноября умер доктор Нодельман». «Ферапонтовский священник отец Иоанн (Иванов) расстрелян 19 сентября 1918 года в Кириллове». «16/19 декабря (1920 года. — Ю. К.) умер А. И. Инопин от тифа. 24/7 декабря умер О. В. Измайлов». «Мама скончалась 20 июня/3 июля около 4 часов утра на восходе солнца». «Пожалел о преждевременной и мучительной кончине Ивана Павловича Соколова... отправившись в Печенгу на погребение о. Константина». «Другой целью моей поездки... было проведать о. Павла Лесницкого... я сидел у него более получаса. Он очень ослаб, похудел, часто глотал снег и просил морфий... через день, 4 декабря, он скончался» (1922 год).

«25 ноября... умерла Кирова Степанида... ей, как о. Павлу, было 58 лет». «Вчера... получено известие о смерти Анатолия. Умер от холеры, промучившись 7 часов». «21 февраля/6 марта, 1922. Дорогой брат! Печальное известие приходится сообщить в этом письме. Сестра Лидия скончалась... воспаление, уже запущенное, легких... Больная съела яйцо всмятку, выпила чашку молока с коньяком из моих рук... но смерть уже приближалась. Она вдруг перестала дышать и тихо скончалась». «Умерла от водянки Мария Филаретовна, на днях умер от тифа о. Семен Попов у Благовещения». «Умер в Кириллове монастыре иеромонах Адриан. У Рябкова умер младший брат Федор — землемер. Недавно овдовел Дмитрий Михайлович Инопин».

Еще в 1918 году (15 сентября) были расстреляны епископ Кирилловский Варсонофий, ферапонтовская игуменья Серафима. И миряне: Михаил Дормидонтович Трубников, Николай Игнатьевич Бурлаков, Филипп Кириллович Марышев и Анатолий Андреевич Барашков. (Епископа убили только с седьмого выстрела¹².)

И все это — на пятачке земли в 20 верст!

Сам Иван Иванович Бриллиантов был арестован 22 января 1931 года «за терроризирование и угрозы бедноте» и через месяц расстрелян (вместе с о. Александром Фоминым). Брат и адресат его Александр Иванович проходил по «делу академика Платонова» и погиб в концлагере в 1934(?) году.

Русские краеведы массовым репрессиям подверглись в конце 20-х.

Не так давно мне удалось ознакомиться с «Делом № 10» Рыбинского научного общества (Архив ФСБ Ярославской области), одним из бесчисленных тогдашних такого рода следственных дел; любившим родину и знавшим культуру делать было под большевиками нечего, они подлежали ликвидации. Доносы местных шариковых, протоколы допросов — небольшая кипа листочков, стойшая, однако, жизни многим.

По делу проходили: Алексей Алексеевич Золотарев (культуролог, писатель, знакомец Розанова и Горького), археолог и педагог Леонид Андреевич Альбицкий, секретарь Общества Алексей Федорович Виноградов, преподаватель Александр Николаевич Егоров, врач Павел Михайлович Битюцкий, старший хранитель музея Евгения Васильевна Соснина-Пуцилло, профессиональный искусствовед.

Большевистский всеобуч скоро начал давать плоды; и вот двадцатичетырехлетняя домработница доктора Битюцкого (1876 — 194?) Анна Федоровна Муратова, «девица», «беспартийная», «сочувствую ВКП(б)», «малограмотная», на тетрадном листе в линейку выводит свои каракули — «заявление», то есть донос: «Вот решила вам написат и могу рассказат вам как живут у таких контрреволюционеров». Написание невообразимое, грамота Муратовой не

¹² Местный старожил, старичок «на покое», «дядя Саша» в 1976 году рассказал мне об этом так: «Повели их на расстрел. Вдруг игуменья начала тушеваться. Тушется и тушется. Варсонофий ей говорит: „Не тушуйся, мать игуменья, молись“. Убили ее. А он все молится. Кончил молитву, только тогда упал».

дается. Но ее тут же (30 января 1930 года) вызывают в ГПУ, а там уж следователь причисляет ее косноязычные показания: «Работая у него я пришла к необходимости заявить следующее: Битюцкий определенно контрреволюционный тип. Своих контрреволюционных воззрений не скрывает, а наоборот пользуется каждым новым пациентом для изложения ему этих убеждений. Главным образом он обрабатывает посещающую его публику из деревень. Части этой публики он проповедует бессмысленность колхозного строительства, бессмысленность и вредность политики существующего строя вообще стремящегося якобы уничтожить все ценное. Уговаривает и убеждает не идти в колхоз деревенских, т. к. там управляют коммунисты, которые по натуре воры и плуты. Говорит, что лучше все сжечь, чем отдать этой сволочи». И каракуля подписи: «муратова».

Доктор Битюцкий, видно что-то узнав, выставил негодайку за дверь. Тот же следователь через три дня записывает «Дополнительные показания Муратовой»:

«К ранее изложенному считаю нужным прибавить следующее.

2 февраля Битюцкий без всякого предвар. предупреждения заявил мне что бы я от него убиралась т. к. больше ему не нужна.

Выдал мне вперед за 2 недели деньги и выкинул мои вещи из комнаты где я ночевала в пустую холодную неотапливаемую кухню.

Мои просьбы к нему об оставлении в течении хотя бы недели мне ночлега в его доме были им оставлены без ответа и мне в 30 град. мороз, ночью в 12 ч. пришлось идти искать ночлега по городу.

Вот как поступает эта публика с трудящимися. Записано верно, прочитано», — и опять автограф: «муратова».

На следующий день доктора Битюцкого взяли.

Муратова на службу к нему «была послана профсоюзом». Была ли она сексоткой изначально, написала ли свое «заявление» по настоянию органов или по собственной инициативе — неизвестно.

Я потому так подробно останавливаюсь на этой истории, что тут налицо целая «анатомия» победившей революции: по косноязычному доносу дремучей молодой тетки посадили пятидесятичетырехлетнего первоклассного, широко известного в уезде дантиста...

Первый допрос краеведов датируется 30 сентября 1929 года.

А за год перед тем директором музея назначили некоего Лебедева: «член ВКП(б)... образование низшее». Вот эти шариковы-лебедевы, орудуя на местах, и уничтожали духовно-культурную ткань отечества. «Я считаю, что вокруг руководителя общества Золотарева Алексея Алексеевича группируется антисоветский контрреволюционный актив и, прикрываясь флагом общества, ведет контрреволюционную работу». Мразь, провоцируемая на подлость коммунистической властью, «плодилась и размножалась» и — доносила: «Относительно религии Золотарев говорил: „Можно не верить, но насиловать религиозные убеждения — это варварство! Религия — святая святых человека! Совласть при сталинской диктатуре неминуемо придет к краху”».

Евгении Васильевне Сосниной, когда ее взяли, было чуть более сорока. Всматриваюсь в застекленный ее портретик в рамке, висящий у меня на стене: в три четверти, открытое, доброжелательное, курносое немного лицо, ленточка крестика на шее, грубоватый холст платья с листьями аппликации, — за сколько же лет, месяцев до гибели?

...23 марта 1930 года осужденных выслали в Северный край на три года. Из Архангельска — на лесоповал (Золотарев выжил и рассказал), на барже 2000 человек, хлеба выдавали по 100 грамм. «В течение пяти месяцев нас перебрасывали из одного места в другое, из деревни в деревню, из барака в барак. Начались эпидемии. Жуткая картина смерти в бараке. Человек умирает на нарах от дизентерии под шум, под крики уголовных: „Издыхай скорее!” Он не может уже говорить, только постучит кружечкой. Никакой Шекспир не опишет!»

Заболела и Евгения Васильевна. Ее высадили с баржи в Исакогорке, гулаговская — под Архангельском — зона. Там она умерла.

Тоже репрессированный, председатель Костромского краеведческого общества Василий Иванович Смирнов писал жене (10 июня 1931 года): «В немногие часы досуга брожу по окрестностям Исакогорки. Был на печальном кладбище, поросшем карликовой березой. Здесь похоронена в прошлом году высланная в Архангельск Евгения Васильевна Соснина, заведующая Рыбинским музеем. Ее, больную, пересылали осенью на барже куда-то вглубь на север края с партией других адм-высланных исключительно мужчин. По просьбе рыбинцев начальник эшелона высадил ее из баржи на берег. Она умерла здесь, и кто-то ее тут на горке похоронил. Рядышком цветет морошка и багульник»¹³.

Реабилитировали рыбинских краеведов в мае 1989 года.

...В 30-е годы террор накрыл своим крылом и большевистских фанатиков ленинского призыва, и многих доносчиков и сексотов.

Во Вторую мировую войну обескровленная Россия все-таки за себя постояла, но справиться с врагом внешним легче, чем с внутренним, и коммунизм паразитировал здесь еще столетия, формуя свой уродливый социум не без использования — еще со времен Сталина — некоторых ее «священных преданий».

Наконец режим партийной номенклатуры не выдержал и пошел трещинами сразу же по всем направлениям.

И из трещин бурно полезла вверх криминальная олигархия. Как раз никаких условий для деятельности среднего класса не создано, с какой лупой разглядел их Гайдар, неведомо — ведь нельзя же всерьез считать средним классом лавочников и «челноков». Любой стремящийся открыть производительное дело частник — как гений у Шигалева — будет тут удушен в младенчестве. Средний класс — это и ученые, врачи, инженеры, учителя, краеведы — одним словом, целокупно вся служивая добросовестная внеидеологичная интеллигенция наша, которая могла бы стать *солью* посттоталитарного общества, формировать его благородство. Вместо этого ее удушили — безденежьем, невыплатой даже и скудных причитающихся ей крох, когда она ждет подмоги не от родины, а от зарубежных фондов, да и общим враждебным бескорыстием климатом. В культуре восторжествовали столичные охлократы, разбалованные зарубежьем, премиями, превратившимися в пособия для своих, фестивалями, в которые вбухиваются средства колоссальные, никак не соответствующие культурному уровню демонстрируемого и приглашаемых гастролеров. Всюду, куда ни глянь, одни и те же тусовщики с ненасытными аппетитами, а уездному краеведу не на что купить пиджака, выпустить книжечку своих изысканий. На стыке 80-х и 90-х — на волне демократической демагогии — они создали режим «под себя» и теперь пользуются его беспределом. И этой же столичной номенклатуре президент поручил разработку «национальной идеи» (?!), а она — между собой похихикивая — за это взялась как за новое доходное дельце.

Столицы подают пример, на всех немереных пространствах России вместо стыда, что терпели столько лет коммунизм, торжествует бесстыдство, стремление не произвести, а хапнуть. Как ни парадоксально, чем громче власть декларирует демократию, тем меньше не потерявшая стыд и квалификацию русская интеллигенция ощущает ее *своею*. Как и при коммунистах, прикармливаются те, кто формирует идеологию — на этот раз идеологию релятивизма и потребительства. Делают у нас — ежели что и делают, — так это не «текстильное вещество», а *бабки*. И через ТВ это «делание» заражает все государство.

¹³ Благодарю научного сотрудника Исторического отдела Рыбинского музея Ольгу Юрьевну Тишину за возможность ознакомления с этим текстом.

И все-таки, несмотря на распад и глобальное разграбление, остается надежда, что Россия не в бездне, а на распутье и исторический шанс окончательно не упущен. *Свобода* дорого стоит. Ведь каждый из нас помнит время, когда вечером в компании распустишь язык, а утром думаешь, на какой срок вчера наболтал. Несвобода была разлита в воздухе и касалась *всех* — не только интеллигенции. Теперь гораздо меньше поводов трусить, а трусость разлагает онтологический стержень личности.

Но этого, разумеется, мало. Личность концентрируется в позитиве, и патриотизм — необходимый компонент этого позитива. Те, кто с такой охотой цитировал в период чеченской драмы полумифическую фразу Толстого «патриотизм — прибежище негодяев», лучше б перечитали «Войну и мир» — высший образец патриотической эпопеи. Как можно было свою армию видеть только как коррумпированную империалистическую громаду, ее неудачи и поражения принимать едва ли не со злорадством, о ее успехах сообщать скороговоркой и нехотя? Нет ничего фальшивее питающейся иллюзиями гражданской бравады, но для чего перегибать палку в противоположную сторону, бравидуя полным отсутствием национального чувства и шеголяя отчуждением, именовать какими-то абстрактными «федералами» своих, невероятные тяготы несущих, солдат? И зачем было нужно это лукавство: «Требуем вывода войск из Чечни»? Называли б вещи своими именами: требуем *капитуляции*. Разве возможно б было такое, существуй живой, органичный патриотизм?

...Или вот смотрим телевизионный сюжет, как преследуют в Белоруссии «четвертую власть». А сразу следом — как оберегают ее свободу на Украине. Но простите, не в Крыму ли русскому большинству невозможно достать московский журнал, газету, не ущемляются ли повсеместно его права? А шире — не подбирается ли администрация по принципу враждебности «москалям»? Вот уж телевидение-то наше там ограничивают напрасно — даже львовских фашистов показывает оно скорей с любопытством, чем с осуждением. Именно невооруженным глазом видимая двойная бухгалтерия в освещении событий и социумов двух братских славянских стран и мешает разобраться в подлинной сущности происходящего в Белоруссии.

...Вечером того дня (3 июля 1997 года), когда был заключен «широкомасштабный договор» с Украиной и, следовательно, к иностранному государству навсегда отошли Крым и Севастополь, где мы теперь *арендуем* бухты и землю, я нажимал и нажимал телевизионные кнопки. Как обычно, будто ничего не случилось, кривляки шоумены потешали народ и неистовствовала голливудская перестрелка. Программы новостей трактовали — причем мельком — договор как победу нашей дипломатии: пусть и за большие деньги (плюс списанные долги), нам разрешили-таки оставить флот в Севастополе. И снова придурок, наряженный под Элвиса Пресли, заглядывал кордебалету под юбки. Казалось, вот он — зримый финиш самосознания государства. Даже не в сдаче Крыма дело, а в том, что этого мы как бы и не заметили. И только ни к селу ни к городу крутилось и крутилось в башке пушкинское: «Среди зеленых волн, лобзающих Тавриду, на утренней заре я видел не-реиду»...

В августе — в Крым. Есть у меня в Ялте приятель — крепкий поэт, скромный служащий, большой любитель попить сухого винца. В свое время я «доигрался» до того, что плечистая овировка разодрала надвое мой паспорт (я оценил ее силу: корочки-то довольно крепкие). Десять лет я болтался по миру апатридом, долго добивался возвращения мне гражданства. Теперь у меня такой же, как прежде, паспорт. Дружок же мой как сидел в Ялте, так и сидит, как писал, так и пишет, разве что выпивать стал поболе. Но он теперь... гражданин иностранного государства с синим паспортом «незалежной». Ежели это не театр абсурда, то что же тогда абсурд?

В Севастополе ходят группами в камуфляжах украинские гвардейцы. Город и флот выглядят какими-то... поруганными, бесправными. Побывал на

кораблях: мрачно, бедно — нищенство, другого слова не подберешь. И не только материальная царствует тут беда, но что еще страшнее — моральная. «Вы нас предали», — с кем ни разговорись — с офицером, учителем, краеведом, — каждый скажет¹⁴.

В Балаклаве в темноте вдруг кто-то запел: «Прощай, любимый город». Ушам своим не поверил. «Уходим завтра в море...» Мать честная, да в России ничего уж, кроме «Мальчик хочет в Тамбов», не слышно.

Отсоединение Крыма в 1954 году было и остается одним из самых размашистых коммунистических преступлений. Дикий жест Хрущева через годы откликнулся для России страшной, невообразимой потерей.

Но и... позавидовал я украинцам. Какая воля к государственной жизни; пусть даже через край, в ущерб здравому смыслу — какая гордость за свою независимость. СМИ искренне, не из-под палки патриотичны. Это тебе не Общественное Российское телевидение. С такой «общественностью» нам в истории и впрямь делать нечего.

Ни одна страна не может жить без государственного патриотизма, то будет не страна — но аморфное тело, которое не пинает только ленивый.

Наивно, разумеется, думать, что патриотическую идею можно взять и сформулировать в трех абзацах и начать ее пропаганду, — так внедряется партийный лозунг, а не идея, которая органично прорастает из совокупности социальных, политических и культурных условий.

В социальном отношении необходима широкая программа поддержки служивой интеллигенции. Каждый провинциальный учитель или музейщик должен иметь возможность обратиться со своим «проектом» не к зарубежным благотворителям, а — к своим. Средства должны аккумулироваться не в местных отделах культуры, где, как правило, сидят прежние мини-номенклатурщики, использующие их для своих загранпоездок и на мероприятия, соответствующие их кругозору, а доходить непосредственно до работника, делающего культурное дело. Пора понять, что служивая интеллигенция не досадный непроизводительный балласт, а опора каждого полноценного общества, не должна ее жизнь зависеть от собранной на огороде картошки.

К творческому человеку надобно подходить не как к своему идеологу, лоббисту и пропагандисту будущей избирательной кампании, но соответственно его таланту, добросовестности и бескорыстию. Столичные тусовщики, сервильные и циничные разом, в маскарадных одежках от демократии, никакой патриотической идеи не выделяют, ибо работают на себя — а она предполагает самоотверженность.

В политике патриотическая идея есть, собственно, здравый смысл и собственное достоинство. Наша внешняя политика последних десяти лет — какой-то «коллективный Хлестаков», гремящая смесь агрессивности с малодушием до заискивания, которой не подобрать аналогов в истории дипломатии.

Ее должны делать не радетели мирового сообщества, а те, кто болеет умом и сердцем за реальные интересы отечества, видит их как полноправную часть политической мировой органики. Не услужливое задабривание, переходящее в комичную, реальной силой не подтвержденную агрессивность, не политическое капитулянтство, но твердое понимание границ возможного и их мирное искусное расширение. Собственно, сейчас это политика любого цивилизованного государства. Но, увы, не России, которая после коммунизма все еще никак не может поставить верный «политический голос»; тут патриотическая идея будет расти «на паях» с его становлением.

(Вообще трупные пятна прежнего режима проступают то тут, то там. Не иначе как позорным и вопиющим следует признать решение Президиума

¹⁴ История «раздела», а по существу — деградации Черноморского флота с документальной безжалостностью рассказана в книге севастопольского офицера Сергея Горбачева «Севастополь в третьей обороне 1991 — 19...» (Севастополь, 1995).

Верховного суда Российской Федерации (20.XI.1996): отказ в реабилитации Игорю Вячеславовичу Огурцову, отмотавшему двадцать (!) лет на брежневско-андроповской каторге, и его сподвижникам — основателям Всероссийского социал-христианского союза освобождения народа (ВСХСОН). За ними и по сегодня осталось обвинение в «измене Родине» только потому, что в найденных при обысках в 1967 году бумагах указывалась цель ВСХСОНа: свержение коммунистического режима. Вот, повторяю, вопиющий пример того, что до подлинной декоммунизации и десоветизации у нас далеко: члены Президиума Верховного суда (наверняка, если «покопаться», в прошлом члены компартии) отказывают в реабилитации зекам-россиянам, не побоявшимся в глухие годы попробовать скovyрнуть советский режим. Ну можно ли представить себе, что в послевоенной Германии не реабилитируют немцев, пытавшихся организовать конспиративное сопротивление гитлеризму?)

И наконец, необходимо нормальное культурное обеспечение постсоветского человека. Он должен чувствовать себя дома, а не на «планете Голливуд» с протянутой рукой. В его стране должна быть его культура, настоящая на тысячелетнем культурном великолепии, — а не заморского дяди. Все и вся к рукам прибравший американизм, масскультура потребительского общества конца XX века, помноженная на здешнюю, обезьянью, просто невыносимы. Для того ли были понесены нами в этом столетии такие потери, явлены такие духовные красоты жертвенности — чтобы теперь тут правили бал коммерческие поделки! Да и сотой доли такого засилия иностранщины, экспансии чужого языка, чужой культуры, чужих товаров, чужой ментальности другие цивилизованные народы не потерпели б. Как в пробину, все это со страшной скоростью стало поступать к нам — в вакуум, образовавшийся от советской идеологии. Такое впечатление, что новая идеологическая агрессия сменила прежнюю и ее аппетиты еще безмернее.

В возрождении национальной культуры надобно опять же опираться на добросовестную и небалованную провинциальную интеллигенцию. Краеведение, постоянная работа со школьниками в музеях, библиотечное и издательское дело, не спорадически-хаотичное, а регулярное переиздание классики не только в столице, но, главное, в региональных и губернских издательствах — казалось бы, я говорю об *элементарном*, но так все запущенно, что даже эти скромные пожелания выглядят как наивное прожектерство, — но все-таки не надо же забывать, что кроме виртуальной реальности есть еще духовно-культурная, имеющая великие корни. И пытаться формулировать чаемое *направление перемен* — естественный долг каждого, кому Россия небезразлична.

Главное, отказаться от понимания реформ как универсального механического приема, способного нездоровое общество превратить в здоровое. Как писал С. Л. Франк: «Для данного народа в данном его состоянии и в данных условиях его жизни хорош тот общественный порядок, который, с одной стороны, наиболее соответствует органически-жизненной основе его бытия, его живым верованиям и сущностно-нравственному складу его жизни и, с другой стороны, более всего содействует дальнейшему творческому развитию общественных сил».

Могут возразить, что ко времени начала реформ — после тоталитарных десятилетий — никакого «сущностно-нравственного уклада» и «живых верований» у нас не осталось и возделывать надо было с нуля выжженное советское поле. Иными словами, собственно русское было уже истреблено на генетическом уровне. Согласиться с этим — значит признать правоту коммунистов, утверждавших возникновение принципиально новой «общности советских людей», признать, что, кроме них, никого уже не осталось. Но ведь каждый из нас просто в опыте своем знал, что это не так, по крайней мере не совсем так. И замечательные достижения — поверх официоза — в областях культуры, науки, литературы зримо свидетельствовали об этом! Национально-культурный тип — при всех деформациях — сохранился (разумеется, я имею тут в виду не кровь, а духовную сущность). И именно он не полу-

чил в перестройку и позже возможностей серьезного влияния на посттоталитарное общество — в этом суть драмы.

А между тем именно сейчас как никогда остро — пока не все еще окончательно разворовано и затоптано — перед пытающимся воскреснуть после коммунизма отечеством стоит задача положительного духовного созидания, объединительной солидарной идеи, без которых экономическое возрождение — пустой, нереальный звук.

От фетишизации социальных, партийных и общественных догм плодотворен путь к вдумчивому, целокупному освоению национальной истории, веры, культуры и мысли. Тогда, быть может, нам приоткроются возможности принципиально новых государственных форм — новых, но соответствующих психологической и исторической толще тысячелетней России.

Август 1997.

Р. С. Что и говорить — за последние десять лет язык наш «преобразился» чрезвычайно, подобно языку революционных времен. И среди самых ходовых словечек — *разборка*. Разборки финансовые, политические, бандитские, идеологические, национальные — суть жизнь наша; каждый ежедневно платит дань какой-нибудь разборке.

Но как хочется верить, что жива душа Родины, душа народа, душа не растерявшего боговдохновенности творчества, что не отвернулись от нас, ничтожных, души несметных жертв, принесенных на грозный алтарь XX века. Что они близко, с нами — *поверх разборок*.



ПУБЛИКАЦИИ И СООБЩЕНИЯ

А. С. ПУШКИН. 1799 — 1999

ИРИНА СУРАТ



БИОГРАФИЯ ПУШКИНА КАК КУЛЬТУРНЫЙ ВОПРОС

При изобилии пушкиноведческих трудов, включая биографические исследования разного рода и качества, мы не имеем до сих пор полной научной синтетической биографии Пушкина — такой биографии, которая, опираясь на все накопленные знания, дала бы наконец цельный, а значит, качественно новый взгляд на личность Пушкина и смысл пройденного им пути. Лучшей остается и сегодня первая биография нашего поэта — во многих отношениях замечательная, но давно устаревшая книга П. В. Анненкова «Материалы для биографии А. С. Пушкина», вышедшая впервые в свет в 1855 году. В последующие полтора столетия попыток биографии было много¹, но ни одна из них даже близко не подошла к тому, чтобы стать признанной в общественном мнении удачей.

Очевидно, что биография Пушкина представляет большую сложность, чем биография любого другого, выражаясь по-пушкински, «общественного лица». Оставим в стороне практические затруднения, связанные с объемом материала и не раз обсуждавшиеся в специальной литературе. Проблема создания биографии Пушкина далеко выходит за рамки историко-литературной науки — она захватывает собою узловые вопросы нашего культурно-исторического сознания и самосознания, и если мы силимся разрешить эти вопросы, если хотим осмыслить настоящий момент собственного национального развития, то Пушкин неизбежно встает перед нами и требует цельного понимания — так было во все переломные моменты российской истории.

После Гоголя, Ап. Григорьева, Достоевского, после А. В. Карташева, И. А. Ильина, С. Л. Франка вряд ли нужно повторять, что Пушкин явил собою самый дух нации и предопределил ее дальнейшие пути. Но эту уникальную роль, несравнимую с ролью других русских писателей в нашем самосознании, — эту роль играет «не только поэзия Пушкина, но и сам поэт»², весь его образ, облик, личность, жизнь и судьба, неотделимые от слова. Еще при жизни Пушкина Гоголь назвал его «русским человеком в его развитии, в каком он, может быть, явится чрез двести лет»³. И вот условные двести лет

¹ Их обзор читатель может найти в следующих работах: Благой Д. Д. Проблемы построения научной биографии Пушкина. — «Литературное наследство». Т. 16-18. М., 1934, стр. 247 — 270; Винокур Г. О. Ранние биографии Пушкина. — «Книжные новости», 1937, № 1, стр. 16 — 20; Мордовченко Н. И. Жизнь и творчество Пушкина. (Обзор важнейшей критико-биографической литературы). — «Книжные новости», 1937, № 3, стр. 41 — 48; Мордовченко Н. И. Биография Пушкина. Обзор литературы за 1937 г. — В сб.: «Пушкин. Временник Пушкинской комиссии». Вып. 4-5. М. — Л., 1939, стр. 513 — 529; Мейлах Б. С. О задачах изучения и принципах построения биографии Пушкина. — В сб.: «Пушкин. Исследования и материалы». Т. IV. М. — Л., 1962, стр. 16 — 30; Левкович Я. Л. Биография. — В сб.: «Пушкин. Итоги и проблемы изучения». М. — Л., 1966, стр. 251 — 302.

² Булгаков С. Жребий Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике». М., 1990, стр. 270.

³ Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6. М., 1978, стр. 63.

прошли, завершена очередная круг российской истории, и метафора Гоголя превратилась в императив, обращенный к нам: каким стал русский человек в его развитии? что есть Пушкин? — эти два вопроса сливаются в один и для пушкинистов вырастают в задачу создания фундаментального научного обобщающего труда о жизни первого российского поэта. Это одна из тех научных задач, которые имеют приоритетное национальное значение, в таком качестве она и должна быть поставлена.

«Наша всеобщая пассива — биография Пушкина» — так несколько экстравагантно сформулировал А. В. Карташев сложившееся в России отношение к пушкинской жизни, подчеркнув, что это — *«влечение именно к лицу писателя»*⁴. Чем оно определяется и объясняется? Каково место биографии в нашем знании о Пушкине?

С формалистов утвердилось в русской литературоведческой науке мнение о том, что тексты после их создания отрываются от автора и должны изучаться независимо от его жизни и личности, — другой подход и в сегодняшнем литературоведческом истеблишменте квалифицируется как «наивный» и «ненаучный». Между тем эта профессиональная «мудрость» находится в глубоком противоречии с традиционным русским представлением о сакральной природе и профетической силе слова. Такое отношение к слову, сложившееся в народном сознании и в литературе, собственно, и породило феномен русской классической литературы — «сверхлитературы»⁵, которая, будучи внешне светской, своим духовным напряжением и устремленностью к Высшему Смыслу продолжила дело духовных подвижников и стала в Новое время осью национального культурного и духовного развития. Это особое отношение к слову включает понимание слова как деяния, прямо участвующего в устройении мира. Ю. М. Лотман связывал «общественное признание слова как деяния» с именем Пушкина⁶, отсылая к апокрифическому пушкинскому изречению, известному в передаче Гоголя. В статье «О том, что такое слово» (1844, «Выбранные места из переписки с друзьями») Гоголь поведал: «Пушкин, когда прочитал следующие стихи из оды Державина к Храповицкому:

За слова меня пусть гложет,
За дела сатирик читит, —

сказал так: „Державин не совсем прав: слова поэта суть уже его дела”⁷. Говорил Пушкин эти слова или не говорил — не так уж важно: Гоголь имел основания их приписать ему, так как они отвечают пушкинской теории и практике словесного творчества. Другое дело, что такой взгляд на слово идет в России, конечно, не от Пушкина — он уходит вглубь отечественной истории, ко временам протопопа Аввакума или еще глубже, Пушкин же унаследовал его вместе со всей допетровской культурной и духовной традицией и утвердил как норму для русского писателя.

Но если слово поэта принимает характер деяния, то это значит, что оно не отделено от жизни непроходимой стеной, а само является жизнью, точнее — частью жизни, судьбы художника. Слово не просто «окутывается субъективно-персональным, биографическим, авторским дыханием»⁸ — оно и есть само это дыхание, получившее вид эстетического, так что жизнь и личность автора дают ключ к его творениям, и наоборот — творения открывают нам личность и путь их творца.

⁴ Карташев А. Лик Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 306. (Здесь и далее курсив принадлежит цитируемому авторам.)

⁵ Это слово, как и последующая мысль, принадлежит В. Н. Топорову (см. его кн.: «Святость и святые в русской духовной культуре». Т. 1. М., 1995, стр. 220 — 221).

⁶ Лотман Ю. М. Литературная биография в историко-культурном контексте. — В кн.: Лотман Ю. М. Избранные статьи. В 3-х томах, т. 1. Таллинн, 1992, стр. 374.

⁷ Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6, стр. 197.

⁸ Шпет Г. Г. Сочинения. М., 1993, стр. 464.

Другая сторона описанного отношения к слову состоит в том, что оно, стремясь быть словом истины, должно быть подтверждено, оплачено и доказано личной судьбой художника. Писателю вовсе не вменяется святость, но в его жизни предполагается значительность и подлинность — только так он может рассчитывать на доверие к тому, что пишет, но так он и формирует, будучи центральной фигурой в культуре, этическое сознание своего времени. И в этом Пушкин действительно сыграл определяющую роль. Именно его личная судьба дала основания Гоголю говорить об общем для всех в России «убеждении, что писателя есть что-то высшее, что он непременно должен быть благороден, что ему многое неприлично, что он не должен и позволить себе того, что прощается другим»⁹. Сам Пушкин не раз рассуждал о том же в статьях, но самое красноречивое его высказывание о соответствии жизни и слова — стихотворение «Пророк». Мысль о том, что право на «глагол» оплачивается кровью, была пережита им глубоко и сильно — об этом свидетельствует беспрецедентная поэтическая мощь стихотворения. Именно в этом смысле оно и было понято и подхвачено русской литературой, о чем говорил впоследствии В. Ф. Ходасевич: «В тот день, когда Пушкин написал „Пророка“, он решил всю грядущую судьбу русской литературы <...> Пушкин <...> завещал русскому писателю роковую связь человека с художником, личной участи с судьбой творчества»¹⁰.

Таким образом, вопрос о биографии писателя, во всяком случае писателя Пушкина, оказывается еще и вопросом о цене слова, о праве на слово. И другие столь же важные вопросы философского, религиозного, исторического порядка вбирает биография Пушкина в свое поле. Если признать, что Пушкин — «наше все» (Ап. Григорьев)¹¹, то и его биография — это в каком-то смысле «наше все», преломленное через факты и события его личной жизни.

* * *

Дефицит цельного знания о Пушкине и поразительный факт отсутствия у нас его фундаментальной биографии — вещи взаимосвязанные и взаимообусловленные.

В самом начале становления науки о Пушкине уже сложились два направления, по которым в дальнейшем двигалось его изучение. Одно из них связано с именем историка и археографа П. И. Бартенева, начавшего в 1850-е годы систематическую работу по сбору, фиксации и публикации фактов пушкинской биографии и творчества. Трудно переоценить заслуги Бартенева-фактографа, но биографом Пушкина он не стал. Последовательное жизнеописание своего героя Бартнев довел лишь до переезда в Одессу летом 1823 года, и причина остановки, конечно, была не в том, что, как обычно пишут, публикация биографии Анненкова обесмыслила его труд. Бартнев был твердо убежден в самоценности и самодостаточности факта, а с таким убеждением биографии не напишешь. «Как досадывал я на Анненкова, которого впустили в самый кабинет Пушкина и который больше умствовал в нем, нежели исполнял долг жизнеописателя», — вспоминал Бартнев¹². Действительно, Анненков иначе понимал «долг жизнеописателя» — он видел свою задачу в том именно, чтобы «умствовать» над материалом, чтобы «уловить мысль Пушкина», проследить «нравственное его развитие»¹³. Он пытался понять внутренний сюжет пушкинской жизни и в соответствии с этим выстраивал факты. Бартнев предполагал не меньшим, а то и большим фактическим материалом, чем Аннен-

⁹ Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6, стр. 227.

¹⁰ Ходасевич Вл. Собр. соч. в 4-х томах, т. 1. М., 1996, стр. 489 — 490 (цитируем с уточнением текста по прижизненной публикации).

¹¹ Григорьев А. А. Искусство и нравственность. М., 1986, стр. 78.

¹² Бартнев П. И. О Пушкине. М., 1992, стр. 25.

¹³ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина. М., 1984, стр. 138, 68.

ков, но его биография рассыпалась из-за отсутствия в ней исследовательской мысли. Эмпирическая биография Пушкина невозможна, обречена на провал — об этом говорит не только опыт Бартенева, но и весь полуторавековой опыт науки о Пушкине, в которой недописанные биографии исчисляются десятками.

Однако пушкинистика в советское время пошла в целом по бартеневскому пути. Даже в лучших своих представителях она осталась, используя определения Анненкова, «школой тех археологов и изыскателей, которые, освободив себя от труда мышления, заменили его трудом простого собирания документов <...> и тому подобными предварительными работами, считая их за самую науку исторических и литературных исследований и устраняя, как излишество, критику и оценку приобретенных фактов *по существу*»¹⁴. Конечно, в нашей пушкинистике разрабатывались биографические проблемы большей или меньшей важности, но в целом она как будто бежит от центральных вопросов, для нее показательны работы типа «Пушкин и молдавский танец „мититика”» — экстенсивное описание всего, что как-то связано с жизнью Пушкина, заменяющее собственно познание, постижение этой жизни, понимание ее, которое и есть «цельное знание», по определению В. В. Розанова¹⁵. Об этом еще в 1934 году писал Д. Д. Благой в специальной статье о проблеме пушкинской биографии¹⁶, то же мы видим и сегодня. Современной академической пушкинистике недостает «философского отношения к своему предмету» — условия, возводящего исследование «в степень научного знания»¹⁷. В последние десятилетия эмпирические тенденции возрастают и разрыв между изучением и пониманием углубляется¹⁸: накоплен колоссальный материал, но мозаика никак не собирается в целое. А задачу понимания еще в начале века взяли на себя философы, которые — от Мережковского и Соловьева до Франка и Федотова — резко подняли уровень осмысления Пушкина как феномена, но их работы принадлежат области свободного философствования и эссеистики, мы же говорим о задачах профессионального исследования.

Если П. В. Анненков своей биографией буквально открыл Пушкина русскому обществу — представил новые материалы, новые тексты, сделал первую попытку проникнуть во внутренний мир поэта и «поставил <...> весь вопрос о Пушкине в его настоящем виде»¹⁹, то теперь назрела необходимость Пушкина в каком-то смысле закрыть — не закончить, конечно, его изучение, но свести наши знания в общую картину и, таким образом, на «вопрос о Пушкине» ответить. Но подобной биографии Пушкина не было и нет. Собственно, даже фактическая канва его жизни по-настоящему не выстроена, что уж говорить о более сложном — о смысле пройденного Пушкиным пути.

Отдельного, хоть и вынужденно краткого здесь разговора заслуживает книга Ю. М. Лотмана «Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя» (1981). Это небольшое по объему пособие для учащихся, не претендующее на фундаментальность и полноту, несет в себе научную идею, которая декларирована автором в предисловии к польскому изданию 1990 года: «Я хотел рассмотреть биографию как объект семиотической культурологии»²⁰. Таким об-

¹⁴ «П. В. Анненков и его друзья». Т. 1. СПб., 1892, стр. 445 — 446.

¹⁵ См. подзаголовок его книги 1886 года «О понимании» — «Понимание как цельное знание».

¹⁶ Благой Д. Д. Проблемы построения научной биографии Пушкина. — «Литературное наследство». Т. 16-18, стр. 261 — 262.

¹⁷ Винокур Г. О. Биография и культура. М., 1927, стр. 86.

¹⁸ Эти симптомы проанализированы в исследовании В. С. Непомнящего «Феномен Пушкина как научная проблема», обнародованном на заседании Пушкинской комиссии ИМЛИ РАН 14 мая 1997 года.

¹⁹ Дружинин А. В. Литературная критика. М., 1983, стр. 34.

²⁰ «Лотмановский сборник». 1. М., 1995, стр. 86.

разом, написанная им биография имела целью не исследовать жизнь Пушкина, а проиллюстрировать достижения семиотики, в частности — теории социокультурных кодов и вторичных моделирующих систем. Поэтому Пушкин в этой книге строит свою жизнь по законам искусства, до конца дней играя литературными масками и стилями; жизнь его рассмотрена в основном на поведенческом уровне (что, конечно, интересно, но далеко не достаточно), а трагедия последних лет объяснена тем, что «творческое сверкание пушкинской личности не встречало отклика в среде и эпохе»²¹. Если к тому же учесть общую политизированность этой биографии, изобилующей до боли знакомыми характеристиками «николаевской России» и «светского общества»; если заметить, что исторический фон и пушкинское окружение прописаны в ней ярче, чем главный герой, — то станет очевидно, что при несомненных достоинствах эта книга не приблизила нас к созданию настоящей биографии Пушкина.

* * *

Биография — не иллюстрация теорий, не изложение готовых идей, не суммирование известных фактов. Биография — прежде всего исследование, нацеленное на получение нового знания, недостижимого другими исследовательскими путями или интеллектуальными усилиями, оторванными от фактического материала, от событийной ткани жизни героя.

Биография — не литературный или научный жанр. Это особая область гуманитарного знания²², область исследования и творчества, предметом которой является «личная жизнь человека»²³ во всей ее событийной полноте и внутренней глубине и сложности — жизнь как целое, как нерасторжимое многообразное единство. И если биограф не довольствуется фактографией, если он не хочет оставаться на поверхности жизни, а идет глубже, то он сталкивается с материей тонкой, неуловимой, ускользающей от описания и от точного объективного анализа. Историки часто говорят о «живых фактах», филологи — о «живых текстах», но все это лишь метафоры по сравнению с живой жизнью личности, которую изучает биограф. Он вступает в область индивидуальных, с трудом формализуемых духовных реалий и, чтобы описать и осмыслить их, вынужден совершать набег в различные гуманитарные науки, в смежные области знания, прибегать к художественным приемам и практически выработать особые, уникальные методы реконструкции жизни, диктуемые ему самим героем жизнеописания. И при этом создатель научной биографии должен твердо стоять на базе фактов и удерживаться в критериях объективного знания даже тогда, когда он говорит о едва верифицируемых внутренних событиях, переживаниях, о душевном опыте и сознании героя. Эта незримая жизнь может быть представлена в жизнеописании больше или меньше в зависимости от того, насколько интенсивной она была у изучаемого персонажа, но отбрасывать ее биограф не вправе хотя бы потому, что этим он обрекает свое жизнеописание на заведомую неполноту и пренебрегает в таком случае одним из главных критериев отбора материала: ведь некий факт тогда только становится фактом личной жизни героя и соответственно фактом его биографии, когда он героем присвоен, пережит как внутреннее событие. Чтобы словом воссоздать эту жизнь выразительно и точно, биографу нужно тончайшее писательское мастерство — так что биография, оставаясь по существу, по способу познания научным исследованием,

²¹ Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя. Л., 1981, стр. 230.

²² Теоретическое обоснование этого взгляда см. в работе: Валеvский А. Л. Биография как дисциплина гуманитарного цикла. — В сб.: «Лица. Биографический альманах». 6. М. — СПб., 1995, стр. 32 — 68.

²³ Винокур Г. О. Биография и культура, стр. 9.

смыкается с художественной литературой по типу письма и по средствам создания образа. Смыкается, но отделена четкой границей от беллетристики, от биографического романа во всех его разновидностях. С другой стороны, она отделена от летописи, которая просто фиксирует факты жизни и деятельности героя в хронологическом порядке и предшествует биографии как предварительная стадия исследования.

Определяя специфику биографии и ее место среди других жизнеописательных форм, важно понять, что биография по своим задачам принципиально противоположна житию. Предмет жития — не конкретно-индивидуальная человеческая жизнь, а идея, которую герой должен своей жизнью подтвердить, сделать убедительной. Житие очищает жизнь героя от лишнего, строит ее по канону, по заданному вектору духовного становления и приглашает читателя следовать примеру. В житии не предполагается доподлинность, но необходимо присутствует особая житийная правда — правда соответствия идеалу. Поэтому житие органично принимает в себя легенду, которая тоже становится правдой, если служит убедительности идеи. В биографии же совсем другая правда — правда фактов и внутренняя правда личности, до которой как «до самой сути» должен дойти исследователь. Биография не имеет никакой иной цели, кроме как изучить и понять жизнь конкретного человека в ее полноте и единстве, независимо от того, насколько эта жизнь поучительна. Но, достигнув этой цели, биография может получить характер исторического, философского и религиозного труда, далеко выходящего по значимости за рамки одной конкретной судьбы.

Однако довольно часто случается, что биограф оказывается под воздействием житийного отношения к своему герою, и в особенности это касается такого героя, как Пушкин, обрастающего легендами в народном и в исследовательском сознании. Антон Карташев говорил в своей речи, что Пушкин влечет нас «житийно»²⁴, и это действительно так. В пушкинские биографии житийное начало проникает особенно часто и активно — столь велика всегда потребность привести Пушкина в соответствие с идеалами времени. Наиболее «житийны» биографии советского периода, в том числе и лучшая из них — книга Н. Л. Бродского «А. С. Пушкин. Биография» (1937). Житийный уклон уводит биографию от ответа на ее главный вопрос: что на самом деле представляет собой жизнь этого человека? — вопрос столь же исторически-конкретный, сколь и экзистенциальный.

Но персональную жизнь нельзя описать как готовую данность — ее особенность и смысл проявляются постепенно, в процессе проживания человеком своей жизни. Континуум проживания жизни и составляет сюжет биографии в отличие от летописи, сюжет которой составляет хронология событий. Что же такое проживание жизни? — биографу надлежит ответить и на этот экзистенциальный вопрос, проследить, как его герой заполняет предназначенную ему жизненную сферу, чем направляется его движение, насколько оно задано или не задано, осознано или нет. Все это объемлется понятием пути и предполагает наличие у биографа мировоззрения, философского мышления, понятийного аппарата и соответствующего языка, на котором можно говорить о подобных предметах. И в этом мировоззренческом аспекте «биография есть также и автобиография ее автора и того времени, когда она писалась»²⁵. У биографии две стороны: она исторична — она и современна; как двойное зеркало, она обращена и в прошлое, и в настоящее. И потому «биограф несет этическую ответственность» не только перед своим героем, но и «перед современностью»²⁶.

²⁴ Карташев А. Лик Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 307.

²⁵ Валевский А. Л. Биографика как дисциплина гуманитарного цикла. — В сб.: «Лица. Биографический альманах». 6, стр. 61.

²⁶ Там же.

Обозначив эти моменты, можно в итоге заключить, что биография, исследующая целостную, неразложимую жизнь личности, только тогда и может достичь цели, когда она синтезирует три основных формы познания мира и человека в мире: науку, искусство и философию.

* * *

Особую проблему и особую сложность представляет биография художника — и, в частности, писателя — человека, который тем и входит в историю, что, не довольствуясь проживанием собственной жизни, сотворяет в эстетических формах еще одну, параллельную ей, жизнь. Как она рождается, в каком отношении находится к его собственной — вот центральные вопросы биографии художника.

Теоретически допустим такой формальный подход, при котором «биография Пушкина ничем не отличается от биографий генералов или инженеров»²⁷. Но, в таком случае, за пределами жизнеописания остается истинная жизнь художника — творческая жизнь, наполнявшая смыслом его каждодневное бытие. Вот как В. Ф. Одоевский, сам художник, возражал против таких формальных биографий: «Биографы Баха, как и других поэтов, описывают жизнь художника, как жизнь всякого другого человека; они расскажут вам, когда он родился, у кого учился, на ком женился <...> Для них не существует святая жизнь художника — развитие его творческой силы, эта настоящая его жизнь, которой одни обломки являются в происшествиях ежедневной жизни; а они — они описывают обломки обломков <...> Изуверы! они рисуют золотые кудри поэта — и не видят в нем, подобно Гердеру, священного леса друидов, за которым совершаются страшные таинства...»²⁸

Пожалуй, ни одному биографу Пушкина не удалось пока найти путь исследования и формулу описания этой настоящей его жизни. В лучшем случае биографии строятся по принципу «жизнь и творчество» — и такая соединительная конструкция как исследовательский принцип работает плохо или вовсе не работает. О многочисленных слабых и неудачных биографиях говорить не будем, а вспомним одну из наиболее серьезных — книгу Л. П. Гроссмана, трижды (в 1939, 1958 и 1960 годах) вышедшую в серии «Жизнь замечательных людей». Работая над ней много лет, Гроссман пришел к тому, чтобы включить во второе и третье издания всесторонние разборы крупных произведений Пушкина, но эти обширные экскурсы в творчество повисли на биографии, словно пудовые гири, «оказались инородными», как писала по этому поводу Я. Л. Левкович²⁹. Дополнить изложение жизненных фактов анализом творчества — еще не значит проникнуть в те таинства, о которых так вдохновенно говорил В. Ф. Одоевский. «Нельзя рассматривать поэтическую деятельность Пушкина как факт внебиографический, стоящий как бы „по ту сторону” жизни, принадлежащий какой-то особой жизненной сфере. Поэзия Пушкина есть основной факт самой биографии Пушкина, а вовсе не только ее идеальная сторона...»³⁰ Существование художника специфично во всем: сама его личность и его так называемое «бытовое поведение» обусловлены его «творческой силой». Пушкин нам оставил об этом свидетельство личного опыта: «Поэзия бывает исключительную страстию немногих, родившихся поэтами; она объемлет и поглощает все наблюдения, все усилия, все впечатления их жизни...» («О предисловии г-на Лемонте к переводу басен И. А. Крылова», 1825). Человеческий опыт творца, все, что он

²⁷ Томашевский Б. В. Литература и биография. — «Книга и революция», 1923, № 4, стр. 6.

²⁸ Одоевский В. Ф. Русские ночи. Л., 1975, стр. 105.

²⁹ Левкович Я. Л. Биография. — В сб.: «Пушкин. Итоги и проблемы изучения», стр. 295.

³⁰ Винокур Г. Ранние биографии Пушкина. — «Книжные новости», 1937, № 1, стр. 18.

проживает и переживает, таинственным образом превращается в опыт художника — жизнь становится творчеством, творчество «объемлет и поглощает» жизнь и само этой жизнью становится. Описать жизнь художника как такое двуединое целое, то есть понять и описать его жизнь в аспекте творчества, — в этом мы видим трудную задачу биографа.

При этом все сильно осложняется, когда биограф имеет дело с гением. Опыт всякого человека неповторим и уникален, и требуется усилие, чтобы войти в него. Но опыт гения — феноменален, исключителен, едва постижим. Проникнуть во внутреннюю жизнь гения, заглянуть в глубины его духа, уследить за головокружительным ростом и осмыслить его путь — это уже задача не только специально-научная, но и метафизическая, тут биограф имеет дело с некой тайной высшего порядка, к которой гений стоит ближе, чем простые смертные.

Но и среди гениев Пушкин отличается какой-то особой непостижимостью и как творец, и как личность. Друзья, близко и хорошо его знавшие, оставили на удивление мало содержательных воспоминаний о нем, и никто из них не написал связного рассказа о его жизни, не создал цельного портрета³¹. Если уж для них образ Пушкина оказался задачей непосильной, то что говорить о позднейших биографах! По мере того как мы от Пушкина отдаляемся во времени, задача постижения его тоже как-то отдалается от нас, и дело не в неохватности накопленных знаний — их поток, в общем-то, прекратился, и на сегодняшний день появление новых фактов маловероятно. Даже такое сенсационное событие, как публикация переписки Геккерна с Дантесом, не внесло ничего принципиально нового в событийную сторону дуэльной истории. Дело не в том, что мы знаем о жизни Пушкина значительно больше, чем его современники, и нам трудно с этим знанием справиться, а в том дело, что со временем Пушкин как явление приобретает все больший объем, открываясь нам в новых измерениях. И это «наше все», вмещаемое Пушкиным, давит на исследователей его жизни. Ну как, в самом деле, написать биографию «единственного явления русского духа» (Н. В. Гоголь)³² «и пророческого» (Ф. М. Достоевский)³³, той «изумительной духовной реальности, которая на этом свете носила имя Александра Пушкина» (С. Л. Франк)³⁴? Как описать жизнь «культурного героя Нового времени» (М. Н. Виротайнен)³⁵ и «культурного абсолюта» (Б. М. Гаспаров)³⁶? Отвлекаясь же от этих и других открывающихся во времени ипостасей Пушкина во имя строгой науки, мы получаем биографию не Пушкина, то есть либо производим сознательную подмену объекта, либо признаем, что понимание Пушкина во всех его измерениях несовместимо с объективным знанием и принадлежит философии искусства и писательской пушкинистике.

* * *

И все же, как ни далеко выходит Пушкин за границы словесности (есть ли такие границы?), дело его познания остается прежде всего делом историко-литературной науки. Все грандиозное значение Пушкина — как творца, как личности, как духовной реальности, как культурно-исторического феномена — определяется тем, что он написал. И наше внимание и влечение к его жизни и личности тоже определяется тем, что он написал. И сама его жизнь

³¹ Наблюдение Дм. Урнова и Вл. Сайтанова (см.: Вересаев В. В. Пушкин в жизни. М., 1984, стр. 5).

³² Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6, стр. 63.

³³ Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч. в 30-ти томах, т. 26. Л., 1984, стр. 136.

³⁴ Франк С. Светлая печаль. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 481.

³⁵ «Легенды и мифы о Пушкине». СПб., 1995, стр. 329 — 349.

³⁶ Гаспаров Б. М. Поэтический язык Пушкина как факт истории русского литературного языка (Wiener Slavistischer Almanach. Sonderband 27). Wien, 1992, стр. 17.

прожита так, а не иначе потому именно, что он написал то, что написал, — так что биография Пушкина неизбежно упирается в филологию, в адекватное прочтение слова Пушкина. Тут мы подошли к теме давнего спора, начавшегося при первых шагах науки о Пушкине и не конченного по сей день, — спора о том, как Пушкин-человек сказался в Пушкине-художнике, насколько его жизнь отразилась в творениях, и о том, дают ли творения материал для биографии. Спор этот, особенно жарко разгоревшийся у нас в 20-е годы, — не специально пушкиноведческий. В конечном итоге он сводится к двум противоположным взглядам на словесное творчество, да и вообще на искусство, поэтому и сегодня актуально то, вокруг чего тогда ломались копыя. Собственно, спор этот шел и идет вокруг тайны художества, тайны зарождения образов в душе поэта. Сторонники биографического подхода к творчеству (М. О. Гершензон, В. Ф. Ходасевич) говорили о прямой связи пушкинских образов с жизненными впечатлениями и порой смешивали одно с другим, а их оппоненты (В. В. Вересаев, Б. В. Томашевский) резко возражали против истолкования творчества при помощи биографии. Томашевский выдвинул мысль об «императивном биографизме текста»³⁷, описав те ограниченные случаи, когда в замысел произведения входит соотносительность его с биографией, — во всех других случаях он призывает читать Пушкина «не мудрствуя лукаво»³⁸. Томашевский, таким образом, перевел разговор в плоскость «литературной биографии» — биографической легенды, которую строит или не строит художник, сама же его реальная жизнь, «житейская биография», как называл ее Томашевский³⁹, не интересует историка литературы. В плане собственно биографии за этим стоит расхожее представление о двойственности художника — его с наибольшей резкостью выразил В. В. Вересаев, писавший о Пушкине в статье 1928 года с полемическим названием «В двух планах»: «В жизни — суетный, раздражительный, легкомысленный, циничный, до безумия ослепляемый страстью. В поэзии — серьезный, несравненно мудрый и ослепительно светлый, — „весь выше мира и страстей“. Это поразительное несоответствие между живою личностью поэта и ее отражением в его творчестве, эта странная двойственность Пушкина отмечалась уже давно и не раз»⁴⁰. И действительно, некоторые современники Пушкина сразу по его смерти высказались об этой двойственности. Ф. В. Булгарин: «Жаль поэта — [жертва], и великая, а человек был дрянной». И. Ф. Паскевич: «Жаль Пушкина как литератора, в то время, когда его талант созрел, но человек он был дурной». Адресат Паскевича — Николай I — с ним соглашался: «Мнение твое о Пушкине я совершенно разделяю...»⁴¹

Легко и соблазнительно оставить это мнение на совести таких персонажей нашей истории, как Булгарин или Николай I, которым не было ни нужды, ни охоты вникать во внутренний мир поэта. Но подобное видение Пушкина сформировалось впоследствии в целую исследовательскую традицию, идущую от Бартенева, а отчасти и от Анненкова. Бартенев писал, что уже с юности «в Пушкине заметно обозначилось противоречие между его вседневною жизнью и художественным служением. Уже тогда в нем было два Пушкина, один — Пушкин-человек, а другой — Пушкин-поэт. Это раздвоение он хорошо сознавал в себе, порою оно должно было мучить его, и отсюда-то, может быть, меланхолический характер его песен»⁴². Примерно так же судил об этом человек другой эпохи и совсем другого духовного склада, несравнен-

³⁷ Томашевский Б. В. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения (1925). — В кн.: Томашевский Б. В. Пушкин. Работы разных лет. М., 1990, стр. 46.

³⁸ Там же, стр. 74.

³⁹ Томашевский Б. В. Литература и биография. — «Книга и революция», 1923, № 4, стр. 8.

⁴⁰ Вересаев В. В. Загадочный Пушкин. М., 1996, стр. 272.

⁴¹ Цит. по кн.: Вересаев В. В. Пушкин в жизни, стр. 636 — 637.

⁴² Бартенев П. И. О Пушкине, стр. 195.

но более углубленный и вдумчивый, чем Бартенев, человек, которого не заподозришь в неспособности воспринять красоту великой личности, — Владимир Соловьев: он говорил о «раздвоении между поэзией, т. е. жизнью творчески просветленную, и жизнью действительную или практическую» и даже о «непроходимой пропасти между поэзией и житейской практикой» у Пушкина⁴³. Очевидно, что идея «двух Пушкиных» рождена не только мифами и превратными толкованиями, но и реальной сложностью и объемом его личности — объемом, в котором крайние точки видятся как парадоксы. Один из примеров такого кажущегося парадокса приводится столь часто и толкуется столь нехитро, что приобрел уже оттенок обывательской сплетни: вот, дескать, в стихах Пушкин воспел А. П. Керн как «гения чистой красоты», а в письмах отзывался о ней как о «вавилонской блуднице» и описывал свою с ней связь непечатными словами. В отношении Керн можно предположить, что она в действительности была одновременно и «вавилонской блудницей», и «гением чистой красоты». Пушкин и видел ее таковой, в этих контрастах и крайностях. Из его письма к Керн: «Снова берусь за перо, чтобы сказать вам, что я у ваших ног, что я по-прежнему люблю вас, что иногда вас ненавижу, что третьего дня говорил о вас гадости, что я целую ваши прелестные ручки, снова перецеловываю их, в ожидании лучшего, что больше сил моих нет, что вы божественны и т. д.» (8 декабря 1825 года; оригинал по-французски). Этот пресловутый пример — далеко не единственный пример такого рода; если, скажем, привести все пушкинские номинации и метафоры творчества, то выстроится шокирующе парадоксальный ряд — от естественных отправлений организма до богодухновенного пророческого призвания. И тут опять, как и в случае с Керн, эти контрасты нам рисуют не пропасть между искусством и прозой жизни, а диапазон явлений самой жизни и объем их восприятия поэтом.

Пушкинская личность не уместается в отмеренном кем бы то ни было этическом пространстве, и чтобы преодолеть связанные с этим затруднения, исследователи прибегают к различным теоретическим идеям, помогающим привести внутренний мир гения к некоторой узнаваемой модели. П. Б. Струве, например, пытался описать человеческую сложность Пушкина с помощью традиционной христианской дихотомии «душа — дух», он говорил о «сожительстве в Пушкине неистово-страстной и жадно-безумной души с ясным и трезвым, мерным и простым Духом»; «Преодоление себя, своей Души в Слове и обретение через Слово своего Духа есть самое таинственное и самое могущественное, самое волшебное и чарующее, самое ясное и непрекаемое в явлении: Пушкин»⁴⁴. По сути, это мало чем отличается от сформулированных на примере Пушкина мыслей В. С. Соловьева о превращении низших чувственных энергий и преображении творца в творчестве: «Сильная чувственность есть материал гения. Как механическое движение переходит в теплоту, а теплота — в свет, так духовная энергия творчества <...> есть *превращение* низших энергий чувственной души. И как для произведения *сильного* света необходимо сильное развитие теплоты, так и высокая степень духовного творчества (по закону здешней, земной жизни) предполагает сильное развитие чувственных страстей»⁴⁵. Выходит, что двойственность составляет конститутивное свойство художника, а если говорить конкретно о Пушкине, то, по Соловьеву, личная духовная высота только в творчестве и была для него достижима, и лишь предсмертные часы составили здесь исключение.

Немалая доля интуитивно ощущаемой многими истины есть, конечно, в том, что душа художника очищается в творческом процессе, в котором эсте-

⁴³ Соловьев В. Судьба Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 20, 22.

⁴⁴ Струве П. Дух и слово Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 319, 318.

⁴⁵ Соловьев В. Судьба Пушкина. — Там же, стр. 19 — 20.

тическое делание неотделимо от духовной работы. Но ужели необходимо нечистой должна быть почва, на которой вырастают роскошные художественные создания? («Когда б вы знали, из какого сора...») Ужели у Пушкина она была по преимуществу нечистой? Гоголь, например, так не считал. Он полагал, что очистительная работа души должна предшествовать творчеству и что так оно и было у Пушкина. Слово, писал Гоголь, «есть высший подарок Бога человеку. Беда произносить его писателю в те поры, когда он находится под влиянием страстных увлечений, досады, или гнева, или какого-нибудь личного нерасположения к кому бы то ни было, словом — в те поры, когда не пришла еще в стройность его собственная душа: из него такое выйдет слово, которое всем опротивеет»⁴⁶. И о Пушкине: «Даже и в те поры, когда метался он сам в чаду страстей, поэзия была для него святыня — точно какой-то храм. Не входил он туда неопрятный и неприбранный...»⁴⁷ Сторонники идеи «двух планов» апеллируют к Пушкину, который будто бы сам дал ей поэтическое обоснование в знаменитом стихотворении «Поэт» (1827):

Пока не требует поэта
К священной жертве Аполлон,
В заботах суетного света
Он малодушно погружен;
Молчит его святая лира;
Душа вкушает хладный сон,
И меж детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснется,
Душа поэта встрепенется,
Как пробудившийся орел.
Тоскует он в забавах мира,
Людской чуждается молвы,
К ногам народного кумира
Не клонит гордой головы;
Бежит он, дикий и суровый,
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

Принято видеть в этих стихах декларацию «двойного бытия» поэта в противовес «поэту шеллингианцев, жрецу и провидцу, ни на мгновение не расстающемуся со своей божественной миссией». И этот образ знаменует якобы сложившийся у Пушкина трезвый, реалистический взгляд на искусство и художника: «такова природа поэта, несовершенная, как природа каждого человека»⁴⁸.

Но стоит привлечь к толкованию стихотворения реальный комментарий, стоит припомнить, в каких обстоятельствах оно было создано, как тут же начинает проступать в этих строках существенно иной смысл. Пушкин, как известно, вернулся осенью 1826 года из Михайловского в Москву, затем в Петербург — и после уединения и углубленных творческих трудов, к которым он привык за годы михайловской ссылки, оказался в гуще светской жизни, в вихре старых и новых связей, у всех на виду, то есть в такой атмосфере, которая творчеству отнюдь не способствовала. Вот тут-то и возникла для него проблема «как бы двойного бытия», личной, удручающей его раздвоенности, которую он никак не считал нормой существования художника («настоящее место писателя есть его ученый кабинет» — «Вольтер», 1836) и которую всеми силами старался преодолеть, особенно в последние годы. В августе 1827 года он отправляется в недавно покинутую тюрьму, откуда и шлет в письме М. П. Погодину стихотворение «Поэт» с комментарием: «Я убежал в деревню,

⁴⁶ Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6, стр. 198.

⁴⁷ Там же, стр. 346.

⁴⁸ Гинзбург Л. Я. О лирике. Л., 1974, стр. 187.

почуя рифмы» (письмо второй половины августа 1827 года). В таком контексте стихотворение воспринимается не как декларация взгляда на природу поэта, а как печальный вздох о том, насколько мало поэт принадлежит себе и своему искусству, вздох о своей личной судьбе, о своей опутанности «заботами суетного света», которая в последние годы вылилась для него в роковую трагедию. Собственно, так и понимал это стихотворение П. В. Анненков, писавший, что оно «представляет и общий поэтический образ, и частное изображение его нравственного состояния в то время»⁴⁹. Тут надо еще учесть то, что П. И. Бартенев назвал «юродством поэта»⁵⁰ и что сам Пушкин описал в «Египетских ночах», в образе Чарского — поэта, который, закрываясь от притязаний и внимания публики, принужден был «прикидываться» ничтожнейшим из людей, жить «чинясь и притворяясь».

Пушкин нигде и никогда не высказывался в том духе, что-де гению все позволено; от больших художников он ждал не злодейства или низости, напротив — нравственной высоты, соответствия дару, и только с горечью признавал, что «гений имеет свои слабости, которые утешают посредственностью, но печалят благородные сердца» («Вольтер»). Но при этом он понимал, что великий человек, и художник в частности, проживает свою жизнь настолько особым образом, что находится и в особом отношении к общепринятым нормам морали. В известном письме к Вяземскому по поводу записок Байрона (вторая половина ноября 1825 года) Пушкин писал: «Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. *Он мал, как мы, он мерзок, как мы!* Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы, — иначе». Как это — иначе? В каком смысле? Добро и зло для всех едины, и большой человек чувствителен к ним не меньше, а больше, чем другие. С одной стороны, прав В. С. Непомнящий: «„иначе“ у Пушкина означает, что „высокий“ и „могущий“ хоть и может „упасть“, но не лелеет мысли о своем *праве* на „малость“ и „мерзость“, не играет на понижение ценностей»⁵¹. Но с другой стороны, слабости и даже «мерзости» гения — это пыль на золоте, которая остается пылью и все же в масштабе великой личности воспринимается иначе, чем просто пыль. Это те самые «случайные черты», которые не определяют нравственного бытия гения и которые сам он должен стереть и стирает своей жизнью и творческим трудом.

К Пушкину сознание нравственной ответственности за дар пришло во время михайловского уединения 1824 — 1826 годов. Это прозрение было прежде всего результатом внутреннего развития и вместе с тем произошло не без внешнего влияния. Одним из таких внешних факторов было воздействие старшего друга, В. А. Жуковского, который буквально бомбардировал опального поэта вразумляющими письмами: «Ты рожден быть великим поэтом; будь же этого достоин. В этой фразе вся твоя мораль...»; «Прошу не упрямиться, не играть безрассудно жизнью <...> Пора уняться. Она была очень забавною эпиграммою, но должна быть возвышенною поэмою»; и даже: «Талант ничто. Главное: величие нравственное. — Извини эти строки из катехизиса»⁵².

Пушкин несомненно достиг «величия нравственного» (а без этого разве мог бы он занять центральное место в нашем национальном и культурно-историческом сознании?), и формировалось это величие прежде всего творчеством — еще Анненков проницательно подметил взаимобратную связь между творчеством и жизнью, этот «неизменный закон отражения творческого произведения на самом художнике»⁵³.

⁴⁹ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина, стр. 173.

⁵⁰ Бартенев П. И. О Пушкине, стр. 196.

⁵¹ Непомнящий В. С. Поэзия и судьба. Изд. 2-е, доп. М., 1987, стр. 134.

⁵² «Переписка А. С. Пушкина». В 2-х томах, т. 1. М., 1982, стр. 94, 102, 112.

⁵³ Анненков П. В. Материалы для биографии А. С. Пушкина, стр. 106. Попутно уточним, что этот закон не имеет ничего общего с идеей творчества жизни по законам искусства, которую положил в основу своей биографии Пушкина Ю. М. Лотман.

Таким образом, мы видим, что на месте упрощенной двуплановой схемы жизни Пушкина оказывается сложнейшая проблема специфики нравственного бытия творящей личности — бытия, обусловленного творчеством. Так как же и на чье проживание свою жизнь гениальный поэт Александр Пушкин? Биография — единственный вид исследования, которое могло бы дать основательный ответ на этот исторический, психологический, философский, религиозный и просто по-человечески интересный вопрос, — дать на него ответ если не окончательный (ибо какая же окончательность может быть в таких вопросах), то хоть в какой-то мере соответствующий современному уровню философского понимания творчества и творящей личности.

* * *

Сам Пушкин не раз говорил об отношениях между жизнью и поэзией — не в форме теоретических рассуждений, а в виде гениальных поэтических обмолвок, которые у всех у нас на слуху и по которым мы привычно скользим, не вслушиваясь в их непосредственное значение. Например: «...сии листы / Всю жизнь мою хранят», — говорит о своих стихах авторский герой, поэт Андрей Шенье, в названном его именем стихотворении 1825 года. Он обречен на смерть, но его «надежды и мечты, и слезы, и любовь» зафиксированы и сохранены в слове; его жизнь не уходит вместе с ним, не исчезает бесследно, потому что она была удвоена стихами и теперь останется на бумаге. В «Памятнике» эта тема звучит уже в другом регистре, но это та же узнаваемая тема жизни, ставшей стихами: «...душа в заветной лире / Мой прах переживет и тленья убежит». Жизнь заключена в стихи, душа — в лиру... Так или иначе, поэзия для Пушкина — это не что иное, как жизнь поэта, претворенная им в эстетические создания. Для него, как и для других поэтов разных эпох, не было сомнений в том, что поэт-лирик может сочинить лишь пережитое (мы говорим о собственно лирике, не учитывая в этом разговоре всегда существовавший рядом с поэзией и аналогичный ей по форме вид словесной игры). В уже цитированном письме Вяземскому 1825 года он писал о Байроне: «Он исповедался в своих стихах, невольно, увлеченный восторгом поэзии». Такова уж природа лирики, что человек в ней «невольно» исповедуется, выговаривается весь, и, как писал Блок, «чем сильнее лирический поэт, тем полнее судьба его отражается в стихах»⁵⁴. Такова была природа и пушкинского лиризма, с чем никак не могут согласиться многие пушкиноведы, изучающие его лирику лишь как эстетический объект, но что писатели, исходя из собственного опыта, признают как само собой разумеющееся. Гоголь говорил о поэзии Пушкина, что «все там до единого есть история его самого»⁵⁵. Герцен писал о Пушкине: «Его лирические стихи — это фазы его жизни, биография его души; в них находишь следы всего, что волновало эту пламенную душу: истину и заблуждение, мимолетное увлечение и глубокие, неизменные симпатии»⁵⁶. Ахматова в разговорах с Л. К. Чуковской утверждала, что «Пушкин, о ком бы и о чем ни писал, — всегда говорит о себе», имея в виду не только лирику, но даже статьи и прозу⁵⁷.

Формула, найденная Герценом — биография души, — наиболее точно соответствует отношению пушкинской поэзии к его биографии и снимает остроту с этого дискуссионного вопроса. «Спор об „автобиографичности“ поэзии Пушкина запутан и заведен в тупик поверхностным и примитивным представлением о смысле „автобиографичности“ как у ее сторонников, так и у ее противников. Поэзия Пушкина, конечно, не есть безукоризненно точ-

⁵⁴ Блок А. А. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 4. Л., 1982, стр. 221.

⁵⁵ Гоголь Н. В. Собр. соч. в 7-ми томах, т. 6, стр. 346.

⁵⁶ Герцен А. И. Собр. соч. в 30-ти томах, т. 7. М., 1956, стр. 76, 206.

⁵⁷ Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой. В 3-х томах, т. 3. М., 1997, стр. 96.

ный и достаточный источник для *внешней* биографии поэта, которую доселе более всего интересовались пушкиноведаы; в противном случае пришлось бы отрицать не более и не менее, как наличие поэтического творчества у Пушкина. Но она вместе с тем есть вполне автентичное свидетельство содержания его духовной жизни...»; «При всем различии между эмпирической жизнью поэта и его поэтическим творчеством, *духовная личность* его остается все же единой, и его творения так же рождаются из глубины этой личности, как и его личная жизнь и его воззрения как человека. В основе художественного творчества лежит, правда, не личный эмпирический опыт творца, но все же всегда его *духовный опыт*. В этом более глубоком и широком смысле автобиографизм, в частности, поэзии Пушкина не подлежит ни малейшему сомнению. Можно смело утверждать, что все основные мотивы его лирики выражают то, что было „всерьез“, глубоко и искренно прочувствовано и продумано для себя самого Пушкиным, и что большинство мотивов и идей его поэм, драм и повестей стоит в непосредственной связи с личным духовным миром поэта»⁵⁸. Присоединяясь к этим давним высказываниям Франка, мы должны в аспекте нашей темы поставить вопрос: так что же делать биографу с художественными текстами?

Пушкин, собираясь писать вместе с Баратынским и Плетневым «жизнь Дельвига», то есть биографию своего любимого умершего друга, намеревался строить ее на «изложении его мнений» и «разборе его стихов» (письмо П. А. Плетневу ок. 16 февраля 1831 года). А значит, он имел в виду именно внутреннюю биографию, о необходимости которой по отношению к самому Пушкину сказано столько верных и прочувствованных слов. Еще в начале века один из наиболее талантливых исследователей биографии Пушкина, П. Е. Щеголев, мечтал о такой биографии поэта, которая будет «не фактической только историей внешних событий его жизни, а историей движений его души, ее жизни»⁵⁹.

Именно внутренней биографией был более всего озабочен Анненков, к ней в той или иной мере стремились авторы последующих жизнеописаний поэта, о необходимости такой биографии писали в методологических статьях Д. Д. Благой⁶⁰ и Б. С. Мейлах⁶¹. Насущность этой задачи столь же очевидна, сколь очевиден и единственный, подсказанный Пушкиным путь ее решения — «изложение его мнений» и «разбор его стихов». Только так и можно войти в «сферу *духовного опыта*», где «бьет ключом и творится та жизнь, постичь которую хочет биограф»⁶². Выше мы говорили об изучении жизни в аспекте творчества, теперь говорим об изучении творчества в аспекте личной жизни — для биографа между этими двумя подходами не должно быть границы, как нет границы между жизнью и творчеством в бытии художника. Самое трудное — найти путь реконструкции внутренней жизни и способ ее корректного описания, совместимого с изложением документальных фактов. Поступки поэта, зафиксированные особенности его поведения, письма и мотивы синхронных им художественных произведений восходят, как правило, к единому порождающему центру в глубинах его внутренней жизни. Путем детального сопоставления текстов с фактами исследователь может выйти к тем самым внутренним событиям, из которых и складывается истинная жизнь художника. Конечно, не писать биографию по стихам, статьям и прозе, опрокидывая творческие создания в действительность и игнорируя тем

⁵⁸ Франк С. Религиозность Пушкина; О задачах познания Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 383, 433. Текст уточнен по прижизненным публикациям.

⁵⁹ Щеголев П. Е. Из жизни и творчества Пушкина. 3-е изд., испр. и доп. М. — Л., 1931, стр. 259.

⁶⁰ Благой Д. Д. Проблемы построения научной биографии Пушкина. — «Литературное наследство». Т. 16-18, стр. 268.

⁶¹ Мейлах Б. С. О задачах изучения и принципах построения биографии Пушкина. — В сб.: «Пушкин. Исследования и материалы». Т. IV, стр. 26.

⁶² Винокур Г. О. Биография и культура, стр. 39.

самым акт творчества, но читать художественные произведения как аутентичные свидетельства внутренней жизни их создателя — такова, на наш взгляд, непременная составляющая биографического исследования. Способ же описания внутренней жизни не может быть предуганан — он зависит всецело от таланта биографа, от его писательского чутья.

При этом можно говорить только о приближении к тайнам внутренней жизни поэта, только об относительной полноте их постижения и описания. Подлинная жизнь проживается один раз в ее живой, неповторимой и неуловимой сути, и никакой даже самый объективный, дотошный и талантливый биограф не воспроизведет письмом того, чем дышала эта жизнь в реальности. И эта относительность касается ведь не только внутренней жизни. Одним из основных источников наших знаний о герое биографии являются мемуары — но как они относительны, неточны, неполны, как противоречат друг другу, сколько в них примешано личных пристрастий! И тем не менее мы можем и должны опираться на этот источник, произведя над ним сложную исследовательскую операцию по вычлениению правды. Так и с художественными текстами: биограф может в них увидеть внутреннюю правду личности их автора, но для этого требуется квалифицированное исследовательское усилие, опирающееся на большую сопоставительную работу. И это — филологическая проблема, проблема герменевтики текста. Важно только уяснить, какие аспекты филологического изучения важны для построения биографии. Прежде всего это генетический аспект, это подход к произведению с точки зрения его происхождения, замысла, его зарождения в душе и в уме художника. При таком подходе в поле зрения филолога оказывается не только текст, но также затекстовые порождающие связи между творением и жизнью творца — и тут филолог становится и биографом, изучает литературу и жизнь одновременно. Еще один аспект филологического исследования, имеющий отношение к биографии, — аспект функциональный, изучение жизни художественного произведения после того, как автор выпустил его в свет. Если какие-то моменты бытования художественных творений были автором пережиты, осмыслены и как-то отразились на его жизни и сознании, то они становятся фактом его личной биографии.

* * *

Возвращаясь к событийно-фактической стороне жизни Пушкина, зададимся вопросом: все ли в ней достойно нашего внимания, обнародования, изучения? Какая мера полноты пристала такому типу жизнеописания, какое мы называем здесь полной научной биографией? Вопрос этот далеко не так прост, как может на первый взгляд показаться. С одной стороны, где, как не в такой биографии, должны быть сосредоточены все доступные материалы и факты жизни героя. С другой стороны, и не специалисту понятно, что их отбор совершенно неизбежен. Биограф, обязанный владеть всем материалом, физически не может вместить его целиком в свое повествование. Не может и не должен, так как не все касающееся Пушкина является биографическим фактом. М. А. Цявловский, составляя свою знаменитую «Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина» (заметим, летопись, а не биографию), включил в нее события из жизни многочисленных родственников и знакомых Пушкина и чуть ли не все исторические события пушкинского времени. Ю. М. Лотман в своей биографии дал выразительные портреты многих лиц из пушкинского окружения, а также рассказал, например, историю о том, как Николай I обидел горбатого гимназиста, историю, которая «исключительно ярко рисует Николая I»⁶³. Ни то, ни другое не оправдано задачами биографии и даже летописи, так как не является фактом личной жизни

⁶³ Лотман Ю. М. Александр Сергеевич Пушкин. Биография писателя, стр. 138.

Пушкина, а является фоном его жизни. Фон этот бесконечен, как сама жизнь, биография же конечна потому хотя бы, что она не отражает жизнь, а исследует ее. Как остроумно заметил по сходному поводу Л. Д. Гудков, «нельзя делать карту Англии величиной с саму Англию»⁶⁴. Каковы же принципы и критерии отбора биографических фактов? Г. О. Винокур считал таким критерием переживание: «Исторический факт (событие и т. п.) для того, чтобы стать фактом биографическим, должен в той или иной форме быть *пережит* данной личностью»⁶⁵. Этот критерий может быть дополнен: не только переживание как понятие психологическое, но и сюжет проживания жизни как понятие философско-религиозное должен руководить исследователем при отборе и организации биографического материала. Этот сюжет — не «исследовательская конструкция» (Л. Д. Гудков), а внутренняя логика и телеология жизни героя, предопределенная призванием и выявляемая биографом в процессе исследования. При этом герой должен быть представлен в жизнеописании целиком — ни «нравственные принципы», ни «исследовательская конструкция» не дают право биографу отсекал какие-то стороны его жизни, игнорировать их при создании биографии.

Пушкин проявлял живой интерес ко всем подробностям жизни великих и не очень великих писателей. Посылая Вяземскому копию «доноса Сумарокова на Ломоносова», он назвал этот документ «драгоценностью» и просил Вяземского «состряпать из этого статью» — обнародовать его (письмо второй половины марта 1830 года). Чем же вызван его личный интерес и убеждение в общеинтересности «доноса»? В статье «Вольтер» он писал: «Всякая строчка великого писателя становится драгоценной для потомства. Мы с любопытством рассматриваем автографы, хотя бы они были не что иное, как отрывок из расходной тетради или записка к портному об отсрочке платежа. Нас невольно поражает мысль, что рука, начертавшая эти смиренные цифры, эти незначачие слова, тем же самым почерком и, может быть, тем же самым пером написала и великие творения, предмет наших изучений и восторгов». И так, по Пушкину, всякая биографическая деталь, даже мелкая и «низкая», важна и интересна, но не сама по себе, а в контексте целого, в общем масштабе творческой личности, на фоне «великих творений». Однако у Пушкина же находят опору и сторонники очищенных биографий, цитирующие, как правило, строки все из того же письма Вяземскому 1825 года: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? черт с ними! слава Богу, что потеряны <...> Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением <...> Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции. — Охота тебе видеть его на судне». Но, во-первых, это суждение Пушкина достаточно сложно — оно проистекает из высказанного там же сомнения в способности поэта писать мемуары: «В хладнокровной прозе он бы лгал и хитрил, то стараясь блеснуть искренностью, то марая своих врагов. Его бы уличили, как уличили Руссо, — а там злоба и клевета снова бы торжествовали»⁶⁶. То есть поэт оказывается «на судне» тогда, когда занимается несвойственным ему видом писательства, в котором органически не может быть на высоте.

Во-вторых, есть у Пушкина совсем другие суждения на ту же тему — о том, что открытость личной жизни входит в общественное призвание писателя. «Иной говорит: какое дело критику или читателю, хорош ли я собой или дурен, старинный ли дворянин или из разночинцев, добр ли или зол, ползаю ли я в ногах сильных или с ними даже не кланяюсь, играю ли я в карты, и тому под. Будущий мой биограф, коли Бог пошлет мне биографа, об этом будет заботиться. А критику и читателю дело до моей книги и только. Суж-

⁶⁴ Гудков Л. Д. Массовая литература как проблема. Для кого? — «Новое литературное обозрение», № 22 (1996), стр. 92.

⁶⁵ Винокур Г. О. Биография и культура, стр. 37.

⁶⁶ Детальный анализ письма см.: Урнов Д. М., Сайтанов В. А. Монтаж мнений эпохи. — В кн.: Вересаев В. В. Пушкин в жизни, стр. 6 — 9.

дение, кажется, поверхностное. Нападения на писателя и оправдания, коим подают они повод, суть важный шаг к гласности прений о действиях так называемых общественных лиц (*hommes publics*), к одному из главнейших условий высоко образованных обществ» («Опровержение на критики», 1830). Это писано уже более зрелым художником и человеком, пережившим второе рождение в Михайловском и осознавшим тогда в себе не только художническое, но и нравственное призвание, связанное с даром. Ему теперь ясно, что жизнь писателя открыта на всеобщее обозрение не в угоду любопытствующей толпе, а как жизнь «общественного лица», обремененного ответственностью за «чистоту нравов». И уж тем более биографу, по мнению Пушкина, эта жизнь должна быть открыта во всех подробностях, без изъятий. Так что, судя по приведенному высказыванию, Пушкин вряд ли разделит бы негодование А. А. Ахматовой по адресу исследователей интимных сторон его биографии. Согласно записи П. Лукницкого, Ахматова ему «сказала, что до конца, ни на секунду не сомневаясь, уверена: если бы Пушкину предложили на выбор — или первое: не ковыряться в его интимных отношениях с Натальей Николаевной Гончаровой, потребовав с него за это полного отречения от всей литературной деятельности, отказаться от всего, что он написал, или — второе: сделать все так, как случилось с Пушкиным, т. е. Пушкин — великий поэт и исследователи ковыряются бесстыдно в его интимной жизни, — Пушкин не задумываясь выбрал бы первое: отрекся бы от всего, что написал, чтоб только умереть спокойно, в уверенности, что никто никогда не будет ковыряться в его интимной жизни — с радостью согласился бы умереть в полной безвестности»⁶⁷. Пушкин не мог зачеркнуть все, что написал, и не хотел «умереть спокойно» — он хотел умереть так, чтобы не оставить потомкам ни тени сомнения в своей нравственной правоте, в способности защитить свою честь и честь жены, умереть так, чтобы его семейная история стала не предметом закулисных пересудов, а сюжетом высокой трагедии. И в последний момент он озабочен был не соблюдением тайны семейной жизни, а оглашением правды о ней. Идя на дуэль, он, как известно, положил в карман сюртука копию своего письма к Геккерну, а в кабинете оставил письмо на имя Бенкендорфа с подробным изложением возникших обстоятельств — так он обеспечил гласность своей семейной истории.

Поэт обречен на открытость личной жизни как никакое другое «общественное лицо». Он сам явил свою душу миру — явил в формах поэзии, но «правда» (если воспользоваться гётевской парой понятий) неизбежно дополняет «поэзию» в восприятии современников и потомков. Открывая душу в стихах, поэт возбуждает этим всеобщий интерес ко всем сторонам своего существования. Откровенность поэта-лирика не знает предела — «исповедуясь невольно», он может регулировать только вопросы публикации своих поэтических признаний. Так Пушкин и поступал в ряде случаев — не отдавал в печать стихов интимного содержания, в которых были легко узнаваемы конкретные обстоятельства его жизни. И сам же Пушкин знал, что читателю поэт интересен целиком: «Нам приятно видеть поэта во всех состояниях, изменениях его живой и творческой души: и в печали, и в радости, и в парениях восторга, и в отдохновении чувств, и в Ювенальном негодовании, и в маленькой досаде на скучного соседа...» («Путешествие В. Л. П.», 1836). Если уж за читателем признается право на такой интерес, то что говорить о биографе, исследователе, который по прошествии многих лет изучает жизнь поэта, создает его цельный образ. «С течением времени любые тайны частной жизни теряют ореол сенсационности и выходят из сферы частных интересов. Этическая проблема биографа несводима к тому, какие факты жизни можно обнародовать, а какие нет; суть ее — в характере обозначения целей и смыслов жизни, в отношении биографа к жизни другого человека»⁶⁸. Главное в этом от-

⁶⁷ «Огонек», 1987, № 6, стр. 11.

⁶⁸ Валеvский А. Л. Биографика как дисциплина гуманитарного цикла. — В сб.: «Лица. Биографический альманах». 6, стр. 60.

ношении — исследовательский долг понимания, и этот долг, а не какие-либо соображения ложноэтического порядка определяет принципы работы с материалом. Мы ничтоже сумняшеся традиционно публикуем в собраниях сочинений письма великих людей — интимные документы, не предназначенные авторами для печати. Известно, в какой гнев приводила Пушкина перлюстрация его писем, но никому сегодня не придет в голову исключить по этой причине пушкинские письма из поля зрения читателей и исследователей — без писем картина его жизни, в том числе и творческой, будет неполной, а значит, и неверной. Для биографа, как для врача, нет стыда и нет запретов, и в особенности это касается исследователя жизни поэта-лирика, которая вся входит в поэзию и объемлется ею, — «нет минут непоэтических в жизни поэта»⁶⁹, вопрос только в том, как сумеет биограф осмыслить тот или иной эпизод в контексте целого. В жизни Пушкина есть целый ряд таких эпизодов интимного свойства, которые, казалось бы, можно было оставить сплетникам. Но что, к примеру, поймет биограф в поведении, душевном состоянии, в лирике Пушкина последних лет, если не захочет разобраться в его отношениях со свояченицей Александриной?! То же и с дуэльной историей, в которой известно все (кроме имени автора подметных писем), но многое не понято и не будет понято без разбора деликатных вопросов. Стыдливое замалчивание этих вопросов небезобидно для биографии — в итоге оно влияет на верность общей картины личной жизни героя.

* * *

Судьба художника, наделенного даром такого масштаба, как пушкинский, зримо представляет действие Промысла на жизненных путях человека. Всякому живущему суждено исполнить предназначенное, но предназначение гения, творческое и человеческое, исполняется на глазах у всего мира — и сюжет его жизненной драмы принимает характер мистерии. Биограф Пушкина имеет дело не просто с жизненными обстоятельствами, а с тем самым «случаем», который Пушкин назвал «мощным, мгновенным орудием провидения» («История русского народа», сочинение Николая Полевого», 1830). Исследуя процесс становления творящей личности, внутренний путь Пушкина, биограф должен видеть и осмыслять этот путь в свете Промысла. Отсутствие такого телеологического зрения ставило многочисленных биографов Пушкина в тупик перед махиной фактов. Даже завершенные (что уже большая удача) биографии, как правило, буксуют в материале и перекошены на ранние периоды, а должно бы быть наоборот, и не потому, что плотность фактических знаний о пушкинской жизни ощутимо возрастает к концу, а по более глубоким причинам. Чем дальше продвигался Пушкин по пути, предугазанному ему призванием, тем интенсивнее была его внутренняя жизнь и тем отчетливее обнаруживался в этом движении его провиденциальный смысл. Последние три года его жизни, обычно скомканные в биографиях, представляют собой духовную трагедию общечеловеческого значения, которую предстоит еще раскрыть и понять. И наконец — финал, гибель Пушкина, бросающая свет на весь им пройденный путь. О промыслительном значении этого финала весомые (хоть и весьма спорные) слова были сказаны, но не пушкинистами-профессионалами, а философами — В. С. Соловьевым, С. Н. Булгаковым⁷⁰. Однако далеко еще не утолена потребность разобраться в том, что вело Пушкина к смерти и с чем подошел он к концу, разобраться с опорой на всю полноту известных фактов, а главное — изнутри, исходя из логики его духовного развития. В смерти выявляется судьба чело-

⁶⁹ Одоевский В. Ф. Русские ночи, стр. 106.

⁷⁰ Соловьев В. С. Судьба Пушкина; Булгаков С. Н. Жребий Пушкина. — В сб.: «Пушкин в русской философской критике», стр. 15 — 41, 270 — 294.

века, смысл его пути, и если этот смысл, индивидуальный и общечеловеческий, не проступает в результате биографического исследования, такое исследование можно считать несостоявшимся. Пушкин — величайшая весть о человеке, о его божественном образе и тварной природе, это весть нашего языка, истории и культуры, и наше дело — воспринять эту весть, услышать ее в личной судьбе поэта.

* * *

В юбилейном 1937 году, подытоживая обзор пушкинских биографий, Г. О. Винокур писал, что «создание подлинной биографии Пушкина <...> остается задачей ближайшего будущего»⁷¹. Можно ли повторить это сегодня, по прошествии шестидесяти лет, накануне нового пушкинского юбилея? Пожалуй, нет. Когда-то Б. Л. Модзалевский говаривал: «Следовало бы еще раз посадить Щеголева на годик-другой в Петропавловскую крепость — и биография Пушкина была бы написана»⁷². Сегодня, даже если кого и посадить в «Матросскую тишину», вряд ли цель будет достигнута. Особенности нашей новой посткультурной эпохи и современное состояние профессиональной пушкинистики не оставляют надежд на скорое появление такого труда⁷³. Тем более важной кажется нам актуализация этой проблемы в числе других национальных и культурных приоритетов.

⁷¹ Винокур Г. Ранние биографии Пушкина. — «Книжные новости», 1937, № 1, стр. 20.

⁷² Измайлов Н. В. Из воспоминаний о Пушкинском Доме (1918 — 1928). — «Русская литература», 1981, № 1, стр. 103. Напомним, что свою знаменитую работу «Из разысканий в области биографии и текста Пушкина» и большую часть книги «Дуэль и смерть Пушкина» П. Е. Щеголев написал в одиночной камере.

⁷³ Однако это не может служить оправданием для переиздания таких некомпетентных биографий, как книги П. Н. Милюкова и А. В. Тырковой-Вильямс, выброшенные сейчас на книжный рынок.



РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

ПАМЯТИ ЛИТИНСТИТУТА

Владислав Дорошенко. Приходи ко мне вчера... Рассказы и повести. Киев, Киевский областной центр социальных служб для молодежи, 1997, 182 стр.

Взастойные времена не было, наверное, в Москве лучшего учебного заведения, чем Литературный институт. По крайней мере для пишущих людей из провинции. Только тот, чьи первые литературные опыты имели место в каком-нибудь областном или, того хуже, районном городе, знает это ощущение провального и безвыходного одиночества, когда не к кому пойти, не с кем поговорить. Нет, конечно, везде можно найти «родственные» натуры, какого-нибудь местного «мэтра», который оценит и даст совет, но все же это дело случая, везения. Литинститут давал главное — среду тебе подобных. И в то же время совсем разных. При том, что почти у всех поначалу был комплекс гениальности, который, впрочем, у тех, у кого не «ехала крыша» (что нередко случалось), курсу ко второму-третьему проходил. Один из любимых студентами преподавателей говорил мне не так давно, сгуя на нынешнее плачевное состояние Литинститута: «Ведь здесь училась вся Россия!» В этой фразе не было особого пафоса — ибо это правда.

В филологической среде к Литинституту отношение было этаким снисходительно-завистливым. Снисходительным по причине того, что считалось, будто институт дает образование несколько более примитивного уровня, нежели филфак МГУ или даже Пединститут им. Ленина. Может быть. Зависть же и раздражение филологов вызывал тот факт, что многие из них в Литинститут поступали, но не смогли преодолеть творческого конкурса, — на сей счет я мог бы привести немало конкретных примеров. Да не в них суть.

Далекие от Литинститута люди искренне считали его вузом сугубо идеологическим. Что было слишком далеко от правды. В каких других аудиториях в начале 80-х преподаватели и студенты беседовали о Набокове и Георгии Иванове, Солженицыне и Гумилеве, Розанове и Саше Соколове? Любимыми же «советскими» писателями здесь были даже не Трифионов или Аксенов, а Виктор Курочкин, Константин Воробьев и Юрий Казаков — что свидетельствует по меньшей мере о вовсе недурном вкусе учащихся и учащихся. Но все-таки главным в Литинституте были творческие семинары, на которых обсуждались работы студентов. Строгость оценок, порой заслуженная, была столь высока, что почти любому выпускнику последующая, «взрослая», критика бывала уже не страшна. До мордобоя, кажется, все же не доходило, но, как по другому случаю сказал классик, «близко было». До сих пор рассказывают об отчаянном поступке Андрея Битова, анонимно представившего на обсуждение собственный, только что сочиненный текст. Семинаристы обругивали его с привычным остервенением, Битов, как вспоминают участники этого действа, улыбался — все-таки он человек со здоровым чувством юмора.

Мой руководитель семинара, Анатолий Ким (сам тоже окончивший Литинститут), еще в нашу студенческую пору говорил, что главные вещи пишутся все же позже, после института, — хотя его собственной дипломной работой была ставшая потом знаменитой повесть «Собиратели трав».

Столь пространное «литинститутское» вступление вызвано в первую очередь тем, что все повести и рассказы из книги Владислава Дорошенко «Приходи ко мне вчера...» написаны в годы учебы автора в Литературном институте, а именно — с 1976-го по 1982-й. Причем в аннотации подчеркнуто, что в книгу вошли лишь «избранные произведения». Стало быть, написано было гораздо больше, что уже само по себе характеризует тогдашнего студента как усердного сочинителя, — ведь было и так, что кое-кто из пятикурсников едва-едва набирал тексты для диплома. К тому же профессиональный уровень произведений Дорошенко совсем не учени-

ческий. Почему они не вышли вовремя? При том, что получили «высокую оценку рецензентов центральных московских журналов „Новый мир” и „Наш современник”» (как отмечено в той же аннотации)? Бог весть. Отчасти, впрочем, и понятно: то была другая эпоха и молодому автору попасть в журнал было практически невозможно. Легче было выпустить книгу. Но, видимо, и это Владиславу Дорошенко тогда не удалось.

И вот спустя более пятнадцати лет появилась небольшая книжка в мягкой обложке. Когда ничего не знаешь об авторе и читаешь его первую (судя по всему) книгу, в которую вошло только то, что написано столь давно, естественно, возникают вопросы. Не столько сакраментальные, сколько самые обыкновенные. Что такое перед нами: первый том «собрания сочинений» или том единственный? Писал ли автор прозу после окончания института и пишет ли сейчас? Или книга — просто дань увлечениям молодости, давно прошедшим?

Если бы в аннотации не было отсылки к конкретному времени написания, то и в этом случае читатель без особого труда понял бы, что все повести и рассказы Дорошенко написаны давно. И дело даже не в конкретных временных приметах. А в общей атмосфере, что ли, в интонации повествования. Порой даже кажется, что все это ты уже читал — тогда, много лет назад. Но меньше всего хотелось бы упрекнуть автора — просто многим его ровесникам повезло больше и они опубликовали свои произведения раньше (а общие настроения, тематика и отчасти даже стилистические предпочтения во многом диктовались если не схожестью судеб, то биографией целого литературного поколения).

Поэтому нам столь и знаком авторский герой (все тексты написаны от первого лица) с его вечной неустроенностью, постоянной маетой, неудачами и надеждами: «У меня когда-нибудь будет настоящий друг, когда-нибудь буду без остатка влюблен и любим (я верю в это — иначе зачем все?), и тогда расскажу этому долгожданному человеку, как я шел к нему, как много ошибался, спотыкался, падал, как обманывал себя и других, как испуганно ждал полосы яви и правды. Я все расскажу, честно, без утайки. Мне нужно это рассказать, чтобы покончить с собой прежним и начать все с нуля». Размышления героя повести «Июньские ветры» очень точно передают естественное настроение молодого человека тех времен, уже отстранившегося (сознательно или бессознательно) от скучного социума, но еще не нашедшего себя в том большом мире, самоценность которого не зависит ни от загнывающего на корню общественного строя, ни от сиюминутных проблем, ни от прошлого или будущего. Герой повести выбит из жизненной колеи почти в буквальном смысле: он — бывший боксер, чья карьера не удалась: «И все же, что за беда со мной приключилась? Я еще тогда почувствовал, когда тот долговязый мне слева послал плюху. Одно дело, когда больно и плохо, другое — когда вдруг чувствуешь отдельно свое тело и отдельно себя. Будто вышибли тебя из тебя. Это страшно. Его, этого вышибленного, не найдешь на ринге, не всунешь обратно. Со временем это как-то само собой проходит, а потом какой-нибудь апперкотный отфутболит твое еле пришитое „я” — и снова эта мука покинутого тела. Где ты? С „я”? С телом? Между ними? Или все растеклось, как раздавленное яйцо?» В подобном состоянии герой находится не только на ринге, но вроде как и в своей жизни, пытаясь соединить свое «я» и свое «тело». Открытый финал повести если и не расставляет все по местам, то, во всяком случае, оставляет надежду на то, что мечты о цельности и гармонии хотя бы отчасти, но осуществимы.

Рассказы «Приходи ко мне вчера...» и «До встречи через 30 лет!» можно было бы «подверстать» к «Июньским ветрам» — почти тот же герой (пусть и существующий в несколько иных реалиях), та же лирическая интонация. Впрочем, рассказ «До встречи через 30 лет!» представляется мне самым удачным в книге, хотя бы потому, что он менее всего «устарел» (в данном случае это не оценочное понятие) — в нем меньше всего примет времени и больше «вечного», того, что делает прозу прозой, а не очерком нравов или «калькой» реальности.

Несколько «инаковы» повесть «Все, как в кино» и рассказ «В собачьей шкуре». В повести окружающий мир читатель видит глазами героя-киномеханика, своего рода художника, который смотрит на все словно бы через глазок кинокамеры,

фиксируя в сознании быстро сменяющиеся кадры действительности. В рассказе «В собачьей шкуре» повествование ведется от лица собаки — прием сколь не новый, столь и любимый литераторами. У нашего автора все получилось не хуже, чем у других. Но и не лучше.

И тем не менее говорить о конкретных недостатках книги совсем не хочется — в нашем случае это было бы даже и нечестно. Перед нами все-таки — первые опыты явно талантливого человека. Если бы сегодня рукописи повестей и рассказов, составивших книгу Дорошенко, попали в редакцию «центрального» журнала, их бы, скорее всего, не напечатали. Но почти наверняка попросили бы автора «прислать что-нибудь еще» (исходя из собственного редакторского опыта, могу заверить, что эта фраза — далеко не всегда лишь вежливая формула отказа). Вот тут-то и можно вернуться к тем вопросам, которые мы задавали несколько выше, и переадресовать их автору.

Признаюсь откровенно, что книгу Дорошенко как таковую, может быть, и не стоило подробно рецензировать, если бы она не олицетворяла собой гораздо большее, чем она сама. А именно — проблему неосуществленности целого литературного поколения. Писатель не может бесконечно писать в стол. Ему необходим читатель. И — своевременно, а не спустя пятнадцать лет. С другой стороны, ведь сказано: «Если можешь не писать, не пиши». Не ручаюсь за точность статистики, но думаю, что из выпускников Литинститута «сочиняет» до сего дня один из сотни. Возможно, далеко не всегда самый талантливый. Но это уже несколько иная тема.

По поводу же Дорошенко могу сказать под конец лишь одно: мне было бы искренне жаль, окажись он в числе тех девяноста девяти, которые «могут не писать». Хотя тот же Анатолий Ким, когда я ему пожаловался на одного нашего друга, бросившего (как потом выяснилось, не навсегда) литературные занятия, сказал: «Значит, ему это сейчас не нужно». Нужно «это» Владиславу Дорошенко или нет — я не знаю. Поживем — увидим.

Игорь КУЗНЕЦОВ.



ЖИЗНЬ КАК АНКЕТА И КАК СЮЖЕТ

Алексей Слаповский. Анкета. Тайнопись открытым текстом. Роман. — «Звезда», 1997, № 2 — 3.

«**Ж**изнь есть сюжет. Несюжетно нельзя создавать», — тонко подметил один русский мистический писатель первой трети XX века. «Сюжет — вот что, собственно, и есть жизнь. Несть жизни вне сюжета». Так мог бы выразиться литератор современный. Порядок слов иногда оказывается на редкость значим. Ведь в первом случае жизнь — материал, имеющий определенные свойства («сюжетность», то есть поступочность, действенность), с которыми нельзя не считаться. Во втором — литература творит свои «объекты» явно из материи собственной, как паук — паутину, зависая при этом над грешной землей так, что только «паутина» не дает ей упасть. Постмодернизм, одним словом. Плюс виртуальная, видимо, реальность. Какой создадим сюжет, такой и станет окружающая нас жизнь. Утопия литературы, предполагающая два полюса: вымышленная писателями действительность и действительно существующий мираж.

Алексей Слаповский в своей «тайнописи», написанной «открытым текстом», сначала вроде бы не отклоняется от первого, более традиционного, способа видения и изображения мира. Больше того, автор претендует на сугубый реализм и даже буквализм изложения. Роман имеет форму записок, зафиксированных, однако, с помощью компьютера главным героем — Антоном Петровичем Каяловым, человеком, который заявляет о себе, что он «не поэт, не гений и не убийца», и которого окружающие (за редким исключением) считают «слишком нормальным». Тем самым роман Слаповского в представлении читателя невольно становится в

ряд соответствующих произведений русской литературы, выбирающих в качестве объекта изображения, в первую очередь, не окружающий мир, а сознание и самосознание пишущего. И сразу выбивается из этого ряда. В отличие от своих литературных предшественников — гоголевского Поприщина и «подпольного человека» Достоевского, Каялов изначально обладает недеформированным сознанием. Его самооценка вполне спокойна и адекватна. Он начисто лишен какой бы то ни было «подпольности». В любой затруднительной ситуации Каялов апеллирует к доводам рассудка и здравого смысла; оценки его узнаваемы и предсказуемы, поскольку опираются на так называемые «общечеловеческие ценности», то есть те словесно закрепленные нормы мышления и поведения, которыми руководствуется обыденное сознание. Но на момент начала романа эти ценности скорее заданы герою извне, как некая установка, чем выработаны им в процессе приобретения жизненного опыта. Они требуют веры, но не предполагают проверки. «Я действительно верю в нравственный закон внутри человека», — утверждает он. Человек в его представлении (в представлении Каялова, каким он был до начала основных событий романа) — существо, поступки и побуждения которого поддаются разложению на рациональные составляющие и которым в бодрствующем состоянии руководит «нравственный закон» (см. кантовскую «Критику практического разума»: неподвижная, математически выверенная, но таящая в себе коварные деформации картина мира). При всем том герой словно выключен из жизни. Во всех ее проявлениях. Не женат. Нигде не работает. И почти нигде не бывает. Поэтому свойства его по отношению к этической сфере (то есть сфере выбора и поступка) почти не могут быть обозначены — другими словами, Каялов не имеет ярко выраженного характера ни как человек (если мы займем позицию простого читателя, в каждом литературном персонаже видящего именно человека), ни как собственно литературный герой.

Но он и не так прост, как можно было ожидать. Являясь носителем (почти невольным) обыденного взгляда на мир, Каялов внутренне чужд и этому взгляду, и этому миру. Будучи профессиональным составителем кроссвордов, он чрезвычайно эрудирован и с детства обладает даром правильной речи (коего лишены почти все окружающие). Культура — вот второй полюс, определяющий личность героя. Но тоже весьма своеобразно: он, например, не может читать Кьеркегора, но зато очень любит словари. Культура в его сознании принимает вид нагромождения знаний, сведений, слов — опять-таки кроссворда. Отсюда своеобразно остранный взгляд героя на мир: обыденные вещи и свое вполне обыденное отношение к ним он осмысливает как что-то вполне постороннее своему сознанию с позиций культуры, понятой как кроссворд (примерно так остраивают мир словарные статьи). Слаповский доверяет повествование герою совершенно особого типа: он целю раздвоен, ненаивно наивен, простодушно рефлексивен. При этом Каялов получился вполне убедительно. Тут одна из несомненных удач романа. Как и язык. Его своеобразие проистекает из столь странного, двойственного характера героя-повествователя. Он пишет заведомо «плохо», по-любительски, простым обыденным языком пытаюсь описывать простые обыденные вещи и одновременно, в порядке осмысления этих вещей, пересыпая свое повествование научными терминами, речевыми клише, избитыми образными выражениями и т. д. Чего стоит такая фраза (берем почти наугад): «Друзья его, допустим, Петр и Николай, друзья еще со школы, часто собираются для лыжных прогулок в зимний лес, а летом плавают на байдарках и каноэ, то есть ведут здоровый образ жизни». Остранно-обыденный взгляд на мир профессионального кроссвордиста предполагает, что в расшифровке, в объяснении нуждается любая мелочь, случайная деталь, мельчайшая подробность. Он, например, дает себе труд сообщить, что «макrame» — это «плетение из особых веревочек», далее уточняя, что «это такое декоративное кружевное узорочье, которое можно, например, под вазу подложить». Примеров можно привести много. «Язык описания» отвечает здесь целой языковой картине мира, как она запечатлелась в мозгу бывшего советского человека в наше время. Прием не новый в современной литературе, но здесь весьма удачно и уместно использованный. Можно заметить, однако, что описанная нами столь подробно ввиду ее важности начальная ситуация статична и не содержит в себе предпосылок для своего изменения. То есть для собственно сюжетного развития.

Перед нами (вспомним слова, сказанные в начале) — жизнь, но отнюдь не сюжет. Но как раз в начале романного действия в биографии героя происходит резкий перелом. Сестра его Надежда (автор — но с какой целью? — дает и тут же снимает как ненужную пастернаковскую реминисценцию) требует, чтобы Каялов нашел нормальную работу и женился — другими словами, влился в социум, вошел во внешнюю себе жизнь и проверил на опыте те принципы, которые были взяты им на веру. И вот герой, руководствуясь именно этими принципами (нравственный закон, честность, долг и проч.), выбирает работу в милиции, дабы изнутри бороться с процветающей там коррупцией. Перед глазами его стоит пример собственного отца, простодушно предложенный им вниманию потенциального читателя как серьезный и положительный случай беззаветного служения. Но читатель догадывается, что перед ним пример того, как идея долга, взятая в крайнем своем проявлении, превращает вполне обычное действие по сжиганию просроченного НЗ в священный ритуал очищения огнем, а ярко проявляющееся в данном случае несоответствие масштабов отношения к делу и самого дела, а также бесплодность деятельности Каялова-старшего обнажают абсурдность и невозможность существования самой идеи в данных исторических условиях. Сыну же кажется, что он отклонился от прямого пути, не претворил в поступки «нравственный закон», как это сделал его отец. На самом деле жизнь сына по-иному, но повторяет основной принцип жизни отца. Он двадцать шесть лет любит одну-единственную женщину, которая к тому же не отвечает ему взаимностью. Воплощая идею верности так же, как отец — идею долга, Каялов, как и отец, доводит ее до абсурда, ибо чувство его к Алексине давно уже мертво и бесплодно. Пресловутый нравственный закон тут же (сначала — незаметно для героя-повествователя) обнажает свою оборотную сторону. Будучи направлен против течения жизни, он оказывается просто нравственной инерцией и нежеланием сделать выбор. И получается, что герой, еще не сделав выбора, уже оказывается в ситуации, когда его сделать невозможно.

Итак, герой поставлен в невозможную ситуацию, не поддающуюся изменению. Значит, нужно измениться самому. И тут-то появляется Анкета, на первый взгляд обычный психологический тест, пройти который необходимо при поступлении в милицию. Но автор приготовил Анкете роль инструмента в задуманном им эксперименте над человеческим сознанием. Сюжет романа, не обретший почвы для своего развития в реально-жизненном плане, развивается в плане экспериментальном. Позиция отвечающего на вопросы Анкеты осознается героем как двойственная: есть ответы подлинные (по ним выстраивается реальный состав личности человека), а есть ожидаемые (по ним выстраивается некий усредненный портрет субъекта, который может быть принят в милицию). Вот по этой-то линии, разделяющей истинное и ожидаемое, и происходит раскол внутренней цельности героя. Отвечая на вопросы анкеты, заведомо составленной по принципу двойной истины, Каялов, захваченный врасплох стихией релятивизма, начинает сомневаться во всем. Не остается ничего устойчивого и безусловного. Словесная картина мира рушится. А другой и не было. На ее место становится Анкета. Причем она начинает управлять героем, его словами и действиями, выступая одновременно и как судьба, и как нравственный (теперь уже безнравственный) закон.

«И тут кончается искусство»... А одновременно и «почва и судьба». Поскольку начинается искусственность. Жизнь оказалась удивительно бессюжетной, но зато и удивительно сложной и неоднозначной. Сюжет же оказался получен ценой отрыва от той стихийной неоднозначности жизни, которую призван был раскрыть. В месте этого отрыва (Анкета и ее влияние на сознание героя) — перед нами интересный психолого-фантастический (по аналогии с научно-фантастическим) эксперимент.

Но заканчивается он как-то уж очень просто. Анкета подчиняет себе не только главного героя. Все, с кем он сталкивается в ходе выполнения задания, данного сестрой, все, кого он вспоминает, отвечая на Вопросы, соединяют жизненный эскапизм с полным отсутствием какого бы то ни было внутреннего нравственного закона (такова Алексина, возлюбленная героя, такова ее подруга Анастасия Жувельская, мафиозо Кайретов, милиционер Курихаров и многие другие).

Их жизнь соответствует самому духу Анкеты. И пересечение путей Каялова и мафиозо, бывшего одноклассника главного героя, Кайретова знаменует и символизирует тот момент, когда герой попадает в зависимость от Анкеты, которая, в свою очередь, воссоединяется с жизнью, становится жизнью. И тут из интеллектуального романа читатель неожиданно попадает в бульварно-авантюрный роман, сдобренный солидной долей «чернухи». Преступные подростки, элегантные киллеры, подброшенные дети, погони и преследования, отсиживание в канализации, пьянка на троих в компании бомжей — одно сменяет другое с невероятной быстротой. Герой, оставшись после всего вышеперечисленного в живых, разгадывает загадку Анкеты и, зачеркнув ее нежелательные утверждения, становится суперменом. Финал романа, написанный, очевидно, по горячим следам актуальных политических событий, и вовсе переводит действие в памфлетное русло: переродившийся Каялов мечтает выиграть президентскую кампанию. Логическое завершение романа, главные коллизии которого так далеки от политики? Нет. Скорее сюжет, лишившись почвы и забыв о цели, зашел в тупик.

Но сказанное выше не означает, что роман Слаповского потерпел провал. Читать этот текст действительно интересно. Не отнести ли его недостатки на счет особенностей материала (самой жизни!), который на данном этапе сопротивляется «романизации» столь интенсивно, что смысл, буде его удастся извлечь, не предполагает движения, а движение, если его удастся заметить, — не обнаруживает смысла?

Евгения ЛИВАНТОВСКАЯ (ВОРОБЬЕВА).

*

ДУХОВНЫЙ ДАР

Аркадий Штейнберг. К Верховьям. Собрание стихов. О Штейнберге. Материалы к биографии... Составление, текстологическая подготовка, вступительный очерк Вадима Перельмутера. М., «Совпадение», 1997, 616 стр.

Известно, что мастерство художника, помимо прочего, определяется естественностью и разнообразием доступных ему стилистических перевоплощений.

С искусством перевоплощения мы встречаемся в любом жанре художественного творчества, но если поэт подобен композитору, то переводчик ближе к музыканту-исполнителю. Оригиналы, с которыми имеет дело профессиональный переводчик, порой принадлежат не просто разным авторам, но разным эпохам и культурам.

Представьте, что перед вами несколько анонимных, случайно обнаруженных вами стихотворений. Попробуйте, хотя бы приблизительно, оценить их пространственно-временные рамки: когда и где это могло быть написано?

1

Ворона

Белой простыней легла
 Степь до края небосклона.
 Наподобие орла
 На столбе торчит ворона.

Словно трубочист, грязна,
 Восседает с миной сонной,
 Словно факельщик, полна
 Мрачной спеси похоронной.

В бледном небе ледяном
 Кажется тузом пиковым
 Или перечным зерном,
 Крохотным и пустяковым.

Неподвижным и смешным
Паяем с огромным носом,
Горбясь фитилем свечным
Над степным ковром белесым.

Но обуглено перье
До последнего огрызка, —
Знать, гроза сожгла ее
На вершине обелиска...

А дальше разворачивается настоящий метафорический пир, когда первообраз — ворона — по признаку предметного или культурно-кодowego сходства притягивает к себе массу эмоционально окрашенных вещей и понятий.

Ворона висит *шоколадкой*; ежится *черносливом*; морщится, как *тенор в паре фразной*; чванится, как *сатана*; дуется, как *дипломат*; скучает, точно *кладбищенский памятник*.

Она сочетает в себе скверность *карточного партнера* и четкость *нотного знака*. Она уродлива, как *ведьма, брошенная чертом*, и черна, словно *небо злого пса*. Своей переливчатой мрачностью напоминает она свежий «*фонарь*» — подбитый боксерский глаз. А под дождем лоснится, будто *обломок кокса*. А на ветке — сродни *ваксе* или *вару, хлопьям легкой сажки*. А в облаках — *вдовьему крепу, густой вуали*.

Она — *кукушка из агата; сплошная ночь; муха в чашке с молоком; нефтяная карамелька; бант из бархатной тесьмы; похоронное убранство; кубок тьмы; бюст из антрацита...*

Она — *символ Страшного Суда, истребления плоти; беда; проклятье Вселенной. Опаленный камень. Вечный моток темени. Колдовской сосуд. Поганая примета, молва о злой судьбе, предвестье конца.*

И вдобавок ко всему она еще банальна... как **ворона**.

Оказывается, в центре Вселенной можно поместить не только Землю, как думал Птолемей, или Солнце, как утверждал Коперник, или гипотетический сгусток самовзорвавшейся звездной плоти, как полагают современные астрофизики, а *Cogvus согопе согопе* — обыкновенную Черную ворону, и весь мир будет вращаться вокруг нее по закону метафорического родства.

Так поэт создает свою «вороноцентрическую» модель Вселенной.

Когда и где такое могло прийти в голову? По всей вероятности, где-нибудь в Европе во времена не столь отдаленные. Во всяком случае, тогда, когда короли ринга уже отвечивали друг другу чемпионские «*фонари*».

2

Золотой мяч

Я в отрочестве оценить не мог
Любви отца, ее скупого жара;
Как все подростки — я не понял дара,
Как все мужчины — был суров и строг.

Теперь, презрев любви отцовской гнет,
Мой сын возлюбленный взлетает властно;
Я жду любви ответной, но напрасно:
Он не вернул ее и не вернет.

Как все мужчины, о своей вине
Не мысля, он обрек нас на разлуку.
Без ревности увижу я, как внуку
Он дар вручит, что предназначен мне.

В тени времен мерещится мне сад,
Где, жребием играя человечьим,
Мяч золотой мы, улыбаясь, мечем
Всегда вперед и никогда назад.

В четырех строфах этого стихотворения золотой мяч отцовской любви на протяжении четырех поколений перелетает из рук в руки, но всегда в одном на-

правлении — в будущее, — являя совсем нетривиальную истину о том, что любовь отца безответна.

Пожалуй, это тоже Европа. В недавнем прошлом.

3

Заводь, где цветут лотосы

Плыву что ни день
По лотосы в утлом челне.
Остров велик.
Допоздна замедляю возврат.
Толкаюсь шестом,
Не плещу, скользя по волне:
Боюсь увлажнить
Цветов червлёный наряд.

А сейчас на нас повеяло чем-то древним, чем-то юго-восточным, не правда ли? Это колеблются на темной воде багряные нежно-азиатские лотосы. Откуда они? Может быть, из Японии?.. Китая?..

4

От юных лет уженье на заре
Души моей любимая забава...
Заросший пруд, осока в серебре
И наглухо замкнутая купава.

Еще горит последняя звезда
Над влажной ширью заливного луга,
И две стихии — воздух и вода, —
Покачиваясь, трутся друг о друга.

Еще молчат гречишные поля,
Точа по капле аромат медовый,
И два пространства — небо и земля, —
Как женщины, обнять меня готовы.

Редает ночь. Пастух зовет коров.
И мнится мне — я облачко над бездной,
Я поплавок на грани двух миров,
Кристалл земли в растворе ночи звездной.

«Заводь...» и «От юных лет...» — непохожие стихи, являющие, каждое по-своему, две стихии — воду и воздух. При этом оба стихотворения сближает зоркое, а то и благоговейное созерцание жизни душой, влюбленной в жизнь. Века разные, культуры разные, поэтики разные, а душа — одна. Только в «Заводи...» она робеет перед непостижимой красотой («Боюсь увлажнить / Цветов червлёный наряд»), а в юных летах от рубежа земных стихий — воздуха и воды, где зыблется поплавок, — поэт переходит к иному пределу — мистической границе между земным и небесным, там пребывает его душа — *кристалл в растворе ночи*, то погружаясь в земное, то теряясь в звездном.

5

Я видел Море Черное во сне,
Как сирота под старость видит маму.
Оно большой рекой приснилось мне,
Похожей на Печору или Каму.

Вдоль берегов распаханной земли
Влеклась вода, краями небо тронув,
И желтые и белые цвели
Кувшинки по поверхности затонов.

Но это было море предо мной,
Зажатое меж берегов покатых!

Знакомый запах — йодный, смоляной —
Шел от него; и паруса в заплатах, —

Лохмотья нищей юности моей, —
Бросая вызов сумраку ночному,
Средь укрошенных временем зыбей
Ловили ветер так не по-речному!

И каждый вздох, и каждая волна
Утраченное сердце воплощали;
И все равно — пресна иль солона,
Но эта влага, полная печали,

Воистину была водой морской,
Вернувшейся к истокам отдаленным,
Чтобы присниться мне большой рекой,
Полузабытым материнским лоном.

Какая удивительная переключка со стихотворением о золотом мяче и какое замечательное разногласие! Как явственно, как убедительно и горько была высказана там мысль о безответности родительского обожания — как сновидчески точно, с каким сердечным волнением передано здесь обратное чувство сыновней нежности. «Золотой мяч» (любовь, обращенная в будущее) и фантастическое видение «речного» Черноморья (любовь, обращенная в прошлое) не перечат, а дополняют друг друга, теряясь в безмерности самой любви: взаимной и неразделенной, обратимой и безответной.

Судя по всему, стихи о сновидении были написаны в России человеком, вволю помыкавшим на «камах» и «печорах», там осознавшим, что духовный путь противоположен тому, которым с годами все быстрее и обреченней несет смиренную временем плоть. Ее влечет течение жизни, тогда как дух повелевает нам бороться со стремниной, исподволь затягивающей нас в узкое устье смерти, и, преодолевая встречный поток, подвигаться к началам, к Верховьям, к *материнскому лону* нового рождения. Печаль «Золотого мяча» разрешается сном-надеждой на воскрешение, на обретение утраченного рая, а с ним и любви, независимой от перемены времен.

6

Короеды

В непролазной, буреломной чаше
Обитает испокон веков
Грамотный народец работающий,
Гильдия типографов-жуков.

Не успела плод запретный Ева
Накусить, как тотчас же в раю
Жук-типограф на волокна Древа
Выгрыз надпись первую свою.

По примеру пращура, доньше
Подвиг жизни каждого жука —
Выедать изгибы сложных линий
Литер нелюдского языка.

И строчить на заболони брэнной
С помощью природного резца
Подлинную хронику Вселенной —
От ее верховья до конца.

Шестиногий Нестор неизвестный,
Скромный жесткокрылый Геродот,
Продвигаясь под корой древесной,
Летопись подробную ведет...

И далее: каждое поколение пополняет ее новой главой. Все запечатлено на *скрижалях жучиной Библии*.

Добро и зло; закономерность и случай; круг явлений.

Время, пространство, вещество.

Наше суесловье, тщетность дел.

Вера. *Истины*, недоступные незрячему разуму.

Грядущие судьбы. Приговоры Страшного Суда. Благие вести...

Жаль только, что эти *нелюдские письма не поддаются расшифровке.*

Стихотворение подобно оглавлению в Книге Бытия: части названы, однако содержание их закрыто от нас.

Вспомним, что вначале мы столкнулись с «вороньим мирозданием». При всей своей мрачноватости оно вызвало наше восхищение небывалым многообразием, плотностью населявшего его тварного мира. И все же это был довольно простой мир. Теперь картина усложнилась. В центре ее уже не *Corvus corone corone*, а усатый пильщик-короед. Он точит Вселенское Древо, и его загадочные коды формирует разная прочность Бытия в пространстве и во времени — Бытия естественно-го и духовного. Мягкое поддается резцам, и тогда проступает рисунок. Твердое сопротивляется, и тогда обозначаются границы познания.

А теперь раскроем наши карты.

Перед нами четыре поэта:

1 — Джордже Топырчану, Румыния; 1886 — 1937.

2 — Беррис фон Мюнхаузен, Германия; 1874 — 1945.

3 — Ван Вей, Китай; 701/699? — 761/759?

4 — 6 — Аркадий Штейнберг, Россия, Советский Союз; 1907 — 1984.

А вместе с тем перед нами один поэт — Аркадий Акимович Штейнберг в ролях Черной вороны, Золотого мяча, Собирателя лотосов, Отрока на заре, Сновидца, Типографа-короеда. В трех первых случаях он — переводчик, в трех последних — оригинальный поэт и всюду — мастер перевоплощений.

Но откуда возникло такое внутреннее многообразие? Что позволило развиваться ему столь ярко и полно?

Будущий поэт родился в семье видного одесского врача — обеспеченной и благополучной, образованной и отмеченной тем религиозным либерализмом, который был свойственен части дореволюционной русской интеллигенции. Достаточно сказать, что ежегодно в доме у Штейнбергов справлялись три Пасхи: еврейская (по зову предков), католическая (по вероисповеданию австрийской гувернантки) и православная (по заветам Отечества). Известно, что скрипкой Аркадий занимался со знаменитым П. С. Столярским — учителем Давида Ойстраха. А еще в распоряжении мальчика оказалась богатая отцовская библиотека. С тех пор и на всю жизнь он превратился в страстного книгочея. Естественная поначалу неискушенность подсказала Аркадию закон общения с книгой, плодотворный именно для художника: чтение должно быть обширным и произвольным. Системность, четкая тематическая очерченность требуются исследователю, историку литературы. А поэту важно высечь из читаемого искру фантазии, ведь книги нужны ему не для того, чтобы их изучать, а для того, чтобы воспламениться от них. В связи с этим замечаем, что разброс интересов нашего книгочея поразителен: древнеармянская история, Жюль Верн, «Слово о полку Игореве», анатомия, Конан Дойл, древнееврейская история, Гоголь, курс органической химии, немецкие книжки для детей, поэма Мильтона «Потерянный рай»... Многое оставалось непонятым, но что-то западало, откладывалось в душе, чтобы потом всплыть метафорой, точным знанием, профессиональным словом, внезапным сопоставлением.

Из Одессы семья переезжает в Москву. Штейнберг поступает во ВХУТЕМАС, где постигает офорт, литографию, живопись. Начинаются свои стихи, первые переводы. Происходит знакомство с Багрицким. Обнаруживаются признаки успеха.

И вдруг (1937 год), будучи тогда, по его собственным словам, «героическим защитником сталинского режима», Штейнберг арестован. Впрочем, в 1939-м отпущен на волю и реабилитирован.

Отечественную войну майор Штейнберг завершил в Румынии начальником отдела по работе с населением противника. Тут-то, за доносом, последовала вторая отсидка (1945 — 1952).

А потом — на свободе — Аркадий Акимович Штейнберг вошел в элиту русской школы поэтического перевода, можно сказать, обессмертив свое имя перело-

жением «Потерянного рая» — отозвавшееся десятилетия спустя потрясение от детского прочтения. Однако своя книга все томилась и томилась в недрах «Совпеса». Так он ее и не дождался. Камнем преткновения стала тогда поэма «К Верховьям». Идейные сторожа усмотрели в ней скрытую фронду: слишком реалистичен, слишком точен оказался срез нашей жизни, проведенный автором через судьбы нескольких случайных попутчиков, плывущих на барже почему-то *против* течения — к Верховьям... Что это, как не сопротивление обстоятельствам времени, его дозволенному ходу?.. А что это, скажем, за «дедуган щербатый» — деревенский чародей, лукавый старикашка, увильнувший когда-то от воинской повинности, прикинувшийся хворым в колхозе, зато исправно шлепавший четвертинку за четвертинкой?.. Может быть, автор его осуждает? Посмотрим:

Но эта жизнь была не хуже
Любой другой; она была
Мелькнувшей в темноте и стуже
Частицей света и тепла.
Чего же требовать иного
В последний из прощальных дней?
Какая, в сущности, основа
Упреков, обращенных к ней?

Кто спросит у нее ответа
В конце дороги, у черты,
Что, мол, за то-то и за это
С людьми не расплатилась ты?
Она ни в чем не виновата
И ни полущки не должна;
Одна-единственная плата
За жизнь — всегда сама она.

Пожалуй, в нашей отзывчивой на жалость поэзии таких оправдательных приговоров еще поискать. Может быть, у Твардовского найдем мы нечто родственное этой доброй и мудрой интонации человека, плывущего к истокам бытия.

И вот Аркадий Штейнберг впервые явлен нам в полноте и единстве отпущенных ему природой даров: как поэт; как переводчик иноязычной лирики; как график, заполняющий своими работами фронτισписы, обороты шумцитулов и страницы собранной в память ему книги; как жизнелюб, оставивший о себе свидетельства учеников и друзей; а на фотографиях еще и как музыкант со скрипкой или за фисгармонией... И все это обилие воплощений складывается в один духовный дар, который был ниспослан ему и к которому приобщает он нас.

Подолгу Аркадий Акимович жил вне города. Он говорил: «Вы не представляете, как много дала мне русская деревня! Она стала моим миром, оформила мой духовный путь и мои взгляды!»

В раннем стихотворении — помните? — он представлял себя «поплавком на грани двух миров», «кристаллом земли в растворе ночи звездной». На исходе дней ощущение пограничности человеческого существования стало еще более острым, одухотворилось христианской символикой, обозначилось как постепенный переход из реальности бытия земного в реальность инобытия и, наконец, воплотилось в образе умирающей старухи — этом олицетворении русской деревни, — в «каноне на исход души»:

Помирает моя
Доброхотная мачеха,
Приютившая мальчика
На заре бытия.

.....
В предназначенный срок
Хлопотунья заранее
Начала прибирание,
Свой предсмертный урок.

Торопясь, чистоту
Навела еще заживо,

В плошке сбою говяжьего
Уделила коту.

Содой вымыла дом,
Окна вытерла пыльные
И в обнвы могильные
Обрядилась потом,

Молча взлезла на печь
И с последнею силою
На лежанку остылую
Изловчилась прилечь,

Протянув на тряпье
Руки тощие, длинные,
Словно лапы куриные
В роговой чешуе.

.....
Не скорбите, пока
Плоть противится тленная,
И земля тяжеленная
Ей да будет легка.

Киньте взгляд из окна,
Об усопшей не сетуя.
Пусть людьми не отпетая
Почивает она.

Там, над краем леска,
Словно храм семибашенный,
Серебром изукрашенный,
Вознеслись облака.

Где клубится вдали
Их громада великая,
Пролетают, курлыкая,
Трубачи-журавли.

Будто в ризах до пят,
Вея белыми платами,
Над лесами зубчатыми
Серафимы трубят.

С незакатных высот
Светопад ослепляющий,
Нестерпимо пылающий,
Весть благую несет.

И мерцают лучи
На серебряной храмине
Алым отблеском пламени
Поминальной свечи.

Алексей СМИРНОВ.

*

К ОПОЗНАНИЮ МАКСА

В. П. Купченко. Странствие Максимилиана Волошина. Документальное повествование. СПб., «Logos», 1996, 544 стр., с илл. (Судьбы. Оценки. Воспоминания. XIX — XX вв.)

Владимир Купченко издал Книгу, определив ее в жанровом отношении как «документальное повествование». Книга эта, совсем по Борхесу, вбирает в себя всю без малейшего остатка жизнь автора (вплоть до инвалидности по зрению к концу ее написания).

В последнее время становится принято сопровождать выходящие в свет книги рассказами о трудностях их издания в застойные времена — момент опять-таки ис-

тинно борхесианской детективной библиософии. Когда Владимир Петрович, тогда, по завещанию вдовы поэта Марии Степановны, директор Дома-музея М. Волошина, после десятилетнего труда поставил в рукописи точку, странным образом отозвались ему ставшие уже хрестоматийными волошинские строки: «И красный вождь, и белый офицер...» Хотя автор не спешил предлагать готовую книгу тогдашним советским издательствам, за ней в Дом поэта в 1983 году все же пришли молодые офицеры только что образовавшегося Судакского УКГБ, обеспечивая рост своей служебной карьеры. После многочасового обыска (чего Дом поэта, как ни странно, до того ни разу не испытал) заодно с рукописью была изъята поистине вавилонская библиотека зарубежных книг по русской культуре серебряного века. Сохранившийся протокол обыска со списком изъятого — тоже своеобразный библиософский памятник эпохи. Результаты обыска были закреплены почти мгновенно последовавшим фельетоном в журнале «Крокодил» (с которым Купченко безуспешно пытался судиться) с обвинениями в использовании волошинской утвари для бытовых нужд и подозрениями в воровстве, что окончательно санкционировало увольнение Купченко...

Однако вернемся все же к состоявшемуся в качестве реальной книги тексту.

Знаменательно название первой (из двенадцати) главы — «Пустыня», в которой уже таится общая купченковская формула духовного пути Волошина — к евангельской «пустыне». Книга, дальнейшая разбивка которой на главы не столь знакова, начинает «странствие Волошина» со вполне сознательного возраста поэта, когда он, недоучившийся и находящийся под полицейским надзором студент-юрист Московского университета, в 1900 году отправляется в Среднюю Азию строить железную дорогу. Предыдущее, первое западноевропейское, путешествие 1899 года лишь вспоминается в ходе познания «среднеазиатского Рима» (Самарканда), невоплотившихся планов поездки на «крышу мира» Памир (с которой он потом обозревал земные пределы в поэтическом воображении).

Пустыня как категория — в данном случае не итог, а эстетически освобождающее от навязанных ранее схем преддверие, в котором оформляется методом от противного новая структура восприятия европейской культуры. Масштабное, осмысливающее восприятие это начинается в Париже, в котором Волошин живет с 1901 года в качестве корреспондента различных российских изданий, в промежутке исходив «горящими ступнями» едва ли не все средиземноморское побережье.

Как бы следуя «великому Петру» (пускай и «первому большевику»), Волошин с 1901 по 1914 год в своих статьях, большая часть которых составила книгу «Лики творчества», да и своим неповторимо символистским стилем жизни тоже «прорубал» окно в новейшую художественную эстетику. Прорубал сквозь убийственный, по его мнению, холст отечественного реализма, который он особенно скандально, как отрезанную боярскую бороду, попрал ногами в серии статей, объясняющих и даже оправдывающих нападение безвестного студента с ножом в руках на полотно Ильи Репина «Иван Грозный и сын его Иван».

«Великий Петр», напомним, первоначально хотел «рубить окно» на юге, в 1699 году, во время так называемого Керченского похода, инкогнито вступив на землю, которой Волошин вернул исконное античное название Киммерия. Для Волошина, однако, эти пределы стали священны тем, что их посетил Пушкин «по дороге в Гурзуф» (Пушкин, который изобразил Золотые ворота Карадага на полях рукописи «Евгения Онегина», поместив под этим очень точным рисунком фигуру беса и пляшущих вокруг него мелких бесенят).

Волошинский киммерийский миф альтернативен романтическому и элегическому мифу Тавриды, который прежде создавала русская литература. Представитель последней Волошин в не менее эпатажной, чем его антирепиниана, позднейшей статье «Культура, искусство, памятники Крыма» обвинил в поверхностно-туристическом взгляде на Крым, чуждом действительно трагическим болям земли. Свой долг поэт увидел в том, чтобы стать внутренним поэтическим (а позже и живописным) голосом этой земли, о чем он заявил в стихотворении «Полынь», выросшем, по наблюдению Купченко, из теософского мировосприятия, растворяющего Бога в природе:

Земли отверженной — застывшие усилья,
Уста Праматери, которым слова нет!

Дитя ночей, призывных и пытливых,
 Я сам — твои глаза, раскрытые в ночи
 К сиянию древних звезд, таких же сиротливых,
 Простерших в темноту зовущие лучи.
 Я сам — уста твои, безгласые, как камень!
 Я тоже изнемог в оковах немоты.

С 1917 года Волошин Коктебель почти не покидал, составляя по горячим следам стихотворный апокалипсис Гражданской войны, а потом пытаясь вписаться в общественное переустройство вместе со своей гуманитарной коммуной.

Переписанные от руки стихи о Гражданской войне и терроре основателя советского самиздата Волошина ходили по обе стороны линии фронта. Центральный Осваг Добровольческой армии издавал их на плакатах и листовках для бесплатной раздачи в целях антибольшевистской пропаганды. «Любопытно, что в это же самое время, — вспоминал поэт, — на другом полюсе, в Москве, полярный Пуришкевичу человек (по предположению Купченко, Л. Троцкий. — *А. Л.*) писал про эти же мои стихи: „Вот самые лучшие, несмотря на контрреволюционную форму, стихи о русской Революции“. Этим совпадением мнений... я горжусь больше всех достижений [своих] в русской поэзии: в момент высшего напряжения гражданской войны, когда вся Россия не могла столкнуться ни в чем, — найти такие слова, которые одинаково затрагивали и белых, и красных...» Купченко приводит мнение В. Кадашева, увидевшего у Волошина «смелую попытку найти выход из порожденной революцией трагедии русского мессианизма — более перспективную, чем у Блока», — урок киммерийской Науки Любви:

На дне темниц мы выносили силу
 Неодолимую любви, и в пытках
 Мы выучились верить и молиться
 За палачей...

Впоследствии, отталкиваясь от киммерийского ландшафта в его внутреннем, символическом, измерении, Волошин устремлялся к неземным мирам:

Когда же ты поймешь,
 Что ты не сын земли,
 Но путник по вселенным...
 Что ты — освободитель божественных имен,
 Пришедший изнашивать
 Всех духов-узников, увязших в веществе,
 Когда поймешь, что человек рожден,
 Чтоб выплавить из мира
 Необходимости и Разума —
 Вселенную Свободы и Любви, —
 Тогда лишь
 Ты станешь мастером.

В реальности же эти воспарения сопровождалось оседанием духа в быт и склоки с местными властями (при покровительстве сверху), в собственное задыхающееся от астмы, распадающееся в пораженных полиартритом суставах тело и уже через него — в эту пораженную «какою-то большою исторической тоской землю».

Такая волошиноведческая периодизация складывается после прочтения книги Купченко. Иногда книга напоминает каталог, пестрящий списками имен причастных к Волошину и его Коктебелю лиц, иногда возникают элементы литературоведческого анализа, хотя автор заведомо оговорился, что он только биограф; порой прорывается захватывающий приключенческий сюжет, как при описании возвращения «товарища Волошина» из Одессы в Крым в 1918 году на шхуне «Казак» с тремя матросами-чекистами на борту, которых он благодаря свободному французскому спас при встрече с французским миноносцем. Или когда поэт выступил парламентаром между коктебельскими жителями и обстреливающей берег английской эскадрой. Или при изложении эпопеи спасения генерала Н. А. Маркса от расстрела белогвардейской контрразведкой (за продолженную им и при большевистской власти просветительскую работу). Не столь подробно, как в одной из жур-

нальных публикаций автора, описана история спасения от белых Осипа Мандельштама, принятого в Феодосии за... чекиста. Волошин — основоположник социальной предприимчивости, предусматривающей ведение культурной работы при любых властях. Эта предприимчивость позволила спасти коктебельское гуманитарное коллективное хозяйство путем его добровольного творческого обобществления. Купченко приводит письмо Волошина к большевику И. Каменскому от 1 января 1924 года: «...в частном своем обиходе я провожу коммунизм более строго, чем большинство политических коммунистов. Но марксизм и экономический материализм мне глубоко чужды — всей моей натуре и всему моему образу мыслей...»

В одной из предыдущих рецензий (Фрезинский Борис. Одиссея Владимира Купченко. — «Русская мысль», № 4182, 10 — 16 июля/1997/) в качестве безусловно положительного момента отмечается, что Купченко не понадобилось в соответствии с духом гласности переделывать свою книгу, так как она написана уже тогда «внутренне свободным человеком». Однако факты свидетельствуют, что и в новейшую эпоху внутренняя свобода не всегда получает издательское воплощение. Я здесь имею в виду отнюдь не рынок. Когда Купченко публиковал в 1991 году в издательстве «Книга» автобиографическую прозу Волошина, то в «Истории моей души» исключительно по ханжеским соображениям были сделаны купюры. Выброшенные эпизоды, повествующие о том, как Мастер в порыве самоотречения чуть ли не под руку приводил по ночам свою Маргариту (Сабашникову) к еще не ставшему вдовцом кумиру и искусителю Вячеславу Иванову во время их совместной жизни на ивановской «башне», вполне можно было бы включить в биографическую книгу.

Хотелось бы вспомнить еще один не вошедший в книгу, но вполне доступный читателю эпизод. Однажды, когда Волошина окликнули в толпе революционизированного люда: «Макс!», один из матросов, присмотревшись к львиной гриве поэта, воскликнул: «Товарищи! Среди нас вождь мирового пролетариата Карл Маркс!» Закономерное гоголевски-борхесовское преломление мистификаторской линии в жизнетворчестве поэта, включающей и изящное сравнительно-историческое исследование в области теории маски, и грандиозную практическую мистификацию с Черубиной де Габриак, обернувшуюся вполне серьезной дуэлью Волошина с Гумилевым (при принципиальном пацифизме первого и готовности идти скорее в тюрьму, чем на фронт).

На сегодняшний день книга Купченко — исчерпывающий протокол действительного опознания Макса — Спасателя.

И волошинский дух как бы продолжает на киммерийских берегах конкретную и стоическую работу спасателя, хотя не в силах спасти окружающих то от социальной, то от геополитической, то от администраторской тряски, которую устраивает, кажется, навечно прописавшийся под Карадагом — Черной горой (а она, по словам Волошина, «как рухнувший готический собор») визуальнo зафиксированный Пушкиным бес. Кажется, что именно в спасательском обликии выплывает дух поэта из-за горизонта небесной пустыни под «скрип стихотворных уключин», по выражению Николая Клюева...

Александр ЛЮСЬИЙ.

*

ЛАЗИК РОЙТШВАНЕЦ В ЖАНРЕ ЭССЕ

Илья Эренбург. В смертный час: статьи 1918 — 1919 гг. Составитель, автор послесловия и комментария А. И. Рубашкин. СПб., 1996, 128 стр.

В 1913 году Европа мечтала наладить беспроводный телефон, прорыть туннель под Атлантикой и связаться по радио с Марсом.

Каждая консъержка Парижа могла с ходу процитировать Ростана, а в берлинских меблированных комнатах считалось признаком хорошего тона вывешивать репродукцию «Острова мертвых».

Художники сутками просиживали в мастерских, поэты часами могли декламировать собственные стихи, у кинематографистов кружилась голова от перспектив, архитекторы перекладывали музыку в камень.

И никто не мог предположить, что спустя четыре года от праздного великолепия в Европе не останется и следа.

Спустя четыре года поездки из Парижа в Петербург будет длиться неделями. Жители Берлина выйдут ночью в поля за картошкой. Поездка из Киева в Полтаву будет равносильна самоубийству. Спустя четыре года корреспондент «Биржевых ведомостей» Илья Эренбург будет спешить в Россию с линии Западного фронта: революционные события тогда только начинались, ему не терпелось быть в центре происходящего.

Два послереволюционных года журналистской деятельности Ильи Григорьевича (в ту пору ему уже перевалило за двадцать шесть) уместились, как оказалось нынче, в тоненькую книжку из ста с лишним страничек — что можно рассматривать как выгодный контраст его многотомным сочинениям романного толка в тоталитарную эпоху.

Контраст не только жанровый, ибо публицистика конца 1917 — 1919 годов — в отличие от последующего творчества Эренбурга — носила, как говорили раньше, «ярко выраженный антибольшевистский характер». Вернувшись в Москву — и прежней Москвы не застав, — Илья Григорьевич начинает писать для многочисленных в ту пору и большей частью эфемерных изданий типа газеты «Понедельник» или «Новости дня» статьи, лейтмотивом которых станет патетическая — и часто косноязычная — неприязнь к новому строю. После ужесточения столичного режима он, как и многие, подается к югу, поближе к киевским хлебам, работая на газеты «Киевская жизнь» и «Донская речь». «Белых встретил с надеждой» (из автобиографии).

Последний его очерк — «Мои кочевья», от 7 декабря 1919 года — заканчивался задумчивыми вопросами о судьбе страны: «...зачем? почему?.. На то Россия...» Нам в данном случае любопытен не столько сам вопрос — тем более заданный из риторических, фигуративных соображений, — сколько пристрастие автора к вопросительным и восклицательным знакам, а также обильным многоточиям. Об идеологической подоплеке Эренбурга-антикоммуниста тех лет (равно как и рьяного защитника нового строя чуть позже) пусть размышляют историки и политологи — мы же спросим себя: что оставалось делать человеку, у которого вынули из-под ног страну и поместили на «Остров мертвых»? Что делать, если власть в городе менялась пятнадцать раз? Что и как писать человеку «с пятнадцати лет в революции», эмигранту со школьной скамьи, который в Париже захаживал в мастерскую к Леже и Пикассо, дружил с тамошними поэтами (и под влиянием Жамма чуть не принял католичество), а ныне получает сапогом от красноармейца за контрреволюцию, как раньше, бывало, получал от городских за обратное? Сложно, весьма сложно угадать, что ощущал Эренбург, выводя в 1918 году строки: «Я не грущу о том, что памятники Александру III или Скобелеву будут эвакуированы в склады... Трудно представить себе, что революционные истуканы будут лучше царских... Господа Луначарские, Фриче, Стекловы и прочие... показали, как они понимают искусство. Ни духа, ни формы произведений они не воспринимают, важна лишь тема» («Le roi s'amuse»). Еще сложнее угадать, как с такими строчками «за спиной» прожил Илья Григорьевич еще сорок девять лет, — но нам, как я уже говорил, интересно здесь другое.

А именно то, что в ту самую «разреженную» эпоху двух первых лет революции Эренбург-журналист показал себя гораздо отчетливее, нежели в иных — литературных или идеологических — жанрах. Читая его сборник — сборник памфлетов, очерков, заметок? — угадываешь типичную психологию публициста, которому часто более важен прием, а не идейный кукиш в кармане, патетика, а не ее повод. Это может показаться достаточно странным — тем паче если вспомнить сборничек стихов Эренбурга «Молитва о России», где большинство фраз чистосердечно заимствовано из молитвослова. Но, кажется, это все-таки так. Даже в стихотворных строчках «О запустении, ныне наставшем, / Миром Господу помолимся» больше публицистики, чем собственно поэзии. Отсюда и любовь Эренбурга к пафосным знакам препинания, которую он пронес через всю жизнь, — к вопросительным и восклицательным знакам, к разрядке и многоточиям. К междометиям.

В публицистическом запале Эренбург возбужденно засыпает литературного противника этими знаками препинания в большей степени, чем доводами разума.

Вот очерк «Стилистическая ошибка». Речь о поэтах в эпоху становления новой власти. Речь местами очень хлесткая («Есенин вырвал у Бога бороду и, заставив его неоднократно отелиться, прославляет рай россиян. Клюев в „style russe” превозносит РСФСР. Мандельштам, изведав прелесть службы в каком-то комиссариате, гордо возглашает: как сладко стоять ныне у государственного руля!»), но всякий раз содержание, до которого были охочи те самые наркомпросы, перепутано с формой, которую наркомпросы, как отмечено, не воспринимали. Ибо при всем «тематическом юродстве» и Мандельштам, и Блок, и Белый создавали именно в те годы каркас русской поэзии, а И. Г., занятый «гибелью России» и «юродством», этого замечать решительно не хотел. Что было отчасти понятно: побывав на фронтах, трудно сдержаться при виде картонных од Брюсова, а получив сапогом от красноармейца — не возненавидеть «Двенадцать». Но такой подход оправдан только публицистической злобой дня — в то время как Эренбург решался выносить чисто литературные приговоры.

Ибо что с того, если Есенин называет себя «большевиком», а Мандельштам славит «поворот руля», нужно просто учитывать обаяние «большевизма», в который большей частью бессознательно играли стихотворцы, покупаясь на неясную новизну оного.

Но пафос Эренбурга был всегда искренним — и потому с публицистической точки зрения простибельным. К тому же он и в патетическом угаре умел замечать интересные черты и делать любопытные наблюдения, как, например, в статье «Нагишом»: «Напрасно иные „патриоты” пытаются уверить, что этот нож — наша русская специальность... Но разве за годы войны не было проявлено культурнейшими народами — у которых каждый гражданин ходит в театр и участвует в выборах — самого обыкновенного зверства? Разве воспитанники Магдебургского, Гейдельбергского университетов не сожгли Лувенской библиотеки, не разрушили Реймского собора, не расстреливали детей?.. Я думаю, что Садовая — не наша привилегия, и если бы вслед за тиграми империализма Европу посетили гиены большевизма, мы бы оказались, как и во многом другом, превзойденными нашими соседями».

Иногда у Эренбурга мелькает нечто почти по-розановски трогательное. Вот дама в теплушке бежит в Изюм от большевиков, багаж — подушка, чайник, кукла дочки: «И дама, которая пять лет тому назад, наверное, была способна проплакать день напролет из-за разбитого блюдечка, теперь, улыбаясь, поясняет: „а бог с ними, с вещами... как-нибудь обойдемся... вот кипятку бы достать”». Иногда пафос Эренбурга — от утраты этих самых вещей, умных и удобных, уютных и полезных. В какой-то момент Илья Григорьевич напоминает героя собственного романа «Бурная жизнь Лазика Ройтшванца». Еврея-портняжку, чей первый слог — «Ройт» — переводится как «красный» (и здесь с Эренбургом все ясно), но последующие, увы, переводить не хочется. Вот этот непере译имый — и непредсказуемый — слог куда важнее всех знаков препинания и всех патетических возгласов Ильи Григорьевича. В какой-то момент кажется, что писателю, как и его герою, надо совсем немного — на фоне высокопарных обличений в газетах ли, в собственном ателье им нужно: Лазику — шить и продавать штаны, Эренбургу — ездить в мягком экспрессе Петербург — Москва; Лазику — не попадаться на глаза фининспектору, Эренбургу — не слышать свиста пули, не голодать и не видеть ячеек, где, «чуть что, сразу хватают». Кто скажет, что Лазик и Эренбург не правы?

Его публицистика 1918 — 1919 годов — лишь промельк смятения: в ее основе тревога — а вдруг и в самом деле ничего другого не будет? вдруг всегда так и останется — холодно, грязно и неуютно, как в теплушке Киев — Москва? Говоря об «антибольшевизме» Эренбурга, нынче с придыханием упирают на «предчувствие», «прозрение», «предупреждение» и т. д. С точки зрения дешевого пафоса это верно — но по зыбкой, отчаянной, неуверенной форме с вкраплениями многоточий и восклицательных знаков верно другое — первое. Доказательство этому — Эренбург эпохи 30-х. Но это уже иной разговор.



НОВАЯ ВСТРЕЧА СО СТАРЫМ БЕРДЯЕВЫМ

Николай Бердяев. Истина и Откровение. Прологомены к критике Откровения. СПб.,
Издательство Русского Христианского гуманитарного института, 1996, 384 стр.

Давно интриговала меня одна строчка в несравненном и незаменимом указателе Т. Ф. Клепининой «Bibliographie des oeuvres de Nicolas Berdiaev» (Paris, 1978):

«„ИСТИНА И ОТКРОВЕНИЕ. Прологомены к критике откровения”. Ce texte original est encore inédit» («Оригинальный текст еще не опубликован»).

Тут же можно было узнать, что в 1959 году даже японец какой уже перевел эту книгу и, возможно, в самую душу проник. А для нас, соотечественников автора, и переводить ничего не надо, а вот поди ж ты проникни. И я пошла в ЦГАЛИ (это был 1989 год, теперь ЦРГАЛИ), разумеется с соответствующим «отношением», но кроме машинописной копии «Смысла творчества», фатально предназначенной к выдаче, мне — как спешно готовящей в издательство «Искусство» двухтомник по философии творчества Бердяева — ничего не дали. Бердяевский фонд, пожертвованный, согласно завещанию автора, свояченицей философа Е. Рапп русскому народу, оказался зафрахтованным высшим литературно-институциональным офицюзом. И одной моей частной логикой открыт этот «сезам» было не по силам.

Но вот сегодня настал этот торжественный день: заморский журавль выпущен на волю и теперь — в руках. Причем книга, где автор подводит «итоги долгому процессу мысли», помимо давшего ей название труда содержит еще и собрание частично не публиковавшихся статей тех же двух лет, 1945 и 1946 года, под заманчивым названием «На пороге новой эпохи».

Истина и откровение — вопрос грандиозный: Афины и Иерусалим, умозрение и Откровение, разум и вера!.. Но у Бердяева проблема сдвинута с этого великого противостояния в сторону другой оппозиции. Уже из подзаголовка «Прологомены к критике откровения», а тем более из предисловия, где автор определил свой замысел как «пересмотр» в свете Духа и Истины «основных проблем христианства», а конкретнее, его «старинной священной традиции», становится ясно, что речь пойдет не столько об извечной оппозиции рационального и иррационального (или сверхрационального), сколько об оппозиции подлинного христианства и христианства так называемого «исторического» и об очищении первого от наслоений второго. Иначе говоря, здесь вместе с Бердяевым мы вступаем в круг идей Реформации начала XVI века и одновременно возвращаемся к «новому религиозному сознанию» начала XX века, когда наш философ вместе с инициативной группой «неохристиан» — Мережковским и Розановым — и, конечно, вдохновленный отцом всех религиозных ревизионистов нашего столетия Л. Толстым открыл эпоху своеобразной реформации в России. Куда же продвинулся Бердяев почти за полвека со времени той русской «реформации» и больше чем за три века — со времен Реформации европейской?

Лютер взялся за дело «очищения»: веры — «от людских выдумок», духа — «от мертвящего предания», христианства — от тяжелого гнета клерикализма, сковывающего общественную жизнь и личную совесть, апеллируя при этом к библейским временам, к Священному Писанию, истинами которого он поверял реальное положение дел в христианском человечестве. Бердяеву близки все эти проблемы, которые он облекает в иные, новейшие, термины, однако решение вопроса он формулирует таким образом, что задает нам головоломную задачу.

Мотивируя свою постановку вопроса, он ссылается на прецедент Канта и проводит параллель между двумя критиками — его и своей. У немецкого критициста разум судил разум и ставил себе границы, осознавая в процессе саморефлексии, где кончаются его прерогативы. Бердяев по этому же образцу — «Критики чистого разума» — объявляет, по сути, о критике чистого откровения (потому что как еще назвать «„критику откровения” в свете самого откровения?»). Откровение должно пользоваться своими силами, ибо разум, замечает автор, здесь не годится, он «чужд откровению».

Однако параллель между двумя критиками несостоятельна. С разумом, который судит сам себя, все понятно — он инструмент мысли. Но как быть перед лицом раздвоившегося в себе откровения? Которая из двух половин должна судить другую и чем они отличаются между собой? Перед нами типичный образец логического круга, *idem per idem*. Правда, по ходу дела автор вводит понятия «Дух» и «Истина», которыми должно измеряться подлинное откровение, но это не помогает выбраться из круга, а только его расширяет, поскольку два эти важных понятия не имеют у Бердяева никаких внешних опор и замыкаются на индивиде, субъекте. На этот счет имеются такие формулы: критика откровения — это критика, проводимая силами индивидуального духа, «приобщенного к откровению», или — вариант с еще одним звеном — «духа, просветленного Духом и Истиной». Но такое разъяснение по причинам туманности происхождения этих последних не выводит мысль из беличьего колеса взаимообратимых причин и следствий. Короче говоря, «где начало того конца, которым оканчивается начало?». Ведь совершенно невозможно понять, несет ли в себе некий субъективный дух Дух и Истина с больших букв, а если да, то откуда взял, — подобно тому, как из-за отсутствия ориентира невозможно было понять, по каким маякам определяется дорога к истинному откровению, по крайней мере о библейской дороге тут прямых речей не слышно. Ибо, в отличие от Лютера, русский реформатор не акцентирует никакого объективного источника авторитетной Истины и подлинного Духа, лишь походя как-то упоминая о «верности слову Божию». Взавшись, как за ариадниной нитью, следовать за многообразными стёжками и петлями бердяевских дефиниций «откровения», неизбежно приходишь к выводу, что в конечном итоге оно для философа отождествляется с «открытием», которое делает субъективный дух в себе самом. Недаром слово «откровение», на удивление нам, пишется тут с малой буквы¹, что указывает не на религиозную, а скорее на психологическую категорию: внезапное для себя самого обнаружение чего-то дотоле неизвестного. Не надо объяснять, что человеческое «откровение» прихотливо.

То же — с Истиной и Духом. Будь они написаны предельно большими буквами, если при этом они безродны и бесхозны и целиком зависят в своем содержании от прихоти фонтанирующей личности, они не могут послужить гарантией искомого «торжества духовности, освобождения духа от натуралистических и материалистических искажений» (как это сформулировано в одном из предшествующих сочинений автора).

Как христианин Бердяев не хочет порывать со словом Божиим и подчеркивает на словах необходимость баланса между человеческим и Божественным началами, выражая свою солидарность с идеалом Богочеловечества (по Вл. Соловьеву). Но как «философ существования», культивирующий, соответственно модернистскому веку, суверенную человеческую личность, он открывает дорогу началу «человекобожества». Двойственность положения между христианством и экзистенциализмом принуждает, как это бывало и раньше в программных бердяевских работах, избегать определенности; случается, что дальнейшее пояснение только что высказанной мысли начинает сотрясать под ней почву, иногда даже оказывается, что в одном сложноподчиненном предложении вторая часть дезавуирует утверждение, содержащееся в первой. Дело, однако, решает наличие нескольких максим, недвусмысленность которых может соревноваться только с их эпатажностью, например: «Критерий Истины в субъекте, а не в объекте, в свободе, а не в авторитете».

Субъект выступает не только посредником, но и источником Истины; Дух исходит не только «через», но и «от» него. Бердяев, как он делал это время от времени в течение всей жизни, снова возвращается к головокружительному футуризму, и становится понятнее его логика: подлинное Откровение находится не в прошлом, а в будущем (в ближайшей эпохе «Третьего Завета»), последняя Истина возвещается субъектом, установившим связь с грядущим Духом и «излучающим изнутри свет на мир». Залоги этому Бердяев видит в профетизме, который обнару-

¹ Прописная буква в слове «Откровение» на титульном листе принадлежит публикации.

живается у избранных натур (под категорию коих, действительно, подходит и он сам).

Но этого мало: человек у Бердяева оказывается не только медиумом Истины; к идее невиданного стяжания Духа Святого здесь примешивается еще более радикальный оттенок, когда оказывается, что Истина не просто открывается человеком, но и творится им. С этим поворотом мысли автор переносит нас во времена дерзновенного «Смысла творчества», трактующего Откровение как плод даже не преображенного сознания, а чисто творческих энергий человека. Богоподобный в своем свободном творческом призвании, он, человек, становится автором нового священного писания — антропологического откровения. Так на склоне лет, перед лицом новых пугающих его же художественных экспериментов века и удручающего — как будет засвидетельствовано в его статьях — философского опустошения философ не перестает прославлять как таковой творческий порыв, культивировать сам по себе творческий акт, воспевать творца, не нуждающегося ни в оправдании, ни в спасении, а своим творчеством оправдывающего самого себя и спасающего других, даже целый мир.

По-прежнему перед нами будто бы два Бердяева: один — взволнованный растерзанием человеческого духа, развоплощением человеческого образа, хаотизацией мира, другой — подстегивающий нового творца к небывалым свершениям. По-прежнему острые критические наблюдения над судьбой человека, отпущенного на свободу, никак не отрезвляют апофеоз творчества, который теперь вот захватывает у Бердяева и область религиозного Откровения.

Безоглядный персонализм, если не титанизм, навеянный Ницше, своим противоборством с «объективностью» и «субъект-объектными отношениями» неблагоприятен для философии. И последняя книга не обошла их, эти центральные пункты вечной тяжбы экзистенциалистов с классической философией, как не обходили их и предыдущие работы Бердяева: «О рабстве и свободе человека», «Опыт эсхатологической метафизики», «Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого» — и другие. Ведь коль скоро все в субъекте, все из субъекта, в защиту которого и подняла бунт философия существования, «объект» — это только враждебный элемент, препятствие для раскрытия духа. Личность же как суверенное «существование», экзистенция, несопоставима с миром субстанциального, неопределима и не ограничена никакой внешнеположенной «сущностью», субстанцией. Несмотря на частичную правду экзистенциалистского восстания Бердяева, оно не slo с собой и большую ложь, проповедуемую и в данной книге. Ведь из того, что внутреннее существо человека духовно и потому неуловимо и неизъяснимо в объективированных категориях, не следует, что они должны быть упразднены из философии, которая родилась вместе с ними из вопрошания об «объекте» и «субъект-объектных отношениях», из удивления «субъекта» по поводу окружающих его «объектов», лада и строя самого грандиозного из них — Вселенной. И это прямо касается смысла личного существования, то есть экзистенции.

Но в экзистенциалистском сознании, склоняющемся к представлению о Вселенной, в которой Бог (по излюбленному выражению Бердяева) имеет меньше власти, чем полицейский, личная истина разобщена с бытийной Истиной. Вот почему можно провозглашать, как это делается в последней книге нашего автора, что «Истина не есть реальность и не есть соответствие реальности... а есть творческое завоевание» и даже, вслед за Ницше, — что она «творимая человеком ценность». Нудимый своей христианской половиной, Бердяев, чтобы не отрываться, в отличие от немецкого учителя, от Бога, добавляет: «Истина и есть Бог», — но получается совсем конфуз: выходит, что человек творит Бога.

Поскольку экзистенция, которая одна только достойна внимания экзистенциалистов, может быть в итоге постигаема лишь интуитивно, сфера приложения разума в качестве орудия философского познания и рассуждения съезживается, как шагреньевая кожа. И это не остается бесследным для книги. То, что Бердяев назвал «Прологоменами», в действительности представляет собой вариант дайджеста его предшествующих программных работ по «основным вопросам философии» и критике исторического христианства, избыливающий буквальными повторами давно известных бердяевских тезисов и оборотов и характерной обрывистой скороговор-

кой, что наводит на грустное сравнение. Как осенний лес, потерявший листву, сквозит кривыми, корявыми стволами деревьев, так и эта книга, лишенная словесного убранства, обнажает нестройность и однобокость программных бердяевских идей, его утопических надежд на спонтанный человеческий фактор.

Нет, в этом последнем, итоговом трактате мы не находим приращений — если не считать таковыми эскалацию утопизма. Бердяев всегда был неразлучен с утопией — характерной спутницей русской мысли начала века, но энергия его романтических воспарений, страстных отталкиваний и притяжений убеждала в значительности его слова, что подтверждалось и его духовидением, и его историософской гениальностью, и полемическим даром публициста, и блеском его неизгладимых mots, удостоверившим нас, что за ними — правда.

Между тем в вышедшем сочинении бродят бледные тени; здесь нет волнения души, составлявшего прелесть бердяевских писаний. Ведь утопия, эта заоблачная гостья, лишаясь крыльев, оседает тяжелым комом, распространяя уныние и тоску.

Однако то, что приходит на ум в таких случаях: о непреложности законов природы, о времени, которое «берет свое», — годится для других людей, не для Бердяева. Он, всю жизнь противоборствовавший законам природы — а это что-то значит! — и доказывавший, что действительно умеет жить внутренне независимо от них, не мог быть покорён вульгарной силой обстоятельств, каковые наступают человека под старость лет. Смею предположить, что его перепевы себя в ослабленном виде были не следствием истощения жизни, но — истощения духа «на его имманентных путях». Вопреки утверждениям о — действительно насущном — «пересмотре» своих взглядов, Бердяев, как свидетельствуют «Истина и откровение», застыл на пункте безоглядно-творческого волюнтаризма, что еще как-то гляделось во времена его бурной молодости, но удручает на этапе подведения итогов. Эта упорная бездвижность самосознания обернулась под конец жизни его философской Немезидой: от монотонного повторения утопические декларации становились все более абстрактными и отстраненными.

Заключая свою книгу, автор «Истины и откровения» с печальным предчувствием писал: «Изъеденные скептицизмом и рассудочностью люди нашего времени с улыбкой скажут, что все это есть религиозная и социально-политическая утопия, что-то, может быть, напоминающее утопию Фурье». Что ж, они будут правы.

Надо оговориться: кое-что из глав трактата, выходящих за теоретические и тематические его рамки в область публицистики и смыкающихся с комплексом статей «На пороге новой эпохи», вносит сюжетное разнообразие, а главное, подчас оказывается захватывающим и злободневным чтением. И как всегда, острая и глубокая бердяевская полемика с современностью опирается на ценностно-онтологический фундамент, которого не хватает в его философии безосновной свободы.

Во второй части книги двенадцать статей (из которых семь уже были опубликованы в парижской эмигрантской прессе). При всем разнообразии тем они стянуты в двуединое целое: кризис современного мира и роль в этом кризисе России. Первое — из области действительного, второе — из области желаемого. Статьи написаны в переходное послевоенное время, которому досталось размышлять над только что продемонстрировавшей свою мощь невиданной техникой и — обнаружившим свою шаткость европейским либерализмом. У Бердяева можно найти два рода губительных, действующих в цивилизации XX века причин: причины материальные — это переизбыток созданных человеком физических сил разрушения, открытий, изобретений, технических достижений, которых сам человек уже не в силах сдерживать; и причины духовные, приведшие к «потере самого образа человека». В итоге на смену варварской природной жизни пришло «варварство самой цивилизации», в которой происходят два встречных процесса: «внутренняя жизнь человека опустошается», при том что власть машины и техники нарастает, требуя от человека как раз все большего духовного напряжения. Глубинные корни кризиса Бердяев усматривает уже не в дефиците творческого порыва, а в ослаблении христианского духа, в разрыве с евангельскими началами. Философ всегда ответствен перед лицом грозного факта.

А что сказал бы философ о конце столетия? Не показалось ли бы ему наше время еще более коварным богоотрицанием? Дух нашего времени веет сам по себе, не зная особых богоборческих вихрей и даже скептической оглядки на то, что два тысячелетия служило «на падение и на восстание многих... и в предмет пререканий» (Лк. 2: 34). Сто лет назад воскликнули: «Бог умер!» — теперь не помнят о том, что Он жил.

«Полуфранцуз» с романтически-гностическим уклоном, прошедший полжизни во Франции, Бердяев судит о всех симптомах времени как русский религиозный мыслитель, избирая в качестве отправного пункта для их оценки религиозное состояние или, вернее, степень секуляризации европейского сознания к середине XX века. Рассматривая с этой точки входившие тогда в моду философские идеи Хайдеггера и Сартра, он открывает в них «новые формы безбожия». Бердяев понимал, что культивируемое в среде французской интеллектуальной элиты «утончение» мысли за счет ее глубины есть показатель упадочности.

Вот пассажи из его статьи «Сартр и судьба экзистенциализма»: «Гейдеггер... прошел католическую школу, и в его философии, которая хочет обойтись без Бога, есть явные следы католической теологии. Мир у него падший, хотя и неизвестно, откуда он упал, так как высоты у него нет. Человек у него познается исключительно снизу. И, как и всегда в подобного рода миропонимании, остается непонятным, как высшее может создать низшее². Это сознательно утверждает материализм, но Гейдеггер не материалист... Многое является наследием германской пессимистической метафизики, но так же, как и Ницше, он не хочет знать утешений... Его философия есть философия небытия. Смерти принадлежит последнее слово, в человеке нет бесконечности, все в нем конечно... Гейдеггер не проповедует атеизма, но его учение о Dasein и о Sein... остается атеистическим, и это атеизм нового типа... В отличие от Гейдеггера Сартр заявляет себя атеистом и даже гордится тем, что он самый последовательный атеист... За миром феноменов нет ничего... Он почему-то считает это доказанным». Бердяев остроумно подмечает у обоих привычку употреблять новую терминологию, которая рискует оказаться оригинальнее мысли.

Однако, избобличая сартровский бесплодный нигилизм и резко отграничивая его от своей онтологии, основанной на предшествующем бытию «плодотворном» ничто Якова Бёме, Бердяев тоже «рискует» — оказаться в двусмысленном, шатком положении. Критика нигилиста Сартра могла бы послужить к благому пересмотру его собственной экзистенциальной метафизики. Философ заранее уверен, что «болезненного» экзистенциализма не может быть в русской мысли, ибо «мы — дети Достоевского», но, к сожалению, и этого писателя наш философ примата свободы над бытием тоже иногда стилизует на бёмевский лад.

Чуткий к настроениям времени, Бердяев назвал экзистенциализм «единственно живым», наряду с марксизмом и христианством, направлением мысли. Сегодня он безусловно увидел бы иную расстановку идейных сил: заметно поблекший марксизм — и христианство, отступившее и все более оттесняемое на маргинальные позиции силами восходящей деструктивной идеологии безыдейности.

Среди болезненных симптомов века — разъедающая психология индивидуализма. Тема встает в связи с огорчающими Бердяева заблуждениями Запада насчет русского народа, якобы безличного и варварского и оттого чуждого духу индивидуализма. В России, утверждает философ, не подвергшейся в полной мере цивилизационному процессу, культивирующему эгоцентризм, личность всегда была ярко выражена благодаря «православному, христианскому» воспитанию духа коммюнитарности (соборности) — явления иного рода, чем стадность и рабское сознание (легко вырастающие как раз из усредненного индивидуализма). Эту разницу трудно объяснить Западу, просто уже не знающему такой реальности, как дух общинности, в конце концов, братской общечеловечности. «Коммюнитарность», — поясняет Бердяев свою мысль, — всегда сказывалась в русских нравах, в раскрытости русских домов... в нелюбви к условностям и формальностям... в необыкновенной

² Очевидно, в тексте допущена ошибка. По логике, следует читать: «...как низшее может создать высшее».

способности к жертвам русского народа. В русской революции и в войне обнаруживается эта способность к жертве, и это основной мотив советской литературы. Без христианской основы такая жертвенность была бы невозможна.

Но если из мира уходит дух христианства, значит, не на высоте христиане; если оно не проникло в глубину человеческой жизни, даже там, где формально исповедуется христианская вера, значит, виновна церковь, которая вместо того, чтобы вносить в мир духовное единство и умиротворение, сама заразилась раздором и демонстрирует слабость перед «демоническими движениями». А ведь «церковь не может не иметь своего отношения» к тому, что происходит в обществе, «не совершать своих оценок, духовных и моральных, с высоты христианской истины». Так пишет Бердяев во впечатляющей статье «Раздор мира и христианство». Здесь нет уже утопических надежд на протуберанцы человеческого духа и речей о замене этики покаяния на этику творчества. Напротив, Бердяев призывает христианскую совесть отнестись к распространяющемуся безбожью как к хорошему поводу для раскаяния в собственном грехе. И первое, что церковь должна сделать, принося плоды покаяния, — это отойти от культа «внешних форм богопочитания» и затем двинуться навстречу потерявшемуся в «хаотическом мире» человеку. Тактика христиан «должна быть приведена в соответствие с современным состоянием мира, не похожим на те времена, когда вырабатывались старые формы апологетики и миссионерской деятельности». Интересно, что все эти бесконечно злободневные для нашей церковной жизни слова произносятся их автором по адресу западной церкви. А надежды на спасительные реформы связываются им как раз с русским православием, которое, как он подчеркивает, в отличие от католичества и протестантства, «не надорвало своих сил во внешней активности».

Россия поможет Западу — по всему фронту кризиса цивилизации. Если не она, то кто же? Осматривая ястребиным взором видимые европейские горизонты, Бердяев встречает только знаки гибели и угасания.

Первые послевоенные годы, когда писались статьи, были для него годами смятения, воскресения заплетенных надежд на возрождение родины, уже одной своей победой в войне казавшейся духовным антиподом немецкого нацизма. К тому же длительное пребывание в самом центре буржуазной Европы, близкое наблюдение движущих сил капиталистического общества довели всегдашнюю бердяевскую суровость по отношению к нему до необратимого разочарования (теперь лучше понятного и нам). Конечно, это не заставило философа принять коммунистический строй, каков он есть, но подвигло уповать на его перерождение. Старый веховец стал питать иллюзии сменовеховца; коммунистическая, советская власть стала представляться ему меняющейся на глазах народной властью. И он делает решительное заявление: «Русская коммунистическая революция началась совсем не с гуманизма, но приходит и должна прийти к гуманизму». Тут желаемое совершенно подчинило себе действительное. И даже расстроивший философа творчества «процесс» над Ахматовой и Зощенко не произвел заметных перемен в его упованиях на российское будущее: только вот «пусть» власть, которая «способствует экономическому развитию России» (в этом он уже твердо убежден) и ее «обороноспособности», «не вмешивается в духовную культуру... в свободные дела духа». Что ж, «пусть»!

Но ни коммунизм, отнимающий свободу, ни капитализм, разъедающий человеческий дух, не могут быть выходом из состояния «вражды и страха», каковые они сами и разжигают в нынешней цивилизации. Последнюю мечту и заветное желание Бердяев связывает с высказанной в его «Новом средневековье» и продолженной здесь мыслью о том, что человечеству предстоит пройти через «ночную полосу» истории и выйти на третий путь — к универалистской гуманистически-христианской «социальной демократии». Вот тут и востребуете уникальный вклад, который может внести Россия, русский народ с его религиозным стремлением к целостному преображению жизни. Для этого не хватает только христианству врасти в существующий в России строй, то есть в социализм. И это была самая тяжелая проблема для Бердяева. Теперь строй, слава Богу, не тот. Но пока что в него врастает совсем другая, как раз самая хаотическая и разобщающая идеология — скажем, по Леонтьеву, — «смесительного упрощения», или, по-новому, — political correctness. Ветер дует в обратном чаемому Бердяевым направлении.

Однако еще не вечер. Исполнилось же его пророчество о том, что наша, вторая, половина века «пройдет в войнах и революциях, хотя и с антрактами». Правда, для исполнения последнего от человека не требовалось никакой перемены воли.

Рената ГАЛЬЦЕВА.



«...НЕ ВНЕ НАС, А ВНУТРИ»

В. В. Зеньковский. Русские мыслители и Европа. Составление П. В. Алексеева. М., «Республика», 1997, 368 стр.

Зеньковский любил повторять, иногда дополняя и слегка корректируя, формулу, найденную одним давно забытым писателем начала прошлого века: «Просвещение без чистой нравственности и утончение ума без обогащения сердца есть злейшая язва, истребляющая благоденствие не единых семейств, но целых народов». Слова эти принадлежат А. Прокоповичу-Антонскому, директору Московского университетского пансиона, и относились они к французским событиям, начавшимся штурмом Бастилии. Уроки таких событий усваивались плохо. Для Зеньковского это была аксиома.

Он находил слишком много свидетельств в пользу своей излюбленной мысли о разъединении культуры и духовности, приведшем к очень тяжелым последствиям, в том числе и для культуры (или, может быть, для нее-то прежде всего). И, подобно далекому предшественнику, когда-то избличавшему философию, которая свела мораль к сухой схеме, а оттого стала главной причиной ужасных кровопролитий наполеоновской эпохи, Зеньковский неустанно напоминал: время почувствовать, какая это опасная химера — «утончение ума», признаваемое самодостаточным. Какой это, в сущности, антикультурный феномен, хотя мало есть заблуждений столь же стойких, как отождествление культуры с прогрессом цивилизации, с внешними сторонами жизни и совершенствованием ее материальных форм.

Слова «суррогат», «подделка», «самообман» и их синонимы — едва ли не самые частые в лексиконе Зеньковского, и речь у него всегда идет о некоей подмене там, где она в особенности недопустима, — в религиозной сфере. По собственному опыту он знал, что такая подмена происходит сплошь и рядом, зачастую — неощутимо для тех, кто потом от нее страдает, испытывая травмирующее чувство бесцельности своего пребывания на земле. Все это Зеньковскому отчасти довелось самому изведать в юности, когда он был по убеждениям материалистом, поклонником Писарева и ученых-естественников, не признававших никакой «метафизики». Кто бы в ту пору подумал, что его истинным делом станут кафедра на богословском факультете в Белграде, а затем, в Париже, — профессорство в Богословском институте имени преп. Сергия Радонежского! И знаменитая «История русской философии», написанная уже после того, как весной 1942 года он принял священство. И двухтомник «Основы христианской философии», окончанный изданием в 1964-м, после его смерти.

Тем, кто проделал похожий путь, подчас сложно преодолеть категоричность по отношению к оставшимся блуждать в потемках. Есть своего рода комплекс неопфита, испепеляемого жадной статью ортодоксальнее, чем столпы. У нас теперь этот комплекс, кажется, приобретает характер психологической доминанты, властвующей над новообратившимися, особенно из числа бывших закоренелых атеистов. Удивляться нечему: приученные к нетерпимости, они сегодня избличают сомневающихся в реальности нашего скоропалительного православного возрождения, бичуя незрелых столь же энергично, как еще вчера поносили выживших из ума старух, которые ходят за наставлением к батюшке.

Нам еще долго не избавиться от подобных деформаций, а утешает разве лишь оглядка на историю, удостоверяющую, что без них не обходится ни один кризис сознания, ни один переход или перелом, наступающий вслед усталости от самонадеянного безверия. О. Василию, который в эмиграции многие годы был сподвиж-

ником о. Сергия Булгакова, заняв по его смерти деканский кабинет в парижском институте, создававшемся при деятельном участии их обоих, случалось быть еще более ригористичным, когда он вступал на полемическую стезю. Но вот что решительно их разводило с нашими неопитами: оба, сталкиваясь с «просвещенством» взамен религиозности, избегали обличительного, негодующего тона, как ни чужероден был им сам этот тип сознания. Оба (а о. Василий даже в особенности) стремились вникнуть в аргументы тех, кого ощущали своими противниками, и, вникнув, отвергая, все-таки сожалели, а не клеймили с фанатическим огнем во взоре.

Впервые печатающаяся на родине книга 1926 года (по заглавию которой назван и весь однотомник философско-культурологических сочинений Зеньковского) известна меньше других его трудов, но ее тема в каком-то смысле была главной темой всего творчества этого еще недооцененного мыслителя. Очерк, изначально предназначенный для югославской аудитории и носивший компилятивный характер, постепенно вырос в аналитическое описание целой философской традиции, связанной с критикой европейского духовного и культурного опыта. И, прослеживая эту традицию от Гоголя до Бердяева, Зеньковский сделал вывод, далеко не всеми усвоенный и принимаемый даже сегодня, семьдесят лет спустя: как ни продуктивна и ценна «мысль об особом призвании России», она таит в себе «начало самопревознесения и самозамыкания» — опасное начало. Потому что отбрасывать то, что отошло от России и от Православия, «не по-братски и означает признание бессилия Православия», ничего больше. Да ведь и по существу невозможно это сделать: «Европа уже не вне нас, а внутри нас, — и это относится не только к стихии культуры, но и к религиозной стихии».

Воссоздав самые разные интерпретации неизбежной темы русского своеобразия, как и нераздельности России и Запада, Зеньковский окончательно не согласился ни с одной из них, поскольку считал, что история придала этой теме радикально новый смысл. Там, где видели противостояние или, наоборот, естественную общность, теперь приходилось говорить о «глубоком расщеплении внутри русского духа» как о причине (для Зеньковского — главной) «трагической остановки творческой жизни». Он отказывался объяснить случившееся только безбожием, нигилизмом и «революционаризмом», явившимся пагубным соблазном для целостной и прекрасной народной души.

Подобное истолкование, и по сей день имеющее много приверженцев, Зеньковский отверг, потому что находил его легковесным. В его глазах катастрофа, которая произошла с Россией, стала страшным подтверждением мысли о «мучительнейшем антиномизме» русского сознания, когда-то с исключительной яркостью выраженной Гоголем, а затем обретшей глубокий отзвук у Достоевского. И вслед им обоим Зеньковский говорил о предстоящем «возврате к целостной религиозной культуре» как о задаче будущего, когда исчезнет или хотя бы ослабнет угроза самому существованию Православия, столь реальная в те годы, когда он писал свою книгу о восприятии Европы русскими мыслителями.

Русскому зарубежью идеи Зеньковского, и особенно его призыв отказаться от горделивого мессианства, покончив и с «утешением себя критикой других», были по меньшей мере несозвучны. Неприязнь ко всему европейскому тогда была очень распространена в эмигрантской среде, и это не так уж сложно объяснить, вспомнив хотя бы известный рассказ И. Шмелева «На пеньках». Там российский «бывший человек» — профессор археологии, знаток античности — после перенесенных в революцию страданий думает о том, как, придя в музей и встав перед Леонардо или перед св. Франциском, вынет из мешка простреленный пиджак да отгрызок хлеба из шелухи и спросит: «Зачем — все?» Постоянно унижаемая, травмированная равнодушием Запада к пережитым ею ужасам, диаспора проникалась убежденностью в том, что ценности этой культуры на поверку предстали фальшивыми, а истинными носителями Божьего света и правды в мире избраны русские.

Предельно отчетливо высказал это убеждение тот же Шмелев в речи на Пушкинской годовщине 1937 года: отмечавшаяся повсюду в Рассеянии как праздник русской культуры, эта дата, однако, стала поводом для горячих призывов к самозамыканию, о которых Зеньковский тревожно говорил десятилетием раньше. И

напоминал: «Наше призвание в действительности только в том состоит, чтобы оказаться достойными Православия и правды его».

Для него, помимо остального, это означало и отказ от «антизападничества во всех его формах». Твердо сформулированный вывод опирался на признание реальностей, состоящих в том, что Европа, не исключая ее «религиозных стихий», глубоко вошла в русскую душу — факт, вовсе не казавшийся бесспорным многим современникам Зеньковского. Его книга внутренне полемична, и главный объект полемики несложно установить: Бердяев, как раз в эти годы напечатавший «Смысл истории» и «Новое средневековье». Там декларировалось неприятие самой идеи правового общества, якобы чужеродной русскому пониманию добра и правды, которое направляется не «провинциализмом сознания», но «вселенским духом». А из этой посылки выводилось заключение, недопустимую рискованность которого Зеньковский сумел почувствовать раньше, чем ее продемонстрировала свершавшаяся история.

Бердяев писал: для русских, если неосуществимо братство во Христе, предпочтительно товарищество в антихристе, но только не убийственная европейская усредненность, не западный «партикуляризм», за которым нет ничего, кроме практицистски ориентированного бездуховного устройства жизни. Конечно, философ не несет прямой ответственности за те практические приложения, которые эти его мысли приобрели у самозванных продолжателей: у евразийцев, с их отказом принять универсализм европейской культуры, и у намного более примитивно мыслящих наших неопочвенников из тех, что даже собственное невежество возводят в добродетель, считая любое соприкосновение с западным менталитетом пагубой для национальной самобытности. Однако зерно, зароненное бердяевскими размышлениями о ничтожестве Запада, который прикован к земным благам и не знает неба, не только упало на уже основательно взрыхленную почву, а обещало дать — и дало — особенно обильные всходы благодаря обстоятельствам нашей истории кончающегося века. Зеньковский словно предчувствовал всю последующую эволюцию идеи, выраженной в словах Бердяева об особом «строении национального духа», повелевающего русским встать во главе движения к универсальному единству, когда будет покончено с индивидуализмом — этим проклятьем европейской цивилизации.

Тут был больше чем спор двух мыслителей, которые разошлись в толковании констант и доминант русского духовного опыта. Расхождение не было таким уж глубоким, оно не мешало им обоим воспринимать этот опыт как уникальный и обладающий провиденциальным смыслом. Но для Бердяева уникальность состояла в том, что русские ближе других народов подошли к «новому средневековью», тем самым отдалившись от европейского человечества, все еще пребывающего в «новой истории» с ее партикуляризмом. А Зеньковский полагал, что Европа внутри нас, и оттого «уже смешно и несвоевременно заниматься критикой Европы». Заниматься надо совсем другим — одухотворением этой глубоко в нас укоренившейся Европы, поисками внутреннего синтеза, строительством православной культуры.

Пророком этой культуры для Зеньковского был Гоголь. О Гоголе он думал и писал всю жизнь, суммировав свои мысли о нем в книге, вышедшей в 1961-м, за год до смерти автора (и вот уже второй раз за последние несколько лет появляющейся в отечественном издании). За этим устойчивым интересом скрыто чувство родства с Гоголем, очень сильное у Зеньковского, и, конечно, не только по причине их общего малороссийского происхождения. Родство было интеллектуальным и духовным, ведь Гоголь, как его воспринимал Зеньковский, свершил великое дело, пробив «главную брешь в безрелигиозном понимании», — а не те же ли самые усилия определили и путь жизни проскуровского гимназиста, ставшего одним из самых известных православных мыслителей XX века? И как почти столетием раньше Гоголь, Зеньковский тоже пришел к своим главным философско-религиозным темам в результате осмысления увиденного им в Европе. Вот отчего так ему близки и важны гоголевские впечатления от парижской «тягостной пустыни».

Гоголь был шокирован открывшимся ему торжеством мелочного и пошлого, но от Европы он не отвернулся. Не отверг ее во имя химеры национального из-

бранничества, преодолел соблазн горделивого пренебрежения ее опытом. Европа осталась в нем, но больше всего как боль, которую он постоянно ощущал. Как повод для особенно проникновенных размышлений, из которых складывалось его «богословие культуры».

Веря, что Гоголем заложен очень прочный фундамент, Зеньковский стремился довершить здание. Найденный им термин «богословие культуры» характеризует направленность его поисков наиболее точно. Они, разумеется, несут на себе отчетливую печать индивидуальности Зеньковского, следовавшего своим выношенным мыслям до логического предела, что заставляло его без оговорок и компромиссов высказывать суждения, воспринимавшиеся — и с долей справедливости — как некий экстремизм, по крайней мере как позиция, уязвимая перед лицом серьезной критики. И в самом деле, даже разделяя общие взгляды Зеньковского, мало кто повторит за ним: «вся духовная гениальность Гоголя» в том, что он «является поистине апостолом идеи преображения жизни на началах Православия». Мало отыщется тех, кто был бы готов согласиться, что свобода, понятая как «изначальная, чисто человеческая основа бытия», непременно разрушительна, и что за нею скрывается лишь жажда ускользнуть от Бога, ничего другого, и что уже поэтому она никогда не станет творческой. Далеко не всех до конца убедят слова Зеньковского, что нейтральность культуры, ее отъединенность от веры и от церкви — действительно «самый роковой и больной факт нашей эпохи». Но за этими словами такая пламенная убежденность и настолько неподдельная боль, что невозможно не воспринять мысль Зеньковского о глубокой трагичности подобного положения вещей как обоснованную.

Зеньковский покоряет своей безупречной духовной честностью, своей готовностью обсуждать самые трудные этические проблемы, которые для него всегда были и проблемами культуры, своим нежеланием, неумением прибегать к софистике, чтобы были заранее смягчены как бы нарочно им провоцируемые упреки в узости и пристрастности взгляда. Софистика для него всегда была одним из способов нагнать мифологический туман в сознание современников. Зеньковский писал ради того, чтобы этот туман, насколько возможно, рассеялся. Ибо туман «нам для того и нужен, чтобы не видеть правды о самих себе».

Алексей ЗВЕРЕВ.

*

НРАВСТВЕННАЯ ФИЛОСОФИЯ УХТОМСКОГО

А. Ухтомский. Интуиция совести. Письма. Записные книжки. Заметки на полях. Ответственный редактор А. С. Батуев. Составители Л. В. Соколова, Г. М. Цурикова, И. С. Кузьмичев. Предисловие Г. М. Цуриковой и И. С. Кузьмичева. Примечания Л. В. Соколовой. СПб., «Петербургский писатель», 1996, 526 стр.

В книге собраны тексты всемирно известного физиолога Алексея Алексеевича Ухтомского (1875 — 1942), большая часть которых публикуется впервые¹. Это письма, записные книжки, заметки на полях книг личной библиотеки. Они свидетельствуют, что автор был не только ученым-естественником, но также ярким мыслителем-гуманитарием весьма широкого профиля и оригинальным философом.

Ухтомский высказывается по вопросам религиозно-философским, культурно-историческим, собственно политическим, литературно-художественным и с особенной настойчивостью обсуждает проблемы нравственности и межличностного общения. Появившаяся книга производит впечатление грандиозного эссе, важнейшей чертой которого является, однако, не привычная для этого жанра игровая стихия, а, напротив, безусловная и даже какая-то истовая серьезность. Заметкам и письмам ученого, как верно сказано во вступительной статье, присущ «тон испо-

¹ Письма А. А. Ухтомского к Е. И. Бронштейн-Шур, вошедшие в настоящий том, первый раз выборочно публиковались в «Новом мире» (1972, № 11).

веди и жития», и одновременно они предстают как «фрагменты философских трактатов». У читателя создается объемное представление о богатом духовно-биографическом опыте ученого, о его трудном, страдальческом, главное же — подвижническом жизненном пути. Вырисовываются непростые взаимоотношения родителей и родственников Ухтомского, его сердечные привязанности и смуты, напряженные поиски своего пути и места в жизни, причастность старообрядчеству, многолетняя работа в Ленинградском университете, выпавшие на его долю гонения в 20-е годы, а также широкий круг «внепрофессиональных» интересов и занятий, связанных с иконописью и церковным пением, искусством и литературой. В сознании читателя возникает неизгладимо яркий образ автора — личности масштабной, цельной и сложной, чарующе-привлекательной. Поражает напряженность внутренней жизни Ухтомского, постоянство и неутомимость его мысли. Книга «Интуиция совести», как и одновременно с ней опубликованный очерк об Ухтомском его земляка и друга А. Золотарева («Новая Европа», 1996, № 9), намечает перспективу создания биографии ученого, свободной от умолчаний и искажений в духе и манере нашего вчерашнего дня.

Главная заслуга Ухтомского состоит в разработке и обосновании понятия «доминанта», которое имеет как естественно-научный, так и нравственный, философский и религиозный аспекты. По словам Золотарева, «удостоенная академическим званием теория доминанты была в то же время религиозно и, даже более того, православно обоснована в понимании и личном сознании А. А., ее автора».

Ухтомский разграничивал, оценочно их противопоставляя, два рода доминант — два типа ориентаций человеческого сознания и поведения: на свое лицо (ситуация самоутверждения и эгоистического своеволия) — и на другое лицо (ситуация ответственного внимания к окружающим и живого контакта с ними): «Здоровый и любящий человеческий дух начинается с того, что знает друга... весь устремлен от себя к другому; и он кончает тем, что Истина понимается как самобытное и живое существование». Преодоление эгоистической сосредоточенности на себе и доминанта на другое лицо «даются очень просто и сами собой там, где есть любовь», а вместе с тем «предполагают огромный труд воспитания».

Доминанту на другое лицо Ухтомский определяет как совестное восприятие мира и жизни и рассматривает ее как фундамент культуры, как укорененную в многовековом человеческом опыте и наследуемую от поколения к поколению. Одним из ключевых в его философских опытах становится слово «предание», под которым понимается то наследие, что оставили нам религиозные проповедники и мыслители, «старейшины человечества».

Предание для Ухтомского — это прежде всего то, что навеки запечатлено в канонических христианских текстах и святоотеческой литературе, им пристально читавшейся и нередко цитировавшейся. «Там, где оборвано предание Христовой церкви, — записывал ученый, — человечество быстро скатывается в животное состояние».

Светская культура, убежден Ухтомский, неизбежно основывается на предании и им питается. «Одним из органов предания» он называет искусство; отечественную литературу осознает как органическую часть того предания, в мире которого жили и живут русские люди. И сама она, полагает ученый, подчиняется законам преемственности и наследования: «И Гончаров, и Тургенев, и Толстой, и Достоевский — все это продолжатели пушкинско-гоголевского предания».

Предание в разумении Ухтомского — это сфера многовекового духовно-практического опыта народов, опыта, который обладает неоспоримой ценностью и всегда насыщен. Поэтому современному человеку подобает «жить основными струями преданий своего народа и человечества». То, что русские люди ныне (одна из последних записей) вырваны «из органической жизни народа и предания», ученый считал «страшным бедствием».

Доминанта на другое лицо, требующая деятельного участия в бытии, неразрывными узами связана с межличностным общением, которое Ухтомский считал центром человеческой реальности: «Общество и речь начинаются там, где бесконечное разнообразие лиц, но все они одинаково стремятся к пониманию друг друга, к сообщению, к согласию и гармонии безграничного богатства оттенков, иска-

ний, открытий и опытов. Человек человеку — величайший секрет, но вместе с тем без устремления понять этот секрет и иметь человека перед собою теряется смысл человеческого поведения и бытия».

Опорные слова в теории общения Ухтомского — Двойник (для человека с доминантой на свое лицо — тот, кто ему подобен, является конкурентом, вызывает зависть и недоверие, подозрительность и ненависть) и Собеседник (предмет живого и бескорыстного интереса, душевной расположенности и любви): «ужасно тесно спаяны между собой темы о Двойнике и о Собеседнике: пока человек не освободился еще от своего Двойника, он, собственно, и не имеет еще Собеседника, а говорит и бредит сам с собою; и лишь тогда, когда он пробьет скорлупу и поставит центр тяготения на лице другого, получает впервые Собеседника. Двойник умирает, чтобы дать место Собеседнику. Собеседник же, т. е. лицо другого человека, открывается таким, каким я его заслужил всем моим прошлым и тем, что я есть сейчас».

Обстоятельная концепция Двойника, Ухтомский обращался к одноименной повести Достоевского. Доминанту же на другое лицо и ориентацию на Собеседника он усматривал в облике таких литературных персонажей, как Дон Кихот, Ростовы в «Войне и мире», старец Зосима и Алеша Карамазов у Достоевского.

Теория общения Ухтомского сродни хомяковской идее соборности как свободного и бескрайне широкого единения разных человеческих индивидуальностей. Налицо и переклички суждений ученого на эту тему с положениями герменевтики Х.-Г. Гадамера и М. Бахтина. Заметим, что концепция диалогических отношений сформировалась позже появления понятий Двойника и Собеседника в рукописях Ухтомского.

Ответственная причастность окружающему — и тому, что единственно близко именно этому человеку в данный момент, и тому, что составляет сущность бытия, — для Ухтомского является этическим императивом, а этика в его представлении неразрывно связана с религией («единение этики и религии» ученый характеризовал как благое «почитание, уважение к жизни»). Этот императив не имел облика морального постулата в кантовском духе, не выступал в виде каких-либо рассудочно декларируемых принципов. Составители книги, о которой идет речь, поступили мудро, сделав ее заглавием важнейшую формулу ученого: «интуиция совести». Верность преданию, по Ухтомскому, осуществляется не силой ratio (рационализму он иронически называл кабинетным и мурлыкающим), не чисто интеллектуальными созерцаниями, а энергией «отправных интуиций», которые сполна проявляют себя в сфере жизненно-практической. Печать «наследия предков с их страданиями, трудом, исканиями» ученый усматривает прежде всего в нашем «досознательном»: мудрость коренится «в той досознательной опытности приметливости, в той игре доминант, которыми наделило нас предание рода».

Подобные представления вели Ухтомского к суровому неприятию того отвлеченного мышления, которое невнимательно к близкой человеку реальности. Всецелое погружение людей в мир абстракций и самодовлеющего теоретизирования он считал весьма опасным. Иронически отзывался ученый о «теоретически-деспотизирующей морали». Психологические корни склонности к морализующему поучению он усматривал в самоуверенности («нечему учиться, а учить буду») и, главное, в уязвленности некими обидами: «обиженный человек всегда непременно — моралист». Философия Ухтомского взывала к поступкам, совершаемым инициативно, свободно, поистине творчески. Здесь — ее явственная перекличка с ранними работами М. Бахтина, в особенности «К философии поступка». Поборник церковного, исторического, национального предания, Ухтомский в то же время не был апологетом прошлого, сторонником его консервации. Он неоднократно говорил о законности и благой значимости «реальных проектов действительности».

При этом ученый отмечал, что жизнь общества и человечества изобилует экспериментами и пробами трагически несостоятельными: «Из тысячи проектов оправдывается один... В донкихотском рыцарском проекте больше трагического, чем смешного. Это трагедия человеческой природы, где лишь тысячами ошибок и ошибочных проб вырабатывается истина». Многие современные «пробы» Ухтомский считал не только ошибочными, но и предельно опасными. Таковы погони за

«новым словом», пренебрегающие преданием и интуицией совести. «Как будто именно в новизне спасение!» — иронизировал ученый.

Оторванное от предания и интуиции совести теоретизирование и проектирование Ухтомский считал болезненным и рассматривал их как патологический бред, который, порождаясь нечистой совестью, принимает форму «логического безупречных», но безжизненных, ведущих в тупик умозрений («бредовых систем»): «Много, много „научных“ теорий построено по этому бредовому трафарету! ...В конце концов, всякая теория есть лишь проект того, что должно быть и что желательно. Правильна ли проект, покажет не логика, а сама будущая действительность. Может быть, большинство человеческих теорий окажется „бредом“». Какие именно теории имел при этом в виду Ухтомский, догадаться нетрудно. Вероятнее всего, в подтексте фраз об интеллектуальных помешательствах лежит мысль не только о концепциях пролетариата как гегемона человечества и бескомпромиссной классовый борьбы как единственного пути к светлому будущему, но также о борьбе за существование как всеобщем законе природы (эту дарвиновскую идею ученый называл не широким обобщением, а констатацией «жалкой, пустой частности»). Нет оснований сомневаться, что к сфере «умственного бреда» Ухтомский относил также отвержение предания лидерами нового («третьезаветного») религиозного сознания (Н. Бердяев, Д. Мережковский) и фрейдовское учение о безусловном доминировании в человеке сексуального начала. В последнем убеждают слова ученого: в разумении любви как «преимущественного дела половых инстинктов» — «страшный симптом в европейской культуре „просвещения“, — признак приближающегося разрушения».

Мыслительство Ухтомского, как видно, имеет практическую ориентацию, оно чуждо отвлеченным умозрениям. Философ не «воспарял» мыслью над человеческой реальностью, но, напротив, сосредоточивался на том, что насущно для каждого из живущих. Учение о доминанте посвящено главным образом проблемам ориентации человека в близкой ему реальности. Суждения Ухтомского — это (воспользуемся формулой Вл. Соловьева, подхваченной М. Бахтиным) опыты в сфере нравственной философии, сосредоточенной главным образом на человеческой практике. «Эстетика и этика, — утверждал ученый, — дисциплины практические и одновременно руководящие именно потому, что практические».

Книга «Интуиция совести» не изобилует суждениями онтологического и гносеологического характера — о сущности вселенского бытия, о возможностях и перспективах его познания. Философские опыты ее автора посвящены не бытийным сущностям, а существованию человека в мире и в этом родственны экзистенциализму. Но налицо и глубокое различие между ними. Ухтомский мыслит человека не фатально отчужденным от окружающего, не «заброшенным» во враждебный ему мир, а погону обреченным на абсолютную свободу и бунт, на одинокий и нескончаемый поиск смысла, но, напротив, имеющим свое собственное место в мире, ему причастным, «включенным» в близкую реальность, в ней укорененным.

Картина мира не составляла для Ухтомского самостоятельной проблемы, собственно философской, не становилась предметом пространных рассуждений и логических умозаключений. Она, считал ученый, имеет личностный характер и определяется нравственной ориентацией человека, то есть заслуживается им (подобно Собеседнику): «Дело в том, что мироощущение предопределяется направлением внутренней активности человека, его доминантами! Каждый видит в мире и людях то, чего искал и чего заслужил. И каждому мир и люди поворачиваются так, как он того заслужил».

Нравственная философия Ухтомского «повернута» в сторону жизненной конкретности — не только индивидуально-личностной, но также и национально-исторической. Ученый настойчиво говорил о том, что составило зону для болевых точек русского человека XX столетия: «послевозрожденческая» Европа; Россия и Запад; народ и интеллигенция; события 1917 года как грубая реальность и историософская тайна...

Перед читателями книги «Интуиция совести» вырисовываются контуры исторической концепции ученого, который был, подобно П. Флоренскому, весьма критичен к Новому времени, к его ценностным ориентациям и идеям, культуре и

жизненной практике. Ухтомский обращает внимание на то, что свобода и творчество — кумиры европейского Возрождения и последующих эпох — часто становятся предметом волюнтаристских спекуляций, далеко не безопасных для человечества. Разграничивая свободу формальную и сущностную, он констатирует одну из горестных коллизий близких нам эпох: «Вместо веры, надежды, любви современный человек поставил превыше всего „независимость“, формальный принцип „с в о б о д ы“, забыв о том, что содержательная и действительная свобода дается только там, где есть дары Духа Святого».

С особой суровостью отвергал Ухтомский характерные для Нового времени проекты обретения людьми материальных благ, лозунги «разнузданного устремления к бытовому благополучию»: «думать, что на самом асоциальном из инстинктов можно строить „яко на камени“ социальное здание, значит в лучшем случае фантазировать». В жизни новоевропейских стран, исполненной динамизма и внешне благополучной, Ухтомский усматривал торжество культуры «всемирно устраивающегося мещанства» и исполненную трагизма подоплеку: «Вся наша европейская „культура“ направлена на... устремление к беззаботно-комфортабельному существованию в свое удовольствие... Но жизнь упорно, настойчиво и твердо поворачивается трагическими своими сторонами».

Причастность и верность преданию побуждала ученого подвергать критике все то в сознании и поведении людей Нового времени, что сопряжено с их отчужденностью от реальности: «Величайший разрыв, происшедший в человеческом духе, случился тогда, когда однажды человек противоположил себя принципиально „среде“, „объекту“, „природе“. Тут он порвал любовную связь с нею, общую жизнь с нею, любовную ответственность за нее». Наиболее жестко относился Ухтомский к практике поспешного и насильственного осуществления проектов переустройства социальной жизни. Вот его заметка, относящаяся к 1941 году, одна из последних: «Выдумали, что история есть пассивный и совершенно податливый объект для безответственных перестраиваний на наш вкус. А оказалось, что она — огненная реальность, продолжающая жить своей совершенно самобытной законностью и требующая нас к себе на суд!»

Рассуждая о русской интеллигенции как порождении Нового времени, Ухтомский исходит из того, что «принципиальный откол от жизни народа» как носителя предания и средоточия «сверхличного сознания» — это явление болезненное и чреватое последствиями весьма опасными, источник «дальнейшего заболевания». Говоря (вслед за Достоевским и участниками сборника «Вехи», в особенности С. Булгаковым) о духовно отделившейся от народа русской интеллигенции, Ухтомский вспоминает Григория Отрепьева. Этот «великий насмешник над всеми „табу“, этикетами и ритуалами» — «тип приманчивый и интересный для интеллигентных мыслителей! Они чувствуют в нем „своего“! Это, пожалуй, первый русский интеллигент!». Имея в виду интеллигенцию беспочвенную, противопоставляющую себя традициям народной жизни, со времен декабризма революционную и атеистическую, Ухтомский сетует, что «давно господство интеллигентности задалось у нас несчастною мечтою — обратить русский народ „в свою веру“, сделать его таким же, какковы они сами, полагая, что они-то сами хороши, и благородны, и просвещенны, и умны, и пр., и пр. Главное же — горды, самолюбивы и „с собственным достоинством“».

1917 год явил собой, считает Ухтомский, плод измены интеллигенции своему народу. Переживаемый исторический момент он охарактеризовал в письме от 14 ноября этого года (написано в московском Сретенском монастыре, что символично: вспоминается пушкинский Пимен) как свирепое антихристово время: «Все это предрешиено и всему этому воистину „подобает быти“ еще с тех пор, как в феврале и марте маленькие люди ликовали по поводу свержения исторической власти; как историческая власть впала в великий соблазн и искушение последних лет; как правящее и интеллигентное общество изменило народу». Интеллигенцию, совершившую и закрепившую Февральскую революцию, Ухтомский называет «горделивой и самонадеянной», «верхоглядной и невежественной». И говорит, что она заведомо тщетно пыталась «управиться» одновременно и с таким страш-

ным врагом, как немец, и с такою «полуневедомой, стихийной силой, как Россия». Назвав Февральскую революцию безумной, Ухтомский утверждал, что она «почти с первого дня» предопределила все последующее: «Дальнейшие глупости разных „большевиков” и прочих убогих людей не подлежат уже такому суду и осуждению, как то, что в самом деле было понаделано у м н и к а м и: Гучковыми, Родзянками, Милоковыми... Ну, да уж если искать корней, то придется заходить далеко».

Ухтомский, как видно, отнюдь не был склонен (в отличие от многих своих современников, а также нынешних идеологов) взваливать весь груз ответственности за российские беды XX столетия на русский народ, осуждать его «менталитет», верования, обычаи, психологию, характер. «Виноват остается... тот, кто был ведущим», — замечал позже ученый. Народ в понимании Ухтомского (который здесь близок Пушкину как автору «Бориса Годунова» и Мусоргскому как создателю «Хованщины») — это отнюдь не безликая масса, тем более — не толпа, всецело подвластная инстинктам и неразумная: «нельзя мешать в одну кучу народ как толпу и народ как сверхличное сознание». «Народ, — утверждает ученый, — есть прежде всего людское множество, множество лиц; и если мог он сложиться в нечто единое, то это значит, что он есть в принципе упорядоченное... множество... Кто позволяет себе хоть однажды помыслить о народе как о „массе” и „толпе”, тот сам теряет в себе лицо».

Русский народ, каким он себя проявил в 1917 году и впоследствии, предстает в освещении Ухтомского как соблазненный ложными пророками, но в то же время далеко не в облике безвинного ягненка: ответственны за происшедшее в стране не только революционно настроенные интеллигенты, но и все иные слои русского общества. «Виноваты мы все, все до единого, — писал Ухтомский в 1921 году, — подобно тому, как в заболевшем организме нет небольших клеточек». С горечью говорит ученый о приближении «Вавилонского пленения для безумного народа, ослепленного преступными учителями, приводящими к историческому позору»; о том, что «нет достаточных нравственных сил в народе, которые дали бы основу для здоровых новообразований, — опереться в народе не на что». «Настроение в народе вообще тяжелое, пришибленное, тупое. Нет духа покаяния, нет до сих пор прозрения на свои преступления, а значит, нет и просвета надежды на избавление».

Но происходящее, убежден Ухтомский, — это не конец истории России, Европы, человечества: нынешний «Судный День Господень» — еще не «Великий Судный День», но лишь его «предшественник». Поразившая страну тяжкая болезнь не смертельна: «Сохрани Бог нас от слишком больших испытаний, которые были бы не по силам! ...Когда и как разрешится этот великий исторический нарыв, при котором мы присутствуем?» Надежды не покидали Ухтомского: «Покамест еще есть остатки любви в среде людей, еще будет стоять мир... Ну, Господь милостив — будем уповать на Него, что еще не даст Он ныне рассеять благоговение в русском народе до конца! Наложит Он узду на челюсти разрушителя, выдвинет создающих работников, даст силы крестоносным труженикам за родной народ».

Ни в первые послереволюционные месяцы и годы, ни позже создатель учения о доминанте не был расположен расстаться с родной страной или, оставаясь в ее пределах, напрямую сопротивляться установившимся порядкам и воинствующе-атеистической идеологии. Содействуя выращиванию «нового доброго жита» на стезе естественно-научного знания, он, однако, не считал желательным поспешное внедрение в умы соотечественников своих идей в полном их объеме, полагая, что возобладавшие в Советской России представления, навязанные людям революционными идеологами, со временем сами исчерпают себя.

Те ценности, которые отстаивались и обосновывались ученым, наличествовали в близкой ему реальности, которая всегда определенным образом стимулирует и направляет человеческую мысль. Непосредственное окружение Ухтомского на протяжении всей его жизни составляли бесконечно дорогие ему люди, живущие по правде и совести, любящие, способные и неизменно готовые к жертвенному служению. Эти черты были присущи воспитавшей будущего ученого Анне Николаевне Ухтомской (тете Анне), которая в пору его детства и юности была самым и, ве-

роятно, даже единственно близким ему человеком. «Побуждение искать правду у меня не исчезнет, пока буду помнить тетю Анну», — записал он.

Много значила в жизни Ухтомского Надежда Ивановна Бобровская, которая на протяжении многих лет (умерла годом раньше его) была неизменной помощницей ученого по дому, «верной и неподкупной слугою». Она, рассказывал Золотарев в неопубликованном очерке о Бобровской, «сначала была послушницей в женском монастыре и пришла в дом Ухтомских к тяжело больной Анне Николаевне... „Я рада буду послужить больному человеку“, — были ее первые слова, и так всю жизнь она была верна этому своему исповеданию... Лучшего человека в доме, мастерицу на все руки, и стряпать-солить, варить, жарить — и обиход чистоты, порядка, святости держать в доме и быть неусыпным стражем покоя Алексея Алексеевича, нельзя... было найти»².

Облик этих людей многое определил в умонастроениях и мироотношении Ухтомского, подобно тому как влияли на него и знание того, что он потомок Рюриковичей, и атмосфера русской провинции — североволжского края, Рыбинска с его окраинами и окрестностями, и родовая усадьба в пошехонском захолустье: «Посещают меня счастливые мысли, и главное, могу я думать о развитии их только здесь, в этой тишине, которая дается мне здесь, в благодарном моем дедовском углу».

Круг суждений Ухтомского-гуманитария, который мы очертили, оригинален. Вместе с тем его философско-нравственные и эстетические идеи имеют точки соприкосновения (и далеко не случайные!) с русской гуманитарной мыслью предреволюционных лет, а еще более — с потаенным мышлением в России первых двух десятилетий советского периода, о существовании которого мы начинаем узнавать лишь в последние годы. Много сродного идеям Ухтомского во взглядах его старшего современника, историка И. Гревса (в 20 — 30-е годы оба работали в Ленинградском университете), утверждавшего в 1917 году, что позитивные и прочные результаты могут иметь лишь те «перемены, которые подготовлены были вековым созидательным трудом», и отвергавшего перестраивание реальности по рационалистическим рецептам: «рабство понятию — великая беда»³. Значимо также сходство между мышлением Ухтомского и программными суждениями А. Мейера, который в споре с Н. Бердяевым, автором книги «Смысл творчества» (1916), утверждал, что главная современная задача состоит в том, чтобы «разрешить на земле проблему свободного общения»⁴. В косвенной полемике с лидерами «нового религиозного сознания», прежде всего с Д. Мережковским, Мейер в том же 1916 году говорил, что «старая правда» народной религии «была действительной правдой»⁵. По-видимому, имели место личные встречи Ухтомского с Мейером, дважды выступавшим с докладами в Рыбинском религиозно-философском обществе, в котором участвовал и он. Существенны также моменты общности идей Ухтомского и М. Пришвина, который, как это становится ясно ныне благодаря публикациям его «Дневника», был ярким и своеобразным философом. Его опорные понятия — «творческое поведение», «родственное внимание к миру», «тайный подвиг». «Иду в полном радостном согласии с тем, кто прошел раньше меня, — писал Пришвин, — ...и... готовлю дрова для идущих за мною». Вот несколько пришвинских суждений в духе учения о доминанте на другое лицо и Собеседнике: «жизнь есть прежде всего личное действие»; «человек существует на земле вовсе не из-за себя, а для единства»⁶. Знаменательно высказывание о Пришвине Ухтомского, относящееся к 1927 году: «В некоторых местах он поражает меня совпадением с моими самыми затаенными мыслями... По форме писательства он несомненно классик из плеяды Тургенева и Аксакова, но, что для меня гораздо важнее, он в писательстве — открыватель... метода, заключающегося одно-

² РГАЛИ, ф. 218, оп. 1, № 13.

³ «Русская свобода», 1917, № 24-25, стр. 23 — 24.

⁴ «Н. А. Бердяев: pro et contra». Антология. Кн. 1. СПб., 1994, стр. 280.

⁵ «Контекст 1994 — 1995». М., 1996, стр. 36.

⁶ Пришвин М. М. Собр. соч. в 8-ми томах. М., 1986. Т. 2, стр. 482; т. 8, стр. 144, 244.

временно в растворении всего своего и в сосредоточении всего своего на другом».

Обращает на себя внимание и относящееся к 1930 году суждение П. Флоренского, к которому Ухтомский мог бы присоединиться безоговорочно: «Жизненная задача всякого — познать строение и форму своего рода, его задачу, закон его роста, критические точки, соотношение отдельных ветвей и их частные задачи, а на фоне всего этого — познать собственное свое место в роде и собственную свою задачу, не индивидуальную свою, поставленную себе, а свою как члену рода, как органа высшего целого. Только при этом родовом самопознании возможно сознательное отношение к жизни своего народа и к истории человечества»⁷.

И, наконец, весьма явственны переклички между концепциями Ухтомского и его младшего современника М. Бахтина (ответственный поступок, диалогичность), которые, возможно, стимулировались их общением. С 1924 по 1930 год Бахтин жил в Ленинграде и, по его свидетельству, «присутствовал летом 1925 года на докладе А. А. Ухтомского о хронотопе в биологии; в докладе были затронуты и вопросы эстетики»⁸.

Потаенное мышление в России 20 — 30-х годов, контуры которого мы (насколько это возможно сегодня) обозначили, — весьма значимый феномен отечественной культуры. Оно явилось живым, ярким, поистине творческим откликом на трагически-горестный для России (и не только ее одной) XX век. Философские опыты Ухтомского и других близких ему современников (этих людей правомерно вслед за В. Турбиным назвать «китежанами») основывались не на идее отчуждения от мира, столь характерной для интеллектуальной среды нашего столетия (и для всего европейского Нового времени), а, напротив, на переживании и осознании живой ему причастности. И эти опыты, что особенно важно, были отвержением насильственно насаждавшейся в нашей стране идеологии, а одновременно любых форм утопического сознания — воззрений, которые вслед за С. Булгаковым естественно назвать «духовным футуризмом». В «будетлянском» русле — и идея социальной революции, и ницшеанская концепция сверхчеловека, и символистская программа преобразования человека в артиста, и идея (тоже упрочившаяся в символистском кругу) синкретического искусства, слившегося с жизнью, и биокосмический максимализм вкупе с культом машинной техники, и, наконец, «новое религиозное сознание» как «третьезаветное» христианство. В эту эпоху «сверхожиданий» (выражение Золотарева) человек, каким его сформировала история, мыслился как некое подобие ветхозаветного Адама — как всего лишь «полуфабрикат», податливая глина, подлежащая радикальной обработке и тотальному преобразению по рецептам (а недостатка в них не было) новоявленных идеологов и пророков, лидеров и вождей.

Всему этому и противостояли опыты философствования Ухтомского и других «китежан», наследовавших церковное и национальное предание и продолжавших дело, которое в предреволюционные годы вершилось С. и Е. Трубецкими и С. Булгаковым. Не зная того, они очень во многом перекликались с тем, что одновременно думали и писали в зарубежье Н. Лосский, С. Гессен, В. Вейдле, Г. Федотов, Н. Арсеньев.

«Китежане» XX века были не пророками и вероучителями, которые провозглашают нечто беспрецедентно новое, а хранителями предания и поборниками элементарно простых, но в то же время великих истин, которые грубо попирались и преследовались в их время. И не только из-за мучительно тяжелых внешних обстоятельств, но по своей органической природе их голос не мог быть громким (з противоположность голосам Ницше, а в России, к примеру, того же Н. Бердяева). Выказывались «китежане» безэффектно и нериторично.

И здесь возникают ассоциации с воплощениями русской святости времен весьма от нас далеких. Преподобный Сергей Радонежский, по словам В. Ключевского, стремясь пробудить силы народа, травмированного монголо-татарским

⁷ Флоренский П. А. Анализ пространственности и времени в художественно-изобразительных произведениях. М., 1993, стр. 215 — 216.

⁸ Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975, стр. 235, примеч.

игом, влиял на людей «тихой и кроткой речью», «неуловимыми, бесшумными нравственными средствами, про которые не знаешь, что и рассказать», а вместе с тем оставлял «ощущение нравственного мужества»⁹.

«Китежане» XX века были (если здесь уместна столь современная лексика) своего рода идеологами христиански одухотворенного, жертвенного труженичества, которое с предельной полнотой воплотилось в древнерусских святых, начиная с Феодосия Печерского, а впоследствии стало неотъемлемым достоянием отечественного бытия не только монастырского, но и светского, мирского. И — одной из важнейших черт национального характера. Эту субстанциально значимую грань многовековой русской жизни В. Топоров охарактеризовал как «труженичество во Христе, понимаемое как творческое собирание души, духовное трезвение, забота о мире... христианизация жизни, быта и самого „мирского“ человека»¹⁰.

Наследие Ухтомского (как и других «китежан»), его личность и близкое окружение побуждают задуматься о многом, касающемся как событий нашего столетия, так и всей отечественной истории в ее глубинном, духовном измерении. Прежде всего: что составляет собой эта ветвь русского мышительства в нашем столетии? Его магистраль? Или лишь побочное, периферийное явление? Как соотносятся между собою культурно-историческая значимость интеллектуальных опытов «китежан» — и концепций русских марксистов от Г. Плеханова до М. Лифшица, теоретиков символизма (А. Белый, Вяч. Иванов), ныне популярных лидеров нового религиозного сознания (Н. Бердяев, Д. Мережковский)?

Автору этих строк хочется думать, что авторитет и влияние потаенного философствования в России 20 — 30-х годов со временем упрочатся и эта ветвь отечественного мышительства будет признана его магистралью в рамках десятилетий, а возможно, и в масштабе всего горестного российского XX века.

В. ХАЛИЗЕВ.

⁹ Ключевский В. О. Исторические портреты. М., 1990, стр. 69, 74.

¹⁰ Топоров В. Н. Святость и святые в русской духовной культуре. Т. 1. М., 1995, стр. 609.

1. «СТУДИЯ». Независимый русско-немецкий литературный журнал. Берлин, № 1 — 3.

«Студия» начала выходить с 1995 года и существует уже в трех выпусках. Редакторы журнала — Александр Лайко (поэт лианозовского круга, живущий сейчас в Берлине) и Андреас Мазурков (в России он работал в газете «Московский комсомолец»).

Первый номер привлекает воспоминаниями Л. Усача об Ахматовой и Зощенко, И. Кузнецова — о Д. Самойлове (и его окружении). Интересен раздел «Лианозовские страницы», с предисловием Г. Сапгира, со стихами тех, кто имел отношение к этому «товариществу близких по духу» (Г. Сапгир), — Е. Кропивницкого, Я. Сатуновского, И. Холина, И. Гринберга, А. Лайко. Но в целом номер составлялся из «местных», бер-

линских, материалов: жизненный опыт большей части «студийцев» оказался военным, поэтому примерно треть номера была отдана стихам, рассказам, воспоминаниям о войне 1941 — 1945 годов; впрочем, военная тема отвечала и замыслу издавать журнал-мост, равно интересный и немцам, и русским.

В следующем номере журнал повернулся к настоящему времени. На его страницах появились произведения А. Слаповского, Д. Рубиной, Г. Сапгира (кстати, публикацией «уличного романа» Слаповского «Братья» берлинские редакторы опередили русских коллег).

Характерная особенность «независимого русско-немецкого литературного журнала» — его двуязычие: часть материалов печатается на немецком, часть на русском языке. В таком виде помещаются художественные тексты, аналитические статьи (о ситуации в России,

итогах германского воссоединения), путевые дневники, рецензии и разборы (например, отрывки из книги Карабчиевского о Маяковском), мемуары... Некоторые авторы журнала пишут на двух языках: социолог Андреас Вебер, поэт Ольга Денисова, поэт Виктор Шнитке (брат композитора Альфреда Шнитке) — его замечательные стихи опубликованы в № 3. Так или иначе, тексты в журнале существуют на том языке, на каком им «суждено» было родиться.

Ясно, что и русскому, и немецкому читателю могут быть любопытны (а кому-то жизненно важны) воспоминания Натальи Вогау-Соколовой об отце — писателе Борисе Пильняке, рецензия на библиографию Герольда Белгерса «Русские немцы — писатели» (вышла в Алма-Ате в 1996 году) или «правдивая история» «Филипп фон Цезен» Виктора Панова (который десять лет был узником ГУЛАГа, отбывал ссылку в Павлодаре и знает не понаслышке о судьбах русских немцев).

В «Студии» много переводов художественной литературы: на немецком — хрестоматийные произведения классических русских поэтов, от Пушкина до Блока; по-русски — авангардные стихи (с «русской» же тематикой) немецкого поэта Томаса Клинга или стихотворения Рильке — двенадцать лет (!) пытаются как можно точнее передать его поэзию по-русски Владимир Авербух, москвич, ныне профессор Силезского университета.

Пожалуй, в «Студии» ощутимо, что по текстам прошла редакторская «рука мастера». Читательский интерес поддерживается умелой компоновкой произведений и живет в некоем ровном ритме от первой вещи до последней. Наверное, поэтому трудно выделить «наиболее удавшиеся» публикации: в прозе, может быть, рассказы москвички Марины Вишневецкой и берлинца Кристофа Хайна?

К «словесности» добавлен «вернисаж»: № 1 представляет работы Вл. Ковенацкого, № 2 — Александра Харитонова, в № 3 впервые появились в печати рисунки поэта Виктора Сосноры.

В будущем А. Лайко предстоит редактировать журнал одному; А. Мазурков стал издавать «Новую Студию» которая продолжает линию «Студии» в том, что является не эмигрантским, а просто

двуязычным журналом, выходящим в Берлине, но предоставляющим страницы талантливым авторам вне зависимости от места проживания. В каком издании будет сохранены и развиты традиции старой «Студии» и насколько плодотворно окажется разделение, судить читателю.

II. «ЗЕРКАЛО ЗАГАДОК». Культурно-политический журнал на русском языке. Берлин, 1995 — 1997, № 1 — 4.

Первый номер этого журнала вышел в Берлине в сентябре 1995 года. «„Зеркало загадок“ — так назвал одну из своих самых загадочных новелл выдающийся писатель и поэт двадцатого века», — разъясняет в редакционном предисловии Игорь Полянский, впрочем, отказываясь сообщить, кто этот поэт: «Пусть этот вопрос станет первой нашей загадкой».

Первый выпуск, пожалуй, напоминал большую газету. Формат вроде журнальный, однако шрифт — мелкий, трудночитаемый. Статьи по величине, как правило, превышали размеры газетных публикаций, но вот по оперативности, острой злободневности к ним приближались: журнал сообщал подробности биографии «кельнского террориста» — израильянина из Кривого Рога, рассказывал о новостях спорта... Был заполнен сенсационными фактами, разоблачительными догадками и намеками (уже названия заметок характерны: «Что находится в трюмах затонувшего теплохода „Эстония“?» или «Немецкий принц — законный король Англии?»). И так далее.

Что ж, молодое, никому не известное издание, наверное, имеет право на самые радикальные средства завоевания читателя — особенно если при этом обнаруживает гибкость и способность измениться. Как намекалось в редакционной заметке, оформление материалов, в том числе величина шрифта, находилось в прямой зависимости от успеха у читателя: понравится содержание, будут деньги — выпуски станут толще, и появляться будут чаще, и за шрифтом дело не станет. В контексте такого обещания облик текстов второй «тетради» — удобочитаемый, даже комфортный для глаза — мог быть воспринят уже как симптоматичный новый вид

журнала говорил о наступивших переменах. Издание действительно становилось тем, что обещает подзаголовок (журнал «культурно-политический», «первый за послевоенное время», как рекомендует себя «Зеркало загадок» уже на первой странице первого выпуска). «Газетное» постепенно замещается текстами, более подходящими журналу.

«Зеркало загадок» находит и авторов, и проблематику не столько в России, сколько в эмиграции. Обсуждение того, что волнует русского человека, волей судьбы оказавшегося в Германии, — сильная сторона журнала: юридические разъяснения немецких законов, беседа с уполномоченной Сената по делам иностранцев, насыщенная фактами статья И. Полянского об иммиграции в Германии с 1946 по 1996 год; дискуссия о судьбах еврейской эмиграции в Америке, статья Ф. Горенштейна «Гетто-большевизм и загадка смерти Ицхака Рабина»...

Материалов, имеющих отношение к литературе, казалось бы, не так много. И тем не менее... Журнал старается вербовать участников с громкими именами: для двух номеров «Зеркала загадок» предоставила свои «университетские» рассказы доктор филологических наук Наталья Толстая (внучка знаменитого писателя, дочь профессора-физика Никиты Толстого и сестра Татьяны Толстой). Для журнала пишет Е. Эткинд (большая, разделенная на два выпуска статья «Русская литература и свобода»). Постоянным автором журнала становится Ф. Горенштейн; последний номер «Зеркала загадок» целиком отдан мемуарам писателя.

Занимательны рубрики «Прогулки по Берлину» и «Литература, искусство», тема которых — берлинские (немецкие) впечатления писателей, следы пребывания какой-либо литературной знаменитости в Берлине (Германии). Собственно, это литературное краеведение, хотя и необычное: кажется, впервые оно осваивает германские территории. Берлинский «Дом искусств», Тютчев, Достоевский, Набоков, впрочем, кроме русских авторов еще и Гейне, Гофман... Первопроходческие планы новых маршрутов краеведения принадлежат литературному редактору «Зеркала загадок» Мине Полянской (в России она работала в литературной секции ленинградской экскурсоводческой группы), она не

только инициатор, но и автор большинства статей о немецкой литературной «топографии».

«Зеркало загадок» не ограничивается обстоятельными исследованиями — журнал делает и практические шаги. Скажем, после отчета о мюнхенских поисках дома (домов), где жил Тютчев, редакция публикует обращение к обер-бургомистру города с просьбой установить памятную доску с именем великого русского поэта на сохранившемся здании бывшей Российской миссии — и такой, практический, результат «словесности» не может не вызвать уважения.

III. Г. ЛИЧ-АНСПАХ. Мои встречи с русскими. СПб., СП «Дельфа Р. А.», 1996.

Судьба щедро предоставила автору этой книги — славистке, переводчице и педагогу Габриэле Лич-Анспах — возможности «встреч с русскими»: в войну и после нее она жила в предместье Потсдама и могла наблюдать победителей, да и общаться с ними; в 1962 — 1975 годах работала преподавателем в университете Торонто — так родилась главка о русских в Канаде; в 1970-м смогла впервые приехать в Советский Союз на курс русского языка, позднее приезжала еще — как гостя голландского посла (что открыло новые возможности знакомства со страной и ее людьми), просто как туристка — последний раз побывала в России уже в перестроечное время. У книги широкий хронологический и географический обзор. Да и люди, с которыми довелось познакомиться Габриэле Лич-Анспах, принадлежат к самым разным общественным слоям и группам: это эмигранты-интеллигенты и крестьянские девушки, вывезенные немцами для работ в Германии; простые солдаты — и офицеры; деятели русской культуры, имена которых широко известны, и их близкие: семейство Пастернак и Лидия Чуковская, Белла Ахмадулина, вдова Павла Корина, Анатолий Ким, Юрий Трифонов... Можно добавить к этому перечню и другие имена — воображаемых собеседников. Было время, Лич-Анспах делала для радиокompании «Sender Freies Berlin» радиопередачи о русских писателях; один из них завладел вниманием — занялась переводами его

произведений (вышло два тома!), написала монографию; в итоге о Евгении Замятине мемуаристка размышляла так долго, что он, кажется, тоже может числиться в кругу ее давних знакомых.

Откуда у автора такой живой интерес к России? Члены семьи Лич-Анспах (родословная которой прослеживается с XVII века) имели русских деловых партнеров; образ России создавался по рассказам эмигрантов, чаще всего ее идеализировавших; однако главными, пожалуй, были культурные импульсы: произведения Тургенева и Льва Толстого, а еще — скульптура Эрнста Барлаха («славянское» изображение человека), творчество Рильке, который был всерьез увлечен русской ученой-психоаналитиком Лу Андреас Саломе, был в России и писал о ней.

Каким видится будущее русской жизни? Перестроечные наблюдения автора книги противоречивы, однако на общем фоне сумятицы и растерянности определенно обнадеживающими представляются идеологические сдвиги, свобода творчества и общения с миром: словари и разговорники на уличных прилавках, множество художественных галерей.

Общий взгляд на «русскую душу»? Пожалуй, ничего нового Лич-Анспах здесь не говорит, выводы кажутся даже стереотипными: склонность к анархии, крайним экстатическим проявлениям; вместе с тем — душевная теплота, способность сопереживать, непосредственность; особенно настаивает автор мемуаров на том, что русским присущи покорность судьбе, фатализм, а также особое отношение ко времени, неумение и нежелание планировать — странная для немца (и даже раздражающая) потребность ежеминутно сохранять свободу выбора занятия. Такие сужде-

ния мы много раз слышали; но, когда их в очередной раз повторяет автор жадный к жизни, наблюдательный, всерьез заинтересованный предметом, поневоле задумываешься о том, что «миф» о русском характере заключает и какие-то истины.

Книга содержит множество бытовых — общеинтересных — впечатлений и сюжетов, но самое ценное в ней связано, пожалуй, с научно-педагогической деятельностью автора. Филологу, безусловно, будут любопытны замечания ее о школе Фасмера. Заинтересуют и размышления о путях преподавания иностранного языка (спор с бихевиористскими концепциями и т. д.), поддержанные солидным опытом — многолетними занятиями методикой преподавания языков.

Впрочем, специальными вопросами книга насыщена в меру — профессия Лич-Анспах сказала не столько в выборе тем, сколько в самом стиле письма. Склад ума настоящего ученого чувствуется, например, в удивительной любознательности, не столь уж частой для иностранцев, посещающих Россию. Во время своих поездок мемуаристка не ограничивалась обычным туристским набором «достопримечательностей», но и сама составляла планы «экскурсий», без провожающих разыскивала, скажем, Андроников монастырь и Крутицкое подворье или могилу Чаадаева на кладбище Донского монастыря. Привычная для ученого объективность сказала в особой взвешенности, корректности суждений: кажется, в книге нет ничего, что задело бы национальную гордость (или чье-либо личное достоинство).

Перед читателем нечастый случай мемуаров без позы и тенденции — то есть таких, которым можно верить...

Е. ТИХОМИРОВА.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЭТОТ ОПАСНЫЙ МИРНЫЙ АТОМ

Минатом России расценивает свою деятельность как исключительно успешную и важную для страны. По заявлению министра В. Михайлова, в 1996 году продажа технологий, оборудования и услуг принесли Минатому 2,1 млрд. долларов. Однако похоже, что эта внешнеторговая победа — пиррова, поскольку России придется расплачиваться за доходы этого суперведомства гораздо большими затратами.

Сначала некоторые факты. В 1993 году Минатом в соответствии с заключенным соглашением с Китаем о сотрудничестве в области атомной энергии впервые продает за рубеж свою уникальную и крайне эффективную (газо-диффузную, или «вертушечную») технологию обогащения урана и постоянно посылает туда немало своих специалистов. Объем сделки — около 4 млрд. долларов.

В 1995 году Минатом подписывает соглашение с Ираном о завершении строительства крупнейшей в Азии АЭС в Бушере. Несколько лет назад Германия прекратила это строительство, так как Иран пытался использовать эту АЭС для создания собственного ядерного оружия. Тогда же, в 1995 году, Минатом договаривается о помощи Ирану в разведке его урановых месторождений, поставке новейшей технологии обогащения урана и обучении в России большого числа иранских специалистов. Сведения об этом попадают в печать, и Президент России, предчувствуя далеко идущие ядерные планы Ирана, ограничивает эту сделку. Общий ее объем — после вычета «военной компоненты» — остается, по-видимому, около 2 млрд. долларов.

Суммарно все эти сделки приносят Минатому крупные доходы. Деньги позволяют ему поддерживать свою инфраструктуру в практически неизменном виде: многие десятки научно-исследовательских институтов и КБ, десятков атомоградов. Это хорошо для ведомства, но это — только одна сторона проблемы.

Благодаря секретным российским технологиям и оборудованию Китай в обозримом будущем сможет резко ускорить накопление делящихся материалов, пригодных для создания ядерного оружия. На недоуменные вопросы обеспокоенных граждан, как это Минатом решил на продажу сверхсекретной «вертушечной» технологии, которой нет равной в мире по эффективности обогащения урана, Минатом отвечает, что разобрать и скопировать «вертушки» китайцы не смогут. Китайцы — не смогут? Если у нашего великого соседа вместо 350 ядерных зарядов через несколько лет с помощью Минатома появится тысяча, то Россию такое развитие события вряд ли обрадует. И вряд ли облегчит положение оговоренная в Распоряжении Правительства от 11 июня 1993 года № 1025-р «конфиденциальность информации». Такого рода документ показывает, что Минатом хорошо понимает, насколько взрывоопасной является передаваемая им информация о ядерных технологиях. Несмотря на это, он в погоне за длинным рублем пошел на такую передачу. Невозможно представить, чтобы внешнеполитическим специалистам Минатома не было уже тогда известно о тесных ядерно-ракетных связях Китая с Пакистаном и другими нестабильными режимами в Азии.

Атомное ведомство утверждает, что подписанные им соглашения с Ираном по строительству АЭС совершенно безобидны: во-первых, говорят его специалисты, мы будем строить реакторы, которые нельзя использовать для наработки урана и плутония «оружейного качества», и, во-вторых, в силу того, что заключенные соглашения предусматривают контроль со стороны Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). К сожалению, оба эти аргумента недостаточно серьезны.

Никаких принципиальных различий между плутонием и ураном «оружейного» и «неоружейного» качества нет. В любом реакторе нарабатывается плутоний: один килограмм отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) содержит до 10 граммов плуто-

ния и 950 граммов урана. Напомню, что в реактор АЭС загружается несколько десятков тонн топлива, которое через три года обычно полностью обновляется. Для производства атомного взрывного устройства требуется около 3 килограммов плутония и 8 килограммов урана.

Несостоятелен и аргумент об эффективности контроля МАГАТЭ за нераспространением ядерного оружия. Несмотря на контроль этой международной организации, ядерное оружие создано по крайней мере в Израиле, Пакистане, Индии, ЮАР, Северной Корее. Не МАГАТЭ способствовало замораживанию программ ядерного вооружения Швеции, Южной Кореи, Тайваня, Аргентины, Бразилии и Ирака. Оно не способно остановить распространение ядерного оружия, ибо по своему уставу призвано распространять ядерные технологии. А как сказано выше, это распространение неизбежно облегчает возможность создания ядерного оружия. Неэффективность МАГАТЭ в области нераспространения признает и Россия: в 1996 году при подписании Договора о всеобъемлющем прекращении ядерных испытаний РФ согласилась с созданием отдельного от МАГАТЭ специального секретариата по проверке выполнения положений этого договора (хотя МАГАТЭ отчаянно добивалось роли такого органа).

К сказанному выше добавлю, что даже если бы строящиеся нами АЭС нельзя было использовать для производства делящихся материалов, пригодных для создания атомной бомбы, уже само по себе распространение среди иранских специалистов технологических знаний в области ядерных процессов явится для Ирана прорывом в деле создания атомного оружия. Выгодно ли России иметь вблизи своих южных границ, в одном из самых политически нестабильных регионов мира, новую ядерную державу с весьма непредсказуемой внешней политикой? Не проклянут ли наши дети и внуки тот январский день 1995 года, когда было подписано соглашение о строительстве Россией АЭС в Иране?

Кстати, опыт помощи в создании ядерных боеприпасов другими странами у Минатома уже есть. На основе построенных Минсредмашем СССР (предшественником Минатома России) в Северной Корее исследовательских атомных установок, а также научно-технического сотрудничества наших стран в области атомной энергетики эта страна смогла тайно создать собственные ядерные взрывные устройства и оказалась первой страной, открыто использовавшей в международных отношениях ядерный шантаж. Похоже, что та же история может повториться и с Ливией.

Нет сомнения, что из-за политики Минатома России придется усилить южные рубежи и средства противовоздушной обороны. И это обойдется стране во много раз дороже, чем несколько миллиардов долларов, полученных сегодня атомным ведомством. Поскольку в профессионализме работникам Минатома не откажешь, закрадывается подозрение: не рассчитывают ли эти стратеги, что таким образом можно будет вернуться к гонке вооружений, когда несчетные миллиарды текли в их НИИ, КБ, ОКП и ПО, обеспечивая полную свободу научного поиска в разработке средств массового уничтожения?

Издавательскими звучат утверждения Минатома, что во внешней политике им делается все для обеспечения ядерной и радиационной безопасности России. Вот подготовленное Минатомом Положение о порядке экспорта ядерных материалов, оборудования и соответствующих технологий (Постановление Правительства РФ № 574 от 8 мая 1996 года). По этому Положению ядерный экспорт России осуществляется «при наличии заверений со стороны компетентных государственных органов этих стран, что полученные предметы ядерного экспорта... не будут использоваться для производства ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств». Напомню о недавно вскрывшемся факте закупки Ираком ядерного топлива для АЭС с целью выделения урана для создания собственной атомной бомбы. Не могли же специалисты Минатома не понимать, что поставка урановых топливных стержней в страну, где АЭС еще не построена, означает угрозу ядерного вооружения? Знали, понимали и... поставляли.

Минатом опасен для России еще и потому, что он является государством в государстве. Эта могучая империя на протяжении более полувека воспитывает своих подданных на основе специфической морали и нравственности, где главный принцип — «то, что хорошо для Минатома, хорошо для России». Поэтому она не считает для себя зазорным обманывать кого угодно — лишь бы добиться нужного результата. Вот лишь несколько примеров такого заведомого искажения фактов (а попросту говоря — вранья).

Безопасность реактора типа РБМК (того, что взорвался в Чернобыле) «обеспечивается во всех режимах работы и состояниях, а также при любых возможных аварийных ситуациях в технологическом контуре», писали «атомные» конструкторы за несколько лет до Чернобыля и после страшной аварии на Ленинградской АЭС в 1979 году. Уже стало привычным официальным вранье Минатома при обосновании необходимости строительства новых АЭС. Техничко-экономическое обоснование строительства Дальневосточной АЭС (1995 год) содержит ложные данные как о дефиците электроэнергии в регионе, так и о возможностях иных, неатомных, решений (газ, уголь, приливная Тугурская станция). В обосновании строительства нового Сосновоборского ядерного центра вблизи Санкт-Петербурга также содержится необъективный анализ: миллионы тонн нефтепродуктов ежегодно транспортируются через этот регион, а строящийся новый нефтеналивной порт в бухте Батарейной находится меньше чем в двадцати километрах от строящейся АЭС!

Принятое в августе 1997 года постановление Правительства России, подготовленное по заданию атомщиков, о строительстве нового блока на Белоярской АЭС также основано на неверных фактах. Губернаторы Тюменской области и Ханты-Мансийского национального округа писали по этому поводу: «Тюменская энергосистема в последние двадцать лет развивалась исходя из энергетических балансов Урала и Тюмени, создана надежная энергетическая связь, позволяющая передать из избыточной Тюменской энергосистемы в дефицитные районы Урала до 20 млрд. кВт·ч электрической энергии...»

А вот что говорил министр в 1995 году относительно переработки на территории России западных радиоактивных отходов: «...никаких отходов мы не привозим, кроме тех, что образуются на АЭС, которые были с нашей помощью построены за рубежом, в странах Восточной Европы и Финляндии. Ничего другого Минатом не завозил, не завозит и не собирается завозить. Никаких контрактов, переговоров на эту тему ни с одной зарубежной фирмой Минатом не проводил. Это домислы...» Хорошо бы так, однако есть документы, показывающие, что такие переговоры велись и со Швейцарией, и с Тайванем, и с целым рядом других стран. Более того, когда министр убеждал нас в том, что Минатом даже не собирается завозить радиоактивную грязь из других стран, по его поручению готовился Указ Президента № 72 (1996), разрешающий принимать на переработку ОЯТ из любых стран. Потребовалось специальное решение Верховного суда России, чтобы признать незаконными и недействительными эти положения Указа.

Вспоминая свое выступление на заседании Правительства в 1996 году при обсуждении проекта концепции устойчивого развития России. Тогда министр оборвал меня заявлением о том, что в Минатоме с устойчивым развитием все в порядке, и особенно хорошо там здоровье работающих. Не устает он это же повторять и в своих публичных выступлениях. Недавно на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, добываясь от местных властей открытия законсервированной Ростовской АЭС, он заявил, что у работников Минатома онкозаболевания в два раза ниже, чем в других отраслях. А вот что происходит на самом деле: «В структуре профессиональной заболеваемости работников системы Министерства Российской Федерации по атомной энергии 58 процентов занимают болезни, вызванные воздействием радиоактивных веществ. За последние 5 лет рост заболеваемости злокачественными новообразованиями среди работников, занятых на отдельных предприятиях Министерства Российской Федерации по атомной энергии, составил 28 процентов... (это превышает темпы роста по России)... Распространенность врожденных аномалий среди детей в возрасте 14 лет, проживающих в ЗАТО (атомградах). — А. Я.), вдвое превышает показатель по России» (из Постановления Правительства № 171 от 22 февраля 1997 года).

Есть и более свежие примеры. Только через полмесяца (!) руководство Научно-исследовательского института атомных реакторов (Димитровград, Ульяновская область) призналось о происшедшем в ночь с 25 на 26 июля 1997 года аварийном выбросе йода-131 (в пятнадцать — двадцать раз больше нормативов). Хорошо, что об этом узнал, по-видимому, Президент России, досрочно покинувший санаторий «Волжский утес», в сторону которого ушел этот радиоактивный выброс. Кстати, американские АЭС за задержку сообщения о малейшем инциденте всего на час (!) платят штрафы в десятки тысяч долларов. Или другой случай. Приказом № 79 от

10 февраля 1997 года руководитель ремонтной бригады Ленинградской АЭС отстранен на год от работ, связанных с радиацией, в связи с переоблучением. Все шесть членов бригады получили эквивалентные дозы, в десять раз превышающие допустимые. А руководитель Минатома заявляет, что за последние десять лет (!) на российских атомных станциях не было зафиксировано сверхнормативных облучений. Конечно, если скрывать происходящие аварии на АЭС, как это, оказывается, широко практикуется в России и после Чернобыля, то Минатому можно гордо заявлять (как он делает в последнее время), что наши АЭС входят вместе с германскими и японскими в тройку самых безопасных.

В результате постоянного искажения фактов у Минатома оказывается как бы множество разных лиц, существующих вместе и одновременно. Побывал министр в США, подписал письмо, в котором черным по белому говорится о том, что Россия готова прекратить переработку отработавшего ядерного топлива со всех своих атомных реакторов. Когда я рассказываю об этом нашим атомщикам, они недоверчиво улыбаются и пожимают плечами. Есть от чего: в России наш министр, как уже отмечалось выше, предпринимает титанические усилия совсем в другом направлении! Он отчаянно ратует за то, чтобы открыть замороженное в 1989 году колоссальное производство по переработке ОЯТ под Красноярском — печально знаменитый завод РТ-2... На пресс-конференции в Ростове 6 октября 1997 года В. Михайлов клеймит Запад за то, что тот стремится затормозить развитие атомной энергетики России. А через пару недель в Москве с гордостью сообщает, что западные инвесторы вложили в развитие атомной энергетики России сотни миллионов долларов.

Минатом лжет и по мелочам. В конце 1996 года прошел региональный референдум по поводу завершения строительства Костромской АЭС. Как известно, 87 процентов принявших участие в референдуме сказали «нет» планам атомщиков. Сразу после этого Минатом делает специальное заявление: «ни в настоящее время, ни в обозримом будущем строительство не будет возобновлено», а поэтому, дескать, «референдум не имел смысла». Неправда! Росэнергоатом 16 октября 1997 года издал Указание № 143-ук, в котором, в частности, говорится: «Учитывая заинтересованность концерна в результате данного референдума... разработать и утвердить в Администрации Костромской области и Минатоме России план мероприятий по работе с руководством и населением Костромской области...» Были и специальные ведомственные приказы, говорящие о важности предстоящего референдума, и рабочие совещания, в том числе с местной администрацией, выделялись немалые деньги на работу со средствами массовой информации.

Я встречался с сотнями атомщиков в Москве, на АЭС, в атомоградах, со многими из них — в добрых отношениях. И для меня долгое время оставалось загадкой, как умные, талантливые и интеллигентные люди могут так беззастенчиво врать. Потом я понял, что у этих «детей Минатома» другая, атомоцентрическая, мораль: развитие атомных технологий всегда хорошо для общества. Мне хочется сказать этим людям: расскажите честно о проблемах отрасли, признайте свои ошибки — и общество поможет вам найти достойное применение вашим головам и рукам. Например, согласитесь на перепрофилирование стареющих АЭС на традиционные виды топлива. Это сохранит ваши рабочие места, даст России прибыль порядка двух миллиардов долларов в год уже через два года, а главное, сделает нашу страну более безопасной и для россиян, и для всего мира.

Недавно Международный суд в Гааге после долгих разбирательств признал атомное оружие не соответствующим нормам международного права. Конечно, ядерный арсенал придется еще долго поддерживать, обеспечивая безопасность России. И все-таки, убежден, в будущем придется искать и находить принципиально иные энергетические ресурсы.

А. В. ЯБЛОКОВ,
член-корреспондент РАН,
Председатель Центра экологической политики России.

ЗАРУБЕЖНАЯ КНИГА О РОССИИ

I. CARLO RICCIO. *Materiali per un'edizione critica di Poema bes geroja di Anna Achmatova*. Milano, Macerata, 1996, 298 p.

КАРЛО РИЧЧО. Материалы для критического издания «Поэмы без героя» Анны Ахматовой.

На долю переводчика редко выпадает счастье работать при непосредственном участливом внимании и наблюдении самого автора. Карло Риччо, итальянскому профессору-русисту и переводчику «Поэмы без героя», посчастливилось не только быть знакомым с Анной Ахматовой, но и пользоваться во время работы ее помощью и советами. Об этих многочисленных встречах с Анной Андреевной в Комарове и в Ленинграде с апреля по октябрь 1965 года и рассказывает Риччо во вступлении к своей книге. Сведения эти — не только волнующие в биографическом аспекте, они важны для понимания особенностей переложения поэмы на итальянский.

Перевод «Поэмы без героя» был заказан известным итальянским издательством «Einaudi» на основе русского текста, опубликованного в зарубежном альманахе «Воздушные пути» (1961, № 2). Анна Андреевна сочла этот текст неполным и устаревшим и стала вносить в него ряд поправок, «но затем, — пишет Риччо, — предпочла дать мне текст, просмотренный ею». Таким образом, итальянский переводчик получил машинописный текст, напечатанный специально для него. Но, по всей вероятности из-за спешки, машинопись оказалась неполной — в ней отсутствовали вторая и третья часть поэмы, а также авторские примечания. Как раз при переводе этих двух невоспроизведенных частей Риччо пользовался указаниями автора. Машинопись в соединении с текстом второй и третьей части, по «Воздушным путям», с поправками Ахматовой представляли ту стадию, на которой находился оригинал поэмы в 1965 году. Именно этот текст с учетом некоторых изменений, внесенных Ахматовой в поэтическую книгу «Бег времени», послужил основой для итальянского перевода 1966 года.

Но нельзя забывать, что Ахматова постоянно возвращалась к работе над поэмой и совершенствовала ее текст. В книге Риччо нет анализа переводов, выполненных с учетом этого обстоятельства. Она является, как говорит заглавие, собранием материалов, полезных для критического издания ахматовской поэмы. В ней учитываются тексты изданий Струве — Филиппова, А. Хайт, самого Карло Риччо (издание было двуязычным), текст альманаха «Воздушные пути», книг «Бег времени» (1965) и «Стихотворения и поэмы» под редакцией В. М. Жирмунского, а также других русских публикаций (1974 — Н. Банникова, 1976 — Б. Г. Друяна). Рукописные источники не привлекаются. Риччо проводит сопоставительный анализ этих уже опубликованных текстов. Анализ очень тщательный и точный на уровне лексики, пунктуации, метрики, рифмы, расположения строк. Подробны и интересны примечания библиографического и историко-литературного характера. Но, как признает сам автор, окончательное разрешение спорных вопросов, многочисленных и трудных, которые поднимает текстология «Поэмы без героя», возможно лишь при обращении к рукописному наследию Ахматовой. Сейчас такая возможность существует: исследователям уже доступны рукописи «Поэмы без героя» и ряд других сравнительно недавно опубликованных материалов, например «Записные книжки», которые могут восполнить картину создания этого произведения. Поэтому жаль, что скрупулезно собранный и тщательно проработанный материал, опубликованный в книге Карло Риччо, отражает все-таки вчерашний день текстологии «Поэмы без героя».

II. MARIA CHIARA PESENTI. *Arlecchino e Gaer nel teatro dilettantesco russo del Settecento*. Milano, Guerini e Associati, 1996. 279 p.

МАРИЯ КЬЯРА ПЕЗЕНТИ. Арлекин и Гаер в русском любительском театре XVIII века.

Исследования русской литературы XVIII века и особенно русского театра в этот начальный период его развития — нечастые гости в итальянской русистике. Уже поэтому стоит обратить внимание на книгу М. К. Пезенти — но не только поэтому. Русисты-литературоведы и театроведы несомненно оценят ее как серьезную работу в области уже имеющей свои достижения, но еще допускающей уточнения, дополнения и даже открытия. И в то же время это увлекательное чтение не только для специалиста, но и просто для любителя русской культуры, готового следить за движением живой исследовательской мысли по дорогам, где скрещиваются многие европейские культурные явления XVIII века.

Именно сопоставительный ракурс придает труду Пезенти научное значение. Уже название книги говорит о включении русского театра в широкий контекст: образ Арлекина отсылает к итальянской *commedia del'arte*. Тема исследования потребовала рассмотрения не одних только театроведческих вопросов, но и анализа исторического и историко-культурного фона, контактов с ближним или более далеким культурным окружением (Польша, Украина, Германия, Италия, Франция, Англия). Первая половина книги посвящена обзору влияний европейского театра. Учитывая уже известные факты: значение украинской и польской традиций, роль школьного театра, труппы Кунста и т. д., — уточняя их и связывая с развитием современных европейских явлений, автор ставит в центр своей работы вопрос о роли итальянского влияния в становлении русского театра. Исследовательница начинает с отголосков *commedia del'arte* в России и переходит к пребыванию итальянских трупп в России и к спектаклям при дворе Анны Иоанновны. С литературоведческой точки зрения особенно важен анализ процесса адаптации и ассимиляции итальянских текстов на русской почве.

Чтобы установить круг пьес и характер текстов, с которыми выступали в России итальянские труппы, автор справедливо посчитала нужным определить соотношение между импровизациями и письменными версиями, между *commedia del'arte* и *comédie italienne*. Обращение к ряду рукописных сборников, находящихся в Национальной библиотеке в Париже, и к другим малоизвестным источникам позволило автору установить круг сценариев, использованных Третьяковским для перевода на русский язык, и воссоздать характер придворных спектаклей. Главное внимание обращено на судьбу шутовских персон — Арлекина и Гаера (этому вопросу посвящена вторая половина книги).

Одна из положительных сторон работы Пезенти: она все время исходит из русской специфики «шутовского» восприятия жизни, не забывая о фольклорных или древних письменных сатирических традициях. Опираясь на известный сборник Тихонова, автор проводит тщательный текстологический анализ интермедий, основанный на богатой цитации текстов и сопровождающийся историко-литературными комментариями. В результате определяются не только элементы русификации, каким подвергались комические персонажи Арлекина и Гаера, но и те нити, которые связывают эти любительские сценки с опытом других европейских любительских театров, а также со школьным театром, с жанрами лубка и сатирической повести XVIII века. Книга итальянской исследовательницы создает разностороннюю картину первоначальной стадии развития русского театра.

Татьяна НИКОЛЕСКУ.

Милан.



БИБЛИОГРАФИЯ

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Антология акмеизма. Стихи. Манифесты. Заметки. Мемуары. Вступительная статья, составление, примечания Т. А. Бек. М., «Московский рабочий», 1997, 368 стр., 3000 экз.

В. П. Астафьев. Собрание сочинений. В 15-ти томах. Том 7. Затеси. Семь тетрадей. Красноярск, «Офсет», 1997, 544 стр., 10 000 экз.

Готфрид Бенн. Собрание стихотворений. Составление, предисловие, примечания и перевод с немецкого Виктора Топорова. СПб., Издательская группа «Евразия (Ultima Thule)», 1997, 512 стр., 3000 экз.

Первая книга в России одного из самых известных немецких поэтов нашего века Готфрида Бенна (1886 — 1956), прошедшего путь от экспрессионизма к философской, внешне формально «успокоенной» лирике. Переводы В. Топорова публикуются параллельно с немецким оригиналом.

И. Бергман. Благие намерения. Роман. Перевод со шведского А. Афиногеновой. М., «Художественная литература», 1996, 302 стр., 3000 экз.

Валерий Брюсов. Проза. М., «Библиосфера», 1997, 10 000 экз.

Том 1. Рассказы, повести. 527 стр.

Том 2. Алтарь Победы. Роман. 494 стр.

Том 3. Юпитер поверженный. Огненный ангел. Романы. Рея Сильвия. Повесть. 494 стр.

Борис Васильев. Утоли мои печали... Роман. М., «ВАГРИУС», 1997, 352 стр., 5000 экз.

Анатолий Гаврилов. К приезду Н. Рассказы. М., «Соло», «Аюрведа», 1997, 148 стр.

Третья книга — предыдущей была «Старуха и дурачок» (Владимир, «Золотые Ворота», 1992) — одного из самых «скупых» на тексты и ярких, по мнению критики, писателей. Предисловие Александра Михайлова.

Илья Ильф, Евгений Петров. Двенадцать стульев. Первый полный вариант романа с комментариями М. Одесского и Д. Фельдмана. М., «ВАГРИУС», 1997, 544 стр.

Самая ранняя из сохранившихся в архивах редакций романа. Фрагменты текста, исключенные при подготовке романа к публикации, отмечены в книге курсивом.

Олеся Николаева. Amor fati. Стихотворения. 1989 — 1996. СПб., «ИНАПРЕСС», 1997, 184 стр., 1000 экз.

Из авторского предисловия: «В мире, где Глагол потерял власть, а слово утратило плоть, где жизнь разошлась с судьбой, а реальность покинула смысл, поэту остается только ИГРА...»

Чур меня, чур!

Лучше совсем замолчать...»

Новая книга стихов известной поэтессы.

Эзра Паунд. Путеводитель по культуре. Составление и общая редакция К. К. Чухрукидзе. Перевод с английского К. Чухрукидзе, К. Голубович, А. Нестерова. М., «Русское феноменологическое общество», издательства «Логос», «Гнозис», 1997, 192 стр., 3000 экз.

Выборка культурологической эссеистики поэта, сделанная из пяти его книг

Людмила Петрушевская. Настоящие сказки. М., «ВАГРИУС», 1997, 400 стр., 5000 экз.

Поэты-имажинисты. Составление, подготовка текста, биографические заметки, примечания Э. М. Шнейдермана. М., «Аграф», СПб., «Петербургский писатель», 1997, 536 стр., 5000 экз.

Стихи Вадима Шершеневича, Сергея Есенина, Анатолия Мариенгофа, Рюрика Ивнева, Ивана Грузинова, Александра Кусикова, Матвея Ройзмана, Николая Эрдмана, Владимира Ричиотти, Ивана Афанасьева-Соловьева, Григория Шмерельсона, Семена Полоцкого, Леонида Чернова. Кроме стихов в книгу вошли литературные манифесты и декларации имажинистов, а также отрывки из работ по теории имажинизма Вадима Шершеневича и Анатолия Мариенгофа.

Вл. Пяст. Встречи. Составление, вступительная статья, научная подготовка текста, комментарии Р. Тименчика. М., «Новое литературное обозрение», 1997, 416 стр.

Встречи Пяста с Блоком, Белым, Гумилевым, Кузминым, Розановым и другими, описание литературного быта эпохи символизма и акмеизма...

Нина Садур. Сад. Вологда, 1997, 360 стр.

Новую книгу известного прозаика составили романы «Алмазная долина», «Чудесные знаки спасения», «Сад», «Немец», повесть «Юг», пьеса «Сила волос», рассказы из циклов «Проникшие», «Бессмертники», «Антилистовка».

Г. Сапгир. Летящий и спящий. Рассказы в прозе и стихах. М., «Новое литературное обозрение», 1997, 346 стр.

Роман Солицев. Дважды по одному следу. Проза последних лет. Красноярск, ПИК «Офсет», 1997, 878 стр., 3000 экз.

Журнал намерен отрецензировать эту книгу.

Татьяна Толстая. Любишь — не любишь. Рассказы. М., «Оникс», «ОЛМА-пресс», 1997, 432 стр., 15 000 экз.

Олег Чухонцев. Пробегаящий пейзаж. Стихотворения и поэмы. СПб., «ИНАПРЕСС», 1997, 272 стр. 2000 экз.

Г. Шенгели. Иноходец. Собрание стихов. Повар базилиевса. Византийская повесть. Литературные статьи. Воспоминания. Издание подготовлено В. Перельмутером. М., «Совпадение», 1997, 542 стр.

Григорий Шурмак. Поздний сборник. Стихотворения. М., «Интер-Весы», 1997, 144 стр., 1000 экз.

Книга избранных стихотворений поэта и прозаика, известного еще и как автор песни «Воркута — Ленинград».

Сергей Юрский. Жест. Стихи, стихи, стихи и немножко прозы. Вильнюс, «Полина» — Москва, «Полина М», 1997, 176 стр., 20 000 экз.

Издатели предлагают поклонникам таланта Юрского «попробовать себя в новом амплу — читательском».



Л. Баткин. Тридцать третья буква. Заметки читателя на полях стихов Иосифа Бродского. М., Издательский центр РГГУ, 1997, 331 стр., 3000 экз.

Нина Берберова. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Харьков, «Калейдоскоп» — Москва, «Прогресс-Традиция», 1997, 400 стр., 5000 экз.

М. Геллер. История Российской империи. В 3-х томах. М., МИК, 1997, 3000 экз. Том 2 — 320 стр. Том 3 — 304 стр.

И. А. Есаулов. Спектр адекватности в истолковании литературного произведения («Миргород» Н. В. Гоголя). М., Издательский центр РГГУ, 1997, 102 стр., 1000 экз.

К. Клаузевиц. О войне. М., «Логос», «Наука», 1997, 448 стр.

Д. С. Лихачев. Историческая поэтика русской литературы. Смех как мировоззрение и другие работы. СПб., «Алетейя», 1997, 508 стр., 3000 экз.

В. В. Набоков: pro et contra. Личность и творчество Владимира Набокова в оценке русских и зарубежных мыслителей и исследователей. Антология. Составление Б. Аверина, М. Маликовой, А. Долинина. Комментарии Е. Белодубровского,

Г. Левинтона, М. Маликовой, В. Новикова. Библиография М. Маликовой. СПб., РХГИ, 1997, 974 стр., 3000 экз.

Малый юбилей серии «Русский путь», издаваемой Русским Христианским гуманитарным университетом, — набоковский выпуск «pro et contra» десятый в серии. Предисловие к тому написал Андрей Битов — «Ясность бессмертия». Том состоит из четырех разделов: «Произведения В. Набокова-Сирина» (сюда вошли его газетные и журнальные рецензии и предисловия к изданиям своих книг); «Воспоминания» (среди авторов: И. Гессен, Н. Берберова, В. Яновский); «Русская эмигрантская критика о В. Набокове-Сирине»; «Статьи отечественных и зарубежных авторов о Набокове» — авторы раздела: Г. Иванов, В. Вейдле, Вл. Ходасевич, П. Бицилли, Г. Адамович, Ж.-П. Сартр, Г. Струве, А. Пятигорский, М. Лотман, И. Паперно, М. Липовецкий и другие.

Р. Пайпс. Россия при большевиках. Авторизованный перевод с английского. М., «РОСС-ПЭН», 1997, 672 стр., 2000 экз.

Н. Л. Пушкарева. Частная жизнь русской женщины: невеста, жена, любовница (X — начало XIX в.). М., «Ладомир», 1997, 382 стр., 2000 экз.

Историческое исследование, в методологии которого используются подходы французских исследователей «школы Анналов» — уход от «описательной истории быта», ориентация на «аналитическое изучение историко-психологических и историко-демографических сюжетов, историю Человека».

Русский стих. Метрика. Ритмика. Рифма. Строфика. Составитель Д. Бак и др. М., Издательский центр РГГУ, 1997, 336 стр., 2000 экз.

Ю. С. Степанов. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М., Школа «Языки русской культуры», 1997, 824 стр., 2000 экз.

Опыт систематизации ценностей русской культуры, заложенных в понятиях, концептах. Подробно описываются концепты-константы: Правда, Закон, Любовь, Слово, Душа, Наука, Интеллигенция, Огонь и вода, Хлеб и другие. Использован широкий материал — от фольклора до художественной, общественной и бытовой жизни современников.

П. Б. Струве. PATRIOTICA. Политика, культура, религия, социализм. Составитель В. Н. Жукова, А. П. Полякова. М., «Республика», 1997, 376 стр., 1500 экз.

В ближайших номерах «Нового мира» будет опубликована рецензия Ю. Кублановского на это издание.

Н. И. Харджиев. Статьи об авангарде. В 2-х томах. Составители Р. Дуганов, Ю. Арпишин, А. Сарабянов. М., «РА», 1997. Том 1 — 392 стр. Том 2 — 320 стр.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА

«В кругу времен», «Вестник РХД», «Вопросы литературы», «День литературы», «Дружба народов», «Ex libris НГ», «Зол», «Известия», «Иностранная литература», «Камера хранения», «Коммерсант-daily», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Наш современник», «Нева», «Независимая газета», «Общая газета», «Октябрь», «Открытая политика», «Россия», «Русская мысль», «Русский Телеграф», «Труд»

Анатолий Азольский. Гейнц Гудериан, Николай Гребенкин и другие. Житейская история. — «Дружба народов», 1997, № 11.

Короткая новелла о человеческих характерах.

Г. Асланова. В плену легенд и фантазии. — «Вопросы литературы», 1997, № 5 (сентябрь — октябрь).

О том, что мемуарные книги Афанасия Фета «Мои воспоминания» и «Ранние годы моей жизни» ввели в заблуждение не только современников поэта, но и его биографов. Г. Асланова считает, что легенды и фантазии на темы жизни и творчества поэта вышли в наши дни на новый виток. Poleмика с публикациями Ю. Нагибина, И. Сухих и других.

См. также публикацию Галины Аслановой «Навстречу сердцем к Вам лечу» («Новый мир», 1997, № 5) — история женитьбы Фета по архивным документам.

Валерий Барзас. Поминки по «Сайгону». — «Нева», Санкт-Петербург, 1997 № 9.

Мемуарные заметки питерского литератора о знаменитом кафе «Сайгон» на Невском. Посетители. Нравы. Ситуации. А девушки «Сайгона» 60 — 70-х? Все сгинуло. «Оглядываясь во гнев и недоумении: где приютиться человеку?»

Павел Басинский. Куперовский герой в лесах под Архангельском. — «Литературная газета», 1997, № 45, 5 ноября.

По мнению критика, повесть Алексея Варламова «Дом в деревне» («Новый мир», 1997, № 9) — «лучшее и самое значительное, что до сих пор написал и напечатал Варламов». И далее: «Ни в какое сравнение с ней не идут не только его заметно вымученные, слишком добросовестно сочиненные романы, но и „Рождение“, в котором есть превосходные страницы...»

Ален Безансон. Большевик: память и забвение. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1997, № 4196, 6 — 12 ноября.

Речь, произнесенная известным французским мыслителем 21 октября 1997 года на торжественном открытии сессии Французского Института, где Безансон представлял одну из пяти входящих в Институт академий — Академию моральных и политических наук. «Забвение о коммунизме (о преступлениях коммунистических режимов. — А. В.) толкает к сверхпамяти о нацизме, и наоборот, хотя простой, верной памяти хватило бы, чтобы осудить и тот, и другой... На наших глазах формируется одна из таких фальсификаций, и было бы прискорбно оставлять в наследство следующему веку фальсифицированную историю». В частности, Безансон видит во французских учебниках по истории для средней и высшей школы лишь «смягченную версию советской вульгаты».

В. Г. Белоус. Изгнание Скифа. — «Вестник Русского Христианского Движения». Ответственный редактор Н. А. Струве. Тираж 3000 экз. Париж — Нью-Йорк — Москва, № 175 (1997, № 1).

К 50-летию со дня смерти критика и публициста Иванова-Разумника (Разумника Васильевича Иванова; 1878 — 1946). Интересные материалы о его жизни «под немцами».

Михаил Берг. Игра на разных клавиатурах. Беседу вел Сергей Шаповал. — «Независимая газета», 1997, № 221, 22 ноября.

В частности, о том, почему закрылся редактируемый Михаилом Бергом журнал «Вестник новой литературы». «Журнал перестал себя окупать, то же произошло и с книгами, которые выходили вместе с ним... Уже в 95-м году ни подпиской, ни покупкой в розницу „Вестник“ спасти было нельзя... А дальше выяснилось, что нужно менять профессию — становиться грантоискателем... Второе очень важное обстоятельство — журнал стал переживать кризис. Он выполнил ту задачу, которую должен был выполнить: познакомил читателя с несколькими литературными направлениями. Для нас был важен контекст, мы не просто публиковали те или иные произведения, а помещали их в контекст статей, рассуждений, ауры той среды, которую мы представляли. Но сама среда распалась... Необходимость зарабатывать на жизнь плюс возможность писать сделали естественным отказ от продления агонии журнала».

Леонид Бородин. По страницам братского дневника. Через сорок лет. — «Москва», 1997, № 10.

О том, как девятнадцатилетний Леонид Бородин с энтузиазмом отправился строить Братскую ГЭС.

Иосиф Бродский. Скорбь и разум. Из книги эссе. Перевод с английского Е. Касаткиной. — «Иностранная литература», 1997, № 10.

«Состояние, которое мы называем изгнанием, или Попутного ретро», «Altra Ego», «Скорбь и разум», «Кошачье „Мяу“» — эссе из последней книги Иосифа Бродского, вышедшей в 1995 году в Нью-Йорке.

Юрий Буйда. Ya vas l'ubl'u, хоть и бешусь... — «Известия», 1997, № 221, 21 ноября.

Литература во «всемирной паутине». Проблема защиты авторских прав писателей, чьи произведения вводят в Интернет, как правило, против их воли. «Зачастую занимаются этим дилетанты-любители: они вмешиваются в классические тексты, правят „Капитанскую дочку“ и „режут“ Толстого». А вот Маканину «даже нравится, что вытворяют с английским переводом его на шумевшего „Кавказского пленного“ пользователи Интернета». Тут же о программе «Русский клуб» (фирма «Агама») — электронные дайджесты российских толстых литературных журналов (координатор проекта — Сергей Костырко).

Протоиерей Сергей Булгаков. Дневник духовный. — «Вестник Русского Христианского Движения», Париж — Нью-Йорк — Москва, № 174, 175.

Записи 20-х годов.

Василь Быков. Два рассказа. С белорусского перевел автор. — «Дружба народов», 1997, № 11.

«Народные мстители» и «Желтый песочек» — новые рассказы известного прозаика.

Петр Вайль. «Август» в январе. Примечания Константина Дони́на. — «Зоил». Литературно-критический журнал. Киев, 1997, № 2.

Комментарий к последнему стихотворению Иосифа Бродского «Август» («Маленькие города, где вам не скажут правду...»), написанному за несколько дней до смерти. Тут же печатается материал Константина Дони́на «Петр Вайль, герой эссеистического труда».

В этом же номере «Зоила» публикуется речь поэта Пауля Целана при получении литературной премии Вольного Ганзейского города Бремена (1958) и подборка воспоминаний о нем (Рино Зандерс, Герман Ленц и другие).

О первом выпуске журнала «Зоил» см. нашу «Периодику» («Новый мир», 1997, № 7).

Владимир Гусев. О серьезности. — «День литературы». Специальный выпуск газеты «Завтра». 1997, № 4, октябрь.

Подзаголовок статьи: «Взгляд на русскую литературу на (sic! — А. В.) 1997 год». Цитата: «Перед серьезностью такого явления, как „Пирамида” (Л. Леонова. — А. В.), отступают на третьи планы все „игровые” формы прозы, принадлежащие даже таким умным людям, как Битов и другие. Что Битов? Были претензии на нынешних Ставрогиных и мало ли там на что, о чем без ложной скромности и говорится в мыслительно сильном романе Битова „Пушкинский дом”. Поскольку очень быстро — быстро относительно, конечно, исторического, а не бытового времени — обнаружилось, что все сегодняшние ставрогины — не более чем маленькие американцы, сионисты, германисты, а то и просто служащие разведок и контрразведок мировых и немировых держав, — то все сразу и поняли, что, ну, игра, она и есть игра, и вот, оказывается, что стояло за этой игрой и за демоническими намеками». Среди «эсхатологической» прозы особо отмечен — сразу вслед за «Пирамидой» — роман Петра Проскурина «Седьмая стража». Среди исторических романистов — Александр Сегень. Вообще много имен.

Александр Гуторов. Нить Ариадны. (Последняя любовь Марины Цветаевой). — «В кругу времен». Ежеквартальный литературный, исторический и философский журнал. Учредитель и главный редактор С. В. Щеглов. Тираж 200 экз. Харьков, Книжное издательство «Лествица Марии», 1997, выпуск первый.

О романе М. И. Цветаевой и Е. Б. Тагера, познакомившихся в декабре 1939 года. Марине Ивановне было тогда сорок восемь лет, Евгению Борисовичу — на четырнадцать меньше, он был женат. О дальнейшей судьбе и работе литературоведа Е. Б. Тагера (1906 — 1984) Александр Гуторов намерен рассказать в следующем номере журнала.

В первом выпуске нового харьковского (обильно иллюстрированного) журнала также напечатаны: начало исторического романа Игоря Черного «Вечный город» — об Италии XV века; рассказ Михаила Ялымова «Болит»; переводы стихов Джеймса Джойса, Сен-Жона Перса и Горация; статья Сергея Щеглова «Упование древних. (Катарсис античной трагедии и нравственный миропорядок общины)»; статья профессора Л. Г. Фризмана «Родина Бориса Чичибабина»; рецензия Григория Померанца на книгу Ларисы Миллер «Стихи и о стихах»; статья профессора А. Д. Михилева «Via moderna: язык искусства и проблема дегуманизации художественной культуры XX века»; много плохих стихотворений современных авторов и некоторые другие материалы.

Дмитрий Добродеев. Путешествие в Тунис. Повесть. — «Дружба народов», 1997, № 11.

Эротически окрашенный рассказ о поездке в Тунис в мае 1996 года. Со всякими отступлениями.

Даниил Дондурей. Если творческая интеллигенция не изменит себе, то останется в изоляции. Беседу вела Ольга Кабанова. — «Русский Телеграф». Ежедневная деловая общенациональная газета. Издается с сентября 1997 года. 1997, № 30, 25 октября.

Социолог культуры, главный редактор журнала «Искусство кино» Даниил Дондурей утверждает, что не коммунисты и не националисты, а российская творческая интеллигенция выполняет функции «настоящей, глубокой, подлинной оппозиции процессам модернизации страны» (под интеллигенцией понимаются те, «кто профессионально контролирует производство смыслов и продуктов в общественном сознании»). Интеллигенция формирует плоский, *тенденциозно-отрицательный* образ многогранной реальности и «предлагает

обществу платить ей за это деньги». Цитирую: «Мне кажется, что существует подсознательный заговор творческой интеллигенции для того, чтобы создавать у миллионов людей превратное представление о стране, в которой они живут». И далее: «Единственный, кто может поколебать эту опасную, постоянно тянущую назад систему, — массовый зритель. Конечно, он в плену у интеллигенции — смотрит телевизор, читает газеты. Но у него есть жажда здоровья и выживания, он вырабатывает иммунитет против тотального убеждения, что он нищий, несчастный, обреченный, угнетенный, обманутый, ввергнутый в криминальную пучину».

Эту же тему Даниил Дондурей подробно развивает в статье «Кому выгодна безнадёга?» («Знание — сила», 1997, № 9).

Венедикт Ерофеев. Из записных книжек за 1982 год. Публикация Сергея Гладких. — «Камера хранения». Литературный альманах. Санкт-Петербург, 1997. Выпуск шестой. (Редактор выпуска Д. М. Закс.)

Ерофеев как Ерофеев. Цитата: «И как жаль, что у нее только две коленки!»

См. также в этом выпуске альманаха небольшой фрагмент повести Георгия Владимова «Долог путь до Типерэрри» (анонсированной журналом «Знамя»); сильное стихотворение А. Ривина 1939 года «Вот придет война большая...» (почему-то без сведений о малоизвестном авторе; об Алике Ривине см. в «Новом мире», 1994, № 1); два рассказа Нины Садур «Иголка любви» и «Сом-с-усом»; стихи Светланы Кековой; стихи и рассказы Сергея Вольфа и других современных авторов. В номере также присутствует «Содержание альманаха „Камера хранения“», выпуски со второго по шестой».

Сергей Земляной. Поэзия и правда в судьбе Сергея Есенина. К современным дискуссиям о пути русского поэта. — Книжное обозрение «Ex libris НГ». Приложение к «Независимой газете». 1997, № 16, октябрь.

Подробный критический отклик на книгу Станислава и Сергея Кунчевых «Сергей Есенин» (М., «Молодая гвардия», 1995). Автор статьи считает, что Сергей Есенин был «первым в русской культуре гением, который большую часть своей жизни делал **литературную карьеру**. Боролся за то, чтобы заступит место на — пустующем или занятом, без разницы — пьедестале **первого русского поэта**. Были полосы в его биографии, когда он ни о чем, кроме этого, думать не мог». Заслуживает внимания мнение С. Земляного об имажинизме, который «в своем истинном значении для истории отечественной словесности был не столько художественной школой, сколько фирмой. Предприятием. Особым способом ведения поэтического хозяйства. Охватывающим создание, тиражирование, рекламу, официальное прикрытие; маркетинг и дистрибьюцию литературных артефактов». Любопытно наблюдение автора, что знаменитые стихи «До свиданья, друг мой, до свиданья...» написаны «по мотивам» похоронной песни масонов «До свиданья, брат, о, до свиданья!», переведенной на русский язык Аполлоном Григорьевым.

Эжен Ионеско. Между жизнью и сновидением. Беседы с Клодом Бонфуа. Перевод с французского И. Кузнецовой. — «Иностранная литература», 1997, № 10.

Фрагменты автобиографической книги (1966) знаменитого французского драматурга румынского происхождения Эжена Ионеско (1912 — 1994) взяты из парижского издания 1996 года. Детство во Франции. Юность в Румынии. Мировоззрение. Творческая кухня. Вот важная подробность: Ионеско начал впервые учить румынский как второй язык только в тринадцать лет, так что французский, на котором он позднее писал, был ему *родным*, а не чужим.

Юрий Карякин. Дневник русского читателя. Из записных книжек. Переделкино. 1996. — «Октябрь», 1997, № 11.

Сумбурные, идейно экзальтированные записи. Марксизм. Христианство. Достоевский. Бахтин.

Тимур Кириков. Поэт в России больше не бунтарь. Беседу вела Наталья Селиванова. — «Известия», 1997, № 216, 14 ноября.

«В последние годы я понял, что сочинение стихов — это, конечно, самое важное дело. Для меня. А для обыкновенного человека, коих большинство, куда авторитетнее фигуры священника, врача, адвоката. Это нужно принять растерявшимся писателям. Не скулить и не ждать особого уважения общества к собственной персоне. Государству больше нечем заняться, как материально поддерживать замечательных писателей? Если государство мне предложит, я наверняка не откажусь. Но у меня язык не поворачивается требовать льгот и пособий».

Руслан Киреев. Как слово наше отзовется. — «Труд», 1997, № 215, 19 ноября.

Заместитель главного редактора журнала «Новый мир» — об эпидемии «духовной дистрофии». А также о том, что спастись надо не литературные журналы, они худо-бедно выходят, а библиотечную сеть России; воспрянут библиотеки — и вот тогда увидим, умирают толстые журналы или нет.

Валерий Кичин. Динозавры в толпе, или Рак юрского периода в растерянном мире. — «Известия», 1997, № 207, 30 октября.

О новом фильме Спилберга «Парк юрского периода. Затерянный мир». «Несмотря на уверения разгневанных американских критиков, я не могу сказать, что это было скучно. Новые технологии сами по себе уже вполне способны вызвать восторг, близкий к эстетическому». И это начало новой эпохи технологий, заменяющих искусство. «Теоретически (да и практически) уже можно заменить динозавров юной Мэрилин Монро или даже Чарли Чаплином, снять в Dolby Stereo продолжение «Новых времен», оживив компьютерным способом каждое движение ресниц ушедших звезд. Все восстановимо, кроме гения, который неповторим. Кино вернется туда, откуда вышло, — станет всемирным паноптикумом».

Михаил Ковров. «Погибший от смерти». — «Наш современник», 1997, № 11.

Андрей Платонов и проблема «соцреализма, нового литературного метода, изобретенного, по-видимому, Герценом, разработанного и внедренного Платоновым, но потом заметно преобразованного усилиями официальных писателей и революционеров. Они, как мы знаем, применили интересный технический прием: Платонова не допустили до читателя и приписали авторство метода Максиму Горькому. Потом, кажется, подлог разоблачили и их всех расстреляли. Есть, правда, и другие версии, но различия несущественны. Особенность технологии метода в том, что нужно писать сухой струей, а это очень трудно». Так — пИсать или писАть?

Марина Кудимова. Гоголь и опиум. — «Независимая газета», 1997, № 213, 12 ноября.

О том, что гоголевские «Арабески» пронизаны ассоциациями с «Исповедью англичанина, употреблявшего опиум» Томаса Де Квинси. А также о том, что вряд ли Гоголь был тайным наркоманом, но вполне возможно, имел опыт употребления опийных препаратов (в век, как справедливо отмечает автор, совершенно иного отношения к наркотикам, чем сейчас).

Валентин Курбатов. День перед вечером. — «Наш современник», 1997, № 11.

Статья о поэзии Геннадия Ступина.

Вячеслав Курицын. Серебряно-красно-коричневое в ожидании Коловрата. — «Русский Телеграф», 1997, № 48, 22 ноября.

О специальных выпусках газеты «Завтра» под названием «День литературы» (некоторые материалы которых уже были отражены в рубрике «Периодика») и о том, что ответственный редактор выпусков Владимир Бондаренко — хороший тактик: «Либералы и демократы отказались признать знак доллара, нарисованный Бренером на картине Малевича в Амстердаме, высоким художественным жестом: что ж, патриоты объявят его фактом освободительного движения». Но «отверженных», напоминает критик, собирают в «День литературы» вовсе не для того, чтобы цвели сто цветов: «Наверное, всякому может быть, хотя бы временно, по пути с прекраснодушными мечтателями, взыскующими усталанный ромашками и васильками особый российский путь. Но в тех случаях, когда они зовут к революции, стоит забыть о России и подумать о том, зачем революция нужна им — небедным, успешным людям, занимающимся любимым делом, издающим газеты и книги. И, главное, подумать, нужна ли хоть серебряно-красно-коричневая, хоть серо-буро-малиновая революция лично тебе». Ох, не нужна.

Екатерина Мещерская. Конец «Шехеразады». Повесть. Публикация Г. А. Нечаева. — «Москва», 1997, № 11.

Автобиографическая повесть княжны Екатерины Александровны Мещерской (1904 — 1995) о времени революции и Гражданской войны.

« — Мама, — спросила я, — что это за глупое, что это за унижительное слово — „бывшие“?»

— Это мудрое слово, — ответила она, — это означает: они были, эти люди, а теперь их не стало. Это словно опавшая листва. Теперь надо родиться вновь для того, чтобы жить, и это очень трудно.

См. также ее мемуары «Трудовое крещение» («Новый мир», 1988, № 4) и роман «Жизнь некрасивой женщины. История одного замужества» («Москва», 1996, № 7, 8).

Валерий Мильдон. Все живое — из клетки. — «Независимая газета», 1997, № 198, 21 октября.

Рецензия на повесть Анатолия Азольского «Клетка» («Новый мир», 1996, № 4, 5). «Писатель мастерски владеет искусством увлекательного повествования... Безусловным художественным достижением романа (автор определил свою вещь повестью, я же читаю как роман — по многозначности содержания) является изображение судьбы человека в советском государстве метафорой человеческого существования как такового».

В «Независимой газете» (1997, № 213, 12 ноября) рецензия того же критика на роман Дмитрия Липскерова «Сорок лет Чанчжоэ» («Новый мир», 1996, № 7, 8). О том, что господствующий тон романа — игровой. Но вопреки мнению, что в современной словесности господствует натужная игра на пустотах, в романе Липскерова — «игра легка и умна, потому и пустот не может быть».

Владимир Набоков. Две лекции по литературе. Вступление Ив. Толстого. — «Иностранная литература», 1997, № 11.

Новая рубрика «Мастер-класс» открывается лекциями Владимира Набокова о «Госпоже Бовари» Флобера (перевод с английского Г. Дашевского) и «Превращении» Франца Кафки (перевод В. Гольшера).

Анатолий Найман. ААА через тридцать лет. — «Литературная газета», 1997, № 33, 13 августа и № 34, 20 августа.

Подробный и нелицеприятный разбор последних изданий и публикаций, связанных с именем Анны Ахматовой (Лидия Чуковская, «Записки об Анне Ахматовой»; Павел Лукицкий, «Встречи с Анной Ахматовой»; «Записные книжки Анны Ахматовой» и др.).

См. об этом статью-ответ поэта и литературоведа Нины Королевой «Поздний ответ другу юности» («Ex libris НГ», 1997, № 17, октябрь). Обстоятельная защита одностороннего собрания сочинений Анны Ахматовой (М., «Панорама», 1996), в подготовке которого Нина Королева принимала участие. С переходом на личности: «Мне жаль, что „Литературная газета“ предоставила слово для оценки новых книг об Ахматовой именно Анатолию Найману. Да, он знал Ахматову в последние пять лет ее жизни. Был ее литературным секретарем. Был ее соавтором в переводах ряда поэтов. Наконец, она относилась к нему доброжелательно и с нежностью, пыталась поддержать и обезопасить от возможных преследований, подобных тем, которым подвергся Иосиф Бродский. Найман выпустил хорошую книгу «Рассказы о Анне Ахматовой». Но и в этой книге, и в его воспоминаниях, и в его суждениях о любых работах и публикациях, связанных с именем Анны Ахматовой, он не может и не должен выступать как верховный судия — у него для этого нет ни прав, ни знаний. Он не литературовед и не текстолог».

Анатолий Найман. Славный конец бесславных поколений. Главы из книги. — «Октябрь», 1997, № 11.

Продолжение мемуарной эпопеи: «Рассказы о Анне Ахматовой» («Новый мир», 1989, № 1, 2, 3), «Поэзия и неправда» («Октябрь», 1994, № 1, 2) и, наконец, нынешняя книга, по выражению автора, в жанре «баск» («Октябрь», 1995, № 11; 1996, № 11; 1997, № 8, 11). См. также роман А. Наймана «Б. Б. и др.» в «Новом мире» (1997, № 10).

Вл. Новиков. Свободы не бывает слишком много. К спорам о поэзии Геннадия Айги. — «Дружба народов», 1997, № 11.

Апология Айги. В связи с выходом его поэтической книги «Тетрадь Вероники. (Первое полугодие дочери)» (М., «Гилея», 1997). О литературной репутации Айги см. также полемическую статью Юрия Колкера «Обманувшийся и обманутый» в «Новом мире» (1997, № 10).

Василий Павлов. «Я гримировал Михаила Булгакова». Беседу вел Александр Рогов. — «Известия», 1997, № 162, 4 сентября.

Заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза Василий Георгиевич Павлов в 30-е годы работал во МХАТе учеником гримера. Среди прочего он вспоминает, что Михаил Булгаков играл не только Судью в «Пиквикском клубе», но и участвовал в массовых сценах в «Днях Турбиных», а в антиамериканском спектакле «Реклама» играл присяжного — в массовой сцене, без слов. «Сперва я, признаюсь, думал, что Михаил Афанасьевич играет просто для интереса. Но потом понял, что его и материальная сторона поджимала...»

Олег Павлов. Яблочки от Толстого. Вольный рассказ. — «Дружба народов», 1997, № 10.

Московские литераторы в Ясной Поляне. Басинский, Варламов, Уткин, Ким, Киреев... Знакомые всё лица.

См. также очерки Олега Павлова из его «Нелитературной коллекции» в «Октябре» (1997, № 10) — о свинцовых мерзостях жизни.

См. также его пафосную культурологическую статью «Энергия сопротивления» в «Литературной России» (1997, № 42, 17 октября). Образчик стиля: «Русская самобытность состарилась, ей тысяча лет, но на их-то протяжении она остается младенческой, в том-то смысле и пушкинской». Глубоко копает.

Н. Паньков. М. М. Бахтин: ранняя версия концепции карнавала. В память о давней научной дискуссии. — «Вопросы литературы», 1997, № 5 (сентябрь — октябрь).

О том, как 15 ноября 1946 года Ученый совет ИМЛИ АН СССР собрался на защиту М. М. Бахтиным кандидатской диссертации «Рабле в истории реализма». Действующие лица. Характеры. Атмосфера.

В связи с Бахтиным см. также резкую статью Вадима Кожина «Куда девалась рукопись М. М. Бахтина?» в журнале «Москва» (1997, № 10); автор статьи обвиняет Витторио Страду в том, что тот «подевал куда-то полученную им рукопись целой книги» Бахтина о Достоевском.

Виктор Пелевин. Джон Фаулз и трагедия русского либерализма. — «Открытая политика». Журнал российской политической жизни. 1997, № 10.

Миранда, героиня романа Джона Фаулза «Коллекционер», как литературный аналог нынешней российской интеллигенции. «Так же как Миранду в романе Фаулза, тупая и непонятная сила вырвала их из мира, где были сосредоточены все ценности и смысл, и бросила в холодную пустоту». Совок как интернациональный феномен. Совками оказываются не только Миранда, но и эзлинджеровский Холден Колфилд, чеховские Гаев и Раневская, а также Васисуалий Лоханкин и... Иван Бунин.

Александр Пятигорский. Кто боится масонов... Беседу вел Игорь Померанцев. — Книжное обозрение «Ex libris НГ». Приложение к «Независимой газете». 1997, № 16, октябрь.

Масонство как религия, «члены которой никогда не хотели называть это религией». Интервью А. Пятигорского посвящено последней книге философа, только что вышедшей в Лондоне, — «Who is afraid of Freemasons?» («Кто боится франкмасонов?»).

Михаил Синельников. В затяжном прыжке. — «Московские новости», 1997, № 42, 19 — 26 октября.

О Евгении Евтушенко и его поэме «Тринадцать» (печаталась в «Литературной газете», ныне появилось отдельное издание, «брошюра в формате фолианта, на роскошной бумаге», «без указания издательства, в количестве 1000 пронумерованных экземпляров», с параллельным английским текстом, «с грубыми подражаниями иллюстрациям Ю. Анненкова к „Двенадцати“»). О поэме: «...безвкусица, которой, по совести говоря, Евтушенко никогда не был чужд, в новой вещи просто чудовищна». О творческом пути поэта: «Конечно, „Лук и лира“, тбилисская книга начала шестидесятых годов, была последним сборником Евтушенко, имевшим прямое отношение к поэзии». И вообще: «Евтушенко без преувеличения — историческая фигура. Но случилось наихудшее: он стал почти непоправимо превращаться в комическую историческую фигуру».

Александр Солженицын. Исчерпание культуры? — «Московские новости», 1997, № 39, 28 сентября — 5 октября.

Полный текст выступления новоизбранного академика А. Солженицына на «круглом столе» РАН 24 сентября 1997 года. Тут же печатается интервью с писателем, предваряющее трансляцию по «Радио России» цикла из 65 передач, в которых Солженицын читает собственную композицию по «Красному Колесу». Выступление А. Солженицына также напечатано в «Юности» (1997, № 11).

Владимир Солоухин. Камешки на ладони. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1997, № 8.

Последняя подборка солоухинских «камешков». Тут же краткие записки Розы Солоухиной, вдовы писателя, датированные июнем 1997 года.

Витторио Страда (Венеция). Интеллигенция как зеркало европейской революции. — «Русская мысль». Еженедельник. Париж, 1997, № 4189, 18 — 24 сентября.

Автор рассматривает идею, по его мнению, «не для всех очевидную», а именно: «что русская интеллигенция, при всех ее особенностях, не что-то уникальное, а часть сложного исторического явления — европейской интеллигенции нового времени».

Юрий Фельштинский. Еще раз о Сталине, агенте охраны. — «Известия», 1997, № 187, 2 октября.

Доктор исторических наук Ю. Фельштинский (Бостон, США) откликается на публикацию Ю. Хечинова «Сталин был агентом царской охраны» («Известия», 1997, 19 сентября) и сообщает, что «найденный» Ю. Хечиновым в нью-йоркском Толстовском фонде архивный документ (письмо от 12 июля 1913 года заведующего Особым отделом департамента полиции Еремина об агентурной работе Сталина) на самом деле известен с 1956 года. Ю. Фельштинский приводит новый документ из архива Гуверовского института, который нигде ранее не публиковался, — посланное из Франции письмо генерала А. Спиридовича от 13 января 1950 года. Жандармский генерал вспоминает о своей службе, работе с агентурой и подтверждает подлинность «письма Еремина» и, следовательно, факт сотрудничества Сталина с политической полицией на Кавказе и в Петербурге.

Одновременно в «Общей газете» (1997, № 40, 9 — 15 октября) ведущий научный сотрудник Государственного архива Российской Федерации З. И. Перегудова подробно ком-

ментирует «письмо Еремина» как безусловную фальшивку, изобилующую грубыми ошибками и изготовленную примерно в 1945 — 1947 годах. От себя позволю добавить, что если бы Сталин честно работал на охранку (не будучи при этом двойным агентом, как некоторые русские революционеры), то в моих глазах это пошло бы ему только в плюс.

Сотрудничеству российских революционеров с иностранными государствами была посвящена другая публикация в «Известиях» (1997, № 211, 5 ноября) — под названием «Миллион в русских банкнотах». В ней Ю. Фельштинский предлагает читателю архивную запись беседы, состоявшейся в сентябре 1915 года в Женеве между Г. В. Плехановым и большевиком Г. А. Алексинским. Речь шла о немецкой помощи большевикам (а также и японской — в годы русско-японской войны). Публикуется фотокопия расписки Парвуса (А. Гельфанда) от 29 декабря 1915 года за полученный от германского представителя в Копенгагене миллион рублей в русских банкнотах. Ю. Фельштинский считает расписку Парвуса подлинной.

О Сталине см. также неоконченную книгу покойного Николая Яковлева «Сталин: путь наверх (1879 — 1927)» в журнале «Наш современник» (1997, № 10, 11, 12); журнальный вариант подготовлен В. Ореховым.

Олег Хомяков. Мой взгляд на Астафьева. — «Литературная Россия», № 44, 45, 46.

Фрагменты мемуарной повести «Сибирский бриллиант» — о Викторе Петровиче Астафьеве. Автор живет в Костромской области.

Алексей Цветков. Судьба барабанщика. Примечания к постмодернизму. — «Иностранная литература», 1997, № 9.

Поэт и прозаик, с 1975 года живущий за рубежом, в изящной статье высказывает ряд интересных положений о кризисе современной культуры. «Болезнь искусства вызвана самой идеей болезни: ипохондрик пробегает последнюю страницу медицинского справочника и испускает дух». См. также его эссе «Futurum imperfectum» («Иностранная литература», 1997, № 1). О творчестве самого А. Цветкова см. статью Лили Панн «На каменном ветру» («Новый мир», 1996, № 3).

Александр Чижевский. Вечное теперь. Беседа о времени. Публикация и предисловие Леонида Голованова. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1997, № 9.

Впервые публикуемый фрагмент воспоминаний А. Л. Чижевского (1897 — 1964) о К. Э. Циолковском. Мечта Циолковского о новой физической картине мира, в которой не будет места категории времени. Тут же впервые печатаются несколько стихотворений Чижевского разных лет.

Ольга Шамборант. Апокалипсис нашего времени — 2. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1997, № 10.

«Птицеловство», «Медицина», «Скотоводство» и «Последний суд» — краткие эссе для энциклопедии «Мир чувственных вещей в картинках», к созданию которой приступила галерея «Марс». Этот проект восходит к знаменитой книге чешского педагога Яна Амоса Каменского, появившейся в 1658 году и охватывавшей 150 предметов и понятий. Именно эти самые 150 предметов и понятий будут фигурировать в энциклопедии «Марса», но в интерпретации известных современных художников и литераторов. Энциклопедия будет методично обновляться в течение 150 лет (!) — по одному сюжету в год. Широко шагают.

См. также эссе Ольги Шамборант «Гибель промежуточного звена» в журнале «Постскриптум» (1997, № 3).

Борис Шергин. Тишина безглагольная. Из дневников разных лет. Публикация и вступление Юрия Шульмана. — «Россия». Ежемесячный общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный журнал. 1997, № 11.

Отдельные записи 1962 — 1968 годов. В оформлении публикации использованы иллюстрации самого Бориса Шергина к поморским былинам-балладам.

Василий Шульгин. Опыт Ленина. Предисловие и публикация М. А. Айвазяна (Отдел рукописей ИМЛИ РАН). Послесловие-комментарий Вадима Кожина. — «Наш современник», 1997, № 11.

Фрагменты большой книги «Опыт Ленина», которая была написана осенью 1958 года освобожденным из тюрьмы Василием Витальевичем Шульгиным, в год его восьмидесятилетия, во владимирском Доме инвалидов — по просьбе КГБ. После смерти автора рукопись ушла в архив КГБ, откуда ныне и вернулась. Удивительные в устах Шульгина инвективы по адресу Белого движения за то, что оно пыталось препятствовать проведению коммунистического эксперимента над Россией, а препятствовать было нельзя, поскольку на все воля

Божья Михаил Айвазян утверждает, что книга исполнена «небывалой свободы мысли»; Валдим Кожинов считает, что публикатор преувеличил ее достоинства; а Максим Соколов в газете «Русский Телеграф» (1997, № 37, 5 ноября) пишет: «Никто не вправе кинуть камень в почти восьмидесятилетнего старика, с которым интеллектуальствующие чекисты играют как кошка с мышкой, но и рассматривать данный текст наравне с теми, которые были написаны в нишей, но свободной эмиграции, бесчестно по отношению к автору».

Татьяна Щербина. Медея не убивала своих детей. — «Коммерсант-daily», № 197, 15 ноября.

Рецензия на роман Людмилы Улицкой «Медея и ее дети» («Новый мир», 1996, № 3, 4; издательство «Вагриус», 1996). «История семьи (трех поколений советских интеллигентов), рассказанная в романе, создает впечатление подлинной», и «это, пожалуй, первое произведение, в котором советская эпоха описана и осмыслена как стиль частной жизни». Но, пересказывая содержание романа, рецензент так сильно и не к месту форсирует ироническую интонацию, вне которой уже трудно представить современную журналистику, что ирония эта выглядит не стилем, а общим местом, газетным бесстилем.



Index / Досье на цензуру. Главный редактор Наум Ним. Редактор русского издания Елена Ознобкина. Тираж 2000 экз. 1997, № 2.

О первом номере ежеквартального журнала «Индекс / Досье на цензуру» можно было прочесть в № 12 «Нового мира» за прошлый год. Напомню, что инициатор нового российского издания — созданный 25 лет назад лондонский журнал *Index on Censorship*; учредитель русского варианта журнала — московский Фонд защиты гласности. Хорошая бумага, удобный формат, удачный макет. Как указано в выходных данных, журнал финансируется Европейским Сообществом, что, видимо, не решает всех проблем.

Во втором номере напечатан отчет о встрече редакции журнала с М. С. Горбачевым; «круглый стол» о проблемах СМИ под названием «Постановщики реальности» с участием Валерия Подороги, Бориса Дубина, Андрея Игнатъева, Симона Кордонского, Алексея Симонова и Наума Нима; давняя статья Василия Розанова «Цензура»; статья Алексея Симонова «Иски о защите чести и достоинства как инструмент давления на СМИ»; пародийный текст Дмитрия Быкова «Дворник»; иронические мемуары Константина Новика «Активные и пассивные. (Монолог штабиста)»; впечатляющий «Дневник заложника» — отчет корреспондента газеты «Саткинский металлург» Ольги Багаутдиновой, похищенной и позднее освобожденной в Чечне; статья писателя Андрея Волоса «История одного покушения» — о событиях в Таджикистане; интервью с ученым и правозащитником Валентином Турчиным, его статья «Институционализация ценностей» и воспоминания о нем Николая Работнова «Давно... в шестидесятые»; исследование Арлена Блюма «Советская цензура эпохи большого террора (по материалам секретных бюллетеней Главлита СССР)»; статья Бориса Дубина «О технике упрощенчества и его цене»; ряд интересных перепечаток из английского *Index on Censorship*, а именно — выступления Умберто Эко «Во что верят неверующие»; Михаила Игнатъефа «Многообразие опыта»; Рональда Дворкина «Раздвоенные языки, фальшивые доктрины»; Надин Гордимер «Драгоценное слово»; Салмана Рушди «Заметки о писательстве и нации»; Габриэля Гарсиа Маркеса «Самая лучшая работа на свете»; Владимира Войновича «Как меня ставили к стенке в Америке»; а также рецензии, информация из разных стран мира и другие материалы.



Художественная проза в литературных журналах. 100 романов и повестей минувшего года (основной указатель)

1. Алла Авилова. Откровение огня. Роман. — «Нева», 1997, № 4, 5.
2. Анатолий Азольский. Облдрамтеатр. Повесть. — «Новый мир», 1997, № 11
3. Анатолий Азольский. Женьиьба по-балтийски. Морская лирическая повесть. — «Дружба народов», 1997, № 2.
4. Василий Аксенов. Новый сладостный стиль. Роман. — «Знамя», 1997, № 5
5. Владимир Алексеев. Вести из леса. Повесть. — «Нева», 1997, № 7
6. Анатолий Ананьев. Призвание Рюриковичей, или Тысячелетняя загадка России Историческое повествование. Книга вторая. — «Октябрь», 1997, № 10, 11, 12.

7. Василий Белов. Час шестой (хроника 1932 года). — «Наш современник», 1997, № 9, 10, 11...
8. Лилия Беляева. Тэ прэс — Жду тебя... Роман. — «Наш современник», 1997, № 3, 4, 5.
9. Федор Боровский. И ныне, и присно. Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 1997, № 1-2.
10. Юрий Буйда. Борис и Глеб. Роман. — «Знамя», 1997, № 1, 2.
11. Алексей Варламов. Затонувший ковчег. Роман. — «Октябрь», 1997, № 3, 4.
12. Алексей Варламов. Дом в деревне. Повесть сердца. — «Новый мир», 1997, № 9.
13. Михаил Веллер. Самовар. — «Дружба народов», 1997, № 3.
14. Михаил Ворфоломеев. Записки из провинции. Повесть. — «Москва», 1997, № 11.
15. Наталья Галкина. Пенаты. Повесть. — «Нева», 1997, № 3.
16. Мария Головановская. Противоречие по сути. (Contradictio in adjecto). Маленький роман. — «Октябрь», 1997, № 2.
17. Геннадий Головин. Паранормальный Фарафонов. Повесть. — «Юность», 1997, № 2.
18. Фридрих Горенштейн. Муха у капли чая. Повесть. — «Юность», 1997, № 8.
19. Иван Громов. На перекрестке времени. Повесть. — «Новая Юность», № 24 (1997, № 3).
20. Максим Гуреев. Калугадва. Повесть. — «Октябрь», 1997, № 10.
21. Дмитрий Добродеев. Путешествие в Тунис. Повесть. — «Дружба народов», 1997, № 11.
22. Борис Екимов. Наш старый дом. Повесть. — «Новый мир», 1997, № 7.
23. Олег Ермаков. Транссибирская пастораль. Роман. — «Знамя», 1997, № 8.
24. Игорь Ефимов. Зрелища. Роман. — «Звезда», 1997, № 7.
25. Сергей Залыгин. Ирунчик. Маленькая повесть. — «Новый мир», 1997, № 4.
26. Сергей Залыгин. Уроки правнука Вовки. Маленькая повесть. — «Новый мир», 1997, № 7.
27. Даур Зангария. Золотое Колесо. Роман. — «Знамя», 1997, № 3, 4.
28. В. Зубчанинов. Повесть о прожитом. — «Октябрь», 1997, № 7, 8.
29. Алексей Иванов. Зеленый лимон. Повесть. — «Знамя», 1997, № 11.
30. Валерий Исаков. Пудель Артамон. Повесть. — «Новый мир», 1997, № 12.
31. Григорий Канович. Парк забытых евреев. Роман. — «Октябрь», 1997, № 4, 5.
32. Геннадий Карпунин. Прощеное воскресенье. Повесть. — «Москва», 1997, № 12.
33. Анатолий Ким. Сбор грибов под музыку Баха. Роман-мистерия. — «Ясная Поляна», Москва — Тула, 1997, № 1.
34. Игорь Клех. Крокодилы не видят снов. Берлинская повесть. — «Октябрь», 1997, № 3.
35. Алексей Козлачков. Война в помещении и на свежем воздухе. — «Постскриптум», Санкт-Петербург, 1997, № 3.
36. Юрий Козлов. Колодцы предков. Роман. — «Москва», 1997, № 2, 3, 4.
37. Владислав Крапивин. Бабушкин внук и его братья. Роман. — «Урал», Екатеринбург, 1997, № 1, 2.
38. Юрий Красавин. Провинциальные страсти. Повесть. — «Москва», 1997, № 12.
39. Владимир Крупин. Мы не люди, мы вятские. Повесть-стенограмма. — «Наш современник», 1997, № 10, 11.
40. Александр Кузнецов. Проклятие. Повесть. — «Наш современник», 1997, № 10.
41. Михаил Кураев. Золотуха по прозвищу Одышка. Маленькая повесть. — «Новый мир», 1997, № 11.
42. Евгений Лапутин. Уроки учителя Альтмана. Отрывок из романа «Мои встречи с Огастесом Кьюницем». — «Новая Юность», № 22-23 (1997, № 1-2).
43. Олег Ларин. Ехала деревня мимо мужика. Сцены из захолустной жизни. — «Новый мир», 1997, № 8.
44. Семен Ласкин. Роман со странностями. — «Нева», 1997, № 12.

45. Олег Лебедев. Нефритовый голубь. Повесть. — «Юность», 1997, № 10.
46. Владимир Личутин. Раскол. Роман. Книга третья. — «Наш современник», 1997, № 7, 8, 11, 12.
47. Александр Мелихов. Высокая болезнь. Повесть. — «Октябрь», 1997, № 8.
48. Александр Мелихов. Роман с простатитом. — «Новый мир», 1997, № 4, 5.
49. Екатерина Мещерская. Конец «Шехеразеды». Повесть. — «Москва», 1997, № 11.
50. Олег Михайлов. Забытый император. Роман. — «Москва», 1997, № 1.
51. Александр Морозов. Чужие письма. Этопея. — «Знамя», 1997, № 11.
52. Анатолий Найман. Б. Б. и др. Роман. — «Новый мир», 1997, № 10.
53. Евгений Носов. Греческий хлеб. Повесть. — «Москва», 1997, № 6.
54. Владимир Орлов. Шевриука, или Любовь к привидению. Роман. Часть четвертая. — «Юность», 1997, № 5.
55. Владимир Отрошенко. Двор прадеда Гриши. Повесть из десяти новелл и эпизода. — «Ясная Поляна», Москва — Тула, 1997, № 1.
56. Олег Павлов. Дело Матюшина. Роман. — «Октябрь», 1997, № 1, 2.
57. Петр Паламарчук. Наследник российского престола, или За что мы ненавидим русских. Роман. — «Литературная учеба», 1997, № 3, 4.
58. Виктор Панэ. Танцевальный шаг. Повесть. — «Звезда», 1997, № 5.
59. Николай Переяслов. 90-й псалом. Повесть. — «Москва», 1997, № 8.
60. Ирина Поволоцкая. Разновразие. Собрание пестрых глав. — «Новый мир», 1997, № 11.
61. Ирина Полянская. Прохождение тени. Роман. — «Новый мир», 1997, № 1, 2.
62. Валерий Попов. Грибники ходят с ножами. Хроника. — «Новый мир», 1997, № 6.
63. Олег Постнов. Ночные повести Валериана Сомова. — «Нева», 1997, № 10.
64. Михаил Пророков. БГА. Роман. — «Волга», Саратов, 1997, № 1-2, 3-4...
65. Михаил Пророков. Письма полярнику А. Н. К., старшему лейтенанту запаса. — «Знамя», 1997, № 7.
66. Александр Рогов. Ванька Каин. Роман. — «Москва», 1997, № 7.
67. Борис Рохлин. Переписка Бенито де Шарона и Якоба фон Баумгартена. Маленькая повесть. — «Звезда», 1997, № 6.
68. Павел Румянцев. Последние версты. Повесть. — «Юность», 1997, № 9.
69. Нина Садур. Немец. Роман. — «Знамя», 1997, № 6.
70. Елена Сазанович. Предпоследний день грусти. Повесть. — «Юность», 1997, № 3.
71. Владимир Свинцов. Без родословной. Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 1997, № 3.
72. Александр Сегень. Абуль-Аббас — любимый слон Карла Великого. Роман. — «Москва», 1997, № 4, 5.
73. Александр Сегень. Государь Иван Третий. Роман. — «Наш современник», 1997, № 1, 2, 3, 4, 5, 6.
74. Анатолий Семячко. Большая охота. Повесть. — «Звезда», 1997, № 8.
75. Александр Скоробогатов. Земля безводная. Роман. — «Юность», 1997, № 1, 2.
76. Алексей Слаповский. Анкета. Тайнопись открытым текстом. — «Звезда», 1997, № 2, 3.
77. Руслан Смородинов. Марья. Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 1997, № 4.
78. Роман Солнцев. Иностранцы. Маленькая повесть. — «Новый мир», 1997, № 6.
79. Роман Солнцев. ЦБ. Повесть. — «Нева», 1997, № 10, 11.
80. Алексей Солонович. Врата небесные. Повесть. — «Москва», 1997, № 4, 5, 6.
81. Фред Солянов. Повесть о бесовском самокипе... — «Новый мир», 1997, № 12.
82. Владимир Сотников. Покров. Роман. — «Ясная Поляна», Москва — Тула, 1997, № 2.
83. Иосиф Сталин. Учитель. Литературная запись: Нодар Джин. — «Дружба народов», 1997, № 9.

84. **Юлия Старцева.** Время нереально. Роман. — «День и ночь», Красноярск, 1997, № 4.
85. **Михаил Умнов.** Саламандра. Роман. — «Юность», 1997, № 7, 8, 9, 10, 11, 12.
86. **Лев Усынин.** Хроники Фрунзе. — «Постскриптум», Санкт-Петербург, 1997, № 3.
87. **Антон Уткин.** Свадьба за Бугом. Повесть. — «Новый мир», 1997, № 8.
88. **Семен Файбисович.** Дядя Адик/Uncle Dick. Повесть. — «Знамя», 1997, № 2.
89. **Илья Фаликов.** Трилистник жесткой воды. Ближнеисторический роман. — «Октябрь», 1997, № 5.
90. **Евгений Федоров.** Бунт. — «Континент», № 91 (1997).
91. **Исаак Фридберг.** Бег по пересеченному времени. Повесть. — «Дружба народов», 1997, № 4.
92. **Борис Хазанов.** После нас потоп. Роман. — «Октябрь», 1997, № 6, 7.
93. **Валерий Хайрюзов.** Сербска девойка. Повесть. — «Москва», 1997, № 11.
94. **Александр Хургин.** Остеохондроз. Повесть. — «Дружба народов», 1997, № 6.
95. **Сергей Чилингарян.** Бобка. Повесть о собаке. — «Дружба народов», 1997, № 5.
96. **Михаил Чулаки.** Харон. Роман. — «Нева», 1997, № 1, 2.
97. **Владимир Шапко.** Муравейник. Повесть. — «День и ночь», Красноярск, 1997, № 3.
98. **Галина Щербакова.** Митина любовь. Повесть. — «Новый мир», 1997, № 3.
99. **Сергей Юрьенен.** Дочь генерального секретаря. Главы из романа. — «Стрелец», 1997, № 1 (76).
100. **Владимир Яницкий.** Пришедшие найти. Повесть. — «Знамя», 1997, № 5.

Составитель **Андрей Василевский.**

ПОПРАВКА: в № 12 «Нового мира» за 1997 год в рубрике «Библиография» на стр. 242 вместо «Русская провинция» следует читать «Российская провинция» (в России сразу *два* таких журнала со схожими названиями).

ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Февраль

35 лет назад — в № 2 за 1963 год напечатана повесть Константина Воробьева «Убиты под Москвой».

55 лет назад — в № 2-3 за 1943 год напечатаны рассказы Андрея Платонова «Сампо» и «Дерево родины».

70 лет назад — в № 2 за 1928 год напечатана пьеса И. Бабеля «Закат».

«НОВЫЙ МИР» В *INTERNET*

САЙТ «АГАМА В ИНТЕРНЕТ»
АДРЕС: WWW.AGAMA.COM



«РУССКИЙ КЛУБ»



«ЖУРНАЛЬНЫЙ ЗАЛ»



«НОВЫЙ МИР»

электронные дайджесты свежих номеров:

содержание номера

фрагменты прозы и публицистики

стихотворения

рецензии

библиография

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс 70636 в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Вы можете оформить льготную подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов, в субботу с 10 до 13 часов. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала. (Справки по тел. 200-08-29.)

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются:

германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218);

акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в АО «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160);

американская фирма «Ист Вью Пабליкейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (612) 550-0961. Fax (612) 559-2931. В Москве тел./факс (095) 144-00-55, (095) 144-01-89).

Просим зарубежных подписчиков и покупателей «Нового мира» обращать внимание на обложку журнала. За пределами России и стран СНГ наш журнал распространяется только в специальной экспортной обложке — белой, с надписью «Novu Mir»; торговля журналами в голубой обложке не является законной.

SUMMARY



The poetry section of the issue presents poems by Inna Lisnyanskaya, Heinrich Sapgir, Leonid Zavalnyuk and Yevgeny Rein.

We are publishing the beginning of the novel «The Army of Lovers» by Galina Shcherbakova (to be ended in No. 3), as well as short stories by Sergei Zalygin, Semen Faibisovich and Georgy Ball.

The section «New Translations» is presented by extracts from the «Diary» by Witold Gombrowicz (translation from Polish by Yuri Chainikov).

In the section «Publicistics» we are publishing the articles «Forcing out» by Igor Mikhailov and «Farewell to Georgia» by Nadezhda Molchanova about the Russian population in the former Soviet republics.

The section «Writer's Diary» presents the notes «Beyond the Squabbles» by Yuri Kublanovsky.

In the section «Publications and Reports» we are publishing the article «Pushkin's Biography as a Matter of Culture» by Irina Surat.

The issue also presents our traditional sections «Reviews», «Egitor's Mail», «Foreign Books about Russia», «Bibliography».

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности многочисленных одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Главный редактор С. П. Залыгин

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Р. Т. Киреев (зам. главного редактора), С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)

Общественный совет: С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, Д. А. Гранин, А. А. Ким, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, М. О. Чудакова

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88, отдел публицистики — 229-25-83, для справок — 200-08-29. Факс: 200-08-29.

Электронная почта: nmir@deol.ru

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Сдано в набор 20.10.97 г. Подписано к печати 24.12.97 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 ¹/₁₆. Бумага кн.-журн. Высокая печать.

Объем 16 п. л., 22,4 усл. печ. л., 28 уч.-изд. л.

Тираж 14 960 экз. Зак. 6789. Цена договорная.

Отпечатано в Полиграфическом производственном объединении «Известия» Управления делами Президента Российской Федерации.

103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

Доступ к Internet и Электронной почте предоставлен фирмой Data Express Corporation, тел. (095) 932-76-47, WWW: <http://www.deol.ru>

В 1998 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

- АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. *Монахи* (роман);
 ВИКТОР АСТАФЬЕВ. *Веселый солдат* (повесть);
 АНДРЕЙ БИТОВ. *Общество охраны героев* (повесть);
 В. БОГОМОЛОВ. *Алина* (повесть);
 ЮРИЙ БУЙДА. *Живем всего два раза* (рассказы);
 МИХАИЛ БУТОВ. *Свобода* (роман);
 РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. *Гость случайный* (роман-эссе);
 СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. *Мария из Магдалы* (повесть);
 ДАНИИЛ ГРАНИН. *Вечера с Петром Великим* (роман);
 ИГОРЬ ДЕДКОВ. *Обессоленное время* (из дневниковых записей 1975 — 1980 годов);
 МАРИНА ДУРНОВО, с участием ВЛАДИМИРА ГЛОЦЕРА. *Мой муж Даниил Хармс* (воспоминания);
 БОРИС ЕКИМОВ. *Очерки и рассказы*;
 НИКОЛАЙ ЗАБОЛОЦКИЙ. *Письма*;
 ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. *Поэт* (повесть);
 АНАТОЛИЙ КИМ. *Стена* (повесть);
 ОЛЕГ ЛАРИН. *Блудное лето* (сцены из захолустной жизни);
 ВЛАДИМИР МАКАНИН. *Новая повесть*;
 АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. *Нам целый мир чужбина* (роман);
 Ф. НИЦШЕ. *Письма* (перевод с немецкого);
 ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. *Чернильный ангел* (повесть);
 МАРК РОЗОВСКИЙ. *Театральный человек* (документальное повествование);
 ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. *Один в зеркале* (роман);
 А. СОЛЖЕНИЦЫН. *Главы из книги «Угодило зернышко промеж двух жерновов. (Очерки изгнания)»*;
 ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. *Москва — Калуга — Лос-Анджелос* (повесть);
 ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. *Актриса и милиционер* (повесть);
 ЮЛИУ ЭДЛИС. *Аноним* (роман);

а также романы, повести, рассказы АЛЕКСЕЯ ВАРЛАМОВА, ЯНА ГОЛЬЦМАНА, МАРКА КОСТРОВА, МИХАИЛА КУРАЕВА, ИРИНЫ ПОЛЯНСКОЙ, ВЯЧЕСЛАВА ПЬЕЦУХА, ДИНЫ РУБИНОЙ, стихи АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЕВГЕНИЯ РЕЙНА, статьи, эссе СЕРГЕЯ АВЕРИНЦЕВА, АЛЕКСАНДРА АРХАНГЕЛЬСКОГО, СЕРГЕЯ БОЧАРОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ЮРИЯ КАГРАМАНОВА, ИРИНЫ СУРАТ, ВИТАЛИЯ ШЕНТАЛИНСКОГО и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**